

ОДНА И ЧУЖБИНА

И. Т. ТВАРДОВСКИЙ



"...Я ПИШУ ИСТИННУЮ ПРАВДУ"

Иван Трифонович Твардовский. Произнесем это имя и прислушаемся к нему. Не правда ли, это похоже на три удара молота по наковальне? Может быть, это напоминает нам о том, что родился этот человек в семье деревенского кузнеца Трифона Гордеевича Твардовского, главы большого семейства. Каждому из его семерых детей досталась трудная судьба. Но разве могло быть иначе в то время и при тех обстоятельствах? А уж какую многотрудную судьбу выковало время для Ивана Трифоновича Твардовского, об этом читатель узнает из его новой книги.

Что и говорить, сама фамилия нашего автора прежде всего известна благодаря старшему брату Александру Твардовскому, великому русскому поэту. Да, великому, пора называть все своими именами. Время все расставило по местам. И масштабы таланта Александра Твардовского, и значение его творческого наследия дают все основания для самых высоких оценок. И потому можно себе представить, какой ответственностью был преисполнен наш автор Иван Твардовский, берясь за перо и подписывая труд своей фамилией. Ответственностью, но отнюдь не робостью, поскольку ему было что сказать читателю, а результат его труда дал полное основание судить о значительности и самостоятельности литературного дара Ивана Твардовского.

Не впервые приходит к читателю писатель Иван Твардовский. Его имя знакомо нам по публикациям в журналах "Новый мир" и «Юность», в альманахе "Дядя Ваня", по документальной повести "На хуторе Загорье", вышедшей в издательстве «Современник» в 1983 году.

"Я пишу эти воспоминания в возрасте, когда уже все позади. Великое слово ПРАВДА обязывает меня сказать все, как было", — так объясняет свою творческую задачу автор. Наше время как-то особо востребовало свидетельства очевидцев, участников событий прошлого. Нам необходимо знать свое прошлое без прикрас, чтобы правильно понимать настоящее и не искалечить будущее. Потому так ценны, так драгоценны жизнеописания людей, которым мы верим. И никакие художественные многотомия не расскажут лучше, полнее, интереснее о прошлом, чем дневники, воспоминания, письма внимательных и добросовестных летописцев своего времени.

Вспоминают о прошлом по-разному. Иногда приукрашивают либо его, либо себя в нем. Не таковы мемуары Ивана Твардовского. Здесь все правда. Это творческий принцип стойкого автора — абсолютная, безусловная, чистая правда, выразить и оживить которую Иван Трифонович Твардовский считает своим нравственным долгом. Видно, ему так на роду было написано — пройти этот тяжкий путь, прожить жизнь, проверившую его всеми мыслимыми и немыслимыми испытаниями, и остаться самим собой, не потерять чести и достоинства. Обо всем этом он говорит с читателем просто, без художественных изощрений, а потому мудро.

Он родился 19 октября 1914 года на хуторе Загорье. "Не торопилось счастье поселиться в нашем доме", — пишет Иван Трифонович. Раннее детство на родном хуторе, раскулачивание и ссылка семьи, побег из ссылки. Затем война, плен, побег из плена. Добровольное возвращение из благополучной заграницы на многострадальную родину обернулось новым заточением — чернопечально известная 58-я статья. После долгих лет мытарств он возвращается в родные места. Он не только вернулся сюда сам, он вернул сюда память о

родительском доме, о трудолюбивом, честном роде Твардовских. Хутор Загорье стал мемориальным музеем, каждодневной заботой Ивана Трифоновича, смыслом его подвижнической деятельности.

И еще литературная деятельность. Мемуары? Как определить жанр его произведений? Да, бесспорно, это мемуары. Но смысл этого слова недостаточно полно передает своеобразие написанного Иваном Трифоновичем Твардовским. Трагическая исповедь, но как автор выдержан, мудр, незлобив и полон достоинства. Крестьянский сын Иван из рода Твардовских. Все оттуда — и отменно образный, неподдельный народный язык, ярко характеризующий автора, строй его души, его отношение к жизни, и благородная душевная опрятность, порядочность, проявляющиеся и в том, как он пишет о встреченных им на жизненном пути людях, и мудрая житейская стойкость, не покидавшая его никогда. Читатель, ведомый неторопливым, обстоятельным движением мысли вспоминающего автора, сопереживает, приглашается к раздумьям строгим и скорбным, волнующим и вразумляющим, но никогда не озлобляющим. Тут невольно приходит на ум полузабытое слово — жития...

Пожалуй, можно все же сказать, что повезло памяти о роде Твардовских, о его истории. О какой еще семье России ее талантливые представители оставили так много живых, подлинных свидетельств, как об этой? Многие запечатлено в строках Александра Твардовского, известны воспоминания Константина Твардовского, подробно и полно повествует об этом в своих воспоминаниях о хуторе Загорье, о Родине и чужбине Иван Твардовский.

Иван Трифонович Твардовский разговаривает со своим читателем откровенно, мудро и доверительно: "Да, дорогой читатель, не усомнитесь, я пишу истинную правду". Тем он нам и интересен, а эта книга еще одно тому счастливое подтверждение.

Вера Иванова

Август 1995.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

На хуторе Загорье

Росли мы у отца

Зеленое подворье

У самого крыльца..

А. Твардовский

Не знаю, сколько было мне лет, когда я впервые услышал слова известной в свое время солдатской песни, которую нередко певал наш отец, к случаю, видимо, вспоминая своего отца-солдата — нашего дедушку Гордея Васильевича:

Шел солдат с похода,

Зашел он во кабак.

Сел солдат на бочку —

Давай курить табак..

Под влиянием этой песни и рассказов о судьбе и солдатской службе деда мне всегда рисовалась картина: пожилой солдат в серой, сдвинутой набок шапке, в шинели сидит на бочке, упершись ногой в пол, а другая — свисает с края бочки. Таким виделся мне дед, шедший со службы.

Гордей Васильевич Твардовский, как известно мне из рассказов родных и близких, родом был не смоленский, а откуда-то из западных мест Белоруссии, из Полесья. Солдатом в царской армии он прослужил около одиннадцати лет и, окончив службу, направлялся не домой, а на неизвестную ему родину сослуживца, такого же солдата со Смоленщины, где предстояло начать новую жизнь.

Правда, дошедшие до нас сведения несколько противоречивы. В одном случае утверждалось, что он — поляк, а в другом — что он лишь служил в Варшавской крепости. Так или иначе, на смоленскую землю он попал вместе с сослуживцем, который женил его впоследствии на своей дочери и, таким образом, стал ему не только другом, но еще и тестем. Сослуживец этот, Тарасов Илья, жил в деревне Барсуки Краснинского уезда Смоленской губернии.

Наша бабушка по отцу — Зинаида Ильинична — была намного моложе Гордея Васильевича, но их брачный союз оказался прочным — в Барсуках нажили они большую семью: несколько дочерей и сына Трифона.

Земельного надела Гордей Васильевич не имел. Кое-как приспособился к мастерству шерстобита, а потом к шерсточесальному делу, приобретя примитивную чесальную машину на те гроши, что смог собрать. Поставил он ее в хате — больше некуда было, хотя и догадывался об опасности для здоровья своих домочадцев — шерстяная пыль взвешенно удерживалась в жилье, оседала в легких.

Единственный сын Триша, родившийся в семье последним, в отличие от рослого своего отца, был мелковат, невысок. Окончив трехклассную приходскую школу, наслушавшись всяческих сторонних, расхожих толков о судьбах мастеровых людей, он просил отца отдать его в ученики к кузнецу. Не сразу согласился Гордей Васильевич на настойчивую просьбу сына: опасался — кузнечное дело требует физической силы, а сынишка — так себе, не вышел... Однако, как рассказывал нам, детям, сам отец, его желание стать мастеровым человеком было так велико тогда, на четырнадцатом году жизни, что Гордей Васильевич не выдержал, жалко стало парнишку, уговорил, а точнее упросил известного в тех краях кузнеца Молчанова взять Тришу в ученики.

Но Триша оказался, вопреки суждениям близких, крепок, вынослив, быстр и легок на ногу — надо было стерпеть, выдержать, доказать и силой, и сметливостью полезность своего присутствия в хозяйской мастерской. Так он прожил полных семь лет. Однако профессия ему была по душе. Где-то на горизонте представлялось житье в достатке.

Но, чтобы начать собственное дело, всего этого было мало. Требовалось и помещение, и кое-какое оборудование, и первейший, необходимый мелкий инструмент. А как же иначе? Кузнечный мех, тисы, наковальня, приспособления дляковки лошадей и все прочее. И вот он берет к себе помощника — сына сестры Прасковьи, Спиридона Котлова, который тоже хочет стать кузнецом, и они, теперь уже вдвоем, открывают в деревне Босино, что близ села Сож на Смоленщине, кузницу. Там Трифон Гордеевич работает несколько лет. Будучи тогда холостым, помогает своим пожилым родителям, которые все еще живут в Барсуках.

В начале девятисотых годов он переезжает в деревню Белкино Переснянской волости

Смоленского уезда.

В одну из редких поездок в Смоленск (1974 год) мне посчастливилось встретиться с родными сестрами нашей матери — Анной и Еленой. Обе они были уже на восьмом десятке, но хорошо помнили вот такую историю.

— В году девятьсот четвертом или девятьсот пятом, — рассказывала Анна Митрофановна, — близ поместья Плескачи, в деревне Белкино, появился молодой кузнец, который снял в аренду кузнечный горн у хозяина-поляка. Ну, слухи такие прошли, что, мол, кузнец в мастерстве горазд, холост, опрятен и недурен собой. Поляк же, хозяин кузницы, был вхож в нашу семью Плескачевских. И он хорошо знал, что есть у нас девушки-невесты. Так вот, помню, однажды смотрим: кузнец, тот самый, вместе со своим поляком-хозяином пожаловали. Он-то, поляк, и отрекомендовал: "Прошу, дескать, уважать и жаловать — пан Твардовский Трифон Гордеевич!" Да так получилось, что невесты-то тут и были, трое, как одна. Тогда-то Трифон Гордеевич и высмотрел одну из сестер.

Маня Плескачевская, как назло, была не "на очереди" — ей исполнилось лишь шестнадцать лет. Но Трифон Гордеевич решил ждать сколько потребуется.

В 1906 году он женился на этой девушке, которая и стала нашей матерью. Трифон Гордеевич не был богатым женихом и потому представлял малый интерес для Плескачевских, захудалых, крестьянствующих, но все же дворян. Не получил он и значительного приданого за невестой. Семейную жизнь пришлось начинать, как говорят, "с мозоля".

По признанию матери, все же выходила она замуж за Трифона Гордеевича по собственному согласию — Трифон Гордеевич произвел на нее самое хорошее впечатление, понравился ей. О том же, как могла сложиться ее семейная жизнь, по молодости и неопытности своей она представляла весьма туманно. Не знала, не могла угадать, что под внешней пристойностью поведения Трифона Гордеевича скрывается неровный и сложный характер — предстояло изведать и огорчения, и даже разочарования. Известную роль в этом, видимо, играло и то, что детство и юность ее прошли в семье, где экономические трудности были неведомы, и потому, отчасти, отношения между молодыми супругами начали мрачнеть чуть ли не с первого года их совместной жизни.

Отчаявшись встретить сердечное отношение к себе со стороны тестя, Трифон Гордеевич, не скупясь, высмеивал его за казавшуюся ограниченность, безволие, чрезмерную зависимость и подчиненность теще. Заочно называл тестя не иначе как «Митрофанушке» и никогда, как это должно было бы быть, — Митрофаном Яковлевичем. Если, например, наша мать возвращалась с побывки в своей родной семье, то отец спрашивал примерно так: "Ну, как там твой Митрофанушке?" Мать не могла не чувствовать обиды от этих слов в адрес ее отца, что являлось причиной очередной размолвки. В 1908 году, там же в Белкине, родился первенец — сын Константин, а в 1910-м, как раз в том году, когда отец купил в рассрочку участок пустовавшей земли, вошедшей впоследствии в деревню Загорье, родился Александр.

Елена Митрофановна, самая младшая сестра нашей матери, рассказывала мне о первом годе жизни на участке в Загорье, который был крайне одичавшим, заросшим всевозможным кустарником и усеян пнями — никаких признаков хотя бы былого земледельческого труда. Отец работал там наездами, когда не было даже временки для жилья, и ей, тогда восьми-девятилетней девочке, присматривавшей за двумя ребятами, приходилось расстилать одеяльце под телегой — на цыганский манер. Мальчик Костя уже ходил, а Шура был грудным младенцем.

Несколько лет, до постройки нового дома, жильем нашей семье служила старая избушка, купленная где-то на стороне. Дедушку Гордея и бабушку Зину отец перевез из Барсуков к себе в Загорье, и семья стала состоять из шести человек.

Избушка и в дальнейшем долго еще служила: на моей памяти была она и амбаром, и погребом, а в летнее время — ледником, для чего ранней весной туда закладывался и утрамбовывался мокрый снег. Для нас, детей, та избушка была неким таинственным местом, и в одиночку входить в нее было жутко. Причиной таких чувств были, видимо, подслушанные рассказы отца о том, что нашему дедушке якобы случилось в ней видение: черный козел лакал из кровавой лужи. Воспринял он это как сигнал о близкой и неотвратимой кончине и рассказал отцу. Тогда же он почувствовал себя плохо и через трое суток умер. Но сыновний долг велит мне упомянуть, что отец наш никак не являлся суеверным и если рассказывал подобное в кругу соседей, на посиделках, то лишь улучив минуту как бы повышенного спроса слушателей на что-либо остроэмоциональное. Как я понял позднее, рассказы его чаще всего бывали импровизацией на реальной основе, где реальность служила как бы началом повествования. Слушали его с трепетным вниманием, что и было рассказчику желанной наградой.

По рассказам матери, отца и тетушек по материнской линии, дедушка Гордей был необычайно нежен и добр к детям. Сам я его не помню, он умер, когда мне было два года, но слышан, что, будучи глубоким старцем (было ему уже за девяносто), дед с искренней отрадой подзывал к себе малыша, брал на руки и, одновременно притопывая ногой и похлопывая ладонью по мягкому месту ребенка, начинал свою древнюю солдатскую песенку:

И шумит, и гремит,

Дробный дождик иде.

А кто ж мене молоду

Дай до дому доведе?!

Все это, как рассказали родители, коснулось и моего младенчества, но многими свидетельствами родных отмечено особенное влечение дедушки к внуку «Шурилке». Часто и подолгу рассказывал дедушка внуку истории из солдатской жизни, о битвах, о героических подвигах русских солдат на войне. Смерть дедушки для шестилетнего Шуры была тяжелой утратой.

Поначалу отец пробовал открыть в Загорье кузницу маленькую, холодную. Ту самую, о которой в поэме "За далью — даль" будет сказано:

На хуторском глухом подворье,

В тени обкуренных берез

Стояла кузница в Загорье,

И я при ней с рожденья рос.

Эту кузницу, которую отец соорудил, когда Шуре исполнилось всего, может, год-два от роду, я тоже помню. То было жалкое строенье у самой межи с соседским участком братьев Ивановых, площадью всего метра три на четыре. Собирали его из разного подсобного материала, то есть не из бревен и даже не из бревнышек, а из всего того, что по нужде идет в дело: и плаха, и жердь, и тесина, и завалящая рама — лишь бы можно было обойтись до поры до времени. Работал отец в той кузнице, видимо, от случая к случаю, так как молотобойца он не имел, да и заказчики в той глуши были далеко не всегда. В поэме "За далью — даль" есть об отцовской кузнице такие строки:

Я помню нашей наковальни

В лесной тиши сиротский звон.

Такой усталый и печальный  
По вечерам, как будто он  
Вещал вокруг о жизни трудной,  
О скудном выручкою дне  
В той небогатой, малолюдной,  
Негромкой нашей стороне,  
Где меж болот, кустов и леса  
Терялись бойкие пути,  
Где мог бы все свое железо  
Мужик под мышкой унести;  
Где был заказчик — гость случайный,  
Что к кузнецу раз в десять лет  
Ходил, как к доктору, от крайней  
Нужды, когда уж мочи нет.

"Заказчик — гость случайный" должен был выполнять и роль молотобойца. Постукивая ручником, отец давал понять, где и как нужно ударить кувалдой. Иногда приходилось и матери помогать отцу, беря в руки кувалду. Мне не довелось видеть отца работающим в той изначальной старой кузнице. На моей памяти она стояла заброшенной, и мы, дошколята, с любопытством заглядывали в окошко, порой проникали вовнутрь, ворошили остатки ржавых железок, пытливо гадали о назначении странных «молоточков» — зубил, бородков, гладилок, оправок, насаженных на удлиненные рукоятки. Все это казалось далеким прошлым, оставленным и забытым, и совсем как-то не верилось, что отец был кузнец. Потом эта кузница была снесена, на ее месте насадили дички яблоньки. В посадках, которые мы по-детски называли "наш сад", «питомник», Шура с упорным тщанием пробовал делать прививки, которые не хотели приживаться.

Это был период, когда в семье нас, детей, было уже пятеро. Отец целиком посвятил себя ведению хозяйства с земли — хотел испытать счастье земледельца, энергией и смекалкой окультурить свое «имение» и обеспечить достаток семьи. В отличие от его отца, безземельного пришлого бобыля, у него было право на землю, пусть малоудобную, кислую, но все же способную родить хлеб, картошку.

В занятиях сельским хозяйством случались у отца удачи, но больше, пожалуй, было неудач. Семья еле сводила концы с концами: изнурительный труд на пашне в мелких болотцах, замшелых березничках, кочковатых полянках не вознаграждался желанным урожаем. На отвоеванных у кустарников нивах озимые подопревали, и их нередко приходилось пересевать яровыми. Но «пороха» у отца всегда хватало, и он, не щадя сил, упорно продолжал работать, облагораживая свое "имение".

Хозяйство отца было явно слабее, чем у некоторых соседей, хотя возможности, на первый взгляд, вроде бы были одинаковые. Но это только на первый взгляд, для неискушенных в сельском хозяйстве. Вообще же наш участок был во всех отношениях менее пригодным для земледелия, чем многие в округе. Дело еще и в том, что отец, личность увлекающаяся,

любил жить с интересом для души, что оборачивалось подчас ощутимой нуждой в семье. Приобретал, например, дорогостоящую лошадь, по возможности — породистую, рослую, с рысистыми данными, которую мог бы себе позволить купить лишь состоятельный хозяин, но никак не тот, у которого, как говорится, не хватает девяти гривен до рубля. Такая лошадь требовала особого ухода, хозяйственную пользу она вряд ли приносила, хотя на ней же и пахали, и возили. Других же, обычных рабочих лошадей у нас не было — держали всегда только одну.

Вставал отец рано, раньше всех в семье. Еще и день не начался, а его унесло вон куда! Так и мелькает его фигура среди наших лоскутных нив — на пашне, на целине. То там, то сям, сгибаясь, поправляет, переворачивает дернину — "перепреет — хоть пятнышко, да удобрит", — ногой, рукой придавит и — дальше... Остановится, туда-сюда оглянется: "Ага!" — застой воды заметил, туда понесло его — спустит. И все как-то споро, с желанием, с любовью. Такие утренние «прогулки» весной и летом совершал он как бы совсем не в счет своего рабочего дня.

Влияние отца в семье на нас, на детей, до определенного времени было несомненным, и мы с искренним уважением относились к его броской, завидной расторопности. Нам было лестно, что и лошадь наша не как у всех, а глядишь еще — рожь удалась отменная, что есть у нас и "сад плодовой: пять яблонь — пять сортов", и есть сажелка, где можно купаться. Но в глазах соседей мы выглядели странно: "все не как у людей".

Мой рассказ — о той "малой частице света...", которой давно не существует в ее прежнем виде, хотя частица самой тверди земной, конечно же, никогда не исчезнет — она там же, где и была, и никто никогда не сдвинет, не перенесет ее в другие широты.

Мы любили окружавшую нас природу и росли слитно с ней, впитывая в полной мере детские радости. Все стежки-дорожки, пригорки и задворки, кустарники и болотца, усадебные насаждения и наши немудрые строения были милы и дороги. Возле простенького, на один скат крылечка с лавочками стояли старые сосна и ель, почти сросшиеся у корней, с густыми, широкими кронами. Без этих деревьев трудно мне представить нашу загорьевскую усадьбу — так ярко они запечатлелись в детской памяти. Там, под кронами, пилились на козлах дрова, отбивались косы, на гладких нижних сучьях были развешаны грабли, веревки, косы. Тут же находились телега, плуг, борона. Место это содержалось в порядке, в чистоте. Тут даже в ненастье было сухо. Прямо на восток от хаты, под пригорком — водоем и колодец. Водоемчик шутейный, маленький, называвшийся у нас сажелкой, устроенный омутом, все же не без затейливости: в центре насыпной курганчик с кустарничками — и это было очень занятно для детей; чтобы попасть туда, нужно было уметь плавать или как-то придумать переправу. Детская фантазия позволяла называть это место "необитаемым островом", где можно было стать «Робинзоном». А сколько было всяких деревьев! И липы, и рябины, и березы, да и садик же за санным сарайчиком... Дальше, между гумном и яблоневым садиком, — рощица из осинок. Затем — "Поле под дубами", а там и "Желтая горка". В другой стороне, где кузница, — целая аллея молодых березок, тянувшаяся вдоль границы с соседями Ивановыми. Она была посажена старшим братом Константином и отцом.

На хуторе у нас все приметные места носили имена. "Поле под дубами" — при вырубках мелколесья были оставлены два дубка, как наиболее редкостные и ценные деревья. "Лужайка под раkitой" — крохотный лужок, где стояла старая раkита с округлым кустом приствольной поросли. Была еще и "Белая горка" — жиденькая рощица березок; был и "Большой луг". Эти места, конечно, до смешного малы, но в детстве воспринималось нами все это совсем по-особому.

Поднимали нас рано. Лишь самым младшим позволялось спать вдоволь. Пасти скотину, как помню, мать будила брата Шуру. В летнее время до привоза сена в сарай наша постель устраивалась прямо на полу, где мы все спали друг возле дружки на разостланных сенниках



— матрасах из сена или соломы. Укрывались одежками. О простынях не было и речи.

Чтобы скрасить тяжесть раннего подъема, мать начинала издалека:

— Шу-у-ра-а! Шу-у-рик! Сынок мой, проснись, детка мой! Солнышко уже взошло! Вставай, мой дорогой! Проснись, детка! Днем поспишь. Ну быстрее же, детка! Посмотри же! Петушки, воробушки, птички синички, все букашки, все жучки загудели, полетели, побежали кто куда! Ну вставай же! День начался!

Каждое хуторское хозяйство обходилось своим пастбищем, своими пастухами. Кто позажиточнее, нанимал пастухов со стороны, у нас эту работу выполняли дети. Шуре пришлось нести такую службу несколько лет, следующая за ним по возрасту сестра Анна помогала матери ухаживать за младшими. А младшие у нас были всегда.

Вставать рано утром тут горе. Детский сон сладок, особенно летом, когда нет сил даже сообразить, чего, собственно, от тебя хотят. Мать это хорошо понимала и, конечно же, жалела сына, но не показывала своей жалости. И не могу вспомнить такого случая, чтобы брат жаловался на судьбу, отнекивался, ставил бы какие-нибудь условия! Нет! Почесывая искусанные комарами, исцарапанные ноги, жмурясь от света, он становился на четвереньки, точно прислушиваясь к звукам околицы, хотел убедиться, что да, день начался, а потом уже и вставал.

Детство... "Играйте же, дети! Растите на воле! На то вам и красное детство дано!" — это строчки Н.А. Некрасова. Наше в меру яркое и в меру трудное, красное детство... Каких только не было эпизодов в буднях ребячьей жизни!

Шура и я. Мы играем в камушки на куче песка у колодца. Такие игры — обычное занятие детей тех лет. Поиграв, побежали с братом к гумну вприпрыжку, напевая что-то задорное. Было мне четыре года. Я с трудом попевал за ним, придерживая штанишки свободной рукой. У распахнутых ворот гумна, в тени на прохладном току, остановились.

В полумраке гумна стояла веялка. Мы подошли к машине. С замиранием сердца смотрели на нее. Мое внимание привлекла пара шестеренок, и я тронул их рукой. Тем временем Шура зашел с другой стороны, взялся за рукоятку, и... о, ужас! Машина застучала, заколыхалась, а я, крича и теряя сознание, упал на ток с раздавленными пальцами левой руки. Видя мои страдания, Шура тоже громко заплакал. Затем, опомнившись, схватил меня под руки и потащил в сторону хаты, к бабушке Зинаиде Ильиничне.

Бабушка Зина в нашей семье находилась постоянно. Случалось, что недолго гостила у своих дочерей, которые жили в разных местах Смоленской губернии своими семьями. И опять возвращалась, делилась новостями, впечатлениями и, как прежде, входила в жизнь нашей семьи. До конца своих дней несла она долю забот и дел, которые никогда не кончались. Нас тогда было в семье человек восемь. Младшему, Павлику, год от роду, но и он тоже считался едоком, как в шутку и всерьез говорили в те времена. В хате для бабушки отводился совсем незавидный уголок между русской печью и входной стороной. Был там устроен так называемый полук, а повыше что-то вроде полатей из нескольких досок, соединенных на одном уровне с верхом русской печи. Бабушка имела кое-какие вещи, бережно хранившиеся ею в небольшом сундучке. Они предназначались для того рокового часа, когда человека обряжают в его последний путь по земле. Бабушка, человек исключительной доброты, всегда знала, кто из нас где, чем занят, поел ли, одет ли как следует, есть ли на руках вязанки (варежки), кому нужно починить штаны или пальтишко. Беды наши ребячьи разделяла сердечно и оберегала, как могла, от гнева отца своим материнским правом.

Тогда же, увидев нас с братом в слезах и муках — а мы, подходя к хате, ревели в два голоса, бабушка встретила нас и домашними лекарствами облегчила нашу беду.

Случай у веялки оставил на моей руке отметку на всю жизнь, запомнился нам с братом навсегда. Не один раз мы вспоминали его. В последнюю нашу встречу, в Москве, в 1965 году, когда мы были уже пожилыми людьми, Александр Трифонович, взглянув на мою левую руку, сказал;

— Ну-ка, дай руку! — Коснулся моей кисти и вздохнул. И тихо — Наше далекое детство. Загорье. Бабушка Зина. Зинаида Ильинична...

В поле, где пасли скотину, я носил брату завтрак. Чаще это были наши смоленские ржаные лепешки, которые пеклись на сковороде из того же теста, что готовилось для хлеба. К горячей лепешке прикладывался кусочек сала или даже масла. Считалось, что такой завтрак хорош и сытен. Я охотно выполнял свое поручение — нравилось бывать в компании брата и других ребятшек-пастухов. Загорелые, босые, с выцветшими волосами, они ответственно относились к делу. Брат Шура любил общаться со сверстниками, а иногда даже и со старшими ребятами, что, между прочим, отцом и матерью нашими не поощрялось. Однако при каждом удобном случае он нарушал этот запрет.

Собравшись вместе, пастушата шумели, смеялись, рассказывали занятные истории, показывали ловкость и силу. У парнишек было пастушеское снаряжение: длинный кнут, самодельные рожки, трубы, в которые ребята безбожно громко трубили на все лады — уж очень хотелось им походить во всем на взрослых пастухов, в особенности — в игре на смоленском рожке.

Рожки недаром назывались смоленскими: играть так, как наш пастух, никто ни в каких других местах не умел. Такой мелодичной, прекрасной была эта музыка, что, бывало, если вдруг где-то заиграет пастуший рожок, человек замирал и слушал затаив дыхание.

Обязательной частью пастушеского снаряжения был, конечно, кнут. Длинные кнуты с маленькой рукояткой, с утолщением в начале назывались «пугой». Уж очень сильно, просто оглушительно, умели хлопать такими кнутами пастухи. Мальчонка с разбегу, отработанным жестом, быстро посылал кнутище-пугу вперед, затем оттягивал назад. Тонкий конец кнута, рассекая воздух, делал резкий хлопок. Звук этот раскатывался далеко по округе.

Когда я приносил лепешку, Шура клал ее на разостланную одежду, так же делали все остальные, и братия с шумом и смехом разделяла трапезу. Потом устраивались бои баранов, быков и даже коров. Схватки животных были опасны. Отцы категорически запрещали это делать, но пастушата не в силах были побороть искушение.

Проходило лето. Полевые заботы отступали, и мысли ребят уже обращались к предстоящему ученью, к книжкам. Правда, Шура читал книжки и летом, но меньше, конечно, чем осенью, зимой. Он и меня начал приобщать к чтению, когда мне было лет шесть.

Первое знакомство со школой у братьев Шуры и Кости состоялось в 1919 году в Смоленске. Однако учиться им там не пришлось — школа перестала существовать в том же году.

Время было трудное. Мечта отца — дать сыновьям образование в городе — не осуществилась, и ребята продолжили учебу в селе Ляхове, что от нашего хутора находилось в четырех-пяти верстах.

О школе и о самом селе Ляхове Александр Трифонович вспоминал в своей речи на Всероссийском съезде учителей 7 июля 1960 года. Всю жизнь он помнил учительниц-сестер Марфу Карповну и Ульяну Карповну, которые умели донести до сознания детей красоту и силу русского языка и литературы.

Уже тогда, в Ляховской школе, брат между сверстниками слыл «поэтом», хотя чаще приходилось ему слышать «стихотвор» или даже "стихоплет".

Отец, будучи человеком сложным, тоже подчас говорил, что, мол, лучше бы без этих выдумок, что это добром не кончится, а людям даст повод для всяких пересудов. В душе он был бы рад, если бы что-то получилось, но как ему было поверить, что сын и вправду станет писателем?

Зимними вечерами братья возвращались из школы. Управившись с делами по хозяйству, семья начинала жить другой жизнью. Читали книги, решали задачи, заучивали стихотворения. Во всем этом отец наш принимал самое серьезное и живое участие. Он был по тем временам довольно-таки грамотным человеком для деревни. Умел не просто читать, писать, считать, но и начитанностью располагал немалой. Знал наизусть массу стихотворений и полюбившиеся произведения мог, перечитывая заново, аналитически разобрать. Также обладал удивительной способностью устно перемножать числа, например, трехзначные на трехзначные, чему я до сих пор дивлюсь. Так что домашние занятия вечерами для всех нас были весомы и полезны.

Учился Шура легко. С учителями складывались хорошие отношения. Порой они становились желанными гостями в нашей тесной хате.

После Ляховской школы, кажется, с год Шура посещал Егорьевскую, которая была ближе к нашему дому, но почему-то значилась за другим сельсоветом. Здесь, в Егорьевской школе, работали приехавшие откуда-то издалека учителя отец и сын Поручиковы — Илья Лазаревич и Иван Ильич. Они были близкими нашими друзьями. Дружба и возникла-то потому, что люди эти заинтересовались одаренным учеником и пожелали познакомиться с его родителями.

Была у нас в те годы небольшая, топившаяся по-курному баня. Учитель Иван Ильич с благодарностью принимал предложения отца побывать в бане. Так вот тогда, в начале двадцатых годов, по субботам, отец впрягал в сани лошадь и подъезжал к школе. Занятия уже обычно заканчивались. Возвращался домой отец вместе с учителем и Шурой. Субботу ожидали. Субботу любили. И было что-то необыкновенно интересное для нас, тогда еще совсем малых ребят: слово «учитель» содержало какое-то таинственное величие, и мы готовы были без конца рассматривать и слушать этого человека.

Зимой отец направлял нас в баню прямо по снегу босиком. "Никакая хворь не пристанет, если вот так смело босиком ступать по снегу", — говаривал он. Частенько рассказывал нам про дедушку Гордея, который не признавал рукавиц в самые студеные дни. В бане отец приказывал:

— А ну-ка, сукин кот камаринский, ложись! — И по ногам, по спине хлестал веником так, что мать моя родная! Уж, бывало, не до шуток, уже и дух на исходе от усердия родительского, а он спокойненько: — Назвался мужчиной!..

Гость и хозяин, раскрасневшиеся, возвращались из бани, и к их приходу на стол подавался самовар. Зажигалась висячая лампа. В те годы еще не отказывались и от лучины или какой-либо коптилки, но когда в семье оказывался уважаемый гость, полагалось подчеркнуть это и более ярким светом.

Нам, младшим детям, мне и братишке Павлику, так хотелось быть за столом вместе со взрослыми, но это не всегда дозволялось. Чаще приходилось в таких случаях сидеть на печи и, затаившись, вслушиваться в беседы старших, ожидая, когда мать вспомнит и позовет к столу. А чай был необыкновенно хорош и ароматен, хотя, кажется, настоящего-то чая как раз и не было — припасался с лета малиновый или же липовый цвет, а то и вовсе поджаренная морковь. Маленькие, расколотые специальными щипцами кусочки сахара были для нас, детей, настоящим лакомством.

Не помню, чтобы употреблялось хмельное, и потому беседы отца с Иваном Ильичом были и понятны, и интересны всем. Мы видели влечение Шуры к своему учителю — не сводя с него глаз, стоя и придерживаясь за спинку стула, он вникал в каждое слово Поручикова, который был хорошим, искренним собеседником. После чая Иван Ильич садился поодаль от стола и внимательно слушал, что говорил отец. Мне, тогда восьмилетнему, спустя более полувека уже трудно вспомнить, о чем шли беседы, но случалось слышать имена писателей, и чаще прочих — Некрасова. Не обходилось без обращения и к самим книгам. Бывало, отец брал том Некрасова, который мне запомнился отменным ярко-красным переплетом, с тиснением имени автора и форматом более укороченным, чем тома Пушкина и Лермонтова. Книгу эту отец всегда в таких случаях держал на руках раскрытой, прочитывал кое-что вслух, а прерывая чтение, опускал ее себе на колени, заложив пальцы между страницами. Костя и Шура слушали и лишь изредка подсказывали, если вставал вопрос о том или ином месте, странице в книге — они уже тогда знали ее от корки до корки.

Книг у нас было, по теперешним понятиям, совсем немного, и все они умещались на угловой полочке под образами святых угодников, хранимыми по традиции, хотя уже тогда никто в нашей семье не отбивал поклоны им. Книги и лежали просто одна на другой, а не в рост, как положено. Почему-то полочку эту называли угловым столиком. Кроме изданий сочинений Пушкина, Лермонтова и Некрасова, было у нас пять или шесть томов Данилевского, томик стихотворений Фета, книги Никитина, Кольцова, Дрожжина, Тютчева, а из прозы еще Гоголь, Помяловский, Аксаков, Жюль Верн. Часто у нас появлялись книги, принесенные со стороны, потому, возможно, часть перечисленных мною книг могла принадлежать не нам.

Имевшиеся тома Пушкина, Лермонтова и Некрасова читались у нас постоянно, при каждом удобном случае, и в будни, и в праздники. Приверженность к книгам отца и старших братьев сказывалась и на нас, младших, — мы знали много стихотворений наизусть за счет многократно прослушанных чтений. Из Некрасова я помню с детства отрывки поэм "Мороз, Красный нос" и "Русские женщины" ("Княгиня М.Н.Волконская"), из стихотворений — "Эй, Иван", "Железная дорога", «Тройка», "Колыбельная песня" и ряд других. Все это было любопытно для Ивана Ильича: в лесной глуши он встретил крестьянскую семью, которая жила, как говорится, "не хлебом единым".

Я упомянул лишь о том, что было нам хорошо известно из имевшегося у нас некрасовского тома (впоследствии я узнал, что это был второй том двухтомника Н.А.Некрасова издания 1914 года), упомянул потому, что именно произведения Некрасова проникли в глубину наших душ с особой силой. Отец же наш многие стихотворение даже пел. Я не знаю, как он находил к ним мелодию, но хорошо помню, что слова:

Осилило Дарьюшку горе,  
И лес безучастно внимал,  
Как стоны лились на просторе,  
А голос рвался и дрожал,  
И много ли струн оборвалось  
У бедной крестьянской души,  
Навеки сокрыто осталось  
В лесной нелюдимой глуши,—  
он пел больше тогда, когда чем-то бывал расстроен.

Много значило еще и то, что наша мать, Мария Митрофановна, была человеком остро чувствующим. И хотя сама она книг не читала в те годы — грамоты не хватало, но проявляла живой интерес к тому, что прочитывалось и являлось предметом обсуждения между сыновьями и отцом. Обсуждения же и беседы возникали у нас всегда, как только в дом попадала какая-то новая книга. Перечислить все произведения, с которыми мы познакомились в детстве, просто невозможно: имена Тургенева, Толстого, Достоевского, Гончарова, Горького, Мамина-Сибиряка, Короленко слышали мы с дошкольного возраста.

Теперь это вряд ли показалось бы чем-то необычным, но в те годы наша семья слыла как бы странной и ходили о нас всякие, подчас язвительные, толки и рассказы. И соседям, и родственникам казалось, что случавшиеся у нас материальные затруднения — результат зряшного устремления отца в «грамотные»; "туда же и детей толкает" — осуждающе говорили они.

Период, когда Шура учился у Ивана Ильича в Егорьевской школе, оказался особым в его отроческих исканиях. В том 1922/23 учебном году я не ходил в школу, так же было и в следующем — не послали, не было обуви, не было и необходимой одежды, и учился я возле братьев, дома. И дело шло не так уж плохо: я умел и читать и писать, хотя казалась мне такая учеба нерадостной. Каждый день с нетерпением я ждал прихода Шуры из школы в надежде услышать что-то новое. Помню, как принес он домой вырезанный то ли из какой-то газеты, то ли из книги снимок — портретик человека с глубоким, пронизательным взглядом, с окладистой бородой. Я впервые услышал имя Карла Маркса, о котором Шура тогда же поведал, что это великий вождь рабочих и трудящихся всего мира и что Ленин — продолжатель его учения.

Тот маленький газетный портретик Шура пытался как-то пристроить на стене, но без рамки показалось недостойно великого имени, и тогда он решил сделать рамку сам. Выполнить эту затею ему стоило немалых усилий — тяги к мастерству у него не было. Соединить углы ольховых палочек с помощью перочинного ножика долго не удавалось. Однако — не отступал: думал, прикидывал так и эдак и нашел-таки выход: соединил плотницким приемом «вполдерева» и закрепил шпильками. То, что концы несколько выступали, — дела не портило, а что кору он не снял — придавало изделию некоторую оригинальность. И портрет был вложен в рамку и повешен на стене над отцовским местом близ святых образов.

Отцу решили не говорить, — "Пусть сам увидит!". Ждали этого момента с напряжением, гадали: "Что скажет?" На оклеенной газетами стене портрет в рамке был хорошо заметен, и отец сразу же, как пришел, увидел его. Приостановился, молча смотрел. Качнув головой и тронув себя за ус, усмехнулся:

— Та-ак... Ну, что ж? А-а... Ничего. Пусть себе...

— Пап! Это — Карл Маркс! — уточнил кто-то из нас.

— Да вижу, вижу.

Благодаря Егорьевской школе, стали нам известны песни революционных лет и гражданской войны. Получалось так, что заученные Шурой песни сразу же начинали петь и в семье. Отцу это нравилось — любил он всякие песни, а новые пел с особым интересом. Так появились в семье тогда еще не всем известные "Мы — кузнецы и дух наш молод", "Марш Буденного", "Вихри враждебные", "Спускается солнце за степи", "Замучен тяжелой неволей" и другие.

А однажды, опять же из школы, Шура пришел в буденновском шлеме, какие носили красноармейцы двадцатых годов. Осталось тайной, как он ему достался: может, у кого-то выменял, может, это был подарок Ивана Ильича, — известно, что учительствовать он стал, демобилизовавшись из рядов Красной Армии, — шлем был не новый, и потому он был по-особому дорог Шуре: о гражданской войне, о красной кавалерии, о Буденном он уже

многое слышал и читал и теперь носил этот шлем с чувством решительной готовности стать воином Красной Армии. И песню "Мы красная кавалерия, и про нас..." певал волнующе-искренне, проникновенно. Петь же он любил, как и отец, и хотя нельзя сказать, что обладал большим голосом, однако слух у него был отменный.

Помню, он первым в семье узнал и спел совершенно новую тогда для нас "Песню коммунаров". Песня эта посвящалась трагической судьбе группы коммунаров, которым предстояло для себя же копать могилу и быть расстрелянными на ее краю. Рослый юный Шура пел эту песню, стоя в кругу собравшейся семьи. Он был очень серьезен. Нас, слушающих в напряженном молчании, похоже было, он не видел. Его взгляд устремился как бы поверх слушающих, в воображаемую картину событий. Мягкий его голос и ясная дикция, окрашенные искренним сопереживанием, были покоряющи, его хотелось слушать и слушать. В такие минуты мы забывали обо всем — все повседневные дела, все трудности жизни отступали, и семья подолгу сумерничала.

Можно сказать, что период учебы Шуры в Егорьевской школе отмечен был в нашей семье особой настроенностью, во многом связанной с именем Ивана Ильича. Думается мне, что уже тогда, под его благотворным влиянием возникла у брата мечта и вера в возможность стать писателем.

Отец наш, бывало, раскрыв тетрадь сына с диктантом, вглядывался с прищуром, и на лице его светилась улыбка: радостно было видеть хорошие отметки.

— Ах ты, сукин кот! Ай да ты, мой «писатель»! Да ты, брат, правда же молодец! Э-э! Вон оно что — "отлично, пять". А тут что? «Пять» с крестом, с плюсом, стало быть, больше чем «пять». О да-да-а! Хорошо! Но вот это... писать бы надо все же покрасивее! — И он обращал уже и наше, младших, внимание на написанное рукой Ивана Ильича слово «отлично». — Вот так надо стараться писать, вот! Ведь смотри, красота-то какая! Ну что ж, все равно хорошо! Молодец! Похвалу отца брат воспринимал сдержанно, не выказывая особой радости.

Одаренность Александра была понята отцом значительно раньше, чем стали замечать ее и тем более признавать на стороне. Даже самые ранние его стихотворные опыты не прошли мимо внимания отца. Одной из них было то подражание «Вурдалаку» Пушкина, которое сам Александр Трифонович впоследствии припомнил в своей "Автобиографии":

Раз я позднею порой

Шел от Вознова домой

Трусоват я был немного,

И страшна была дорога

На лужайке меж раки

Шупень старый был убит... {1}

Михаиле Матвеевич Вознов доводился нам дядей — его супруга Екатерина Митрофановна являлась родной сестрой нашей матери. Возновы жили в деревне Ковалево, как раз на полпути от нас в Ляхово. Вот, возвращаясь из школы вместе с двоюродными сестрами-сверстницами Верой и Фрузой, Шура часто заходил к ним домой, где, беседуя с дядей Михаилом, задерживался порой допоздна. Михаиле Матвеевич был очень религиозным человеком и с усердием пытался внушить детям-школьникам, как своим, так и прочим, мысль о необходимости верить во всемогущество Бога. Какое-то короткое время Шура находился под влиянием тех бесед и перед сном старательно пробовал молиться. Отсюда можно думать: "Трусоват я был немного, и страшна была дорога..." — результат его

детских впечатлений от бесед с дядей Михаилом.

Я не помню, были эти стихи записаны им или нет, но дома их все как-то сразу запомнили. Отец же, когда услышал их, был глубоко удивлен и, хотя не делал каких-то далеко идущих выводов, все же, как мне известно из рассказов в семье, пообещал сделать сыну подарок. Сколько я помню, та "заветная книга" — том стихотворений Некрасова, которую Александр всю свою жизнь берег и возил с собой, и была обещанным подарком.

Сначала в семье никто не знал о его увлечении. Первым заметил отец, который обнаружил на чердаке хаты запрятанный под стрехой сверток исписанных листов почтовой бумаги. Произошло это на моих глазах каким-то утренним часом, в весенне-летнюю пору, когда Шура, наверно, был в поле со скотиной. Отец вошел в хату со свертком и показывал его матери, которая хлопотала возле топившейся печи. Он что-то говорил, утверждая, что «работа» Шуркина, а мать слушала с удивлением, прикусывая губы и качая головой, как бы не зная, что сказать: то ли это хорошо, то ли нет.

Помню, что почтовая бумага была у нас в двух пачках, довольно толстых. Из них Шура и брал постепенно, по мере потребности. Пачки убывали, и отец огорчился — бумага не дешева. Прочитав написанное на листах, он сразу же понял, что это сочинительства сына.

Еще выделялся в семье Шура особой приметливостью и выдумками. Ему не стоило труда придумать прозвище, кличку, заметить странность или новизну услышанного слова, которое он сразу же запоминал, а затем и употреблял в разговоре со смехом. Вот как-то послали его к соседям Савченковым одолжить соли. Был он одет во что-то с плеча старших, не на него сшитое, подпоясан ремнем. В пути попался валявшийся обрывок проволоки, он его поднял и тоже обвернул вокруг себя поверх ремня. Когда же пришел к Савченковым, то их старик, Иван Михайлович, инвалид, занимавшийся столярным делом, прекратив работу, долго и молча глядел на вошедшего «трихваненка» (многие из соседей называли нас "трихванятами") и потом произнес как бы в задумчивости: "Ремнем и дротом подпирязан!" И вот то, что старик ничего больше не сказал, а также услышанное впервые слово «дрот» Шура не пропустил мимо ушей, а сразу же запомнил и очень смеялся, радуясь этой находке. Еще больше его удивило слово «подпирязан» вместо «подпоясан». В другой же раз, тоже возвратясь от Савченковых, он рассказывал:

— Поглядел на меня Иван Михайлович, проковылял от верстака к порогу, снял с гвоздя свою бекешу и стал одеваться. Он сначала повернул эту бекешу, осмотрел, что-то ногтем поковырял возле застежки, оделся, вышел. Вскоре возвращается и, постояв у порога, говорит длинно так, с расстановкой: "Звезды-ы я-ак ко-озы". Понимаете, небо, звезды и... козы! Ха-х-ха! Откуда же козы? А-а! Значит, он где-то видел коз на лугу, и, наверно, они были маленькие и большие. Но все равно неправильно это! Звезды не похожи на коз! Ну и Иван Михайлович! И чего он только не придумает!

Так потом и повелось у нас, если приходил кто из своих с надворья, то у него непременно спрашивали: "Ну как там, есть козы на небе?" Или: "Ну что там? Звезды як козы?"

Жителей Заднепровья у нас почему-то называли «торбулями». Соседи же Савченковы переселились в Загорье из деревни Немыкари, что была где-то там, в Заднепровье, а потому прозвище это укрепилось и за ними. Так вот, слово «торбули» не давало покоя брату: по какой такой причине их так называют? Объяснение, что прозвище возникло от слова «торба», что, дескать, ходили с сумой, он отверг, так как название деревни «Немыкари» намекает на то, что жители не мыкались, то есть не мыкали горя. А вот в слове «торбуль» — окончание «буль», не иначе как от «булькать» — пускать пузыри.

— Значит, получилось, видимо, вот почему, — говорил он, — там река Днепр. Река большая. Кто-то, наверно, переплывал реку с торбой. Ну и... утонул. А раз он тонул и торбу не бросил,

то из нее булькали пузыри — буль-буль-буль. И получился "торб-буль"! — смеялся. — Вот оно что!

Я пишу эти строки, будучи уже стариком-пенсией. Задумываюсь над тем, чье же все-таки влияние на развитие мальчика, которому суждено стать поэтом, было в семье главнейшим? И если бы спросили меня по самому строгому счету, ответил бы, что в основном это было отцовское влияние. Природные задатки — другое дело, но и в них немало отцовского. Матери нашей, покойной Марии Митрофановне, в ту пору многое было просто неведомо, она вышла из семьи с узкими интересами, где книг, разговоров на отвлеченные темы не существовало.

Трифон Гордеевич человек очень сложный, в его характере щедрость уживалась со скупостью, доброта с безучастностью. Трудно даже сказать, чего было больше. Спокойным, славящим Бога за то, что есть, он никогда не был — искал, гадал, рисковал. Но все же кто, как не он, научил нас видеть красоту родного края, умению удивиться, понять, полюбить песню, присказку, одарить похвалой плясуна, весельчака, рассказчика? И недаром об отцовской кузнице будет позднее сказано братом в поэме "За далью — даль":

На малой той частице света

Была она для всех вокруг

Тогдашним клубом, и газетой,

И академией наук.

А ведь родился он сыном безнадельного отца, учиться ему пришлось мало, года три. Значит, сам он по натуре был далеко не из тех, которым "лишь бы гроши да харчи хороши", если смог столь разносторонне обогатить себя знаниями и до конца дней своих сохранить живой интерес ко всему прекрасному. И это передалось его сыну.

Много эпизодов, которые до сих пор помнятся отчетливо, связано с дорогой на базар в Починок, с поездками туда вместе с отцом. Как правило, брал отец с собой того из нас, кто отличился чем-то хорошим — старанием в работе, безупречным поведением, умением что-то смастерить, то есть как бы поощряя за заслуги и ставя в пример остальным. Конечно, мы знали, что там, на базаре, придется сидеть на телеге и томительно ждать, пока отец не управится со своими делами, неотлучно присматривать за лошадей и поклажей. Обязанности такие не столь просты и легки, если день выдался жаркий и сохнешь ты на солнце, долгими часами вглядываясь промеж сотен торчащих оглобелей — не появится ли отец. Но все эти тяготы как-то забывались, и очередная поездка опять становилась заманчивой мечтой. Неудовольствием хотелось видеть что-то новое, неизвестное — жизнь за пределами хутора, разноликую массу людей. И еще, тоже немаловажно, отведать белой городской булки, да еще и колбасы, что непременно должно было случиться по завершении отцом своих дел.

Может быть, я уже не совсем точно приведу названия селений, через которые приходилось проезжать, но однако же помню Лучесу, Бесищево, Бердибяки, Петрово. В Лучесе было много деревьев, кажется, берез. Несметное число галочьих или грачиных гнезд прямо в деревне, возле хат. Отец никогда не проезжал молча через эту деревню. Он даже приостанавливал лошадь и любовался царством птиц, обращал внимание на особенность жизни этой деревни, ее людей, с одобрением отмечал, что эти — по-настоящему русские, раз они так любят природу. В Бесищеве, неподалеку от дороги, помнится, был какой-то парк или сад, довольно тенистый, через который проглядывал белый дом с колоннами у подъезда. И здесь тоже останавливался и без какой-либо зависти восхищался открывающейся картиной.

Что касается его отношения к людям, то тут надо признаться, что был он порой прямова, неосторожен и несколько высокомерен. Но любил и нелукаво уважал всякого, в ком видел деловитость, мастерство или трудолюбие. Лодырей и бездарностей открыто высмеивал.



В полутора-двух верстах от нас жил в деревне Селиба удивительный человек Николай Федорович Рыбкин — редкостный мастер. Семья у него была преогромная: куча-лестница сыновей-дочерей, а рабочих рук мало. Поэтому бедность одолевала его постоянно. Отец дружил с Рыбкиным и очень уважал этого человека, охотно общался с ним, ценил как самородка-механика.

В деревне Столпово проживал Лазарь Иванович Иванов. Был он балагур, песенник и плясун. Жил бедновато, а точнее, даже бедно, хотя и имел свою хату, какой-то небольшой надел земли. Но была в нем жизнерадостность, никогда он не унывал. Выпить, правда, любил, но больше не по пристрастию, к случаю. Знал множество шуток, частушек-прибауток. Нередки бывали случаи, когда он навещал отца, и тот, если даже был занят, ради этого человека прекращал работу. Потому как Лазарь Иванович был «доктор» — хандру снимал, желчность лечил. Он послушает тебя, упершись взглядом, взвесит грусть твою и... "Эх-х! Эх! Лапти мои, лапоточки мои!" — привстанет и притопнет, повернется, прищелкнет, на лице у него уже все что надо: работает каждый нерв, а слова так и льются, так и ловят душу — мертвого поднимут.

— Да, нечистая тебя побирай! — скажет отец. — Пстой, дай очнуться! И откуда ты берешь все это, Лазарь Иванович?

Куда там! Лазаря Ивановича не остановить. Заряд у него такой подоспел, и пока не выработает его, будет продолжать. Его скуластое лицо, щедро отмеченное возрастом, все так и играет, а сам он уже как бы вне земного притяжения, он на крыльях, он не имеет веса, он пляшет. Музыка? Все — он: передохнет, притихнет и снова:

Иа-ах вы, Сашки, вы, Машки мои!

Р-разме-еняйте бумажки мои!

А-а! Бумажки все новенькие —

Двадцатипятирублевень-кие!

Ох-о-ох! Я была молода,

Не ведала усталости труда!

О-ох! Ох! У-уу-у!..

Такие артисты-самородки и разыгрываемые ими сценки, заменявшие и цирк и кино, разнообразили и даже оздоравливали хуторскую жизнь. Взрослым они позволяли хоть на минуту сбросить с плеч тяготы жизни, а для нас, детей, были и вовсе ни с чем не сравнимы. Смотрели и слушали их с превеликим удовольствием.

Не могу удержаться, не сопережить, да и читателю хочу напомнить о милом, сыновнем стихотворении брата — "Поездка в Загорье", в котором он упоминает наших односельчан, в том числе и Лазаря Ивановича. Написано это стихотворение спустя полных десять лет со дня последней встречи брата с уголком детства и юности, где почти так же давно не было его кровных. Приведу отдельные строки:

Я окликнул не сразу

Старика одного

Вижу, будто бы Лазарь.

— Лазарь!

— Я за него...

Присмотрелся — и верно:

Сед, посыпан золой

Лазарь, песенник первый,

Шут и бабник былой...

И еще:

— Что ж, мы, добрые люди,—

Ахнул Лазарь в конце,—

Что ж, мы так-таки будем

И сидеть на крыльце?

В начале двадцатых годов кузницы у отца не было. Семья наша, состоявшая из девяти человек, продолжала жить с земли. В хозяйстве имели одну лошадь, две коровы, несколько овец. Но жилось трудновато. Хлеб был постоянной проблемой. Рожь, основная хлебная культура, на нашей земле редко удавалась, и отец вынужден был пересеивать озимые яровыми — ячменем, гречихой, овсом. Веснами несколько лет подряд мы бывали без хлеба. Перебивались всякой зеленью, вместо хлеба шли затируха, драники и все такое. Питались, как в шутку говорил отец, "акридами и диким медом" {2}. Хорошо помню, что весной 1923 года продали платяной шкаф и комод, так как иного выхода не видели. Вещи эти были, пожалуй, единственные, которые как-то облагораживали наше жилище, но бесхлебица принудила отдать за муку. Купил эти вещи наш родственник из деревни Ковалева — Вознов.

— Черт с ним со всем! — говорил отец. — Не пропадать с голоду!

А потом и продавать уже нечего стало. Ходил отец однажды из угла в угол, курил махорку, думал. В такие минуты все затихало, чего-то ждали, надеялись, потому что знали его натуру, помнили им же сказанные неоднократно слова, что безвыходных положений не бывает. Тогда-то он вдруг остановился и объявил:

— Всё! Иду в люди! Руки мои еще здоровы!

Выражение "в люди" он знал из сочинений Горького, свои слова — "руки мои еще здоровы" — говаривал нередко, если предвиделась нелегкая работа. Откладывать сборы не любил. Утром следующего дня мы расставались. Всех он перецеловал, каждому что-то успел сказать, хотя бы просто "Будь молодцом! Не горюй!" — и ушел. Удаляющуюся его фигуру, видневшуюся на травянистой дорожке вдоль межи, мы долго провожали взглядом. Уже чуть заметной была его покачивающаяся голова за пригорком, потом и совсем скрылась, но мы все смотрели и смотрели туда вдаль, как бы боясь повернуться и увидеть опустевшее его место у окна.

Недели через две отец возвратился домой — семьянин он был заботливый: спешил дать знать, где нашел работу и что ожидается впереди. Настроение у него было приподнятое. В деревне Мурыгино, что была где-то по Рославльскому шоссе между Починком и Смоленском, неподалеку от деревни Колычеве, в которой жила его родная сестра Евдокия, он работал теперь исполу, в хозяйской кузнице, у некоего Абрама. Молотобойцем у него был хозяйский сын, мечтавший стать кузнецом. Отец удовлетворен. За эти первые недели он успел кое-что

заработать — принес связку баранок, немного сала, несколько рублей денег, узелок крупы. Радости нашей не было конца: все мы чем-то одарены, как-то отмечены. Всего же дороже было то, что отец остался доволен найденным местом. Ковал он там лошадей, зубил серпы, правил крестьянские топоры — все работы он хорошо знал. Дела нашей семьи заметно улучшились. Так и пошло: каждую субботу Костя впрягал лошадь, ехал в Мурыгино и привозил домой отца с гостинцами. Воскресные дни стали похожи на праздники.

Так с весны 1923 года до осени 1925 работал отец в чужой кузнице. По неделе, иногда по две кряду он не бывал дома. Период этот воспринимался просветленным, обнадеживающим, жить мы стали лучше. Не помню уж, то ли выпивал малость, то ли нет, но каждый раз, приезжая домой, он от души пел. Там, в Мурыгине, он узнал новые для него песни "Ты крапива, ты зеленая" и "Жили чумаки". Как одну, так и другую он певал по-белорусски, как довелось ему слышать. Матери не нравилось, когда он употреблял приставку «ти», а также слова «бяды», «гады» ("Жили чумаки тридцать три гады, не видали чумаченьки над собой бяды"), но он считал, что нужно петь именно так, как поется песня в народе, с характерными особенностями местного говора.

Но прежде всего, по приезде домой, отец начинал подробнее излагать, как для него прошла неделя, какие случились заказчики, как он подковал чью-то там норовистую лошадь, на спор, не заводя ее в ковочный станок. "Да, был риск, но сумел подойти... дала ногу, — рассказывал он, — все так и ахнули!"

Об этих событиях он мог рассказывать с таким жаром, так входя в историю минувшей недели, что казалось — и сам он с интересом прислушивался к своей импровизации, перевоплощаясь то в образ заказчика, то хозяина, а то и чуть ли не в норовистого коня, позволившего ему подковать себя без станка.

Дома все работы вместо отца выполнял Константин, а Александр по возможности помогал ему. Прежнюю свою обязанность — пасти скотину — он передал мне. Осенью того же 1923 года он стал учиться в Белохолмской школе-девятилетке. Константину тогда было шестнадцать, — тоже надо бы учиться и парень он способный, но... был он старший, должен заменить отца: и косить, и пахать, и сеять, и все прочее делать в хозяйстве. Нес он эту ношу исправно — все умел, все успевал и не роптал на свою судьбу. Очень хотел и всячески содействовал тому, чтобы хоть Александр продолжал образование.

Как жилось Александру там, в Белом Холме, какие успехи были у него в учебе, какие были там преподаватели, рассказать я затрудняюсь. Скажу только, что в семье остро ощущалось его отсутствие, мы скучали, ждали дня его прихода домой, но почему-то вспоминается: дома он бывал редко. Объяснить же это можно лишь тем, что он уже тогда, в свои тринадцать — четырнадцать лет, всячески старался как можно меньше пользоваться материальной поддержкой семьи, пробиваясь порой чем придется возле друзей-однокашников. Был дружен с братьями Сиводедовыми — Василием и Георгием. Василий был старше Александра года на четыре, а Георгий почти такого же возраста. Сиводедовы родом из деревни Старо-Ханино, что в ельнинской стороне. Иные воскресные дни проводили у них.

В конце января 1924 года пришел Александр в Загорье с Василием Сиводедовым. Вечерело, подмораживало. Приход их был неожиданный, и первое, о чем поспешили сообщить, было то, что умер Владимир Ильич Ленин. Они принесли с собой газету небольшого формата, в которой было напечатано об этом. О жизни страны и столицы мы узнавали тогда с запозданием — радио было только, кажется, в городах.

Летом 1924 года Александр еще не знал, что учеба его надолго прервется — Белохолмская школа должна была закрыться. В какой-то из праздничных дней июня или июля он собрался идти в Белый Холм. С собой взял и меня. От Загорья Белый Холм находился верстах в семи-восьми. Не помню, был ли сам Александр во что-либо обут, я же шел босой. Пройдя

Ляхово, мы свернули с большака влево и пошли по белой пыльной дороге, лежавшей среди увалистых полей колыхавшейся ржи. Дорожная пыль была мелкой, текучей, как цемент, нестерпимо горячей, но по узким обочинам, поросшим травой, идти было не лучше.

Наконец показался Белый Холм — между деревьев белели здания. Александр, видимо, знал, но не спешил сказать: в тот день в Белом Холме проходило нечто вроде гулянья или ярмарки. Стояли торговые палатки, на площади — масса молодежи из окрестных мест, на лужайках играли, смотрели какие-то представления. Работали платные качели, все было наполнено праздничным гулом.

В тот далекий день в Белом Холме при встрече с однокашниками — рослыми ребятами, с девочками — брат оживленно и просто вступал в разговоры, улыбался, шутил. Девочки смеялись, кокетничали, а Александр еще непременно представлял и меня: "А это брат Иван! Знакомьтесь! — И ко мне: — Ну, Ваня, поздоровайся с девочками!"

Куда там! Моя голова уходила в плечи, а о том, чтобы что-то сказать, и думать было нечего. День тот мне запомнился долгим и трудным. Мне хотелось поскорее домой. Понимая мое смущение, Александр увел меня к качелям, где я первый раз в жизни испытал круговой полет.

В тот же день, побывав сначала у водяной мельницы и на берегу пруда, густо поросшего явором и камышом, отправились с несколькими знакомыми Александру парнями в бывший барский сад в Черневе, оттуда уже совсем другой дорогой пришли в Ляхово. Здесь в небольшой лавчонке частника Гайдомовича торговала молоденькая дочка владельца, с которой Александр, даром что было ему всего лишь четырнадцать, беседовал как заправский молодой человек. Потом он купил штучно несколько конфеток, попрощался, пожелав "не засидеться", и мы пошли. Несколько отойдя, сказал даже не мне, а для себя:

— Красивая, бестия! Но очень уж сама знает об этом, надо не надо, зубы держит на виду.

Последние три года жизни Александра в Загорье были нерадостны. Парень вырос, мечтал учиться, но школа в Белом Холме закрылась, учебу прервалось. Некоторым его сверстникам при содействии родителей удалось устроиться учиться в городах, кое-кто из наших же родственников отправился в Смоленск, а ему, и хотевшему, и имевшему все данные, такой возможности не представлялось. Угнетало его и то, что быть по-настоящему полезным дома он не мог: призвания к хозяйствованию, к деревенскому образу жизни у него не было. То, что приходилось делать по хозяйству, он, конечно, делал. Иначе нельзя было, живя в семье, но это не отвечало требованиям его души.

А семья жила по-прежнему трудно. Взять хотя бы избу. Тридцать с небольшим квадратных метров на девять, а в 1925 году на десять душ! Какие только не применялись уплотнения, чтобы как-то разместиться для сна! В маленькой спальне, впритык к кровати родителей — настил от стенки до стенки — «койка». Над кроватью полати, где спали Константин и я. Без сноровки взобраться туда было непросто: первому помогали снизу, придерживая ногу, второму помогал тот, кто оказался наверху... За печью, сразу от входных дверей — клетушка с настилом, кое-кто там спал тоже, хотя под ней нередко размещался в холодное время еще и теленок, а выше — спальное место Зинаиды Ильиничны, матери отца. Мне самому сейчас трудно представить, как же мы жили, хотя я нисколько не сгущаю красок.

Вот в таких условиях вырос, мечтал, активно участвовал в общественной жизни брат Александр. И комсомол, и Осоавиахим, и селькоровская работа требовали определенной организованности, внутренней дисциплины, а также и времени. Он должен был отлучаться, иногда не мог принять участия даже в неотложных работах по дому. Как это воспринималось нами и нашим отцом? Все мы по возможности шли ему навстречу. Было какое-то понимание,

что у него своя судьба, таилась какая-то надежда и вера, что его стремления, его чаяния не окажутся напрасными. Покривится, бывало, отец, что-то буркнет не слишком лестное для сына, да тем и ограничится. В душе отец не только любил Александра, но и гордился им. Напомню еще раз, что способности Александра были замечены отцом намного раньше, чем заметил их кто-либо на стороне.

Нет, препятствий Александру никто в семье не чинил, а брат Константин, как старший, работал, как говорится, за двоих и никогда не попрекнул Александра, хотя судьба Константина при иных обстоятельствах, может, тоже сложилась бы иначе.

Об этом периоде жизни брата многое рассказал А. И. Кондратович в своей книге "Александр Твардовский" (Издательство "Художественная литература", 1978).

А. И. Кондратович, имевший возможность пользоваться архивом Александра Трифоновича, ссылается на его дневниковые записи тех лет. Читать эти места в книге мне, родному брату поэта, мучительно тяжело, хотя упрекнуть автора в неточности я не могу. Верю, дневники у молодого Александра были и ссылки верны. Но, хочу отметить, не обошлось и без «акцентов» в стремлении представить Трифона Гордеевича самым что ни на есть несимпатичным образом. Надо прямо сказать, что и Александр не всегда бывал прав. И, как показало время, не лишен был противоречивости в течение всей жизни.

В автобиографии, например, Александр Трифонович ни словом не обмолвился о каких-то там чрезмерных жестокостях отца, не умалил и его познаний: „...Был человеком грамотным по-деревенски. Книга не являлась редкостью в нашем домашнем обиходе. Целые зимние вечера у нас часто отдавались чтению вслух какой-либо книги. Первое мое знакомство с «Полтавой» и «Дубровским» Пушкина, "Тарасом Бульбой" Гоголя, популярнейшими стихотворениями Лермонтова, Некрасова, А. К. Толстого, Никитина произошло таким именно образом. Отец и на память знал много стихов: «Бородино», "Князя Курбского", чуть ли не всего ершовского "Конька-Горбунка"”.

В книге "Александр Твардовский" Кондратовича приведено неоконченное стихотворение "О детстве и об отце". Написано оно Александром Трифоновичем в 1934 году.

Мне восьмой, не то девятый год.

Мне бы вдруг не упустить вожжу.

Батя спит, а шапка упадет.

Что я буду делать, что скажу?

Я не спал, я правил и смотрел.

Кнут был цел, все время цел...

— Батя, он был цел, лежал вот тут...

— Отправляйся и найди мне кнут.

— Батя, не пойду я. Темнота.

— Не моги вернуться без кнута..

— Батя, забоюсь я...

— Посвищи...

— Батя, не найдешь его..

— Ищи!

Да, действительно, эпизод описан "до щемящей ожесточенности". Просто страшно. Но почему-то никто из наших не припоминает этого случая, хотя, казалось бы, не мог он остаться тайной. Думается, что есть в книге Кондратовича авторское преувеличение. И нет, не опубликовал его сам Александр.

В книге есть и вольности в изображении внешности Трифона Гордеевича: "...Волос еще более черных, цыганистых" — о снимке 1944 года, на загорьевском пепелище, где вместе с Александром запечатлен наш отец. Отец наш был волосом рус, глаза светло-серые, усы-борода — рыжеватые.

Я не имею своей задачей критически разбирать всю книгу А. И. Кондратовича. Да и написана она не о Трифоне Гордеевиче. Но все же, читая в ней строки о нашем отце, испытываешь огорчение: то и дело наталкиваешься на неуместную фамильярность, очевидную предвзятость и неприязнь, которые я, как сын, достаточно хорошо знавший родного отца, не могу считать справедливыми. Например, о работе в кузнице А. И. Кондратович пишет: "Трифон Гордеевич уже совсем осатанел в работе, готов был часа не спать..." Или: "Работал озверело". Или: "Между отцом и сыном возникла вражда". Но мы — я, брат Павел, сестры Анна и Мария да и Константин — категорически не согласны со столь резкой характеристикой отца. А мы из-под той же крыши!

Со всей прямоотой должен сказать, что ничего «осатанелого» в нашем отце не было. Была нужда, были у отца ошибки, неудачи, была многодетная семья, и ее нужно было как-то кормить и одевать. Все мы работали не ради «жар-птицы», боролись со злыдней.

И еще. Откуда мог взять А. И. Кондратович напраслину-небылицу о том, что наш отец "раздобыл где-то лошадь и со всей семьей двинулся с Урала куда глаза глядят и проехал по неизвестным дорогам более тысячи километров, подрабатывая чем мог, пока не осел как кузнец в какой-то из вятских деревенок?" Все совсем не так.

Наша семья никогда не была религиозной. Когда мне исполнилось лет пять-шесть, запомнил, что бывал отец в церкви, на так называемой «Всенощной» — вечерней церковной службе в канун дней Пасхи. Любил он понаблюдать за исполнением самого ритуала, обрядового порядка. Правда, праздники религиозного календаря у нас справлялись, как у всех в те годы: Пасха, Рождество Христово, Троица, Успенье. Пасхальные дни, например, совпадавшие с весенним потеплением, с оживлением природы, были как бы кстати и отмечались торжественно. Мы, дети, ждали и подсчитывали дни, сколько до того желанного момента, когда стол будет накрыт по-праздничному, все будут отдыхать, каждому мать даст несколько крашенных яиц и можно будет встретиться с соседскими ребятами, обменяться подарками, поиграть в битки... Все это было заманчиво и интересно, так как иных развлечений в деревне не было. Вот и собирались малые ребята, подростки, юноши и девушки загорьевских хуторов на обширную усадьбу братьев Ивановых — Кузьмы, Алексея и Семена Ивановичей. Они доводились родными столповскому Лазарю Ивановичу, так что тоже в известной мере умели вести себя как-то разудало. Хотя все они жили небогато, избы их были просторные и сравнительно добротные. Разновозрастной молодежи, от дошкольников до женихов, стекалось туда больше чем достаточно. Начинались игры: в лапту, в чехарду, кегли. Бывали там и наши старшие — Константин и Александр, больше когда играли в лапту. Игра эта была очень модной в Загорье, и нередко принимали в ней участие уже совсем немолодые люди.

В зимнее время, по воскресным дням и праздникам у Ивановых, чаще у Кузьмы Ивановича, проводились вечеринки с танцами и плясками под гармошку. Приглашались туда парни и

девушки не только из загорьевских хуторов, но также из Сельца, Селибы, Ковалева, Столпова. Конечно, особых удобств там не могло быть — добрая половина из собиравшихся должна была толпиться у порога и в сенях, но танцорам и плясунам обеспечивалась возможность присесть на пристенных скамьях. Наши ребята, Константин и Александр, ни танцевать, ни тем более плясать даже не пытались — не умели и не стремились уметь. Александр на таких вечерах почти никогда не появлялся, видимо, еще и потому, что в те годы, в середине двадцатых, в воскресные дни он уходил на комсомольские собрания, что считал более важным. Вообще, к слову сказать, в нашей семье танцоров и плясунов не было, за исключением брата Павла, который за эту свою способность был поощряем отцом с самого детства.

Соседи Ивановы жили совсем рядом с нами. На три двора у них был один колодец, одно гумно, общее пастбище, и хозяйство свое они вели как бы сообща. Доставшийся им по наследству от отца участок земли был поделен полосами, но севооборот вели согласованный: поле озимых, поле яровых, пар в определенных местах для всех. Трудоемкие работы тоже выполняли сообща: покос, молотба, вывозка навоза на поля производились совместно. Это были наиболее маломощные хозяйства из всех загорьевских, а всего в Загорье было девять дворов. Самые богатые в Загорье были Яков Гриневиц и Иван Березовский, имевшие десятин по шестьдесят земли, много скота, постоянно державшие наемных пастухов и батраков. Остальные — Савченковы, Животковы, Худолеевы и мы, Твардовские, — считались середняками.

В 1925 году родился седьмой, и последний, ребенок у наших родителей, братик Вася. До него было нас шестеро. Мать уже тогда бывала очень озабоченной, а нам и невдомек, что она ожидает седьмого. И что ж такого? Ведь было ей в ту пору только тридцать семь лет. Но сама она, помнится, как-то сидя за шитьем, называла бедой, что нас так много.

— Ведь вот у людей — один-два, ну — три, ну — четыре! А тут — шестеро! Шесть ртов. И каждому дай, да подай, да найди, да помоги. Вот кручина-то, вот судьба! — Такие слова приходилось иногда слышать в минуты огорчений и сетований матери на свою судьбу. Она высказывала их как бы и не нам, порой, может, забывая о том, что мы слышим и что они очень горьки для детских душ, отзываются болью, но что было, то было. И надо понять, что причин для огорчений находилось у нее предостаточно: жилось трудно, а многодетность обостряла ту извечную материнскую ответственность, которая велит накормить, одеть, воспитать. И не было у нее ни спокойного сна, ни свободного дня.

И вот родился седьмой. Старшие уже были большие, и мать заметно стеснялась, переживала: "Что скажут? Поймут ли?" Те затаенные мысли матери первым понял именно Александр. Как самый близкий человек, он своим теплым, сыновним словом ободрил ее, напомнил, что рождение человека — святое право женщины, что лишних детей просто не бывает и что все мы рады появлению братика. Свое внимание он отдал озабоченной матери. Всех нас он собрал, позвали и отца, и, хотя мы все знали, начал с того, что "родился братик, что надо дать ему имя, что это должно быть нашей радостью". По его же предложению в честь неизвестного нам прадеда назвали мальчика Васей.

— А крестить, мама, не надо! Совсем ни к чему! — сказал он. И все согласились.

И был Василек нашим семейным любимцем. Рос он крепышом и смышленишем. К сожалению, судьба его сложилась трагически. Шестнадцати лет он добровольцем ушел на фронт. Закончил войну в звании лейтенанта ВВС. Бывал сбитым вражескими истребителями, имел несколько правительственных наград. Во время войны пробыл в воздухе более полутора тысяч часов. Но военные травмы не прошли даром — нервные потрясения вывели его из строя полноценных, он захирел душевно, и в 1954 году в городе Кургане покончил с собой, бросившись под проходящий поезд.

Как бы в назидание органам правозащиты и служения народу, должен рассказать следующее.

О трагической кончине Васи мы узнали только через год, в 1955-м. В линейной прокуратуре Кургана в то время оказались странные люди, которые уведомить родственников просто не догадались, хотя при нем, покончившим свою жизнь, были и документы, доказательно свидетельствующие, откуда он родом. Ни фамилия, ни отчество, ни то, что он смоленский, не натолкнули на мысль: "А не родственник ли погибший поэту Твардовскому?" Правда, сообщение было послано из Кургана по месту рождения, в Починковский район Смоленской области. Но и в Починке никто не догадался, что он, Василий Трифонович, из нашей семьи. И совсем уж случайно кто-то подсказал: "Так это ж загорьевский, наш, Гордиенков сын Васька, что у Трифона Гордеевича был последним, младшим. В Смоленске живут и мать его, и сестры, и брат Павел Трифоныч. Как же так?"

Александр Трифонович узнал от наших, смоленских, и сразу же дозвонился в Курганскую линейную прокуратуру. А там только развели руками: "Как могли знать?"

И вот я в Кургане. Прокуратура прямо при вокзале. Как и положено, прокурор линейного отделения был на службе. Все рассказал мне об этом происшествии, передал документы брата — на этом все и закончилось. Но никто не мог мне сказать, где был похоронен наш Василий — любимец всей семьи.

Побывал я на городском кладбище вместе со своей супругой Марией Васильевной, отыскиали мы сторожа, но указать место захоронения он не мог, не знал: "Вот, наверно, где-то тут, в общей, для нездешних..."

Постояли мы молча, поклонились курганской земле, как подсказало сердце. У могилы «неизвестных» срезал с тополя черенок, набрал пакетик земли курганской и увез на Смоленщину, к брату Константину. Тот черенок старший брат укоренил у себя в саду — в память о Василии. Теперь это уже большое дерево, молча хранящее память и частицу нетленности для нас, живых.

1924–1925 годы памяты мне многими деталями, относящимися к Александру и его интересам, уже тогда далеко вышедшим за пределы хуторской жизни.

То, что ученье его прервалось и он оказался в стороне от привычного школьного общения со сверстниками, коснулось его души угнетающей болью. Был он грустен, к домашним делам равнодушен, а если и принимал участие в хозяйственных работах, то лишь потому, что не мог отказаться. По-разному понимали это в семье. Бывали случаи, когда отец неодобрительно подмечал его пассивность в работе. Так ловко, как у брата Константина, который очень рано все умел делать по крестьянству, у Александра мало что получалось. Самостоятельно он не мог, например, запрячь лошадь и куда-нибудь поехать: в поле пахать или боронить, на мельницу или по дрова; верхом на лошади тоже не ездил, и получалось так, может, даже потому, что ему не очень доверяли лошадь, поскольку бывали у нас очень норовистые, горячие лошади. Да его и не тянуло к подобным работам. А вот дрова он умел хорошо колоть и охотно это делал — получалось как-то и просто и красиво: "га-ах!" — и готово! "Га-ах!" — и есть! Умел молотить в такт, как и полагалось при обмолоте цепями. Сходно косил, хотя вперед отца или брата не шел — "пятки чтоб не обрезали". Но в основном сельские работы делал механически. Мысленно он всегда был в ином мире, что не всеми и не всегда угадывалось.

Мать наша лучше чувствовала его душевное состояние. Она примечала в нем минуты печали и всегда была готова чем-то помочь. Стараясь вызвать в нем оживление, делилась любой малой житейской радостью. И хотя радости-то тех лет на обособленном хуторском дворе были крайне пустячные и едва приметные — вот посевы набирают колос, вот дождик выпал в



самую пору, вот с базара или с отхожего заработка отец приехал, вот сенцо сгребли, успели... — но и они поддерживали настроение, снимали тяжесть с души.

— Шура! Шур! — бывало, позовет его мать. — Да ты ж посмотри-ка, посмотри, какой бычишка берется! — И, поглаживая хоботок теленка, оказавшегося в тот момент возле хаты, она смотрела на сына, ждала: что скажет? Сама же старалась еще попридумать что-нибудь такое: — Ах ты, Брамчик-Абрамчик! Кличку-то ты придумал ловко! Просто лучше и не найти! Ей-Богу, правда! — И спрашивала: — А тот, Шура, бог Брама, ты говоришь, с рожками был? — И засмеется, рукой взмахнет: — Ой, Шура, Шура!

И, смотришь, засмеется Александр, склонит голову и покачнет ею туда-сюда. Он видел и отлично понимал стремление матери заинтересовать его чем-то.

— Ну, мам, ты-ы с хитрецей, право! Молодец ты у нас!

— Да нет же, Шур! Правда, я так подумала!..

История с кличкой для теленка Брама такова. Отец купил теленка-бычка у того самого Абрама в деревне Мурыгино, у которого работал в кузнице исполу. Тут же и «окрестили» бычка Абрамом. Но когда об этом узнал Александр, то посоветовал кличку изменить, посчитав бестактностью такое решение. И сказал что-то вроде: "Вдруг, случится, тот Абрам пожелает в гости к нам? Неудобно как-то!" Вот тогда-то, по его, Александра, предложению, и выправили кличку из Абрама в Браму по имени какого-то божества.

Вспоминается письмо брата Константина. Писал он мне с Кубани, где жил и работал вскоре после войны:

"Живем хорошо. Богачества нет, но едим вволю. Люди стали веселее. Есть у нас сыночек Василечек. Он совсем еще карапуз, ему лишь пять лет. Но вот, понимаешь, уже говорит и знает «трактор», «комбайн», «Победа», «радио» — и все ему понятно, все как и должно быть. А я, глядя на Василька, вспоминаю наше детство: ельник да куча песка у колодца, крашенные яички да день Пасхи. Вот и все, что видели и чем жили. До чего ж убогой была наша жизнь!"

Да, так оно и есть. Хотя знаю я и помню, что жили еще хуже, беднее нас. Ведь "тетка Дарья", о которой упомянул Александр Трифонович в поэме "За далью — даль", — это ведь тоже отзвук детства: Дарья Федоровна, жена нашего соседа Алексея Ивановича. Ее образ и ее имя как символ крайней бедности брат носил в себе всю жизнь.

Мне же в детстве казалось, что слова из некрасовской поэмы "Мороз — Красный нос": "Осилило Дарьюшку горе..." как бы предпосланы нашей загорьевской тетке Дарье.

Очень рано проникнувшись сознанием людского горя, тогда еще, в начале двадцатых годов, Александр достал где-то книгу рассказов С. Подъячева. Один из его рассказов, названный автором «Жуть», был прочитан у нас вслух. Надо думать, читал он его уже вторично, то есть сначала про себя, а потом уж для нас. В этом рассказе автор поведал читателю о себе, о своей жизни писателя-самоучки, жизни действительно жуткой. Все мы, слушавшие, были поражены беспощадной правдой той "Жути".

Появившиеся в двадцатые годы новые книги советских писателей: «Чапаев» Фурманова, «Цемент» Гладкова, "Железный поток" Серафимовича, "Дело Артамоновых" Горького, печатавшиеся отдельными главами в газете «Беднота», Александр читал с особым, самозабвенным пристрастием. Прочитывались все эти произведения также и Константином, а потом, случалось, братья обсуждали их между собой, делились мнениями. Втягивал Александр и меня в чтение и, помню, настоятельно советовал прочесть "Железный поток". Я тогда так и не осилил роман, что огорчило брата.

Перечислить все книги, известные четырнадцати-пятнадцати-летнему Александру, просто невозможно — их прошло через его руки до удивления много: и Гашек, и Чехов, и Демьян Бедный, и Сейфуллина, и Иван Молчанов, и Орешин, и, конечно же, Есенин. И совершенно точно, что чтение для Александра являлось не чем-то вроде времяпрепровождения, а именно главным источником познания жизни: прошлого, настоящего, грядущего.

Новые книги — книги советских писателей — значительно повлияли на Александра, расширили его кругозор и помогли понять бурные изменения, происходившие в стране, побудили к участию в общественной жизни, осмыслению событий. Его тянуло к людям, но не туда, где печатают пыль каблуками, а к друзьям-единомышленникам. К тому времени — он уже комсомолец, состоит в Кубаркинской, первой в наших краях, возникшей в середине двадцатых годов ячейке, участвует и в работах по оказанию помощи нуждающимся, проводившихся по решению комсомольских собраний, в различного рода молодежных вечерах. Начиная сотрудничать в газетах Смоленска. Наступал, пожалуй, наиболее активный период его сельской жизни.

Однажды случилось и мне побывать в Кубарках вместе с братом. Кажется, было это летом 1925 года, в самый разгар сенокосной поры, воскресным утром. Шли босыми через болото между Столповом и Никульчином, кратчайшим путем, прыгая с кочки на кочку, местами по торфянистой грязи. На месте, где предполагался сбор, я сразу заметил, что ребята пришли не на собрание, как думалось, а для работы — косить, какой-то вдове безвозмездно помочь. Было их человек десять — двенадцать, некоторые пришли с косами, а для тех, у кого их не было, собирали в ближайших дворах. Когда собрали, то оказалось, что все они совсем бросовые, старые, с «лопотухами», как называли тогда растянутость полотен. Но выбора не было, мирились с тем, что нашли. Александру досталась коса сильно сточенная, до обуха, «смелые» ее обошли, неохотно взял ее и Александр. С шутками, в сопровождении самой вдовы отправились ребята на луг. Слышались слова сомнения: "Накосим собакам сена такими косами!" На месте, уже на лугу, попритихли, получилось вроде заминки, но не надолго. Отступив друг от друга на примерную ширину взмаха косой и поплевав малость на ладони, начали косить. Александр отвел меня в сторону, тихо сказал:

— Ты, Иван, сиди-ка вот здесь! А дома, ты же понимаешь, ни слова! — И добавил, что так, мол, решили на собрании, что нужно помочь одинокой женщине.

Мне все было ясно, даже если бы он и не предупреждал. Я кивком головы ответил ему — «понятно», и он тоже принялся за работу. Прокос у него получался и ровный и чистый, сбитых верхушек не замечалось, косу заводил без взлета, как учил отец. И шел уже, тесня и подгоняя того, кто был впереди него.

Когда же первый косарь прошел до конца и возвращался на исходную линию с косой на плече, — это был складный веснушчатый здоровяк по имени Петр, — он остановился против Александра и выпалил, удивляясь:

— Эге-ге! Вон оно как! Вон как пишет! Вот тебе-й пан! А я думав, ты только умеешь стихи писать... Не вгадаешь по лицу! Вон как жучит!

И пошел дальше, продолжая говорить нечто в том же духе. Его слова были всем слышны, и они подогрели остальных. В разных местах отбивали и точили косы — каждому хотелось показать себя, не ударить лицом в грязь. Александр тоже заправски смахнул горстью травы налипшую травяную мелочь, бегло чирканул бруском по косе, перехватил ее рукой и опять начал сгонять траву с корня.

Среди дня принесли ребятам молока, хлеба. Было похоже, что молоко-то собрано с нескольких дворов, хозяйка-вдова что-то пыталась сказать, мол, не осудите, знаю — лучше бы сало да яичница, что обед жидковат, не для покоса, но... где же взять, где найдешь?

Никто, конечно, и не подумал ее упрекнуть, всем было ясно, что не в скупости дело. Поели, отдохнули, а затем добились-таки луг, положили полностью.

Возвращались мы домой под вечер, жара спала. Александр был заметно усталый, и чувствовалось, что в душе нес он как бы некую вину: дома-то тоже, может, спешили, что-то делали, поджидали — вот-вот подойдет... Нужно будет как-то объяснить отлучку, сказать, наверное, неправду, которая будет его мучить. Но отойти от товарищей, поступить иначе он не мог.

Однако отчитываться ему не пришлось: отца дома не было, а Константин понимал, что понапрасну Александр время не проводит и что лучше не мешать ему устраивать свою жизнь. Что же касается матери, то она верила в сына, в его ум и трезвость его мечтаний, в то, что все равно он найдет для себя верный путь.

Пожалуй, самый сложный и напряженный период жизни Александра в Загорье — после напечатания его первого стихотворения и первой встречи с М. В. Исаковским. То, что в газете рядом со стихотворением был помещен портрет брата, все мы считали большим событием, ничуть не меньшим, чем признание и зачисление его в настоящие писатели. Получалось так, что где-то там, в большом городе, его уже знали. Но сам Александр, по-моему, даже страдал, так как хорошо понимал предстоящие трудности.

То, что был сделан первый шаг за пределы хутора, то есть что свое имя он предал гласности, как бы обязывало оправдать эту гласность, доказать людям, что она не случайна. Значит, надо было что-то сделать, найти в себе силы для большего. Мы же газету буквально затрепали, разглядывая портрет, радуясь и печалься: портрет был не очень удачным, казалось, что в натуре образ брата был намного интереснее и представительнее.

Теперь у Александра появился близкий друг — Николай Долголев. Точных свидетельств о том, как они стали друзьями, дать затрудняюсь, но тут и так ясно, что Коля Долголев, тоже писавший и печатавшийся в смоленских газетах, не мог не заметить появления на местной литературной ниве нового имени, и не исключено, что хоть краем уха, но мог слышать нашу фамилию. Да и жил недалеко от нас, в деревне Огарково, что по прямой, через Одоевские болота, всего версты две. Так или иначе, но после опубликования стихов и портрета брата Долголев стал у нас часто бывать. Он писал стихи, и ему удавалось некоторые из них печатать в смоленских газетах, больше — в "Юном товарище".

Коля Долголев был очень скромным, почтительным и живым парнем. Несколькими годами постарше Александра, немного картавил. Познакомившись с нашей семьей, он, по просьбе отца, охотно читал свои стихи. Теперь я уже не скажу, не помню, какие это были стихи и о чем он тогда писал, но слушали мы их с большим интересом. В летнее время вечерами у нас подолгу не зажигали огня, и вот в сумерках, порой до полной темноты, вся наша большая семья проводила часы досуга то в слушании, то в беседе. То Александр что-то прочтет, то Николай, а мы, кто сидя, кто стоя, слушаем.

Но чаще встречи с Колей Долголевым проходили в предбаннике, где Александр на лето устроил какое-то подобие стола и где писал, отдавая все свое свободное время любимому занятию. Дверь предбанника, помню, всегда открыта — как единственный источник света. Терпимо там было лишь летом, но и тогда грустно смотреть: уж очень походил брат на какого-нибудь изгнанника или отшельника. Однако Александр мирился с этим, а когда заходили к нему гости, из каморки слышались смех, шутки, слова задушевных бесед.

Но если сказать правду, истинных друзей в загорьевский период у него было совсем мало. Несовпадение увлечений и интересов заметно отдалило Александра и от компании пастушеского детства, и от тех, с кем он вместе учился. После Белохолмской школы, кажется, не случилось встреч ни с Сиводедовыми, ни с кем-либо другим из однокашников. Не было

заметно, чтобы он вспоминал о них, не получал и писем. Ему было ясно, что угасание товарищества произошло по инициативе приятелей, которым повезло продолжить учебу — лишнее доказательство, что настоящей, истинной дружбы не было, а стало быть, и жалеть не о чем: друг проверяется в беде.

Дружба с Колей Долголевым была, казалось, надежная. В Огарково, к Долголевым, Александр наведывался часто. Жили Долголевы очень скромно, крестьянствовали. Отец Коли, если не изменяет память, Павел Федорович, слыл бывалым человеком, в молодости жил в Москве, там же женился. Мать была музыкальна, хорошо пела, играла на пианино. Раз или два Долголевы-старшие были у нас в Загорье: я хорошо помню, что Колина мать пела романс "Ночка темная, ночь осенняя".

Но ничто, видимо, не остается постоянным. Коля, как и Александр в те годы, образования не имел и очень сожалел об этом. Он уехал в 1926 году в Москву и больше уже никогда у нас в Загорье не появлялся.

Так Александр расстался со своим другом. Скучал, ждал письма. Но Коля не спешил сообщить о себе, очень долго Александр ничего о нем не знал. Потом стало известно: устроился в "Крестьянской газете", писать «пока» перестал — надо, дескать, учиться. В нашей семье всегда помнили о нем, при случае интересовались, как сложилась его судьба. Через много-много лет Александр, будучи в гостях у матери в Смоленске, когда как раз оказался там и я, рассказал вот что:

— Коля Долголев? Да, да, мой друг по жизни в Загорье. Да что же... сказать? Он уехал с твердым намерением писать и учиться, но, живя в Москве, решил по-другому: сначала получу образование. Так прямо и говорил: "Пока не получу настоящего образования, писать не буду!" И получил! Стал образованным человеком. Но тогда он решил, так сказать, первым долгом устроить жизнь, семью, удобства и так далее — крепко стать на ноги. "Потом уж точно засяду плотно!" А когда была и эта задача решена, то, видишь ли: "Отдохнуть надо. Столько напряжений, труда!" — брат усмехнулся, — ну, на том все и затихло. Поздно уже стало начинать сначала.

Осенью 1925 года, когда мне было одиннадцать лет, пришла и моя очередь — я пошел в школу. Вместе со мной, тоже впервые, пошла и сестра Анна, будучи двумя годами старше меня. Запоздали мы потому, что долго не могли найти для нас ни одежды, ни обуви, в которой не стыдно было бы показаться на людях. Дома же можно обойтись и как-нибудь. Грамоту мы уже знали — по настоянию отца нас учили дома старшие братья, в основном поручено это было Александру.

Учение сводилось к тому, что Александр давал задание что-либо прочесть из какой-нибудь книжки или же выучить наизусть стихотворение и рассказать. Таким же образом мы учились письму — переписывали по заданию Александра текст из книги. Так мы научились и писать, и читать неведомо как и когда — постепенно, возле старших. Все шло стихийно, само собой. К тому же, многого не хватало: не было нужных учебников, не было даже чернил, карандашей, перьев...

Я сам делал перья, то есть подрезал схоже по форме с металлическим гусиное перо, готовил себе из красной столовой свеклы «чернила», для чего тер эту свеклу и отжимал в тряпке сок. Делать их нужно было каждый день свежие, так как сок свекольный закисал, становился густым, тягучим и совсем не годился для письма. Это не было моим изобретением, но такое занятие — тереть свеклу, выжимать сок, своими руками делать перья и писать ими — мне нравилось как деятельность, как нечто из видов мастерства, к чему с младенчества я имел непреодолимое влечение. Я выбирал более темную в срезе свеклу, добывал сок и

принимался за «уроки» — переписывал из книг стихи, в основном А. Фета, из имевшегося у нас томика его стихов, радуясь прежде всего тому, что удачно смог сделать перо и оно не делает клякс.

Я был более свободным, чем сестра, которая постоянно помогала матери по уходу и присмотру за малыми детьми и по хозяйству, из-за чего она отставала от меня в «науках». Когда же мы оказались в школе, ее отставание стало сразу замечено, она не могла учиться, разочаровалась в своих способностях и навсегда оставила школу.

Ляховская школа в том году размещалась в помещицьем особняке, в парке за речкой, несколько на отшибе от большака и от самого центра села. Парк, в котором мы впервые увидели необычные деревья — каштаны, клены, древние липы, и белый трехэтажный особняк-дворец с ажурной галереей между корпусами произвели на нас сильное впечатление. Все здесь было не изысканным, не крестьянским, и казалось, мы попали в мир сказок. И ведь всего четыре версты отделяли наш хутор от Ляхова, а до этого дня мы и не ведали о чуде таком!

Меня и сестру посадили за парту второго класса, и сразу же была устроена проверка: чему мы научились дома. Те учителя, которые учили старших братьев, уехали, но и новая учительница, Мария Ивановна Кузнецова, знала нашу фамилию и даже спросила: где же Шура теперь? Учится ли? Потом она дала мне что-то прочесть, но не из букваря. Волнуясь, сдерживая дыхание, я бегло тараторил, пока не остановила меня учительница:

— Ну вот, совсем хорошо, пойдешь в третий класс.

Так я стал учеником Ляховской школы.

Как я уже упоминал, отец в начале двадцатых годов работал в деревне Мурыгино, в хозяйской кузнице. В то время созрело у него решение заново открыть в Загорье свою кузницу. Мысли такие у него возникли еще, может, и потому, что хотел он приучить к мастерству и Александра, который, по его тогдашнему мнению, был на шатком и сомнительном положении. "Стихи стихами, — рассуждал отец, — никакой гарантии на благополучное будущее они не дают, а мастерство и умение никогда не повредят!"

Осенью 1925 года начал отец строить кузницу. На старшего сына он надеялся как на хорошего помощника, "а глядишь, и Шурка втянется". Подвезли осиновых бревен, наняли плотников, и вскоре сруб был сооружен и обрешечен. Сложной задачей была крыша — не имелось подходящего материала. Нужен был тес, или дранка, или хотя бы щепы, но ничего такого сделать своими силами не могли. А купить не на что: денег было в обрез, только уплатить плотникам.

На какое-то время приостановилась вся работа. Сядет, бывало, отец, думает, рассуждает вслух: "Хорошо бы железом, надежно и просто! Хорошо бы и тесом, тоже бы без хлопот. Но где же взять-то? Вот загвоздка!"

Потом он наткнулся на мысль о глине: "А что, если глиняной болтушкой пропитывать солому? А? Что-то такое случалось слышать. Голь на выдумки хитра. Попробуем-ка!"

Обсудили, как это сделать, и сразу же "в ружье", — копать возле сруба яму. Выбросив на сторону верхний почвенный слой и углубившись, скоблили со стенок и со дна ямы крошево глины, заливали водой, мешали, толкли, пока не получалась жидкая, текучая болтушка. Сначала пробно окунали в нее снопы ржаной соломы, которые, булькая и сопротивляясь, нехотя тонули в жидкой глине, после чего крючьями цепляли за вязку, поднимали, клали на жерди один к одному для просушки и испытаний. Когда же убедились, что от спички уже хорошо высушенные снопы не загораются, то «журавлем» подымали прямо из ямы наверх и накрывали обрешетку, прижимая их друг к другу.

Выдумка это оправдала себя: кузницу покрыли. Правда, немного не хватило соломы, и возле конька фасада оставалась небольшая дыра, но это уже была не беда. "Ладно! — сказал отец. — Потом докроем!" Но «потом» так и не пришло — недокрытой осталась кузница до последнего часа нашей жизни в Загорье. Горн отец сложил сам. Из мелких инструментов у него сохранилось кое-что от прежних лет, а кузнечный мех и наковальню пришлось искать и покупать.

О наковальне придется упомянуть особо: была она музейной редкости, творением неких далеких мастеров. Литая, чугунная, в восемнадцать пудов весом, она формой своей мало напоминала те, что обычно используют в сельских кузницах. На передней ее стороне была рельефно, в литье, выполнена какая-то надпись, похоже, старославянскими буквами, но толком прочесть ее никто так и не смог. Установить наковальню на деревянной тумбе можно было только в специально выдолбленное гнездо, так как уширенного основания она не имела, наоборот, низ ее шел усеченным клином. Думаю, что для историков, если бы ее разыскать, она могла бы представлять немалый интерес, но для кузнечной работы она была малопригодна, так как ни должных кромок, ни необходимых отверстий на ее рабочей плоскости не имелось, и работать на ней оказалось крайне неудобно. Однако выхода иного не было — пришлось смириться с тем, что удалось найти.

Так осенним днем 1925 года мы вновь услышали в Загорье тот самый, воспетый много лет спустя братом "в лесной тиши сиротский звон", и из кузницы потянулся дымок.

В период работы отца в деревне Мурыгино Константин видел, как слаженно действуют отец с молотобойцем Петькой, сыном хозяина кузницы, и не раз пробовал подменить его. Брату хотелось испытать себя, да и доказать, что он тоже может не хуже. И действительно, когда он брал кувалду, то получалось у него и ловко, и хлестко, и точно, на что отец отвечал кивком головы, с малозаметной улыбкой. Основным помощником отцу стал, как и предполагалось, он Александр же, хотя и значился запасным, как раз тогда получил предложение заместить секретаря в Ляховском сельсовете, поэтому в кузнице был занят от случая к случаю.

Может, потому, что Константину довелось с малых лет много работать или же такова была сама его природа, но в рост шел он туговато, намного медленнее Александра. При разнице возраста в два года выглядели они близнецами, младший даже как бы перегонял ростом старшего брата. Но это только при беглом сравнении, а присмотревшись, можно было и тогда, в их юношеском возрасте, заметить, что у Константина и плечи пошире, и грудь поплотнее, и движения тверже — все подтверждало наличие силы. В работе, в играх, в упражнениях на турнике, в беге, в прыжках через всякого рода препятствия, в плавании, что тоже случалось, — во всех подобных состязаниях, какие только мог придумать отец, победителем всегда становился Константин. Что же касается борьбы, обычной, на деревенский манер — "руки накрест", как называлась она у нас, то тут не находилось из сверстников никого, кто бы мог хоть сколько-то продержаться против него, не оказавшись вскоре на лопатках.

Новая кузница стояла, как и прежняя, у самой межи с соседями Ивановыми. Этот период остался хорошо памятным. Отец метался по округе, собирал где только можно комлевую березовую кору, обычно с пней на вырубках. Обжигал ее особым методом в яме, томил без пламени, прикрывая землей и выдерживая до полного затухания, — получался уголь, пригодный по нужде для кузнечного горна. Затем привозил обрезки рельса, кое-какой прочий металл — «железо», как называли сельские кузнецы. Все эти хлопоты он стоически переносил, вознаграждая себя мечтой о заработке.

Возвращаясь из очередной отлучки и рассказывая о предстоящих делах, он умел приподнять в семье настроение, убедить, что дела не так-то уж и плохи, что встречи и беседы с нужными ему людьми были удачны, что все идет "слава богу". Мать слушала его с долей сомнения, но и она испытывала облегчение и какое-то радостное волнение.

Отец хорошо знал, что в Загорье, как и прежде, частных заказов вряд ли может быть достаточно: ждать, пока "заказчик — гость случайный" будет нуждаться поправить топор или, может, подковать лошадь, дело малообещающее. Знал он и то, что торговые организации могут заключать договоры с кустарями на поставку кузнечных изделий партиями и выдавать аванс при выполнении хотя бы части заказа. На таких примерно условиях он и заключил тогда, в 1925 году, договор со Смоленским торгом.

Некоторое время шла наладка инструмента, необходимых приспособлений, устраивались водяное точило, верстак с тисами, где изделия частично дорабатывались слесарным методом, — вообще подготавливалось все то, что требовалось для изготовления топоров, молоточков и бабок для отбивки кос, так как именно на них был заключен договор. Цены торг назначал значительно ниже тех, что были на частные заказы, но отец согласился с таким условием — понимал: изготавливая изо дня в день одни и те же изделия, можно делать их быстрее и лучше.

И вскоре началось — с утра и до позднего вечера, всю зиму напролет, шумел, искрил горн, и в хрусткую глушь улетал, растекаясь, то глуховато-размеренный, то учащенно-резкий и обрывающийся звон наковальни. Накапливались рядки поковок, точь-в-точь как один, лентой лежали косные молоточки.

Вечером, наработавшись досыта, неторопливо умывшись, садились за стол ужинать, и тут отец удовлетворенно сообщал, что день прошел хорошо: "Ну, Мань, двадцать сегодня!" Это означало, что изготовлено за день двадцать молоточков, больше, стало быть, чем вчера. И говорил он, что это еще не все, что будет и больше — "Костя — орел!" — и что каждый день дает больше сноровки, — будет и тридцать, а может, и того больше.

Так оно и получалось. Дойдя до задуманных двадцати пяти, ставили задачу — на тридцать. Аппетит разгорался. И не только у отца. Мечта о возможном достатке в семье пленяла и Константина: подсчитывался предвидящийся заработок, намечалась желанная справа, и труд, тяжкий и изнурительный, был освещен радужной надеждой на лучшее завтра. Тянулся, терпел Константин, хоть доставалось ему крепко. Болели руки. Ночами плохо спал, ворочался, сквозь сон все ладил, как их поудобнее уложить, чтобы меньше чувствовать нытье, а бывало, и мокрое полотенце просил, прикладывал на руки, что вроде бы снимало боль.

Чтобы яснее представить работу кузнеца-кустаря, надо иметь в виду, что по ходу дела каждый мастер применял особые сигналы, или, скажем, знаки, для молотобойца, подаваемые в самой работе. Это нужно было для управления ударом. И если у молотобойца замедленная реакция, то дело не пойдет, а кузнец-мастер не сможет утаить или погасить в себе досаду. Ручник кузнеца — больше указка, чем орудиековки. И ничего нового в этом нет, особенно при изготовлении тяжелых кузнечных изделий. Ручник почти не дает садку {3} металла, а ковать надо, "пока железо горячо", раздумывать некогда, и кузнец лишь поддерживает ритм и ручником дает знать: где, в каком месте поковки, в какое мгновение молотобоец обязан успеть сосредоточить мощь кувалды.

Трифон Гордеевич был отменным кузнецом и имел свой, отличительный стиль работы, равно как и свой фасон изделий, будь то топор, молоток, подкова, дверные навесы, запоры.

Все отличалось тщательностью: строгостью линий, чистотой граней, даже, сказал бы — красотой, изяществом. На его изделиях не оставалось следовковки, каких-либо вмятин или неровностей. Например, можно было перебрать сотни молоточков и не обнаружить разницы между ними.

Однако все это достигалось не волшебством, а умением и трудом. В условиях тех, в сельской кузнице, лет блеск и привлекательный вид изделий, помимо отличной их поковки, вершился

ручной шлифовкой. На торец обрезка дерева насыпалась измельченная окалина и добавлялась небольшая доля машинного масла, получалась как бы паста. Держа в руках изделие — молоточек, бабку, лезвие ножа и прочее, двигали им взад-вперед до тех пор, пока на шлифуемой части не оставалось ни пятен, ни рисок.

Работа эта была и нудной, и трудной, и выполнялась она, в основном, детьми: мной, младшим братишкой Павликом и сестрой Анной. Зимой, когда в кузнице возле железа особенно холодно, мы переселялись в баню. Туда же перетаскивали водяное точило, на котором тоже яснили и точили, меняясь друг с дружкой местами и обязанностями, передавая рукоятку на ходу из рук в руки, то и дело подсчитывая, сколько штук осталось до назначенного отцом урока.

Хотелось, конечно, и поиграть, порезвиться, но задание отца было для нас законом и увливать не полагалось.

С малых лет нам внушали, что работа — главная обязанность члена семьи и что жить иначе нельзя. Мы понимали, что обеспечить нашу большую семью одному отцу не под силу, и потому помогали как могли, не ропща на судьбу.

Славился отец и как отличный мастер по изготовлению плотницких и столярных топоров. На Смоленщине у него был лишь единственный соперник в этом деле, некто Бушуев, который тоже работал для торгов; отец признавал его, как равного. Тот имел свое именное клеймо и ставил его на свои топоры, о чем упоминал отец с заметной завистью и сожалением, что он сам не собрался приобрести.

Изготовление топоров считалось у отца особо серьезным делом. Отковать топор в одном-единственном экземпляре — одно, и совсем другое, например, изготовить партией сотню одинаковых топоров. В первом случае можно работать не спеша, так как цена на единичный экземпляр раза в два была выше. Когда же изготовлялась партия, по более низкой цене, на учете каждая минута и работа ведется с предельным напряжением.

Должного металла для таких изделий, как топоры, — стальной полосы проката, никогда у отца не было, исходным материалом являлись отслужившие свой срок рельсы, отец добывал их на железной дороге. Из верхней части — из «яблока», которое отрубалось кузнечным зубилом от добела нагретого куска рельса, и ковались топоры. Работа эта воистину адская, и тут доставалось и кузнецу, и особенно молотобойцу. В открытом горне нужно было нагнать испепеляющий жар. Точно представить, что это значит, если употреблялся уголь из комлевой березовой коры, может только специалист: неподступное, слепящее, испепеляющее пламя било из шипящего пекла, в которое закладывался кусок рельса пудов пять весом. Неотлучно, прикрывая лицо свободной рукой и пристально взглядывая в нутро пекла, то и дело что-то там поправляя кочережкой, следил отец за ходом нагрева. Длилась такая операция минут тридцать — сорок, а то и больше.

Но вот раскаленный рельс схватывают клещами, и черный его конец всползает на наковальню. Затем клещи перехватывают искрящийся, добела нагретый конец и... "ы-ы-их!" — рельс на наковальне. Теперь его надо развернуть на "сто восемьдесят", так как он должен оказаться со стороны молотобойца, и только сейчас, уже с замаха, без передышки, кувалдой должен молотобоец, что называется, «дать» по зубилу. А оно, зубило, шажками, строго и точно, как бы само по себе переставлялось по всей длине нагретой части. Бегло: один проход, по следу — второй, третий — до полного отделения «яблока» от "т"-образной основы рельса.

Суть подобных операций с рельсом — лишь добыча металла для будущего топора. Изготовление еще впереди.

Как известно, рельс — сталь. И в этом вроде бы выигрыш — не требовалось вваривать



стальную пластину для лезвия, — но — и проигрыш: обух топора из такого металла можно было получить только пробивным методом, а это уже намного трудней, чем обычным, сварным.

Основная же сложность, как считал отец, заключалась в том, чтобы за минимальное количество нагревов получить правильный обух, его ударную часть определенной толщины и размера, строго одинаковой толщины щечки, совершенно правильной и точной формы отверстие для насадки на топорище с учетом его соотношения с главной, рубящей частью топора — лезвием.

В должности секретаря Ляховского сельсовета пробыл Александр совсем недолго. Выполнял всякую бумажную работу. По какой-то причине переводили его в Балтутино, но на это он не согласился и работу в сельсовете оставил в том же 1925 году.

В свои пятнадцать лет выглядел он очень рослым, не по годам серьезным. То, что брат не вносил свой вклад в хозяйство, тяготило его. Он сам хорошо понимал, что надо что-то делать, чтобы не быть "дармоедом".

Я упомянул это слово в связи с тем, что было оно нам знакомо с детства. Употреблял его наш отец. Лодырничества и даже малейшего увиливания от работы он совершенно не терпел. Случалось, что произносил он это слово без гнева, как бы шутя, если замечал, что приказание его хотя и исполнено, но без должной охоты, без рвения. В таких случаях, обычно более младшим, он выражал свое неудовольствие словами: "Эх ты, мой маленький дармоед!" На этом все и кончалось, но у того, к кому слова эти были обращены, оставался неприятный осадок в душе; уже и за стол он садился не как прежде — законно и смело, а с известной долей стеснительности.

Однако не следует думать, что отец был только строг и жесток. Нет, много в нем было и доброты и участливости. Он искренне радовался всякой нашей удаче, будь то в ученье, в труде, даже просто в смекалке, всех нас он любил и жалел преданно, как настоящий семьянин, неоднократно всего себя отдавал ради нас. Но его постоянный напряженный труд, как единственное средство борьбы со «злыдней», как называл он нехватки и недостатки, порой ожесточал его, о чем он всегда горько сожалел и в чем раскаивался.

Александр видел, понимал, как много приходилось работать Константину, видел и то, как отец, придя вечером из кузницы, лечил потрескавшиеся пальцы рук, смазывая их каким-то жиром, знал, что и младшие тоже нередко целыми вечерами помогали крутить точило или тереть окалиной откованные изделия. Знаю, верю, что душа его страдала от сознания, что, отвлекаясь то на комсомол, то на Осоавиахим, то на селькоровскую работу, он так или иначе все же не в равной степени с домашними бывает в поте лица. Во втором своем сыне отец по всем нормам тогдашнего быта имел право видеть такого же помощника, каким был всегда рядом с ним первый. Никакое увлечение, ни даже призвание, рассуждал отец, не освобождает человека от его обязанности оставаться, до поры, свято чтущим и выполняющим долг члена семьи — работать так же, как все остальные.

Это исходило от отца, так он сам был воспитан. Возражать? Нет оснований. И брат повиновался: бросал писать, шел в кузницу. Молотил изо всех сил кувалдой, следил за каждым знаком отца, но все равно — думал явно о своем.

Александр всегда с нетерпением ждал почту. Ближайшее почтовое отделение было на станции Пересна — кратчайшим путем, через болота, от нас семь верст, но не в любое время года можно там пройти. Почтальону верхом на лошади приходилось добираться в наши места кружным путем через Лаговщину, Ивановское, Петрово, что увеличивало расстояние примерно вдвое. Он не разносил почту в каждый отдельный двор, а оставлял ее в определенном месте, на так называемой "остановке почты". Газеты и письма в наш адрес

попадали в соседнюю деревню Селиба, в избу Покладовых или Ваське Усатому, куда мы ходили за ними сами. Это было недалеко — всего версты полторы-две. Приносить почту часто случалось мне. "Сбегай, Ванюшка, за почтой", — бывало, скажет Александр, и я отправлялся, хотя и не очень-то иной раз хотелось «сбегать». Но, поскольку сам отец тоже был любитель заглянуть в свежую газету и всегда выписывал и "Смоленскую деревню", и центральную «Бедноту», и журнал "Сам себе агроном", и кое-что для нас — "Юный товарищ", "Юный пионер", — отказываться было нельзя, так как все равно прикажет отец.

В тот период, хотя, кажется, не часто, но нет-нет да и появлялись в смоленских газетах стихи за подписью "А. Твардовский". Воспринималось это нами, детьми, как событие большого значения, но и все старшие в семье радовались, перечитывали публикацию, даже как-то дружнее, родственнее становились, и то, что наша фамилия печатно значилась в газете, казалось, придавало ей какое-то особое звучание. На следующий день я шел в школу с мыслью, что в классе только и будут говорить именно об этом — о напечатанном стихотворении брата. Но все было как прежде, и учитель Исидор Иванович Рубо ничего не говорил. Бывало очень обидно, хотелось закричать во весь голос: "Эх вы! Такое — не заметили!"

Наше пристрастное мнение о стихах брата создавалось, видимо, под влиянием отца. Присущая ему слабость — самомнение, — вероятно, передавалось и нам, о чем мы, конечно, не подозревали, хотя случалось слышать от матери, что "отца и хлебом не корми, только бы его величали да почитали". Она всегда осуждала его заносчивость и самодовольство, и по этой причине в отношениях между родителями бывали тягостные истории.

Сам Александр никогда не хвалился тем, что его стихи оказывались напечатанными. Кривился и одергивал того из нас, кто нескромно проболтнулся об этом зашедшему соседу или гостю, пусть и из родственников.

В это время он уже знал лично некоторых смоленских молодых поэтов, и ему было важнее слышать их мнение. Имена Дмитрия Осина, Сергея Фиксина, Николая Рыленкова, Василия Шурыгина, Ефрема Марьенкова, не говоря уже о Михаиле Васильевиче Исаковском, были нам знакомы. Ни одна литературная страница смоленских газет не оставалась у нас неп прочитанной.

Стихотворение же Михаила Васильевича Исаковского «Хутора», по просьбе отца, Александр читал не один раз. Очень по душе пришлись в нашей семье и многие другие стихотворения М. В. Исаковского тех давних лет, и имя его произносилось у нас подчеркнуто уважительно, хотя тогда мы и духом не ведали, что он станет ближайшим другом нашего брата.

Шел 1927 год. Упомянувшийся некрасовский том продолжал занимать Александра еще более, чем прежде. "...Эта книга была огромным, значительнейшим событием тех лет моей жизни... — писал Александр Трифонович в 1946 году, — составляла для меня самую большую радость и гордость, основу моих ребяческих интересов и заветных мечтаний".

То, как он работал с книгой, уже не было похоже на обычное чтение — вся книга была ему знакома. Однажды я заметил, что он подолгу останавливает свое внимание на отдельных местах, там, где вместо слов были точки. С карандашом в руке, сосредоточившись и что-то обдумывая, он прямо на странице сделал приписку. Мне хотелось узнать, что он приписал, но, помня, как неодобрительно он относился ко всякому не ко времени нашему любопытству, я не посмел заглядывать. Когда же он куда-то отлучился, я поспешил найти то самое место в книге. Помню, что после некрасовских "Пусть они, эти баловни, пьют" карандашом было приписано по линии точек: "беззаботно портвейн драгоценный" и дата — 1927. Я не знал в точности, что такое портвейн, видимо, и Александр его ценность преувеличивал, но в целом приписка была уместна. Надо полагать, что "Заветная книга", как назвал ее сам Александр Трифонович, сохранилась, и было бы любопытно проверить, жива ли там приписка, да

вообще перелистать эту книгу от начала и до конца.

В 1927 году я окончил четырехклассную Ляховскую школу и получил свидетельство и характеристику, выданные учителем Исидором Ивановичем Рубо. В течение учебного года Александр не оставлял меня без внимания, спрашивал о делах и успехах в школе и огорчался, когда не обнаруживал у меня пристрастия к чтению. То, что я старательно и добросовестно выполнял все задания, он считал недостаточным. Помню, он хотел, чтобы я прочитал "Капитанскую дочку" Пушкина, а больше всего желал, чтобы я сам проявлял интерес к книгам. Но если я и читал рекомендованные им произведения, то опять же не постигал их главной сути и на его вопросы отвечал весьма посредственно. Поэтому, когда я принес свидетельство, в котором значилось "окончил успешно", Александр сделал вид, будто сомневается в этом: "Слушай, Ваня! А не может ли тут быть чего-нибудь такого... гм-м... ну, короче: не купил ли ты этому самому Сидору бутылочку?" — и сам он здорово так хихикнул и, глядя на меня, выжидал, что же со мной будет? Я обиделся до слез — пришлось ему взять свои слова обратно, успокаивать меня. Конечно, это была чистая шутка, и я вспомнил о ней лишь потому, что шутить, а иногда и эдак остренько задеть, по-дружески, было в его натуре. Это не иначе как от отца. Уж отец-то мастак насчет такого! И еще была у него своя причина — моего учителя он почему-то очень недолюбливал.

В том же году сломали и перевезли на лошадях на станцию Пересну ляховский помещичий дворец, в котором учились братья и мне тоже довелось учиться одну зиму. В Пересне это здание было спешно собрано, но из трехэтажного, редкой красоты дворца получилась двухэтажная коробка: никаких украшений не восстановили, покраски тоже уже не делалось, но здание школы-семилетки все же было построено, той же осенью она открылась. Я хотел поступить в эту школу, по ходатайству Александра был допущен на приемные испытания, но моя робость испортила все дело: я стушевался, перепутал вопросы и форменным образом провалился. Так пропал у меня целый год учебы. До половины зимы был дома, делал все, что приходилось, чувствовал себя скверно, а во второй половине учебного года обратился к своему учителю в Ляховской школе и упросил его разрешить хоть изредка бывать на уроках, чтобы не забыть пройденного.

Так подошел и 1928 год. Кузница в Загорье работала уже два года. Отец ездил в Смоленск, сдавал свои изделия, по приезде домой бывал оживленным, веселым, пересказывал мельчайшие подробности встреч, выглядел помолодевшим (как правило, он, бывая в городе, успевал там зайти в парикмахерскую), становился добрее, сердечнее.

Но приподнятое настроение удерживалось недолго. Начинались подсчеты неотложных расходов, которые, как бы притаившись, ждали своего момента — атаковать и ограбить «пана». Уходя целиком в работу, отец иногда забывал или упускал из виду, что, например, кто-то в семье давно ждет не дождется обуви, а тот совсем вырос из одежды, там долг, сроки вышли, а тут сестра наша подрастает, невеста без малого, а все еще ничего для нее не справлено, выйти не в чем, да и старшие, Константин и Александр, кожушок делят на двоих, надевая по очереди прямо на рубашку. И получалось так, что приберечь на новую избу ничего не оставалось. Не помню, чтобы у Александра имелся хотя бы какой-нибудь костюм, вплоть до того дня, когда уже навсегда он оставил Загорье. Константину, правда, собрались с духом, купили серенький, в мелкую клетку, но это уже позже, когда Александра в Загорье не было.

В той самой, памятной, книге Н. А. Некрасова был портрет поэта в меховой шапке и шубе. В связи с этим Александр Трифонович вспоминал: "И я, сочиняя свои беспомощные, детские стихи, собирался стать Некрасовым и даже купить себе впоследствии точно такую же шубу и шапку..."

Когда ему было лет пятнадцать — шестнадцать, вдруг стал он просить мать, чтобы сшила ему «толстовку» — была такая, пусть кратковременная, но все же — мода среди какой-то

части молодежи тех лет. Некоторое время мать отклоняла просьбу, не понимала эту затею любимого сына, но не выдержала и, хотя сомневалась, что сможет сделать так, как должно, работу начала. Для наглядности появился журнальный фотопортрет самого Льва Николаевича, на котором великий писатель был запечатлен как раз в той, «толстовской», рубашке.

— Ох, Шура ты мой... нет же у меня ни капельки представления об этих вот... припусках. Вон как у него все обвисло, все в складках, да похоже, что и материя как бы парусиновая, не то — льняная, что ль? Откудова она у меня? Как быть-то?

— Мам, мама! Ты только прислушивайся, как я тебе буду подсказывать. Не боги горшки... Все встанет на свое место!

Подсказывал, где какие надо сделать складки, кармашки, какие и где пришить пуговицы.

Раза два-три надевал он ее, уходя на комсомольские собрания, но то ли кто-то критически посмел отозваться об этом его наряде, то ли была иная причина — перестал вскоре «толстовку» носить.

Потом мать шила ему что-то наподобие сорочки, то есть не с косым воротом, а именно с отложным. Опять не получалось: отпарывали, вновь пришивали, пока капризный воротничок не угодил на свое место.

Вообще все, что мы носили с малых лет и до женихов, мать шила сама, за исключением разве верхней одежды, которую из овчин или домашнего сукна мастерил постоянно один и тот же бродивший по смоленским деревням калужский портной — отходник Данила. Всякие же штаны и штанишки, рубашки и рубашонки, платьица и бельишко — все кроилось и шилось матерью. Как она успевала?! И ведь не только это: она же и пряла и ткала, купала детишек, боролась с клопами и вшами, успевала же и обед готовить на нашу ораву, а сколько еще разных дел по двору — огород, цыплята, корову подоить, за теленком присмотреть и Бог его знает чего еще только не было на плечах нашей матери! Ясно, что никто из нас не сидел сложа руки, но все это вершилось под ее началом, и на всех хватало ее материнской любви.

Мы не считались бедняками, хотя жилось семье довольно трудно. И знали, что в округе — в Загорье, в Селибе, Одоеве, Ковалева — были семьи, положение которых было многократ тяжелей. А мы еще ничего, мы не носили лаптей... Но как раз по той причине, что стеснялись выдать себя, признать свою нищету. Хотя порой лапти вот как были бы к делу!

После одной из своих поездок в Смоленск Александр привез в Загорье групповой снимок, в верхней части которого шапкой шла надпись: "Группа смоленских пролетарских поэтов". Это было, кажется, в конце 1927 года. В самом центре прямоугольника — портрет Дмитрия Осина, а остальные — Сергей Фиксин, Николай Рыленков, сам Александр и другие, всего не менее десяти человек — чуть поодаль, в овалах. М. В. Исаковского на той фотокартонке я не заметил. Хорошо помню, как Александр знакомил нас по этим снимкам с товарищами, каждого называл, кое-что о нем сообщал, но особое внимание уделил Дмитрию Осину и сказал как-то так:

— Так бы вот — да! У него хорошо получается. Но время покажет. Пока все мы мечтаем, как тот солдат, который думает стать генералом.

Отец же, послушав Александра и посмотрев на фотографию, заметил: "Сколько молодых в Смоленске! А сколько же их тогда в России? И так ли было всегда? Генералов-то не так много оказалось... Да-а! Тут задача!"

Смысл его слов был не вполне ясен, однако ощущалась в них нотка сомнения в том, что все эти молодые на правильном пути. Дескать, мечта мечтой, но у всех ли есть данные, чтобы

стать «генералами»? Александр ничего не сказал в ответ на отцовское высказывание, но в его померкшем взгляде угадывались затаенная озабоченность и печаль.

Отец чувствовал и, пожалуй, был уверен, что уже недалек тот день, когда сын объявит о своем решении уехать в город. Он замечал, что Александр стал молчалив, работой тяготился больше, чем прежде, свои письма стал сам носить в Пересну на почту, получал ответы "до востребования". Все это осложняло жизнь, Пересна была не под рукой, и продолжаться так долго не могло. Чтобы сходить в Пересну (зимой Александр ходил на лыжах), нужно было сказать отцу, то есть отпроситься, что отец считал положенным и само собой разумеющимся. Поскольку же свое согласие он давал неохотно, то обращаться к нему по такому поводу было нелегко, и, будучи внутренне уже готовым к любым последствиям, Александр уходил иногда, не сказав отцу ничего. Естественно, отец раздражался, но, насилуя свою честлюбивую натуру, он все же делал попытки мириться с самовольностью сына, но... приходя с работы предельно усталым, не выдерживал своих намерений — взрывался, выговаривал за самовольство и делал это не скупясь на слова. Мы частенько оказывались свидетелями тех крутых отцовских отчитываний, но говорить, что мы были на стороне Александра, я не решаюсь. Доводы отца выглядели вескими и для нас полностью подтверждали его правоту. Старший наш брат, несший не один год тяжесть семейных забот, обычно в такие минуты молчал, а ведь ему исполнилось уже девятнадцать. Руки его всегда в незаживающих мозолях — Константин считал своим священным долгом не покидать отца с кучей малолетних и свои личные интересы ставил на второй план.

И все же сказать, что между отцом и сыном возникала «вражда», как пишет А. И. Кондратович в своей книге "Александр Твардовский", нельзя. Может, допускаю, у Александра что-то такое юношеское и появлялось, но у отца — нет, не могло быть. А были у отца свои законные опасения, что сын, по молодости своей, окажется на развилке опасных жизненных дорог, и это его терзало, но не сама, как главная причина, потеря в семье работника. Ведь и сам Александр в автобиографии пишет: "По-разному благосклонно и по-разному с тревогой относились мои родители к тому, что я стал сочинять стихи. Отцу, человеку очень честлюбивому, это было лестно, но из книг он знал, что писательство не сулит больших выгод, что писатели бывают и не знаменитые, безденежные, живущие на чердаках и голодающие".

Это слова не юноши, не потрафившего чаяниям отца, а умудренного жизнью признанного писателя, и не приметить их — несправедливо.

В одном из писем (от 2 августа 1980 года) ко мне критика Владимира Яковлевича Лакшина, который "за долгие годы близкого знакомства и постоянного общения" многое слышал от самого Александра Трифоновича, есть слова:

"Чувство его к отцу, как я понял, было непростым и менявшимся с годами. У него жила, по-видимому, большая обида на него, а позднее — чувство вины перед ним".

Автор книги "Белый Бим Черное Ухо" Гавриил Николаевич Троепольский, имевший длительное время дружеские отношения с Александром Трифоновичем, в 1979 году писал мне, что поэт "последние годы своей жизни жестоко страдал, чувствуя свою вину перед кровными".

А как переживала за Шуру мать! Все мы были ей дороги, всех нас она жалела и любила. Зная, что положение Александра в семье осложняется все больше, пыталась чем могла помочь сыну. Мать, видимо, тогда уже знала, что Александр решается уехать, и была глубоко опечалена. Она считала, что, если даже и прав по-своему отец, все равно лучше не устраивать назидательных бесед, поучений и тем более — лишние обидные напоминания. Ей не хотелось разлуки вообще, а по-недоброму — особенно. Ей даже представить было больно, что сын собирается навсегда уйти из семьи, хотя и понимала, что в жизни это почти

всегда является неизбежным. И чтобы не оказаться застигнутой врасплох в день отъезда, загодя обдумывала и гадала, что она может собрать ему из необходимого на первый случай, когда он оторвется от родного гнезда.

Ее заботы и хлопоты замечались нами, младшими. То она перебирала сыновнее белье, хотя день не был субботним, то садилась к швейной машинке и что-то строчила, то урывками штопала, то, опершись руками о стол, неподвижно глядела в окно, за околицу, куда уходили едва приметные колеи нашей хуторской дороги.

— Мама, что там видишь — глядишь и молчишь?

— Да ничего не вижу: Гляжу вот, — ответила, когда кто-то из малых спросил ее, — и думаю, что скоро Шура наш уедет от нас, наверное, а я так вот буду глядеть, и думать, и ждать: обернется ли, помашет ли родному уголку еще, а он, думаю, все дальше, дальше...

Она отошла от стола, заглянула в печь, ухватом что-то переставила на другое место и не то для нас, не то для себя говорила, не обращаясь ни к кому. Она говорила о том, что трудно угадать, что ждет его, то есть Александра, где-то там, на стороне, что «батька», как называла она иной раз отца, хоть и горяч, но руки свои бьет для семьи, для детей и что надо бы как-то понимать и его. И еще говорила, что и сына также тяжело видеть, что живет он в какой-то тоске, все думает да чего-то ждет, нет в нем радости...

Ранним морозным утром, в январе или начале февраля 1928 года, Александр покидал Загорье. Всеми предполагалось, что этого не миновать, однако никто еще не знал — когда, и потому разлука была лишь в представлении. Теперь же она становилась явью. Еще накануне брат разведаль, что на станцию Пересна поедет на лошади сосед Алексей Иванович. Этот человек к нам часто заходил, так же как и к другим соседям — слыл он большим любителем рассказывать что-либо новое, да, кстати, и закурить, так как своей махорки почти никогда не имел. Бывало, придет, посидит, что-то расскажет, затем направится к другому соседу, где так же все повторит и еще кое-что добавит, поскольку в каждом новом дворе, где ему приходилось гостить, что-то узнавал. И так из хутора в хутор. Он чуть ли не ежедневно совершал свой обход, возвращаясь домой уже совсем с другой стороны, замыкая кольцо маршрута.

Александр уже имел договоренность с Алексеем Ивановичем. Белая, старая, на редкость маленькая кобыленка соседа, запряженная в сани, стояла у самого въезда в наш двор между березой и елью. Не знаю, как оно могло так случиться, что Александра не отвезли до станции на нашей лошади, и в том, что пришлось ему уезжать из родительского дома на этой жалкой белой лошадке, было что-то тревожащее и печальное.

Сам момент сборов, сохранившийся в памяти, промелькнул мгновенно. Собирать, собственно, и нечего было. "Одежи, что на коже, и харчей, что в животе" — так гласила поговорка, которую довелось слышать от отца. Точно так и Александр не был обременен укладкой про запас нужных и ненужных вещей. Не помню, чтобы у нас был хоть какой-нибудь чемоданчик или саквояжик, и те мелкие пожитки и снедь, что приготовлены были для него матерью в дорогу, он связал вместе со своими бумажками в общий пакет.

— Ну, вот и все! — сказал он и обнял мать. Склонив голову к ее плечу, как бы замер, но тут же несколько отпрянул и молча остановил свой взгляд на ее лице. Затем, судорожно качнув головой, целовал мать в щеки. Потом обнимал нас, каждого где кого застал, говоря одно: "Ну, Ваня!", "Ну, Павлуша!", "Ну!..", "Ну!.."

Заключительным было его прощание с отцом, который все это время неподвижно сидел у стола. Александр подошел к нему и говорил что-то так тихо, что нельзя было понять, что

именно. Он видел, что отец чувствует себя нехорошо, и, поборов в себе сковывавшую его гордость, подал отцу руку, и отец даже встал, что-то хотел сказать, чего-то ждал, но... их руки вдруг разомкнулись... Слов не получилось.

Подхватив свой узелок, Александр быстро вышел. Следом поспешил Алексей Иванович.

Одет Александр был в поношенный кожушок — нагольную овчинную шубейку с воротником из чалой телячьей шкурки, шапка покупная, серого барашка, с кожаным черным верхом, называвшаяся финской, порядком поношенная, уголки отворотов были коробленые. На ногах серые, кустарной работы валенки, заметно стоптанные внутрь.

Помню, Александр наблюдал за уверенно-привычной сноровкой Алексея Ивановича, когда тот, держа в левой руке вожжи, правой схватился за конец розвальней и рывком на себя сдернул сани с места, крикнув на лошаадь: "Сдай назад!" Она послушно засеменила, переступая боком и разворачиваясь к выезду, что было так обычно, но и в то же время казалось ново для Александра. Уже на ходу, скачком, Алексей Иванович влетел в сани, за ним Александр к торчавшим буквой «V» лаптям Алексея Ивановича, который, стоя на коленках, чмокал и понукал лошадку. Вскинув жидкий хвост, лошадка взбодренно затрусилась, удаляясь от усадьбы, а мы с грустью стояли, глядя туда, где подвода свернула за ельник и скрылась.

День отъезда брата для нас, младших, был днем щемящей печали. Все вокруг напоминало о нем. Вспоминался рассказ матери о том, как в пору ее детства в их семье в Плескачах умер мальчик, ее братишка. Она называла имя, но я уже не помню. Мальчику было пять-шесть лет. Умер он зимой. По ее рассказам, все его очень любили и тяжело переживали кончину, часто он снился и ей самой.

— Я ждала весну, я знала, в каких местах на усадьбе он бегал босиком поздней осенью, и мечтала найти следы его босых ножек.

Мы тогда слушали ее с тем вниманием сопереживания, какое может быть только в детстве, когда доверие к близкому и родному человеку бывает самым полным и сердечным. И нам хотелось знать все до конца.

— И ты нашла его следы? — торопливо спрашивали мы. И мать продолжала:

— Нашла, дорогие мои, нашла. Стаял снег, и в огороде на бороздке я нашла именно его следики, с пальчиками его босых ножек. Как они были дороги мне, те следики! Оберегала их, чтобы кто-либо не нарушил их случайно. Побегу, бывало, присяду на корточки и мысленно поговорю с братиком...

Вот так же и для нас теперь стали чем-то особым сделанные братом пометки. Одинокая береза у стежки на Белую горку, на которой в годы пастушества вырезал он «Саша», и рябина у гумна, помеченная им буквами «АТ», и дата «1923» на дубе, и прилаженный им столик в предбаннике, где находил он приют в летнее время, и то, что именно он назвал жеребенка Магометом, бычка Брамой, дворнягу Османом. И то, как оказались мы в ночном под Николин день, вместе три брата, жгли, по обычаю тех лет, костер и жарили яичницу, слушали, как в болотце фыркала наша гнедая кобыла, как я тогда уснул у костра и мне стало дурно и как Шура объяснял, что нехорошо стало оттого, что было низко в изголовье — "кровь прилила", — сказал, что "все сейчас же пройдет", и оно прошло. Как мы слушали соловья и, возвратясь домой, обо всем рассказали матери. Все это стало теперь существенным, дорогим, незабвенным.

Проходили дни, недели, прошел и месяц. Ждали письма, но Александр ничего не сообщал о

себе. Не было известно и о том, где и у кого мог он остановиться, и это очень томило мать. Она знала, что денег у сына нет, что ни к каким родственникам, с которыми не водили дружбы, он не обратится, и потому ей в голову приходили самые мрачные мысли.

Не был равнодушен к судьбе Александра и отец. О городе и городской жизни тогдашнего времени он имел более достоверные понятия и высказывался примерно в том духе, что без специальности, без знакомств и добрых людей трудно или даже невозможно не оказаться в беде.

— На что можно надеяться? — спрашивал отец и сам же отвечал: — В городе всякого люду хватает, и все там бывает. И не сразу поймешь, где ты и с кем ты, а и поймешь — не вдруг выберешься.

Его печалило, что, как казалось ему, увез сын обиду на него, "не заглянув в отцовскую душу". Мучило и то, что Александр не попросил денег при отъезде, и отец понимал почему: были случаи, когда он упрекал сына. И теперь было ему трудно. Рад бы был десять раз дать, чем один раз отказать. И хотя говорить об этом он пока не мог, но было очень заметно, что сам себя он сурово казнил.

Обычно отец в таких случаях не сидел, а ходил в хате от своего угла до порога, заложив руки за спину. Глядел вниз, иногда приостанавливался, одну руку оставлял за спиной, а другой делал определенные движения: слегка подымал и сбрасывал книзу в такт восклицаниям или же особым нажимам выговора.

— Нет! — продолжал он. — Город ему нужен! А того не понимает, что город, брат, жесток. Безжалостен! Глух к твоей беде, к твоей нужде!

Отец, однако, не высказал всего, о чем думал и что тяжким грузом лежало у него на сердце. Это были лишь слова о недавнем, об отъезде сына.

— Да разве ж я враг сыну своему? Нешто мне хотелось, чтобы сын был бездомным, голодным? Ну кто ж его гнал поперед батьки в пекло? Ну, пишешь ты — пиши! — говорил он. — Пиши! Сочиняй! Но и работай!

Наконец, кажется, это было в марте, пришло письмо. Скупое, немногословное, с долей какой-то грусти. Писал матери, что скучает по родным местам, что в душе он такой же, как прежде, что и сны видит все еще деревенские, но каждый день приходится метаться в суматохе, что город ошеломил его своим шумом, спешкой, этажностью и многолюдностью, но о возврате не может быть и речи.

Письмо было таким, какие пишут люди, находящиеся на развилке жизненных путей. Но и то было хорошо, что хоть жив, цел, не забыл родных. Мать наша, да и все мы так соскучились, что решили немедля ответить Александру и просить, чтобы он сфотографировался и прислал карточку.

И фотография пришла. Всмотривались, радовались все вместе и каждый в отдельности, хотя снимок был не совсем удачным: выглядел Александр несколько грубоватым. Сфотографировался он в той же сшитой матерью рубашке, в которой уехал в город, что, между прочим, не преминула отметить злая соседка, когда обрадованная мать показала ей снимок.

— Все еще в той же серой рубашке! — съязвила она, показав кончик языка.

Мать, помню, пробовала возразить, что цвет-то по карточке не узнаешь, может, рубашка и не



серая вовсе. Но соседка и тут нашлась, указала на пуговицы:

— Да что ты, Митрофановна, пуговицы-то те же самые!

Этот эпизод больно ранил нашу мать: радость ее, что сын жив и здоров, не была понята человеком, с которым она поделилась.

Мы совсем не ведали, как он там живет, чем занимается и что его ожидает впереди. И как на грех, в газетах за это время мы не встретили ничего, что было бы подписано его именем.

Потом, уже летом 1928 года, опять же после долгого ожидания, пришло письмо... из Крыма! Я уже не могу вспомнить, из какого города оно было, но о том, что Крымский полуостров находится на Черном море, я тогда знал точно. Представление о Крыме у меня и моих сверстников было как о райском месте, где почти не бывает зимы и, стало быть, жить там могут лишь люди, наделенные счастливой судьбой. О том же, что не для всех одинаково светит щедрое крымское солнце, как-то не думалось. Не приходило в голову и то, что загорьевский парень оказался в Крыму просто потому, что решил "повидать белый свет".

Из крымского письма брата мне запомнилось только несколько слов: "Разъезжаю по городу на линейках, все хорошо". Куда, зачем и что оно такое — «линейка», мы не могли понять, и только отец как-то пояснил, что это такие конные тележки. Складывалось впечатление, что дела не так уж плохи, раз "на линейках"...

Подробно о том периоде жизни брат так никогда и не рассказывал, если не принимать в расчет его ответ "Орловской правде" за 21 июня 1970 года, в котором Александр Трифонович сжато и экономно описал эту поездку, задуманную и совершенную вместе с Сергеем Фиксиным. Одновременно он посоветовал "Орловской правде" обратиться к Сергею Андреевичу Фиксину, который, по его мнению, "лучше всего это помнит"{4}.

Я будто въяве вижу приезд брата в Загорье. Летом 1928 года нежданно, совсем как с неба, заметили мы приближающуюся к нашему подворью легковую извозчичью повозку, чего никогда прежде не бывало. С любопытством вглядывались. Да это наш Александр! Приедет он был, как мне тогда показалось, «по-городскому», и то, что приехал на извозчике, говорило о каких-то его денежных возможностях.

Наше волнение, нашу радость передать не хватит сил. Во всех углах только и слышалось: "Приехал! Приехал! Шура приехал!"

Хотелось прыгать, обнимать гостя, целовать его. Объятыя, нетерпеливые возгласы, горящие наши глаза — все было отдано ему чохом, единодушно, враз. Тут и отец из кузницы, на ходу вытирая лицо рукавом рубахи, подошел, и они обнялись, расцеловались, и отец сказал: "Ну вот и хорошо! Приехал..." — что-то не договорил, засуетился, оглянулся, поймал меня за плечи и объяснил, что есть мне задача:

— Давай-ка дуй в Ляхово! — дал денег, и я уже мчался стежкой по ковалевским перелескам, срезая где только можно кривизну дороги. В лавке было несколько человек, и нужно было ждать своей очереди, но "мне же всех срочней", я молитвенно глядел на Кузьмича, который никак не замечал меня, и тогда я крикнул: "Дядя Кузьмич! Дядя Кузьми-ич! Мне же срочно! Брат приехал!"

Кто-то засмеялся, Кузьмич буркнул что-то неприятное, просьбе моей не внял, и я в досаде и обиде должен был ждать.

Пока я бегал в Ляхово, а мать собирала, что могла, на стол, гость наш с меньшими — Павликом, Машей и Васей — не торопясь ходил по стежкам и дорожкам усадьбы, заглядывая в уголки своего детства, останавливался, вспоминал, узнавал. Заглянул в предбанник, где

по-прежнему стоял его стол, за которым он провел самые сокровенные часы своей юности. Подошел к яблоньке с развилкой ствола, о которой отец когда-то сказал: "Это вот твоя, сын!" Так она и называлась потом — Шурина яблонька. Его так захватили встречи со своим недалеким прошлым, что он не сразу услышал, как звала мать: "Шура, Шура! Иди же к столу, ждем!"

И вот мы уже сидим за столом, семья в полном сборе. Но мне казалось, что наша радость отозвалась в брате какой-то грустью — был он среди нас уже гостем. Он приехал, чтобы взглянуть еще раз на родное подворье, повидать мать, отца, братьев, сестер, а впереди был опять город, неведомые нам заботы, надежды и огорчения. И ничего он уже не мог изменить. Он не рассказал, что там и как в Крыму, чем он там занимался, что он думает и как будет жить дальше, хотя отец и делал попытку вызвать его на разговор.

Всего дня два или три он пробыл в Загорье. Перед отъездом объяснился с матерью, признался, что денег у него нет, жизнь пока не устроена, хвалиться совсем нечем. И мать кое-что сумела собрать для него. Поговорив с отцом, передала ему сколько-то денег, и мы проводили его с пожеланием счастья.

Опять довольно долго он не писал, но нам стало известно, что живет он в Смоленске, снимает угол в Козловском переулке.

Глубокой осенью того же года послал отец меня в город. По какой-то нужде оказалась у нас лошадь, принадлежавшая Гришке, племяннику отца, которую надо было отогнать в город, где жил тогда Григорий. Так вот, верхом на той лошади я и был отправлен. Я совсем не знал города, но окраину вдоль Киевского большака и дом отцова племянника приметил, когда был там вместе с отцом. Отец надеялся, что задачу такую я смогу выполнить, поскольку лошадь сама приведет к своему двору. Заодно мне было поручено встретиться с братом, в чем должен был помочь мне Гришка. Так оно все и произошло. До города по большаку я добрался благополучно, хотя сорок верст верхом без седла и привычки — удовольствие только кажущееся. На половине пути я почувствовал то самое место, которым сидел, и липким, и больным, но деваться некуда, терпел до конца. Хозяин немало удивился, когда узнал, как я ехал.

— Да ты что?! Да не может такого быть! Сорок же верст! Ну и дядька Трифон! А-я-яй! Вот это да-а! Надо ж удумать... Ну-ка покажи, как там у тебя, сколько кожи потерял?

На следующий день пошли мы с Григорием искать Козловский переулок. Долговато он водил меня по смоленским оврагам, но все же нашли мы тот переулок, нашли и дом. На звонок вышел сам брат.

— Ну вот не ждал, никак не ждал! — сказал Александр и обхватил меня, поцеловал. — Ну, прощу в мою обитель!

Комнатка, где все было хозяйское, выглядела совсем неплохо. Стоял там стол, пара стульев, какой-то пуф продолговатый. На столе так и этак лежали книжки. Наносило примусным запахом, что считалось тогда признаком городского быта. Предложил он нам раздеться и стал мне помогать, сразу же заметил: "Ну, брат, совсем ты наш, загорьевский: и рукава лоснятся, и пуговицы разные!" Затем снял с меня кепку и провел рукой по голове: "Щетинка растет козырьком!" Стал расспрашивать, как там мама, как отец, что нового. На вопрос, почему редко пишет, что ответил, что не забыл, просто нечего и написать, все пока идет как шло. Гришка-племянник был тогда в таком возрасте, что мог бы вполне быть не только мне, но и Александру отцом, но с интересом все это слушал, взвешивал по-своему и не преминул рассказать о том, что я приехал верхом из самого Загорья. Опять посмеялись, вспомнили нашего Трифона Гордеевича: "Батя наш шутить мастак". Брат угощал нас чаем. Хозяев квартиры не было ни слышно, ни видно, и на кухне Александр управлялся сам.

Вскоре Григорий ушел, а я остался с братом. Я ничего не мог рассказать нового, кроме того, что картошку уже выкопали, Магомет "вот какой!", что папка вычитал в "Сам себе агрономе" про суданскую траву и выписал семена. Александр сидел молча, глядя прямо мне в глаза с тем светлым вниманием и добродушным терпением, с каким обычно слушают, сдерживая улыбку.

Передал ему, что мать просила писать чаще, что, собственно, это и есть причина, по которой я оказался у него в гостях.

— А ты знаешь, Иван, пиши-ка мне сам! Обо всем пиши! И о себе тоже. Так или эдак, но ты не должен оставаться неучем, пытайся, готовься, и я буду всегда рад слышать, что ты учишься.

В тот же день я должен был уехать. Александр провожал меня на трамвае, в каком-то сквере мы посидели на лавочке, он угощал меня сдобной булкой. Но в окружении всякого люда я, видимо, не решался есть, поглядывал вокруг и осторожничал. Брат заметил это и сказал так:

— Ты совсем напрасно стесняешься! — Он указал на сидящую неподалеку старуху. — И совсем не важно, что эта старуха будет думать — знай ешь! Нельзя так вот только и бояться, что на тебя кто-то посмотрит.

В 1929 году я поступил-таки учиться. Это был, как называли тогда, «параллельный» 5-й класс по программе ШКМ (школы крестьянской молодежи) при Лобковской начальной школе. Отвез меня туда отец и устроил на квартиру. Село Лобково было в трех километрах от Пересны, вблизи железной дороги на перегоне Пересна — Починок. О том, что начал учиться, сообщил, конечно, и брату. Этот 5-й класс, организованный на средства родителей, был на положении кочевого — ежедневно менял место занятий. Нашими учителями были те же, которые преподавали в начальных классах, за исключением одного, Владимира Александровича Иванова, очень старого человека, плохо видевшего и плохо слышавшего, но хорошо знавшего животноводство, которое как специальную дисциплину он и вел. Было с нами нелегко, так как добрая половина учеников были переростками. Нередко к доске выходил этакий парнище, что учительнице приходилось на него глядеть снизу вверх, и это было поводом для шуток. Класс взрывался от смеха, а наказывать — некого. Однако учеба все же шла, и мы бывали довольны, интерес к занятиям возрастал, представлялось, что мы в будущем станем людьми, знающими дело.

Изредка я получал письма от Александра из Смоленска, весточки, в которых чувствовалась его забота и настоящее желание мне добра. Интересовался он и ходом учебы, и тем, не нуждаюсь ли я в чем-либо из пособий, в бумаге и во всем прочем.

Год моей учебы в Лобкове совпал с началом коллективизации. В здании школы проводились собрания крестьян, руководимых двадцатипятилетним, приехавшим с Ижевских оружейных заводов, по фамилии Феоктистов. Случилось так, что остановился этот товарищ в том же доме Иванцова, где квартировал и я. Поскольку собрания проводились в школе и в связи с тем, что я каждый вечер встречался с Феоктистовым, я всегда знал наперед, на какой день назначается собрание, и бывал на них не один раз. Описывать, как они проходили в Лобкове, вряд ли необходимо, все там было похоже на то, что описано многими авторами очерков, статей и книг о коллективизации в других местах.

Но тогда, в начале 1930 года, для нас, школьников-подростков, это было интересно, и мы вникали в суть самых разнообразных вопросов и споров сторонников и противников нового дела, что само по себе побуждало меня поскорее узнать, что же происходит дома, в Загорье. Я мысленно сравнивал то одного выступающего, то другого с кем-нибудь из однодеревенцев, в том числе и с отцом и братом Константином.

В это же время, в феврале — марте 1930 года, я получил посылку от брата, в которой была разносортная (большей частью обрезь газетной) бумага и сборник стихотворений смоленских поэтов, который назывался "Молодое. № 1". В этом сборнике стихотворение "Песня урожая" А. Твардовского. В тот момент мне, ученику и свидетелю начала организации колхозов, оно нравилось, я его выучил тогда наизусть и даже читал со школьной сцены:

Бесхлебицу недавнюю

Навеки провожай!

Выходит с песней славною

Высокий урожай

И песня эта длинная,

В ней выражено все

Она шумит машинами

И голосами сел

Историю подробную

Она передает,

Как мы посевы пробные

Убрали в этот год

Как вволю попотели мы

На общей полосе

И дружными артелями

Объединились все...

И дальше в этом ритме.

Это стихотворение я нигде не мог читать, кроме как в этой книге. К сожалению, до сих пор не удается разыскать ни одного экземпляра сборника, видимо, они все утрачены. Я же хорошо помню, что сборник был прислан мне братом в село Лобково в 1930 году. На обложке четко стояло "№ 1". Под этим же названием действительно выходила книга в 1927 году, и в ней тоже было стихотворение брата, но совсем другое; внешний вид книги — иной, без номера на обложке.

Стихотворение "Песня урожая" я больше нигде не встречал. Видимо, Александр Трифонович не считал его отвечающим правде, так как бесхлебицу не сразу удалось "проводить навеки" — она как раз дала о себе знать в 1932–1933 годах, а потому и не включал его в свои сборники. (В посмертном шеститомнике оно напечатано, но в измененном варианте.)

Но тогда, получив книжечку, рад я был бесконечно и, забыв предупреждение брата — "никогда не хвались", показывал ее друзьям. Отсутствие восторженных отзывов о стихотворении очень меня огорчало. А один из моих земляков — парнишка откуда-то из ляховских мест, помню, фамилия его была Романенков — язвительно посмеялся, когда увидел на обложке "№ 1": все, дескать, хорошо, но вот номер один — плохо. Сомнительно, что будет второй...

Не помню уж, какими словами мне удалось выразить брату благодарность, но ответ его был с приглашением приехать в город, побывать в Смоленске. Это тоже был мне подарок. Я сразу же написал ему, загодя, в какой выходной день приеду. Города я все еще побаивался и хотел, чтобы он меня встретил. И вот уже шагаю на станцию Пересна. Это была моя первая и притом самостоятельная поездка по железной дороге, в качестве пассажира с билетом. Ожидалось столько загадочного, нового, что я невольно перебирал в памяти рассказы отца, его слова: "Покачивает, постукивает, а ты сидишь, как дома, и едешь. Даже спать можно, убаюкивает".

И ведь было это не где-нибудь в отдаленных местах Сибири, а у нас, на Смоленщине, в центре России. От Загорья до Пересны всего только семь верст, а вот... Такова была наша хуторская связь с миром.

Понимаю: кого-то может удивить, что в пятнадцать лет я оставался до того неопытен, но что скажешь... Я робел, стеснялся не только каких-то внезапных встреч, но даже брата, и, пожалуй, брата еще больше, чем кого-либо.

Об этом, кстати, хочется сказать больше. Дело в том, что брат Александр имел какое-то особое свойство вводить, или еще точнее, повергать в смущение. Это ощущал я с самого детства. И не только я — все наши родные и близкие, если дело касалось беседы или просто обращения к нему, нередко как-то терялись, испытывали скованность, чувство робости, боязни, что ли, сказать что-либо неудачно. Не робел и не смущался сына только отец. Мы любили Александра, безмерно уважали, знали его и добрым и близким, но, несмотря на это, наше общение почти никогда не протекало вполне легко. Встреча с ним, где бы она ни происходила, как бы выключала из тебя все тебе присущее, и ты находился в постоянной готовности к чему-то внезапному.

Я предвижу, что со мной могут не согласиться те, кто бывал с ним, так сказать на короткой ноге, однако убежден, что немало и таких, которые в минуты ожидания встречи с ним, пожалуй, чувствовали себя не очень свободно. И мне кажется, что причиной этому была его прямота, порожденная привычкой слышать о себе много всяческих похвал, которые доходили даже к нам в Загорье, что постепенно, но неизбежно отдаляло его от простых смертных...

...Я ехал в Смоленск. Вот уже Колодня, Сортировочная, вот и вокзал. Я сошел с поезда — на перроне Александра не было. Осмотрелся, с некоторой тревогой побрел за основной массой пассажиров, вышел к трамвайному кольцу и тут увидел брата. Он шел по жидкой грязи прямо ко мне, но еще не видя меня, переступая с одной булыжины на другую, для равновесия вскидывая руки в стороны. Тут же он увидел меня: "Опоздал я, Ванюша!" — но, дескать, ладно, обошлось — встретились.

В эту нашу встречу он увиделся мне совсем непохожим на того загорьевского парня, каким был год-два назад. Вид его ничем не напоминал, что он «сельский-смоленский», и я подумал опять о его способностях: выглядеть истинным горожанином далеко не каждому удастся скоро, и в таких случаях никакая одежда не в силах помочь.

На мне в той поездке была овчинная шубка, сшитая со сборками в талии. Такие шубки в деревнях носили девочки. Меня же одели в нее только потому, что купили по дешевке у родственника, где она оказалась лишней, кто-то там из нее вырос. В школе эта шубка была настоящим моим несчастьем. Из-за нее меня окрестили "рязанской бабой" и не давали никакой жизни. Когда я оказался в городе, то с первых же минут тревожился, что вот-вот кто-то напомнит мне мою школьную кличку. Однако брат не видел в этом ничего особенного и даже сказал мне что-то в том смысле, что не в одежде дело, одежда не главное.

От вокзала мы проехали трамваем до кремлевской стены. Чувствовал я себя белой вороной, так как замечал вокруг себя скользящие взгляды и нарочитую осторожность касаний, когда

кто-либо пробирался к выходу, старательно поджимая полы своей одежды.

На левом берегу Днепра, у самой стены, было фотоателье в небольшом, барачного вида Здании.

— Сфотографируйте, пожалуйста, моего гостя! — обратился брат к мастеру. — И если можно, то хотелось бы сразу же и карточки получить, чтобы нам уже не возвращаться.

Все было сделано наилучшим образом, мы получили трубочкой завернутые снимки. Но фотокарточка не сохранилась, как и многое другое из тех лет.

Затем мы попали в столовую. Народу случилось там много, но место нашлось, ждали недолго, пообедали хорошо. Наверное, это был первый в моей жизни обед в столовой, с официантами, где еду подавали в тарелках, ложки были металлические, каждому полагались вилки и ножи, стоял запах специй — все это казалось изысканным, праздничным. Там же городские мальчишки с завидной расторопностью предлагали: "Покупайте свежие газеты!", "Кому свежие газеты!"

В одном из домов по Почтамтской улице (почти точно помню —? 8) Александр снимал угол, то есть место для койки. Мы прошли через переднюю, где, видимо, жили хозяева, в более просторную и опрятную комнату. Кроме Александра, там квартировал еще какой-то мужчина, кажется, смоленский же писатель В. Ф. Шурыгин. Он не обратил ни малейшего внимания на меня и с братом тоже почти не разговаривал, так что можно думать, что для него тогда Александра Твардовского просто не существовало.

— Ну вот, Ваня, — начал Александр вполголоса, помогая мне раздеться, — шубейку давай... вот сюда ее! Так! Теперь поговорим...

Старший квартирант, видимо, посчитав, что в его присутствии нам не совсем удобно беседовать, тут же стал собираться и, прихватив тощую папку, кивком головы попрощался и куда-то ушел.

— Молодец! Догадливый... Хотя, правда, секретов у нас особых нет, да лучше... — сказал брат вслед ушедшему. — Так говоришь, бывал на собраниях лобковских мужиков? Интересно! И какие впечатления? Ну-ну, понимаю, так оно, дым и шум.

— А иные молчат да ерзают, когда Феокистов на вопросы отвечает, — продолжаю я свой рассказ, — а кто и вовсе вперебой, с места свое твердит: "Не получится!" И допоздна так, что и конца не дождешься.

— Ну, а в Загорье что? Ага! Там на собраниях тебе не довелось быть... Ну, а что говорят? Как батя? Что Костя думает?

Рассказываю ему о том, что в Загорье раскулачили богатого мужика Березовского, что нет уже и Гриневича, что в Сельце поговаривают о Мармылевых как о кулаках, а в настроении отца и брата Константина ничего толком понять не могу: нет у них определенного решения, а разговоры ведутся, и они то вроде совсем готовы записаться, то снова что-то их удерживает.

— Да! Сложное дело. Но колхозам — быть! Это точно, таков курс времени. В районах я успел побывать и, как проходит коллективизация — знаю, — высказал свои мысли Александр.

Нашу беседу пришлось прервать — Александра кто-то позвал.

Когда же он возвратился, то сказал, что есть возможность побывать в театре, где шла комедия "Горе от ума". Помню, с нами была девушка, с которой, похоже, брат был хорошо

знаком.

Назавтра, прежде чем мне ехать обратно в Лобково, брат купил мне брюки и курточку, в которых я и заявился в Загорье в очередной выходной.

Провожая меня на вокзал, он дал понять, что писать ему пока нет смысла, так как предвидятся поездки в районы, и что сам он еще не знает, где и как долго придется быть.

У вагона простились.

— Ну, Ванюша, до лучших дней и радостных встреч! Передавай же там всем мой привет и поцелуй за меня маму!

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

19 марта 1931 года наша семья навсегда оставила Загорье. Жизнь была нарушена и до этого дня. Уже около полугода отца нет дома — он работает где-то в Донбассе, изредка навещается или дает о себе знать небольшим почтовым переводом.

Началось все с момента коллективизации, весной 1930 года.

Хорошо помню, что, придя как-то из Лобкова, весной того же тридцатого года, я заметил перемену в доме. Не курилась дымком кузница, не слышалось привычного звука наковальни. В избе — тишина и печаль. Сидя у своего окна, отец читал книгу. Это было в разгар рабочего дня, и мне показалось необычным и настораживающим. И мать явно не в себе: припухлость глаз и ее удрученный вид сразу же сказали мне о чем-то неприятном, о каком-то горе.

А причина заключалась в том, что хозяйство отца обложили индивидуальным налогом и сумму определили такую, что терялся смысл пытаться ее выплатить — надо было все продать, но и тогда выплатить не смогли бы. Почему так произошло? — мучил меня вопрос, на который я не находил ответа, ведь знал, как нелегко нам живется, видел, что отцу и старшему брату приходится работать каждый день допоздна, чтобы прокормить и кое-как одеть нашу огромную семью... Мне было особенно неприятно, что так складываются дела. "В школе сразу же будет известно", — думал я про себя. И отец, и Константин, и все гадали о том, что же предпринять.

Решили ходатайствовать перед районными властями об отмене непосильного налога. Было обещано пересмотреть, намечалось что-то обнадеживающее, и отец наш повеселел, хотя и не покидали его сомнения в том, что все уладится должным и лучшим образом. И потому кузница не работала, хозяйство слабело, прежняя энергия отца угасла. Имелась у нас тогда одна-единственная корова, какая-то мелкая живность и лошадь. Но лошадь была отменная — жеребец четырех-пяти лет, хотя и не чистых кровей, но рысистый, хорошего сложения, в округе таких было мало, что являлось гордостью и радостью отца и Константина.

...Выведет, бывало, брат коня на подворье, и все мы выбегаем смотреть, как он резво пляшет, поднимается на дыбы, ржет — просит свободы, а мы охаем да ахаем, радуемся. Тут и скажет отец: "Ну дай же ему поразмяться!" И брат давал. С завидной легкостью вскакивал он на лошадь, и Пахарь (кличка такая ему совершенно не подходила), пружинно танцуя, широко выбрасывая точеные сухие ноги, фыркая и подгибая лоснящуюся шею, выносил

седока с подворья. Постепенно набирая скорость, Константин доезжал по межевой зеленой дорожке до самого горизонта, а мы всей семьей ждали, когда он будет возвращаться, так как знали, что полная рысь будет показана только на обратном пути, когда лошадь станет послушна седоку. Аллюр рысью был прекрасен — в стремительном беге Пахарь демонстрировал всю прелесть своей природы и влетал на подворье подобно чуду из сказки.

Лошадь, как я уже рассказывал, всегда являлась у нас объектом особого внимания. Это шло от отца. Он любил хороших лошадей с той пристрастностью, сравнить которую можно разве что с охотничьей — к гончим. Это его влечение перешло и к Константину, с отроческих лет идущему бок о бок с отцом. Бывали случаи, когда отец с Константином ездили на конные ярмарки в Ельню ради того только, чтобы посмотреть на хороших лошадей в выездных испытаниях при торговых сделках.

А сколько затем было всяческих толков! Тут упоминались и клички, и масть отдельных особей, и "как он, шельма, рванул, как разостлался: ай-я-яй! Только подковы: лязь, лязь, лязь!" — пересказывал отец...

После опубликованной речи Сталина "Головокружение от успехов" кампания по организации колхозов как-то призатихла, и в Загорье все оставалось по-прежнему. Весенние работы в поле проводились индивидуальным порядком, как и год, и два, и пять лет тому назад. Делалось что-то и у нас в хозяйстве, но уже с какой-то затаенной гадательностью: об отмене индивидуального налога не было ничего слышно. На дверь кузницы отец повесил замок.

В начале лета 1930 года прошел слух, что в селе Ляхово организуется сельскохозяйственная артель. Предполагалось обосноваться на месте бывшей помещичьей усадьбы. От имения там, правда, ничего уже не осталось, кроме запущенного старого сада, дремучего парка да нескольких полуразрушенных хозяйственных построек.

Среди тогда еще малочисленных членов артели значился хороший знакомый отца, можно сказать, даже его друг Роман Иванович Игнатенков. Он был почти сосед нам, но его хутор входил не в Загорье, а в деревню Столпово. И вот то, что Роман Иванович вступил в члены артели, для отца стало как бы причиной раздумий о своем вступлении. В сущности, это можно назвать метанием из крайности в крайность. На тот момент у отца не было ни денег, ни запасов продовольствия, и, пожалуй, по его представлениям, стать членом артели — значило найти выход из положения. Но артель только-только организовывалась, никаких средств она не имела, помочь ничем не могла. Еще все значившиеся в списках артельщики жили на своих хуторах, общих работ не производили и на намеченной артельной усадьбе бывали от случая к случаю. Лишь один человек, сын Романа Ивановича, находился там на положении сторожа, занимая уцелевшую комнатку в разоренном барском флигеле. Звали его Руф. Был он отчаянного нрава и в подростках, по шалости, стал инвалидом. Случилось это на молотье, где он погонял лошадей, пренебрегая осторожностью. У него развязались оборы лаптей, и их затянуло в привод молотилки. Мгновенно остановить четверку разгоряченных лошадей не смогли, и Руф лишился ноги. По причине инвалидности его обучили сапожному делу, что не мешало ему справлять должность сторожа.

Было много разговоров и бесед у нас в семье в связи с открывавшейся возможностью стать членами той артели, но твердых решений не получалось. Вот уж совсем приходили с вечера к общему мнению: надо вступать, иного выхода нет. А утром опять то у матери, то у отца или у Константина возникали сомнения. И главным вопросом оставалось то, что без доходов от кузницы семье нечем жить именно в это организационное время. Но и продолжать работать в кузнице по-прежнему не представлялось возможным из-за неразрешенного вопроса о налоге.

В конце концов было написано заявление с просьбой о приеме нашей семьи в члены Ляховской сельскохозяйственной артели «Заря». Рассчитали, что до поры будем жить на



месте, держать связь с правлением, как и другие, делать все, что надлежит в хозяйстве, с ведома председателя.

Вскоре состоялось собрание и нашу семью приняли в артель.

Все делалось с самыми светлыми намерениями. Но тут как-то призабылось то, что по положению и закону следовало передать в общественный фонд и жеребца как тягловую силу. И отец отдал коня. Отдал сам. Скрепя сердце и нервы. Но тогда же и сник, не мог найти себе места. Залез в его сердце, в душу червяк, который грыз его день и ночь. Пропал сон, пропал аппетит, потускнел для отца весь белый свет. И вот на третий ли, на пятый ли день пошел отец в Ляхово. "Хоть гляну, как там, что с ним?" — сидело у него в голове, когда подходил он к тому старому саду, где была центральная усадьба артели.

Придорожная сторона сада была некогда обсажена полосой елей, для защиты от ветров. Отец почему-то предполагал, что именно там, за этой полосой в саду, должен стоять Пахарь.

Прошло, может, два или три часа. Погода стояла жаркая, и мы всей оравой сидели на ступеньках крылечка новой своей избы (теперь мы жили уже в новой избе), на теневой стороне.

Не знаю уж, кто и про что думал тогда из нас, но взгляды наши то и дело обращались на восход солнца, на тропинку, что была возле Желтой горки, по которой мы ходили в школу, в Ляхово. И вдруг мы услышали ржание Пахаря, такое знакомое и так тревожно звучащее, как бывает, когда хозяин подъезжает к дому с далекой дороги. Затем из леса, по той самой тропинке, вынырнул верховой, и стало ясно, что на Пахаре — отец, хотя обычно он верхом не ездил. Подъехал, завел коня под крышу. И поняли мы тогда, что случилась беда. И почему-то никто из самых младших не бросился встречать отца, как всегда, когда ждали его с базара, из какой-либо иной поездки. Подсел отец к нам и как-то смущенно и виновато рассказал следующее:

— Подхожу к саду, к той еловой полосе, и хотя не вижу, но слышу: ржет, заливается. Ну — он, Пахарь! И вроде прислушивается, всхрапывает, ответа выжидает. Голос-то — явственно его. Он, думаю. Я — ближе, ближе, продрался сквозь елки. Как он заметил меня — завертелся, бьет, копает землю и как не скажет: "Спаси! Уведи!" А жара! В затишье там — ни ветерочка! Слепни, мухи — роем возле него! Тут сучья, коряги, и привязан он к яблоньке. Запутался, бьется! Вижу — беда! Сердце мое только: тук-тук, тук-тук... как бы оно и не во мне, а где-то тут, рядом. Распутал, отвязал, прицепил к недоуздку ремень с брюк, глянул: никого! В Бога не верю, а все ж — ну благослови... Господь! — и... ну вот так...

Он, отец, притих. Закурил. Глубоко так затаился, вздохнул.

— Нет! Не могу! Не выдержу!

— Как же ты... решился на такое? Ну как же так можно? Обвинят же тебя! — с выражением непоправимой беды, плача, говорила мать. — Ну, что ты наделал, а? Подумал ли ты?! — продолжала она.

— Пусть будет что будет. Может, и не надо бы так, да не мог я иначе. И опять же: какую такую беду я сделал? Я не украл! Конь мой! — продолжал отец.

— Нет! Это и есть — украл! Плохо сделал! Да и куда же ты денешься с ним? Придут, осудят тебя, Пахаря уведут, а ты уже будешь не тем, кем согласны были считать! Никто не одобрит тебя!

Назавтра увели Пахаря обратно в Ляхово.

Вскоре отец покинул наше Загорье, уехал в Донбасс. Долго мы ничего не знали, что с ним и как он там. Семья жила в то время с чувством некоего стыда и неловкости за необдуманные действия отца, за его поспешность.

Кое-что у нас было посеяно, но без лошади никак нельзя было обойтись. Собрали рублей семьдесят, и мы с Константином поехали в Смоленск на базар. Базар шумел и гудел. Мы купили у цыган клячу — старую, с потертостями на холке и плечах. Надо было как-то жить. А жили тускло, с чувством некоего стыда и неловкости.

Подошла и осень. Подмораживало. Изредка выпадал снежок. И вот тогда-то вызвали Константина в сельский Совет и предложили расписаться в том, что он обязан в трехдневный срок выплатить индивидуальный налог, сумма которого, по словам брата, была для нас непосильна. И все же он был вынужден расписаться в обязательстве.

Давно это было. И хотя во всем этом нет никакой моей вины, трудно об этом писать. Но ведь так оно было. Да, горька эта правда, но, как говорится, лучше горькая правда, чем неправда.

Возвратясь из сельсовета, Константин был возбужден, не находил себе места. То он пробовал присесть, то тут же вставал и, схватив себя за голову, бесцельно шагал из угла в угол. Ему попался на глаза наш присмиривший пятилетний Вася, и Константин подозвал его к себе.

— Ну, Василек, как будем жить? — начал он. — Дела, браток, неважные... А ты вот совсем еще "мужичок с ноготок". — И, подхватив под мышки, подбросил его несколько раз вверх.

— Что же ничего не рассказываешь? — спросила мать. — Что тебе там сказали?

— Мама, мама! Не знаю, как тебе передать и не напугать. Да что ж... ты должна все знать... В моем распоряжении три дня только. Но выплатить такой налог непосильно, не будем и пытаться. Если же я прихожу к такому решению, то уж нет оснований сидеть сложа руки и выжидать милость от властей — милости не будет, и мы не можем не знать об этом из примеров судьбы Гриневицей и Березовских. Значит, мне придется уехать.

И тут рассказал он о своих планах, что уехать он намерен в Среднюю Азию, в город Китаб, где живет и работает знакомый ему человек родом из соседней деревни Селибы по фамилии Покладов, что еще летом он имел с ним беседу, когда этот человек приезжал в отпуск, что он обещал всячески помочь ему устроиться там, в Азии, что он будет рад его приезду. Константин также сказал, что заберет с собой и меня, дабы уменьшить количество ртов на отцовскую помощь. Мать была согласна, чтобы мы уехали, хотя тревога не покидала ее, но в лице старшего сына она видела взрослого человека и лишь этим успокаивала себя, повинувшись судьбе.

С тех пор минуло более полувека. Но вот почему-то ничего не забыто. В памяти сохранились даже мельчайшие подробности отдельных поступков, намерений и всякого рода ошибочных устремлений. Крайняя степень нервного потрясения брата Константина — страх, чувство безысходной подавленности, незащитности, произвола — побуждала на безрассудные, какие-то призрачные действия — бегство из родных мест в неизвестное, в неизвестность.

Болезненно-навязчивая мысль уехать чуть ли не на край света — в затерявшийся где-то в горах Узбекистана город Китаб, — казалось, сулила благополучный исход из создавшегося положения. Даже отсутствие материальной основы — денег на дорогу — не могло приостановить стремление к намеченной цели, так как во дворе еще имелась корова, которую можно было зарезать и продать на базаре, поскольку ее еще не успели конфисковать в счет выплаты налога. Буквально на второй день после разговора с матерью была зарезана

корова, отвезена на базар в Смоленск и продана в развес. Все эти действия брата были согласованы с матерью.

В Загорье мы оставили мать, сестру Анну, троих младших: Павлика, Машу, Васю. Родственник по фамилии Вицкоп отвез нас на станцию Панская, а не в Пересну, чтобы меньше нас видел кто-либо из знакомых. Может возникнуть вопрос: знал ли Александр обо всем том, что произошло в нашей семье в эти последние месяцы тридцатого года?

Александр ничего об этом не знал. Думаю, что он не знал и о том, что мы вступали в колхоз. На тот период переписка с Александром приостановилась, да и порадовать его мы ничем не могли. Можно, конечно, думать, что каким-то путем кое-что ему могло быть известно, но это лишь предположительно.

В Москве мы с Костей были впервые. На Казанском вокзале просидели трое суток. Пассажиров — несметно. Закомпостировать билеты удалось лишь за особую плату через носильщиков, которым выполнять такие услуги в те годы разрешалось. Через пять суток мы прибыли в Ташкент. Были при нас и кое-какие вещички в чемодане и корзинке, купленных накануне отъезда. В Ташкенте мы провели не более суток. Было там еще очень жарко, и мы не находили места от непривычной духоты. Предстояло ехать в Коган, где должна быть пересадка на kitabский поезд. С великим трудом мы втиснулись в тамбур. Ехала масса разного люда, и кто куда и зачем — невозможно было представить: ломились, бранились, толкались в темном, грязном вагоне, было там черт его знает что. Сесть было негде, мы ехали стоя в тамбуре. Поезд шел ночью по пустынной, дикой местности. Усталость понуждала выискивать хоть какое-либо место, чтобы присесть. Брат протиснулся в вагон, оставив меня возле вещей. Но как только Константин ушел, мне засветили глаза карманным фонариком, чего я никак не ожидал, растерялся, и в тот же момент из моих рук вырвали корзинку и выбросили ее в открытую дверь вагона. Следом выпрыгнули двое. Было обидно и страшно, я плакал. Когда возвратился Константин, сразу понял, что меня ограбили, но стерпел, не ругал меня. Задумавшись в предчувствии бессмысленности нашего путешествия, он стоял до самого Когана.

В Когане, на вокзальном полу, среди множества едущих, кое-как мы отыскивали место, где можно было присесть. Был у нас теперь только чемоданчик. Константин дал мне уснуть. Разбудил он меня уже перед утром, чтобы хоть немного вздремнуть самому:

— Смотри же! Не забывай, где мы, не спи! Не знаю, как долго я терпел, крепился со сном, вздрагивал. Кончилось же тем, что брат разбудил меня:

— Иван! Иван! Где же чемодан?

Чемодана возле нас не было — освободились от вещей полностью.

На душе было и гадко, и горько, и стыдно. И вина была опять же моя. Но спасибо хоть за то брату, что не бранил и не упрекал, хотя я готов был принять любую кару. Но что делать, если так жестоко наказывала нас эта глупая езда в неизвестность?

Ехать в Китаб мы уже не решились, хотя не так далеко и оставалось. Да и жить там мы едва ли бы смогли: мучила жара, нечем было дышать. Денег, однако, еще сколько-то оставалось, и Константин решил продолжить путь на Ашхабад, а затем до Красноводска и через Каспий — в Баку, чтобы потом — до Донбасса, туда, где был отец, на станцию Рудченково, хотя точного адреса его мы не знали.

Когда мы подъезжали к Ростову-на-Дону, брат решил отправить меня домой, в Загорье. В Ростове мы расстались, и ехал я уже один. Дальше происшествий уже не случилось, потерять я теперь ничего не мог, и, сделав пересадку в Харькове, в начале декабря 1930 года сошел с поезда на своей родной станции Пересне. Несмотря на неудачи, я был рад, что

добрался до родных мест. Семь верст от Пересны до Загорья я шел и вспоминал, всматривался в каждый куст, в каждую сельскую хату. Все казалось дорогим, привычным, несравненным. Как во сне, видел пустыни Азии с их верблюдами, ишаками, странными двуколками, колеса которых превышают рост человека, вспоминались туркменские шапки размером с барана. И вот я дома. Я привез нашей маме горькую новость, привез новую чашу страданий.

— Боже ты мой! — сцепляя руки на груди, качая головой и роняя слезы, слушала она мой рассказ. — Потом добавила: — Ваня! Костю ж осудили заочно. Он приговорен к одному году тюрьмы за невыполнение своих обязательств по налогу.

Константин блуждал где-то там, на Донбассе, разыскивая отца. Но то ли адрес был неточен, или же отец жил без определенного места, — он его не нашел, на работу нигде не устроился и вскоре после меня воротился в Загорье. Иллюзии кончились, и мы оказались перед лицом жестокой правды. Константин молчал, вздыхал, томился сознанием то ли какой-то вины, то ли имевшей место несправедливости. Продолжаться так бесконечно не могло. Теперь он знал, что осужден, жить свободно не имеет права, рано или поздно должен будет ответить.

— Мама, мама! — говорил он. — Знаешь, понимаю, что все это ужасно, мое положение увеличивает твои страдания, но, видимо, я должен объявиться властям. Раз я осужден, то делать нечего. И ничего тут не придумаешь — волком жить еще труднее.

— Сынок! Дорогой мой! Я же ждала, я только и желала, чтобы ты так вот решил сам! Я не хочу, чтобы ты был беглецом. Иди, дорогой мой сын! Иди! Мне легче, если даже тюрьма, но не...

Простился Константин с нами и пошел в тюрьму. Нелегкая это была минута.

Более двух месяцев об отце ничего не было слышно. От Александра тоже не было ни писем, ни каких-либо слухов. Сообщать ему о наших делах мы не решались. С матерью в семье я оставался самым старшим из мужчин.

В конце декабря соседские дети принесли из Ляховской школы записку. Писал лично мне бывший мой учитель Исидор Иванович:

"Иван! — было в записке. — В селе Балтутино организована группа 6-го класса при начальной школе. Попытай счастья!

И. Рубо".

И мать, несмотря на полный крах нашего семейного состояния, повезла меня на санях, на той же старой облезлой лошадке, в село Балтутино, что по ельнинскому большаку в двадцати верстах от Ляхова.

Мы обратились к директору школы Палехину. Он любезно нас выслушал, посмотрел справку об окончании мной 5-го класса, никаких иных документов не спросил, тут же зачислил меня в 6-й класс. В небольшой крестьянской хатке в тот же день нашли койку у одинокой крестьянки, где жили двое школьников. И все это было так радостно, что мы уже призабыли на тот миг наши сложные и неясные обстоятельства.

Но учиться в Балтутине пришлось недолго. В середине февраля 1931 года я был исключен из школы. Ясно помню слова директора:

"У тебя, Твардовский, не представлена справка о социальном положении, а говорят, что ты сын кулака. Если это не так, принеси справку. Можешь оставить школу".

Произошло это на большой перемене. Был я как раз в окружении ребят. В тот момент как-то

не думалось о бедах, призабылось, что было дома, в семье; галдели, смеялись. И вдруг мне прямо в лицо вошедший директор бросил эти слова. Какое-то мгновение я молчал, глядел на него и как бы верил и не верил, чего-то ждал, может, даже чьей-то помощи или защиты. Но глаза мои стали тут же плохо различать окружавших и притихших ребят. Меня охватило чувство отчужденности и одиночества среди знакомых и понятных мне одноклассников, но придумать я уже ничего не мог — выскочил из класса, не захватив учебников и не закрыв двери. Не зашел я и в ту хату, где был на постое.

Домой я нес еще одну невеселую новость и всю дорогу только и думал, как мне рассказать, чтобы меньше причинить горя матери. Но что я мог сделать? И кто же мог бы мне помочь? Кому я мешал?

Назавтра, уже из дома, я пошел в сельсовет, в Ляхово. Он размещался в бывшем дьяконовском доме. Робко, как виноватый, я вошел и стал у порога. Председатель что-то сверял, объяснял, возле него было несколько человек. Мельком бросив на меня взгляд, спросил:

— С какими делами, парень? Проходи, рассказывай. Прямо с порога я сказал:

— Насчет справки я. Учусь в Балутинской школе, но вот справки я не представил туда, в школу. О социальном положении. — Стою, жду; мысль такая: "Сейчас услышу..."

— Так, так. Справка, говоришь, нужна? Так... А кто ты такой? Чей ты? Как фамилия?

А мне и назвать себя как-то боязно. Знаю же, что как только назову фамилию, так сразу вся его доброта улетучится. Но делать нечего, надо говорить, раз пришел.

— Я... — и осекся. Фамилия длинно-звучная, приметная, да и предчувствие мне не сулит добра. Не без усилий продолжаю: — Твардовского... Трифона... сын, Иван, — сказал я и как бы увидел своего отца, который вроде даже слышит меня и видит, но молчит и чувствует, как мне обидно и трудно. "Может быть, — думаю, — разыскивают его уже". И все это так быстро вершится в мыслях, что я и о том уже успел подумать, что — "Какая же тебе справка?"

— Сын Твардовского? — слышу. — Трифона Гордеевича? — говорит и смотрит прямо на меня. — А где же он сам, Трифон Гордеевич?

— Не знаю, где он, — отвечаю и думаю, что, может, и не поверит, хотя я и впрямь не знал.

— Знаем Трифона Гордеевича, знаем! Тут, брат, такое дело: не даем мы справок... кулакам. Зачем тебе справка? Скажи, что сын, дескать, я кулака. И не надо тебе никаких справок.

Я повернулся и вышел. Постоял, поглядел: жизнь шла своим порядком, и никому не было дела до моей печали.

После этого недели две я был дома, с матерью. Гадал, думал и просто не знал, чем же таким полезным заняться. Потом услышал от подростка-соседа, что на станции Колодне, близ Смоленска, берут на работу — снег убирать на железнодорожных путях. Иду в Пересну, еду поездом до Колодни, нахожу там прораба, ведавшего службой пути, опять неудача: несовершеннолетних не принимают. Усталый и огорченный, вернулся домой.

...19 марта 1931 года. В первой половине дня прибыл к нам сам председатель сельсовета. Его фамилия, кажется, Горчаков, с ним были, как понял я позднее, понятые: наш добрый знакомый, сосед Алексей Иванович и второй, тоже сосед, Кузьма Иванович Савченков. Топали, шаркали в снях, вошли в избу. Председатель был в серой куртке грубого сукна с овчинным воротником, в шапке-ушанке, на ногах — сапоги.

— Здравствуйте! — сказал он.

Переминаясь у порога, стояли понятия. Лицо председателя было обветренно-загорелое, взгляд строгий, сам энергично-подвижной, все в нем было напряженно-серьезным. Наше запустевшее жилище он осматривал пристально, пожимал плечами, что-то думал про себя, как бы говоря: "Не такое ожидал увидеть у вас в избе".

В одежонках сидели на лежанке детишки. Наслышавшись всякого, они глядели на председателя тем детским взглядом, когда ничего доброго не ожидают от незнакомых — тревожно и гадательно. Возле детей стояла мать, оробевшая и осунувшаяся, с припухшими от слез глазами, в предчувствии услышать еще что-то тяжкое.

(Кстати, упомяну, что лет через пять-шесть она вспоминала об этом дне. Прежде всего перед ней вставали тогда образы дорогих старших сыновей и отца, которых ей так не хватало.)

Обстановка нашего жилья в те дни не могла не вызывать недоумения. Председатель сам видел полную несостоятельность рассказов о наших доходах.

Понятые присели на скамью у порога, а председатель прошел за перегородку, разделявшую избу на две половины. Здесь были стулья, называемые венскими, но уже скрепленные отцом проволокой, сиденья истерты до дыр. Он перевел взгляд на старый обеденный стол, потом — на стоявший у стены, под окном, истертый жесткий диван — место, где мы, дети, много лет проводили дни и вечера в зимнее время, и сидя, и стоя на коленях, и во весь рост — кому как было положено заведенным порядком — обедали, листали попадавшие книжки, впивались в картинки, глазели в окно, поворачивались кругом, держась за овальные выступы спинки, — так жили, росли, меняясь очередью и уступая места младшим. У глухой стены виднелась занавешенная наполовину единственная в семье старая отцовская кровать, на которой под выцветшим одеялом угадывалась впалая утроба матраца. Небольшое зеркало в рамке с украшениями из наклеенных ромбиков висело на стене — тусклое, с рваными пятнами изъеденной амальгамы. Потом председатель вышел в сени, заглянул в кладовую: она была пуста, сел рядом с понятыми, сцепив руки и опершись локтями на колени и склонив голову, похоже, что-то думал, может быть, про себя сочувствовал, но отменить он ничего уже не мог, если бы даже и был внутренне не согласен с тем, что был обязан выполнить.

Мы все еще не знали, не могли даже и подумать, что уже вот-вот должны были прибыть подводы, что нужно будет куда-то ехать, что жили мы в Загорье последние часы.

Но вот председатель приподнялся, взглянул в окно и, увидев приближающиеся подводы, распорядился:

— Ну, гражданка Твардовская... Мария Митрофановна! Всё! Значит, слушайте. Приказание такое... — Он не глядел на мать, стоял вполборота к ней. — Значит... одеться всем! Все необходимое погрузить на подводы. Топор, пилу, лопаты с собой обязательно! Продуктов в дорогу тоже. — Подумал. — Чашки, ложки и все такое: мыло, постель, белье. Одеваться теплее. На лошадях будете ехать до Ельни. Там — сборный пункт. Вот всё. Время не ждет — собирайтесь быстро.

Он вышел к возницам, понятия продолжали сидеть в избе. На дворе было шумно, слышались мужские голоса, кто-то у кого-то о чем. — то спрашивал, мешалось среди криков "Тпр-р-р!", объяснялись, сморкались, хлопали рукавицами. Все это после полной тишины было похоже на что-то базарное, безучастное к нам.

А в избе шла другая жизнь. Плакали и прижимались к матери наши малыши — Павлик, Маша, Василек.

— Мама! Куда нас? Мама-а! Куда мы?! — Они запрокидывали головы и тянулись к лицу матери, обхватывая и цепляясь за её одежду, просили ответа, просили защиты. Мать была сама не своя. Она металась, собирала всякие вещички, из рук все падало; в отчаянии,

отрешенности, роняя слезы, обнимала детей. И тут же, не своим уже голосом, пробовала еще и успокаивать нас:

— Детки мои! Ну что же вы?! Ну ладно, не плачьте же, дорогие мои, деточки мои!

Сборы наши наблюдали понятые — тоже ведь люди, и нелегко им было видеть такую картину. Алексей Иванович сочувственно переживал участь нашей семьи, то вставал со скамьи и отворачивался, чтобы не видеть страданий, то вновь садился, потупив голову, и все мял свои руки, не зная, куда деться.

Я был тогда в семье за мужчину. Никто из старших братьев не был свидетелем этой картины. Я и описываю сейчас все с особым правом на это.

Ящики, торбы, узлы и мешочки — немудреный наш багаж — были погружены на сани. Сошла мать с крылечка. Малыши, закутанные Бог весть во что, тут же рядом с ней. Мать оглянулась, попрощалась со всем тем, чем жила, что было дорогим и родным, что было когда-то началом и где она была молодой, двадцатилетней, где держала на руках, стоя у порога кузницы, второго сына — Шурика.

Непритворно, сердечно провожал нас и помогал разместиться Алексей Иванович. Его последние слова были просьбой поверить, что ко всему этому он не причастен и не имеет в памяти о нем недобрых мыслей.

Уже вечерело, когда наконец выехали мы с подворья. Повезли нас, как нарочно, не прямой дорогой, а кругом — через Сельцо. Из хат выбегали соседи, прощались, кое-что дарили на ходу, догоняя, передавали кто хлеб, кто кусок сала, а то и узелки с мукой.

По большаку Смоленск — Ельня мы ехали всю ночь. Весна уже испортила санный путь, лошади то и дело проваливались в снег. Приходилось слезать и местами идти пешком. В Балтутине, ночью, я успел забежать в ту хату, где стоял на квартире, попрощался с ребятами, с которыми учился и жил. К Ельне подъезжали на рассвете, там ждала нас старая солдатская казарма — сборный пункт. В ней уже было много подобных нам крестьян с семьями. Встретились там и знакомые: Мормылёвы из Сельца, Шупинские и Петроченковы из Ковалева, Возновы — родственники, некоторые знакомые из окружающих деревень. Но среди всех, казалось, самой измученной и обиженной была наша семья.

А подвозить продолжали. Дней через пять казарма была полностью освоена. Появилась грязь и неприятный запах скопления разновозрастных людей: детей, стариков, больных и здоровых.

На шестой день прибыл наш Трифон Гордеевич, а на седьмой привезли из Смоленской тюрьмы и Константина. И как же много значило для нас возвращение отца и брата! В эти часы забыто было и горе, мы были несказанно рады, что теперь с нами вместе близкие и дорогие нам отец и брат.

31 марта, на двенадцатый день после отъезда из Загорья, всех нас погрузили в товарные вагоны, в которых были настланы доски в два яруса, как это делалось раньше для солдат. В каждом вагоне насчитывалось со стариками и детьми до полусотни человек. Очень неудобно было справлять естественные нужды: здесь и женщины, и молодежь, и дети. Выход из положения был найден отцом: он прорезал ножом дыру в полу вагона, занавесил ее прямоугольником со всех сторон, так и обходились в течение всего пути до станции Ляля.

Ехали семь суток. Поезд шел и шел, непродолжительные остановки были лишь для смены бригад. За это время кормили нас только два раза: в Казани и в Свердловске приносили в ведрах прямо в вагон суп и кашу. Между тем люди как-то смирились, беседовали уже без слез, пробовали и песни петь, правда, песни были грустные: о доле, о каторге, о Байкале.

Подолгу, поочередно всматривались в проплывающие за небольшим оконцем-люком поля, долины, леса, завидуя иной жизни и сожалея о своей порушенной.

Долго было неясно, куда же все-таки нас везут. Кто-то предполагал, что в сибирские степи, где якобы "места для всех хватит", кто-то убеждал, что "хуже не будет", чем было на родине, но все это было лишь желанное воображение. Когда же от Свердловска поезд круто повернул на север, то радужные мысли сразу потускнели и стало ясно, что впереди край суровый, и как там и что там — сказать уже никто не мог.

И вот наконец станция Ляля. Поезд еще был в движении, еще только сбавлял скорость, а кто-то из находившихся на верхнем ярусе уже увидел через оконце и успел громко прочесть эти два слога «ля-ля» — название станции. Через минуту-две поезд остановился, и можно было слышать отдельные слова каких-то повелительных, как бы командных, указаний, суть которых была для нас хотя и не ясной, но чем-то относящейся к прибытию нашего эшелона. Минуты ожиданий были томительны, но уже не было сомнений, что по железной дороге наш путь окончен и что дальнейшее движение будет гужевым, — на станционной площадке и между строений замечено большое количество подвод, запряженных в сани.

Это было 7 апреля 1931 года. Открывали вагоны люди в длинных шинелях. Сразу же было приказано сдать все имеющиеся документы. Казалось, что все прибывшие вместе с нами отдавали документы прямо в руки военному человеку без удовольствия — предугадывались ограничения свободы. Наши семейные немудрые бумажки мы полностью сдали. Затем последовала команда выходить из вагона. Все это происходило быстро. Сразу же семьями сажали на подводы и тут же отъезжали к указанному месту на реке Ляля, откуда предполагалось дальнейшее движение по льду в верховье реки. Кстати, в этих местах, в зимнее время, реки являлись хорошим санным путем.

С полудня до вечера и всю ночь нас везли вверх по реке. Проезжали таежные селения, что стояли по берегам этой реки. И было заметно, что между селениями довольно значительные расстояния — не менее пятнадцати — двадцати километров. Первым селением было Бессоново, затем — Злыгости. Последнее, в нашем восприятии, содержало какой-то затаенный смысл и даже тронуло наши возбужденные души, будто бы оно отгорожено от мира неприступным кордоном. К тому же возницы сильно отличались своей речью от нашей, что, кстати сказать, очень было важно в нашей дальнейшей судьбе, судьбе спецпереселенцев, как положено было нас называть с первых дней пребывания в местах ссылки.

Мы проехали, наверное, верст пятьдесят — шестьдесят и остановились неподалеку от старинного, очень большого таежного бревенчатого села Караул. В детстве мы слышали это слово как крик-зов о помощи, и потому опять мелькнуло недоброе предчувствие. Но нас в Караул не повезли, а весь обоз повернул влево от реки, прямо в тайгу. Проехали два-три километра до низких, но больших, широких барачков, срубленных из двух-трех венцов толстых бревен. Барачков было всего два или три. Перед нашим приездом в них жили лесорубы, теперь их куда-то переселили, остались только несколько человек, им предназначалось руководить нами, переселенцами.

Дня два-три шла переписка, уточнение фамилий, имен, специальностей, хотя никто не был поставлен на работу по специальности. Выдали хлеба из расчета шестьсот граммов на душу в день, сразу на неделю. В общем, особых печалей первые дни мы не испытывали, надеялись, что будет и легче. Но угнетало жилье. Скученность семей на общих нарах, толкотня, грязь, невообразимая пестрота возрастов и привычек — все это не могло успокаивать. Работать нас первое время не особенно принуждали, никто толком не вел какого-либо учета труда. С полным желанием и по первому же предложению мы все шли на



земляные работы (строилась водная система сплава из глубин лесосек к реке Ляля), но вскоре убедились, что работой нашей не больно-то кто интересуется, и пыл наш угас.

Здесь, в этих таежных бараках, мы пробыли недели две. Пришло указание переселить нас еще дальше, вверх по реке, в район селения Старая Ляля. (Тут мы узнали, что есть Новая Ляля, и она оказалась тем рабочим поселком, где мы сошли с эшелона.) Эта новость была воспринята нами охотно, мы даже были рады, ожидая чего-то лучшего. Но санного пути уже не было. Нас везли на колесах по тракту, пролегавшему параллельно реке, иногда отдалявшемуся и вновь приближавшемуся к ней. По обеим сторонам тракта была тайга, местами с подлеском, с кустарником. Суровость края нас не пугала, мы не допускали и мысли, что через год многих из нас уже не станет.

В Старой Ляле пробыли несколько часов, ждали, что кто-то что-то нам скажет, объяснит, но ничего такого не было. В этот поселок шла узкоколейная железная дорога до станции Выя протяженностью километров семьдесят. Был в Старой Ляле небольшой лесопильный заводик, сам поселок словно глубоко проваливался между окружающих его мрачных покрытых хвойным лесом гор, на которых виднелись пожарные вышки из бревен. Старую Лялю мы оставили в тот же день, как прибыли, и к утру следующего дня (кажется, это было 20 апреля) прибыли на лесоучасток Ново-Лялинского леспромхоза Парча, где было два старых барака. Опять нары, опять скученность, грязь и галдеж. Теперь мы должны заняться непосредственно лесозаготовительными работами.

Надо сказать, что не все переселенцы продолжали быть вместе. Отдельными семьями их увозили в разных направлениях, о чем мы не сразу узнавали, и только на Парче заметили, что многих с нами нет.

Наша семья пока была вся здорова: никто не болел, всё вместе переносили, что Бог даст. В других же были и больные, были и умирающие.

Теперь каждодневно мы выходили на работу, на сплав леса. Громадные штабеля леса по берегам реки нужно было сбрасывать во вскрывшуюся ото льда реку. Делалось это вручную. Перекатывали каждое бревно по проложенным покатам-следам, для чего ставили по два-три человека на каждом штабеле. Верхние ряды сравнительно легко поддавались усилиям рук, а те, что были в нижних рядах и тем более на ровном или низком месте, давались намного труднее, а для женщин были совсем непосильными. Но и это куда ни шло — ладно. Хуже всего, что питание совсем никудашнее: хлеба недостаточно, для горячего выделялось ничтожно мало крупы, изредка — воблы. Полученный паек никак не удавалось разделить на все учтенные дни и, как правило, день-два-три есть было вовсе нечего, наша семья буквально голодала. Да к тому же отношение со стороны местных десятников было почти издевательским. Всюду слышалось: "Давай!"

Давай!", "На вас люди работали — теперь ваша очередь работать на людей!" И так постоянно, и куда деться от сознания, что постепенно близится гибель. Проходили недели, декады, подсчитывалась десятниками проделанная работа, выделялись согласно выработке продукты. Выдавали их по так называемому расчету на заработанный рубль. Никаких рублей мы не получали, хотя подсчет их как будто был, но верить этому не хотелось. На рубль полагалось 113 граммов муки, еще меньше крупы и совсем ничтожно сахара. Получалось до слез мало, и уже никакие хитрости хозяйки не могли поправить дело.

На работу от нашей семьи ходили отец (было ему за пятьдесят), брат Константин, сестра Анна. Я тоже, на положении взрослого, был на этих работах, выходила и мать — помогала нам, сколько могла.

Приближалось лето. Молевой сплав леса в верховьях Ляли подходил к концу. На реке оставались только вольнонаемные, «кадровые», как их называли, сплавщики, задачей

которых было очистить берега и заводи от затерявшихся бревен. Люди эти в шутку называли себя зимогорами, что говорило об их бесшабашности, оторванности от семейной жизни и какой-то особой беспечности к своей судьбе.

Период сплава зимогоры проводили на реке денно и ночью, в постоянно рискованной готовности оказаться в самых непредвиденных обстоятельствах ледяного половодья, несущего тысячи тысяч кругляков леса, где надо уметь и успеть вовремя заметить скапливающуюся опасность, отчаянно броситься на эту движущуюся, вертящуюся массу, виртуозно балансируя с багром в руках, подобраться к месту зарождавшегося затора, мгновенно найти тормозящую точку и "открыть окно" главному напору бревен.

Потом, завершив свое дело — лес доставлен по назначению, — возвращались зимогоры на исходную, в Парчу, где неподалеку от переселенческих бараков, между черемуховых зарослей, стоял их барак, в котором хлопотливо готовили стол к встрече две-три молодки. И черемуховый уголок необычайно оживал: гудели, пели, отплясывали уральскую «Подгорную» до изнеможения, и кто-то из них с усердием выжимал весь дух из татарской гармошки, то и дело взрывом вплетая слова из частушки:

Ты пошто меня не любишь?

Я пошто тебя люблю?

И-и! Пошто ко мне не ходишь?

Я пошто к тебе хожу?

Все они — человек двадцать — были в том возрасте, когда еще не все потеряно и есть желание тряхнуть удалью. Их положение резко отличалось от нашего, переселенческого, где довлела печальная тишина, где и малые и старые смиренно коптились вечерами возле дымивших костерков у реки, вполголоса и отрывочно делясь памятью о своем прошлом. Но ведь мы не являлись осужденными, и никакого приговора суда и срока объявлено нам не было. Не было и какой-либо огороженной и охраняемой зоны, следом за нами вооруженный конвой не ходил, и это давало повод верить в возможность ненаказуемого выхода с поселения. К тому времени люди стали больше знать друг друга, различать, с кем и о чем можно говорить. И то, что до поры хранилось затаенной мечтой, теперь уже в осторожных беседах начинало всплывать наружу.

Не знаю, у кого первого появилась мысль тайно уйти из места ссылки, у отца или у брата Константина, но было уже совершенно ясно: иного выхода нет, как только уйти, то есть самовольно оставить поселение.

И вот наступило лето. Июнь месяц. Тепло и днем и ночью. Отец и мать благословляют Константина и меня в путь-дорогу. Тайных лесных путей мы не знали и потому решили идти тем же трактом, по которому ранней весной нас привезли. Тихой ночью мы простились. Наша семейная договоренность была такова: ни при каких обстоятельствах не говорить, куда и как мы скрылись. Пусть думают что хотят.

Прошли мы километров двадцать, уже и Старая Ляля позади, осталось только пройти через мост небольшого притока Ляли, и вот на том мосту — встреча. Два всадника показались как раз в то время, когда мы ступили на мост. Скрываться уже было некуда, и мы решили идти прямо на встречных, все еще не теряя надежды: авось минует. Но нет, не миновало.

— Кто вы и куда идете?! — подъезжая, крикнул один из всадников. Наш ответ был, видимо, неубедительным, и мы услышали повелительный приказ: — В комендатуру, ну!

Получилось обидно. И было неловко, стыдно: так мало нам удалось пройти, и сразу же мысль

о том, что теперь нас ожидает и как все обернется. А мать и отец думают, что мы уже где-то далеко, думают, что мы окажемся свободными, может быть, где-то устроимся, может, чем-то поможем остальным, если они выживут.

Нас посадили в какую-то каталажку, где и продержали около суток. Выяснив, с какого мы участка, отправили под конвоем в село Павда, что примерно в сорока километрах от Старой Ляли, опять вверх по реке. Усталые и голодные, мы шли по каменистой горной дороге целый день. Конвойный не голоден, на лошади, ему, наверное, и удобнее и легче, но и он, чувствуется, устал. Шли молча. В Павду пришли вечером. Опять — каталажка с решеткой на малом окошке, дверь надежно закрыта, кто-то дежурит. Утром нас вводят в комнату некоего начальника. Откуда? Почему? Куда? Отвечаем по правде: голод, унижения, негодные условия жилья.

— Ну что ж. Вот ты, — он указал на Константина, — в штрафную роту пойдешь. Там ты поймешь, что такое хорошо, что — плохо. Там будет весело! А ты, — теперь его взгляд был обращен на меня, — ты пойдешь к семье, обратно в Парчу. Лет тебе недостает, а то угодил бы туда же.

На Парчу я шел без конвоя. "Куда и на какое время угонят Константина?" — думал я, шел и соображал, как обо всем этом рассказать отцу. Уж больно скоро и скверно все кончилось. И что нас ждет впереди: ни срока, ни конца, ни ясности судьбы.

С испугом встретила мать, строго и вопрошающе посмотрел отец. Они совсем ничего, как и я, не слышали о штрафных ротах. Думалось всякое и даже такое, что, может быть, уже никогда не видать нам Константина. Особых разговоров на Парче со мной не последовало, почти никто не заметил, что меня не было двое суток, и я опять с отцом и сестрой стал ходить на работу. После сплава мы заняты были окоркой бревен, не вывезенных из леса за зиму. Работали ручными окорочными стругами-лопатками, а в случаях, когда попадали комлевые бревна с особо толстой корой, применяли топоры. В тайге летом довольно жарко, много всякого гнуса, пахнет травами, непривычной прелью, и все это казалось немилым, тяжким, чуть ли не враждебным. Работа не увлекала, так как смысла и интереса она не давала.

Прошло около месяца, о судьбе Константина ничего не было слышно. И вот однажды среди ночи, в июле, меня разбудила мать. "Костя пришел, — тихо она сообщила, — выйди к нему, он ждет".

Я вышел из барака, никого не было слышно. Но когда подошел несколько ближе к реке — уловил отдельные слова знакомого голоса и тут же различил, понял, что брат не один. Их было трое: Костя и двое молодых, мне неизвестных. Они были в побеге и останавливаться на Парче не собирались, но сказать матери и отцу — проститься еще раз — было в их плане, а также взять и меня с собой. Не знаю уж, о чем Константин успел поговорить с матерью и отцом, но то, что они не препятствовали, я понял. Итак, мы снова на запретных дорогах.

За время пребывания в штрафной роте Константин каким-то образом узнал о возможности прохода прямым путем через горные перевалы по тайге, минуя таким образом и Старую Лялю, и Верхотурье с расчетом из Азии выйти в Европу в районе железнодорожной станции Теплая гора. По тогдашним подсчетам этот путь был равен 250–300 километрам, но путь необычный: селений в этом направлении не значилось, и лишь изредка могли попадаться отдельные старательские хижинки вблизи горных речушек.

Предполагалось, что могут быть где-то и прежние заросшие дороги, по которым якобы когда-то, при царе, гнали в Сибирь каторжан. Ни карты, ни компаса у нас не было. Ориентироваться каким-то особым, таежным образом мы не умели и все же решили идти неведомыми для нас тропами, проселками, речками и просто наугад, как подскажет судьба.

Шли день, шли второй. Если случалась вода — отдыхали. Запас продовольствия — сухари,

сушеную рыбу — расходовали строжайше экономно. Сейчас уже с трудом могу представить лица товарищей Константина, которые оказались спутниками в этом переходе, а имена их совсем забыл, да и вряд ли это имеет какое-либо значение. Помню, что встречались нам старые, поросшие травой бревенчатые дороги. Они похожи были на какие-то особые, может быть, вправду когда-то служившие для следования этапами каторжан, для нас же они оказались очень даже подходящими. На пятый день мы стали замечать покосы, стога сена и тропинки с признаками недавних, почти свежих следов обитателей тех мест. Потом услышали отдаленные гудки паровозов, послужившие нам предупреждением для осторожности.

На Теплую гору мы вышли на шестой день. В первый момент это обрадовало нас, но тут же встал сложный вопрос: как быть дальше? что делать? Денег у нас не было, и о покупке билета для проезда не могло быть и речи. Можно было только попробовать на товарных поездах, но это тоже не просто и вообще в составе целой группы — невозможно. Так мы рассуждали, сидя вблизи железной дороги, в лесу. Здесь мы расстались со своими спутниками, и судьба их осталась нам неизвестной.

Мы с братом вышли к станции. Как раз проходил пассажирский поезд. Кто-то куда-то ехал, не прячась, не боясь, и, конечно, в уме не держал, что совсем рядом метались в неизвестности два человека, каждую минуту ожидая ареста, этапа, жестокого обращения, не имея прав защищать себя, доказать лишь единственное желание — быть просто свободными людьми. Вид наш был изнуренный, приметный, подозрительный. И нас там же задержали. Опять комендатура, допросы, обыски и арест. Но исчезал страх, и, кажется, мы были рады любому исходу, лишь бы сделать передышку, как-то оглядеться, что-то узнать, успокоиться.

На наше счастье, там, на Теплой горе, был маленький заводик — остатки демидовских владений. Завод чугунолитейный, с одной старенькой небольшой доменной печью, работавшей на древесном угле. Не хватало рабочих, и по этой причине нас передали в распоряжение этого завода. Поселили под крышей пожарного депо. Не было там ни кроватей, ни каких-либо постельных принадлежностей, но все это ничуть нас не испугало — мы были рады, что нет над нами охраны, каких-либо надсмотрщиков, что, работая на литейном дворе, мы получали талоны на обед, ужин и утром на завтрак. Работа, правда, была адская и новая для нас, но жить можно было. Кто-то из начальства, однако, заметил, что я жидковат для работы на литейном производстве, и меня перевели работать на лошадях по перевозке угля с железнодорожных складов на домну. Повозка с большим, плетеным из прутьев коробом запрягалась парой лошадей. Я возчик, я же и грузчик угля. А выгрузка производилась так: лошадей, не выпрягая, поворачивали под прямым углом к нагруженной повозке, и она без особых усилий опрокидывалась, а порожний короб был довольно легким, и его уже возчик сам устанавливал на повозку. Работа эта была (понятно — уголь) грязна до предела. К вечеру я бывал чернее самого черта, переодеться же не во что: в чем работал, в том же и ел, и спал. Глядя на меня, Константин страдал, да и вообще он продолжал думать все о том же — бежать, бежать в родные места. Я до сих пор не очень понимаю, что именно двигало брата, почему он так неотступно стремился бежать. Правда, у него на родине была невеста, которая не знала, где он и что с ним. Может, манила мечта встретиться, рассказать, объясниться; может, он имел какую-то неведомую мне и понятную лишь ему мысль о дальнейшей жизни и ее устройстве — не берусь что-либо утверждать. Мне казалось, что муки наши неоправдано тяжелы, что где бы мы ни оказались, ждет нас все то же: арест и этап.

Здесь я должен возвратиться несколько назад. Будучи еще на Парче, где остались отец, мать и все остальные, мы писали Александру в Смоленск. Мама и отец, видимо, сколько-то еще думали — утопающий хватается за соломинку, — не сможет ли он как-то, чем-то помочь. Конечно же было ясно, сам он тогда жил на малых средствах, постоянного заработка не имел, и ждать от него материальной помощи нельзя было, но ведь вряд ли о ней могла идти речь, может, ее и не ждали, пусть бы просто сохранилась какая-то родственная связь с матерью, отцом, с младшими, кровно близкими. Ведь говорим же мы, что друг познается в беде. Поэтому, как я понимаю, ничто не может быть оправданием сыну, который в

тяжелейшую для матери минуту не пришел к ней.

Туда, в Парчу на Ляле, пришло от Александра два письма. Первое было чем-то обнадеживавшим, что-то он обещал предпринять. Но вскоре пришло и второе письмо, несколько строк из которого я не забыл до сего дня. Не мог забыть. Слова эти были вот какие:

"Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества — не есть ликвидация людей, тем более — детей..."

Письмо этим не кончалось, писал он и дальше, вроде того: "...писать я вам не могу... мне не пишете..." На том все и закончилось, больше он не писал и о судьбе нашей ничего не знал до 1936 года.

Когда мы были на Теплой горе, у Константина все еще хранилось в сумке пальтишко грубого сукна, демисезонное. Таскал он его как неприкосновенный резерв на случай, когда уже ничего иного придумать нельзя, как только отдать за кусок хлеба. И день такой настал: он променял свое пальтишко на сухари, которые следовало иметь в дорогу, — мы покидали Теплую гору. Пользуясь тем, что жили мы там без охраны, мы наш путь продолжили.

Шли мы прямо по шпалам железной дороги. Впереди была станция Чусовская, до которой от Теплой горы было двести пятьдесят километров. Каждый день мы старались пройти пятьдесят километров. Сколько-то у Константина было денег, кажется, он их получил при обмене пальто на сухари, и мы в пути несколько раз покупали молоко у железнодорожников, на разъездах. Спали же мы на этот раз во встречавшихся стогах сена. Событий никаких не произошло до самой станции Чусовской, куда мы пришли за пять суток.

Но так уж все складывалось: как только мы оказались на улице этого уральского городка, так тут же и были задержаны милицией и водворены в арестантское помещение. Продержали нас там недели две. Каждый день всех задержанных и арестованных, которых набиралось до сотни, посылали на разные работы, под охраной: разгружали вагоны, таскали доски, кирпичи, работали на лесоскладах. С неделю держали на станции Лямино, что в десяти — двенадцати километрах от Чусовской в сторону Перми. В Лямино были большие лесопильные заводы, и работа там была исключительно по погрузке пиломатериалов на железнодорожные платформы. Затем снова нас возвратили в Чусовскую, и там, во дворе милиции, мы вдруг встретили нашего родственника — дядю Михаилу Вознова. Того самого Вознова, о котором ученик Ляховской школы Шура Твардовский упомянул в самом первом своем стихотворении:

Раз я позднью порой

Шел от Вознова домой.

Трусоват я был немного

И страшна была дорога.

Встреча со старым, дряхлым, больным Михаилом Матвеевичем Возновым была так неожиданна, так печальна, что в тех условиях она отозвалась в душе как последняя встреча с обреченным. Да оно и не могло быть иначе. И он это понимал.

Непослушными дрожащими руками, роняя старческую слезу, он, покопавшись в своем мешочке, отыскал завалявшийся кусочек смоленского сала и разделил его с нами. Никакой связной беседы не получалось, только так, междометиями: "У-ух!" да "А-яй!" Он предвидел скорый конец свой, и, наверно, там, в Чусовской, он для него и настал. Обнялись, попрощались. Тут нас стали вызывать по списку для отправки на станцию Утес, что в

двадцати километрах от Чусовской в сторону Соликамска.

На станцию Утес нас привезли поездом. Дело было к вечеру, и ночевать пришлось где-то в комендантской. Был август, но погода удерживалась теплая. Работу нам дали на алебастровом производстве. Это не было ни заводом, ни фабрикой, а просто "Алебастровое производство", как и значилось в бумагах. Там, в близлежащей горе, в карьерах, добывали алебастровый камень — сырец. Вагонетками на лошадях его подвозили к станции и обжигали древнейшим способом: выкладывались из него своего рода печи, и в них сжигались дрова людьми, знающими и умеющими держать в этих печах нужную температуру, определять готовность обжига. Там же, на специальной мельнице, камень мололи, а затем грузили в вагоны.

Таких, как мы, беглецов было много. Жили намного лучше, чем в таежных местах. Здесь работа оплачивалась лишь немного ниже, чем вольнонаемным и было гарантированное питание в столовой с постоянной нормой хлеба. Мы были согласны остаться здесь надолго, но с наступлением зимы сократились работы, и всех нас собирались отправить по прежним местам ссылки. Возвращаться опять на Парчу, на Лялю, мы не хотели, и Константин решил попытаться устроиться на угольные шахты, которые находились севернее, в Кизиле и в Усьве. Слухи были такие, что якобы там не требуется никаких документов, дескать, шахта есть шахта, лишь бы хотел работать. Надо было как-то попасть туда, но это неблизко — километрах в семидесяти.

На товарных поездах мы доехали до тех мест и побывали на шахтах, и хотя нас там не задержали, но и на работу без документов не приняли.

Начались холода. Одежда наша была совсем не по сезону — мы коченели от холода. Но деваться некуда, надо как-то жить, что-то искать. Мы снова, теперь уже вспять, до Чусовской, не заходя в город, напрямик отправились по заснеженным, бугристым и неприветливым пустошам, добрались до железной дороги и по шпалам пришли на станцию Калино. Обогрелись, отдохнули, какой-то воришка угостил нас чаем в буфете, а с наступлением темноты мы оставили эту станцию и на товарном поезде проехали два-три пролета до станции Комарихинской. Здесь уже никто нас не спугивал и не задерживал, и мы дождались утра в зале для пассажиров.

Нынешнее поколение, может быть, с трудом поверит в правдивость моего рассказа. Но мы были похожи как раз на тех, которым уже терять нечего и нечего жалеть. Мы были голодны, одиноки, утомлены самой жизнью и желали только одного — хотя бы оказаться в тепле, уснуть, забыться, даже умереть, исчезнуть, лишь бы освободиться от безнадежности.

И все же мы какой-то силой продолжали двигаться вперед по направлению к западу, в ту сторону, где осталась наша малая родина. И не чувствовали за собой никакой вины. Мы же никаких преступлений не совершали — и не могли смириться с тем, что у нас отняли свободу и молодость.

Впереди была Пермь. Этот город мы обошли стороной, петляли по его окраинам, по льду перешли Каму, ночью. Чуть живые вышли на железную дорогу, и она привела нас на станцию Курья.

В маленьком зале, вперемежку с торбами, сумками, сундучками, повалом, прямо на полу, сидели, лежали взрослые и дети. Многие спали, храпели, некоторые копошились, пристраиваясь уснуть. Были там и такие, которые видом своим были похожи на нас. Там мы немного отдохнули. Я спал. Разбудил брат толчком. Открыв глаза, я понял, что надо идти. Ничего не спрашивая, я встал, и мы оставили эту станцию и прямо по линии двинулись дальше. Отойдя всего с полверсты, возле немудреного домика увидели баньку, вошли в нее, и тут нас охватило смятение: банька еще не успела остыть, в ней было тепло, и мы испытали

чувство опасения. Но оно прошло — поняли, что в столь поздний час никто уже не придет. В сознании сверкнул лучик облегчения: остаток холодной ночи можно провести в тепле, может, только три-четыре часа, но как много значило это для нас! Однако я еще был в неведении о том, что побудило брата покинуть зал станции, где, казалось, мы так же могли бы скоротать эту ночь. И спросить об этом я еще не успел, как брат, крикая, присел к окошку, вытащил из мешочка полбуханки хлеба, затем добрый кусок мяса и... четвертинку водки.

— Понял? — кивнул мне. — Вороне Бог послал... Ну и не спрашивай. Давай, ешь.

Конечно, я все понял.

Спустя сорок с лишним лет, будучи в гостях у брата в Лоннице, на Смоленщине, где он, вернувшись с фронта, проработал в совхозе кузнецом более тридцати лет и давно уже был коммунистом, вспоминали мы те годы и наши дороги.

— Помню, Ваня. Помню все. И ту ночь — тоже... Да что ж можно сказать? Голод, отчаяние. Камня на моей совести нет!

Чувство стыда было повержено голодом и нашим положением. Константин выпил водки, поел, пошли дальше. Где-то сели на товарный поезд и ехали на тормозной площадке до станции Верещагино. Было много путей, и мы, опасаясь, шли между поездных составов. Вдруг услышали окрик: "Стой! Кто такие?" К нам подскочил коренастый, белобрысый мужчина. Схватив брата сзади, принуждал следовать с ним. Константин, конечно, мог отбросить его или же вступить в борьбу, но побоялся, не то было место: белобрысый был дома, а мы — чужие, беглые бродяги. Просьбы наши не вызывали в нем сочувствия, и мы были доставлены в отделение линейного ОГПУ.

Через день нас повезли в этапном вагоне в Пермь. Мы были не одни — задержанных был полон вагон. В Перми нас сдали в какой-то лагерь, где было до полтысячи пойманных беглецов, преимущественно из ссыльных. Лагерь находился близко к складам зерна. На этих складах нам и пришлось работать на погрузке и разгрузке. И было там чему удивляться: только вчера выгружали, бегали возле нас «руководящие» с бесполезным: "Давай! Давай!", а на завтра мы, обессилевшие «муравьи», волокли те же мешки под ту же музыку "Давай! Давай!" обратно в вагоны.

Кормили плохо, условия в казарме — ужасные: ни тебе бани, ни постели, ни тепла. Грелись угасающим теплом человеческих тел.

Я пишу эти строки в возрасте, когда уже все позади. Великое слово ПРАВДА обязывает меня сказать все как было. Да ведь и не вчера это было. Прошло с тех пор более чем полвека. Если же действительно человек свободен у нас, то пусть это станет гласным, чтобы не было фальши в рассказах о становлении нашей сегодняшней действительности.

У Александра Трифоновича есть такие строчки в поэме "По праву памяти":

Вам —

Из другого поколения —

Едва ль постичь до глубины

Тех слов коротких откровенье

Для виноватых без вины.

Вас не смутить в любой анкете

Зловещей некогда графой:  
Кем был до вас еще на свете  
Отец ваш мертвый иль живой.  
В чаду полуночных собраний  
Вас не мытарил тот вопрос:  
Ведь вы отца не выбирали,—  
Ответ по-нынешнему прост.  
Но в те года и пятилетки,  
Кому с графой не повезло,—  
Для несмываемой отметки  
Подставь безропотно чело.

-

Тогда совсем уже не диво,  
Что голос памяти правдивой  
Вещал бы вам и впредь беду:  
Кто прячет прошлое ревниво.  
Тот вряд ли с будущим в ладу.

В Пермском лагере находились около месяца. Потом опять этапом в те же места, куда были высланы. Мне и брату Константину предстояло возвратиться на реку Лялю, в Парчу.

Не могу не отметить, что само название места — «Парча» — мне очень нравилось. Дело в том, что с самого раннего детства я слышал это слово из поэмы Некрасова «Коробейники»: "Есть и ситец и парча". Поэму эту у нас в семье не только читали, — ее пели. И хотя тогда, в детстве, я не знал, что парча — один из видов ткани, слово ассоциировалось с чем-то красочно-нежным, праздничным, с чем-то завораживающим. Не исключая, что, может, некогда это название и возникло в связи с удивительной красотой самого места. Река Ляля сама по себе очень красива. Она петляет среди отвесных гор, удерживающих на себе в основном сосновые леса, у подножия — сплошные черемуховые заросли, которые так обильно цветут ранней весной, что при нормальных условиях жизни нельзя не восторгаться.

Наконец — станция Гороблагодатская. Отсюда нас повезли в Нижнюю Туру. Потом, уже без конвоя, мы пошли с Константином по узкоколейке в сторону Старой Ляли. Да, путь этот был тяжким: мы возвращались туда, откуда ушли тайно полгода назад.

Семьдесят километров — не так уж много. Но пройти их без ночлега, зимой, без пищи — ой как непросто.

Примерно на половине пути, на какой-то крохотной остановке, где было всего два-три барачных сооружения для службы и жилья, поздно вечером, уже предельно утомленные, мы



осмелились зайти в одно из тех жилых строений. Открыла нам женщина средних лет и... не испугалась. Приветливо пригласила войти. Мы честно рассказали ей о себе: "Бежали из ссылки, были задержаны, возвращаемся на прежнее место".

До сих пор сохранилось во мне ее теплое сочувствие: мы были встречены по-людски. С каким-то чисто материнским вниманием она предложила нам ужин и с радушием напомнила, чтобы мы не стеснялись. Предложила и ночлег, но мы и без того были ей благодарны, ушли.

На Парчу мы явились в конце января 1932 года. Не надо думать, что мы забыли обо всех. Нет. Ни о матери, ни об отце, ни о сестрах и младших братьях мы не забывали никогда. Но теперь, уже на подходе к тому самому месту, где почти семь месяцев назад оставили их, чувства сыновнего долга была до глубины души обострены и мы с содроганием ловили себя на неотступных мыслях: "Живы ли они? Да неужто?.."

Мы знали, что, не доходя одиннадцати километров до Старой Ляли, нужно свернуть влево и кратчайшим путем выйти к месту первичного поселения — на Парчу. Так мы и сделали. Летняя тропинка, прикрытая снегом, угадывалась и привела нас к реке. Но Боже мой! Ничего не узнать! За время наших скитаний построен целый поселок переселенцев. И уже не на Парче, а двумя километрами выше по реке. Появилось там много новых спецпереселенцев с Украины.

Бревенчатые хаты, из труб которых выползали лохматые дымы.

Было холодно. Кое-где замечались люди — обитатели поселка, а рядом, на склоне, — кладбище. Бугорки могил, разбросанные как пришлось, представляли невеселую картину. У первого же встречного мы спросили: живы ли наши? На украинском языке мы услышали:

— Старый давно тикав, а стара туточки, жива. Ось дывись, у той хати живе! — и указал нам, как пройти.

Так мы оказались опять возле наших. Матери немного повезло, она работала на кухне, а потому голод ее не касался в той мере, как прочих.

Но об этом — потом, а теперь по порядку.

На Парче вместе с матерью оставались наша сестра Анна, девятилетняя Маша и Василек, которому было лет шесть. О наших скитаниях мать ничего не знала — около четырех месяцев писем не получала и, конечно, догадывалась, что дела наши незавидны. Она рассказала, что отец вместе с Павлушей оставил Парчу немногим позже нас в истекшем году, что сейчас он находится под Москвой, работает около Можайска в совхозе кузнецом, что уже несколько раз получала от него почтовые переводы, но как там и что, точно не знала, адрес был на фамилию Тарасова. Теперь же, увидев нас, обрадовалась: сыновья пришли к ней живыми, — "хоть бы глянуть на своих родных, хоть бы словом обмолвиться".

В бревенчатой хате, срубленной из свежих, на месте поваленных лиственничных деревьев, без элементарных плотницких навыков, что сразу же замечалось по кривизне углов и кособокости самого сруба, мать занимала угол справа от левого входа. Входных дверей в хате было две, так как она рассчитана была на две семьи. Сейчас же в ней размещалось четыре. Большая русская печь с двумя топками сложена была в простенке между дверей. Перегородок в хате не было, и жильцы всегда были на виду друг у дружки. Но это и не считалось бедой, судьба обязывала мириться с тем, что есть, да и не эти неудобства были важны. Хотя одно к одному: сырые стены промерзали, покрывались инеем, а когда топились печи, иней таял, с потолка капало, стены сочились и обрастали слизистой плесенью, двери были без тамбуров и при открывании вривался леденящий холод. К тому же люди были в

угнетенном состоянии, в поселке свирепствовал сыпной тиф, умирали, по существу, не получая никакой медицинской помощи, каждый только и ждал, что вот-вот придет и его черед.

Для каждой семьи по углам хаты были устроены дощатые настилы: тут спали, тут ели, тут же, кто что мог, мастерили. Но после того, что пришлось видеть и испытать, находясь в этапных пересылках, нас уже ничто не удивляло и не страшило. Казалось даже, что это еще ничего, бывает и хуже.

Знакомых мы здесь почти не встречали, а если кто и встречался, то в основном старики. Молодежи — ни видно, ни слышно: кто-то бежал, кто-то был угнан на более отдаленные участки, а кого-то не было уже и в живых.

Чувства неловкости, что нам пришлось явиться на прежнее место, мы не испытывали, хотя и понимали, что некоторые могли считать, что мы давно растворились в людском море и живем, не ведая нужды, а — вот они, никуда не делись. Вид наш говорил сам за себя. Усталые, исхудавшие и обовшивевшие, поверженные неудачами, мы утратили чувство стеснения. Любопытство же тех, кто, может, и сердечно был склонен разделить нашу печаль, мы принимали с недоверием, и не было сил отвечать на разного рода расспросы.

В той же хате, где мы нашли нашу маму, жили и Шупинские, старик со старухой. Они явно доживали свои дни. Знали же мы их еще на родине, в Загорье, так как по материнской линии они доводились нам в некоей доле своими и жили совсем недалеко, в деревне Ковалево. Их единственный сын, Яков, довольно грамотный человек, с малых лет окруженный родительской заботой и чуть ли не благоговением, тоже был вывезен вместе со своими родителями в ссылку, но в момент нашего возвращения на Парчу его там не было, он бежал вместе со своей женой, и, как можно было понять, старики не знали ничего о его судьбе. Это, конечно, не значило, что Яков оставил стариков на произвол судьбы ради спасения самого себя. Как правило, молодые бежали с ведома и благословения старших: не бежать — стало быть, добровольно согласиться с неминуемой гибелью. Правда таких суждений была очевидна: за первый неполный год пребывания на реке Ляле таежное кладбище приняло в себя сотни безвременно ушедших спецпереселенцев.

Сам старик Шупинский все еще продолжал работать, ходил на конюшню, но уже без всяких надежд на что-то лучшее. Глядя на него, я вспоминал, что именно он слыл невероятным силачом в округе наших деревень. Вряд ли кто мог поверить в это теперь. Едва передвигаясь, исхудавший и потому нескладный, он не мог уже ни встать, ни сесть без того, чтобы не опереться своими костлявыми свисающими руками. Две другие семьи нам прежде не были знакомы. Одна из них — старик и старуха Лисовские. Она совсем не вставала, была в крайне тяжелом состоянии, а старик еще держался на ногах и неотступно ухаживал за больной. Вскоре он остался совсем один. Какое это было горе для старого человека! Он стал никому не нужен.

В первый же день мать рассказала нам кое-что об отце. Летом 1931 года, августовской ночью, он попрощался и с тринадцатилетним Павлушей покинул Парчу. Это было трудное расставанье: он уходил от своей семьи, от своих детей, кому должен был помогать и хотел помогать, но, оставаясь вместе с ними, не мог этого сделать. Но ведь, и уходя от них, и ради них, понимал, что было слишком мало шансов на благополучный успех. И все же избрал последнее — уйти. В неизвестность.

Планов его мать не знала и рассказать могла лишь самую малость. Работает кузнецом в совхозе «Гигант» близ Можайска, пишет скупо, называет себя Тарасовым Демьяном Никитьевичем, каждый месяц присылает сто рублей почтовым переводом. Подробностей о себе не сообщал.

А наутро следующего дня нам предстояло объявиться коменданту поселка. Так сказать, с повинной. Это не казалось простым вопросом, неотвязно думалось: "Что нас ждет? Как посмотрят, что скажут?"

Ведь возвратились мы на прежнее место ссылки спустя более полугодя, да и не по своей воле. Для переселенцев комендант был что называется главной фигурой, от которого зависело все. Но не явиться нельзя, и мы пошли к комендантскому домику, туда, где стояли бараки в полутора километрах от спецпереселенческого поселка.

В промерзшем коридорчике бревенчатого домика нас встретил пожилой спецпереселенец вопросом: "Чи, хлопци, до коменданту?" Удостоверившись, что прибыли мы из Нижней Туры, он ушел доложить. Дверь тут же приоткрылась, и мы услышали: "Войдите!"

Сидевший за столом еще довольно молодой человек пристально посмотрел на нас, похоже, желая разгадать, кто мы есть, и, помедлив, спокойно, добродушно сказал: «Слушаю», продолжая всматриваться в наши лица. Это был уже другой, новый комендант, и опознать нас он, конечно, не мог. Нам не было нужды что-либо придумывать о себе, и Константин рассказал все как было. Вопреки нашим предположениям и представлениям, комендант производил приятное впечатление. Опершись подбородком на тыльную часть руки, он держал во второй руке между пальцев папиросу, изредка поднося ее ко рту и делая короткие затяжки. Сидя почти неподвижно, он внимательно слушал рассказ Константина. Его светлое, правильных черт молодое лицо, в котором угадывалось понимание и сочувствие, и то, что он не прервал рассказа, снимали с нас напряженность, и на душе становилось теплее.

— Вот все, что было и что есть, — закончил брат. Мы продолжали стоять. Комендант как-то оживился, вроде бы даже вздохнул и, придвинув к себе отрывной блокнот, ничего так и не спросив, бегло-бегло написал две записки.

— Вот что, ребята, я все понял. Судьба, ясно, незавидная, больше я ничего не могу. По этой вот, — он потряс листком, — получите паек на десять дней, а с этой — пойдете к десятнику Ворошилову.

Каким-то неписаным законом мы были лишены права употреблять слово «товарищ» при обращении к начальству, в том числе и к коменданту. С этим мы почти свыклись и притерпелись, но в тот момент, получая записки, эта лишенность, по существу, элементарного права отозвалась глубокой душевной болью и чувством невысказанного протеста. Нужно было сказать: "Спасибо, товарищ комендант!", и это само просилось наружу, но... права на такое мы не имели. Обращаться же со словом «гражданин» мы всячески избегали, как бы сохраняя тем самым протест нашему социальному неравенству. Поэтому свою благодарность за человеческое отношение к нам мы выразили только одним словом: "Спасибо!"

Мы шли от коменданта с облегченной душой: никаких упреков, никаких отчитываний комендант не сделал, и нам хотелось поделиться своей радостью с матерью, которая опасалась, как бы нас не угнали в штрафную роту.

В тот же день мы получили продукты: восемь килограммов муки, три килограмма крупы, сколько-то сахара, рыбы — паек на десять дней по норме. Затем побывали в бане, прожарили всю свою "одежку, что на коже", встретились и с сестрой, которая работала на стороне — уборщицей в бараке вербованных лесорубов. Как и мать, она не удержала слез: больно ей было видеть нас, родных и неузнаваемых. Самые малые, Маша и Василек, сидели молча. Лишенные детских радостей, они успели увидеть столько человеческих мытарств и слез, что их души как бы состарились и окаменели. Они не плакали, но было понятно, что наше возвращение повергло их в еще большее уныние.

Вся эта обстановка не позволяла нам ждать у моря погоды, надо было начинать работать, и

наша готовность была такой, чтобы положить все силы, но доказать самоотверженным трудом, что мы способны противостоять трудностям. Вот только упустили мы в те минуты из вида, что наша одежда была совсем непригодной для работы в лесу в зимнюю стужу. Еще хуже было с бельем. Будучи в Пермском пересыльном лагере, где заставляли нас работать на складах зерна, я сшил из мешков штаны себе и брату. Но что это были за штаны! Смех и грех. Лишь приблизительно знал я, как кроить, да и нитки надо было добывать из тех же мешков, и шить опасаясь, в полутьме, на третьей полке нар, чуть ли не гвоздем вместо иголки — лишь бы можно было надеть на себя вместо кальсонов. Одним словом, нужда — учитель. Теперь же те мешочные штаны совсем расползлись, и нам вот как нужно было их заменить. Правда, в поселке можно было достать у переселенцев-украинцев за малую плату холщовые подштанники, но мы боялись, что вместе с покупкой окажется тифозная вошь, и тогда, считай, крышка. Поэтому решили сшить сами, хотя шить-то еще не из чего было, — ведь нужно было найти метра четыре полотна. Наконец мать нашла полотно, и вместе с ней мы сшили двое кальсонов.

Тем временем брат получил лапти, рукавицы, подлатали верхнее барахлишко и — готовы к делу.

В записке к десятнику Ворошилову было написано рукой коменданта следующее:

"Ворошилову,

Направляю для использования на повале спецпереселенцев Твардовских Ивана и Константина".

Ниже стояла подпись, прочесть которую мы не смогли.

С этой запиской мы и представились десятнику, которого знали еще до побега. Это средних лет мужчина, коренной здешний житель, хорошо знавший всю бескрайнюю тайгу, и чувствовал он себя в ней, как в родной стихии. Обширные территории прибрежных районов реки Ляли делились на кварталы, каждый из которых имел номер. Мы поражались той легкости, с которой ориентировался этот человек. Он все знал и помнил, даже отдельные деревья. Каким-то особым чутьем определял расстояния и время суток, мог безошибочно пройти к любому месту, прокладывая след по таежной целине. То, что он был совершенно малограмотный, можно было заметить лишь тогда, когда он что-либо писал, — это давалось ему с трудом, но в делах и суждениях был опытен до удивления.

Кстати, надо отдать должное коренным уральцам таежных мест: они резко отличались от нас, привезенных из западных областей, и расторопностью, и даже какой-то лихостью, да и просто умением работать в суровых условиях. Топор в руках коренного уральца-лесоруба в работе взлетал и писал кривые так ловко, так уверенно и послушно, что при взгляде на него невольно всплывал образ жонглера-циркача. И мы с пониманием и уважением признавали эти достоинства местных жителей. Но, к сожалению, наше положение, нашу неприспособленность и физическую слабость они не понимали и не хотели понять. Такое отношение к спецпереселенцам усугублялось еще и тем, что звучавший повсюду лозунг "Ликвидировать кулачество как класс!" многими из низовых руководящих работников был понят в том смысле, что все позволительно по отношению к спецпереселенцам, которые в массе своей голодали, болели сыпным тифом, умирали.

Убежденное пренебрежение и равнодушие к спецпереселенской молодежи и даже к детям горечью накапливалось в душе, лишало надежд, омрачало сознание. Я никак не мог понять: в чем же моя вина и за что?.. К нам не было элементарного сочувствия, никакого милосердия — только жестокость. Каждый случай конфликта на работе заканчивался напоминанием: "Вас ликвидируют как класс. Ясно?" В этих словах слышался смысл предначертанной трагичности.

Не отличался мягкостью и десятник Ворошилов. Нам должны были выделить делянку лесосеки, и повел нас туда десятник. От проселка по накатанной дороге мы прошли километра полтора, затем свернули на пешеходную снежную тропинку, по которой идти можно было лишь друг за дружкой. Впереди шел десятник, за ним мы — гуськом. То поднимались в гору, то, огибая взгорки кружно, местами выходили на зимники, опять сворачивали. И мы предвидели, что возвращаться придется без проводника, присматривались, примечали в местах скрещиваний и развилки все то, что наиболее характерно: горелые сухарники, буреломы, скальные выступы, чтобы не заблудиться на обратном пути. Часов у нас не было, и примерное расстояние определить было трудно, хотя в голове уже вертелся вопрос: "Да где же, наконец, та таинственная делянка?" А мы все шли и шли. Долго шли. Потом уж мы узнали, что в один конец быстрым шагом надо идти часа полтора. Но вот, свернув на заснеженную целину, десятник остановился. Посмотрев туда, сюда, он вытянул руку и, очертив ею полукруг, выпалил:

— Вот здесь и будете валить! Вот, всё это... такое. — Он опять рукой, довольно условно, сделал движения и продолжил: — Туда можно до самого пригорка, а сюда, правее — хоть до Китая!

"Бог ты мой немилосердный!" — пронеслось у меня в голове. На лесных работах, в том числе и на повале, мы не были полными новичками. Смоленщина — сторона не безлесная: с детства ли и умели наточить пилу и свалить дерево с корня, да и топором владели, случалось и в ссылке работать в лесу. По виду самого древостоя мы хорошо разбирались в том, сколько и с какими усилиями можно заготовить на делянке сплошной сосны, которая отличается чистотой (сучья лишь на самой вершине) и сколько в разреженном, разнопородном лесу. Мы сразу поняли, что делянку нам отводят самую что ни на есть плохую. Среди лиственного мелколесья, который обычно поднимается на горях да на вырубках прошлых лет, местами возвышались, как пирамиды, комлеватые ели и пихты — сучья снизу доверху, да валить некуда — поросль вокруг. Если же такое дерево и повалишь, то опять же незнамо, как подступиться к нему: на сучьях она, как на ногах, держится. Хлыст же из него конусный, а масса замеряется по диаметру в отрезе, что крайне невыгодно в учете. В общем, было от чего затылок чесать.

Вижу, и Костя не может собраться с мыслями, растерялся, молчит. Да и придумать что-либо в таком положении трудно: жаловаться некому — профсоюз был не для нас, а десятнику — бесполезно, это мы знали. Брат, помнится, все ж не умолчал, дал понять, что валить-то мало что можно, что деревья разреженные, неходовые, что сосны совсем нет и разогнаться не на чем. Десятник на все его доводы ответил: "Учтем! Это мы учтем. Ворошилов знает, что делает", — и ушел, а мы в раздумье и отрешенности остались на отведенной нам делянке.

Десятник хорошо понимал, что к пойманым беглецам у него достаточно прав на более жесткое обращение, и потому загнал нас на такую делянку, где можно нас окончательно прижать, «обезвредить» про запас, на всякий случай, чтобы не пытались впредь искать лучшие условия. И ничего тут не попишешь, даже высказать свои негодующие чувства опасались. На сказанное им "Все учтем" мы, правда, хоть и с сомнением, но все же надеялись.

Прошло две минуты, может, пять, как оставил нас десятник, и вселилось такое скверное чувство в душу, что хотелось не то плакать, не то просто исчезнуть: отчужденность, ненужность, горечь. Мы молчали. Константин закурил, понуро оглянулся вокруг, как бы желая присесть, но рядом не было ни пня, ни валежины, а к горизонту взгорьями простиралась бескрайняя изреженная тайга, непривычная и унылая, мельчавшая у далеких плешин леденящих хребтов.

Помню слова брата. Он взглянул на меня и, разгадав мои чувства, сказал:

— Ну что, Иван, до весны далеко. Думать же нам надо все-таки о жизни. И стоять нельзя!

Он так и не договорил что-то, сам же, бороздя пилой, двинулся по сухому, точно песок, снегу к стоявшей неподалеку ели, за ним — и я.

Еще была-таки в нас и прыть какая-то: с яростью уминали и отгребали снег у комля, так и этак вглядываясь по стволу вверх, определяя крен, чтобы на должном месте сделать пропил для подруба, откашливались и отдувались, прилаживаясь с другой стороны для основного реза. Промерзшая заболонь была стеклоподобно тверда, и пила непослушно прыгала, отдаваясь в руках звенящей дрожью. Но, углубляясь в зрелую древесину, пила пошла ровней, хотя вместе с тем все тяжелее становилось двигать ее, и наступил такой момент, когда у меня совсем отказали силы. А до подруба все еще было далеко. Брат это понимал — мы приостанавливались, чтобы распрямиться и передохнуть. Менялись концами пилы, остерегались возможной пропеллерности реза, то и дело предупреждая друг друга: "Не сиди на ручке!" И вот уже оставалась самая малость до подруба, вот-вот, казалось, дерево заскрипит и упадет, но ель стояла нерушимо.

— Наставляй в рез топор! — говорил брат.

Задыхаясь, хватаю топор, торопливо вставляю носок лезвия в пропил, вторым топором брат фиксирует его легким ударом, но не так-то просто вклинить в промерзшую заболонь даже лезвие топора. Она не вминается, и топор выпрыгивает после каждого удара. К тому же известную роль играет сам вес дерева — приходится учитывать и его природный крен. Но вот еще попытка; более сильный удар — топор удержался, а дерево дрогнуло. Еще, еще удар, и скачками, сначала еле заметными, но тут же более явственными — пошло, пошло. Топор в сторону. Сами начеку, глядим: "Правильно! Так и должно!" С треском, разрывая внутренний недопил, набирая скорость, дерево рухнуло с гулом, окатив нас снежной пылью.

С удовлетворением осматривали мы свежий срез пня, нагибались и нюхали нутро таежного исполина, пробовали считать годовичные кольца: их было более трехсот. Тут же возле пня разожгли маленький костерчик и достали свои подкрепительные «клинки» — так называли здесь что-нибудь съестное, прихваченное для обеда на работе в лесу.

В тот день мы едва успели разделать это единственное дерево. Но и то уже было хорошо, как мы считали, для начала. Комлевое бревно длиной шесть с половиной метров равнялось примерно двум кубическим метрам плотной массы, а всего, с вершиной, было более четырех. Приблизительный подсчет мы могли сделать сразу сами же, так как знали на память, сколько каких бревен идет в один кубометр массы. Знали мы и то, что норма на полный продовольственный паек была шесть кубометров на человека. У нас же в тот день выходило лишь на третью часть нормы.

Не знаю, как это может восприняться сегодняшним читателем, может, мне кто-то не полностью поверит, что тем далеким вечером мы шли по примеченной тропинке к поселку с чувством, как ни странно, исполненного долга собственной совести — все, что было в наших силах, — сделали, не слукавили. Было морозно и тихо, дышалось легко, и мы, несмотря на недавнюю этапную измотанность и усталость от работы, как-то даже радостно взбодрившись и дивясь своей резвости, торопко шагали гуськом по тропинке.

— И что, Иван, есть ведь еще порох в нас! — на ходу бросил мне брат. — Только бы сыпняк не схватить — до весны выдержим!

В этих словах я угадывал, что весна, до которой оставалось месяца два с половиной, была для брата той чертой, когда можно будет окончательно решить, что делать и как быть. Ясно было, что мириться с положением, в которое мы были поставлены, нельзя. Константин не развивал эту мысль, но я уже был затронут ею и про себя размышлял, что не только плохие бытовые условия, недоедание нас угнетали, но и труд ведь, не свободно избранный: мы не

посланы, а высланы. Административно, то есть насильственно. И в этом вся причина: внутренний, ничем не заглушаемый протест. Терпеть, мириться и ждать конца необъявленного срока наших душевных и физических тягот — значит согласиться и признать, что как раз ты и есть тот, кем тебя именуют. Но такое признать мы не хотели и не могли — оправдывать тяжким трудом несовершенную вину было более чем обидно. И неотвязные мысли о словах из второго и последнего письма Александра к нам в ссылке: "Ликвидация кулачества как класса не есть ликвидация людей и тем более — детей" горько отзывались в сознании. Эти слова призывали как бы к тому, чтобы признать: да, мы — кулацкая семья, и нечего рыпаться. Как людей нас не ликвидируют, нам же, младшим, если верить его словам, вроде бы ничто и не угрожает. Но какая еще более серьезная может быть угроза, если люди умирали от истощения и тифа!

Я и тогда хорошо понимал, что кулак — прежде всего эксплуататор, владелец обширного хозяйства, где хлеб заходит за хлеб, где не знают нужды и не гадают о том, как дотянуть до нового урожая. Здесь же мы видели совсем другое. Подавляющее большинство спецпереселенцев были из крестьян-хлеборобов и никоим образом не подходили на рисованных хищников-эксплуататоров. Их заскорузлые от извечного труда руки, их безропотная покорность судьбе подтверждали совсем другое: постоянную заботу о куске хлеба. Они и в ссылке были готовы на любую работу, лишь бы выжить, свести концы с концами. Помню, как пожилой спецпоселенец в беседе с нашим отцом говорил:

— Главное — хлеб. Местность, климат, работа — все это... ладно, ничего, жить можно... хорошо можно жить! Но хлеб, хлеб нужен!

Отец слушал его, как бы дивясь его скромным желаниям, и даже заметил, что нужно же, дескать, что-то и к хлебу. В ответ ему было сказано еще более твердо:

— Ничего мне не надо к хлебу. Хлеб — он все заменяет! А вода, ее вон, сколь тебе надо. Так-то вот!

Затемно мы выходили из поселка, ежась от холода, добирались до своей тропинки и переходили на ускоренный шаг. По затрате сил эта «зарядка» была тяжеловата, но мы заметили, что она способствовала тому, чтоб выйти из состояния зябкости и втянуться в рабочий настрой, или, как бы это точнее сказать, приобрести трудовую злость. Разогревшись в пути, мы не нуждались в костре и с ходу приступали к работе. Изо дня в день, с раннего утра и до вечерней темноты, в предельном напряжении сил вели мы борьбу за «горбушку», что было тогда для нас самым главным.

В конце декады на лесосеку заявилися десятники-приемщики, всего двое. Чаще они бывали под хмельком и, прежде чем приступить к приему нашей работы, острили, рифмуя и каверкая нашу фамилию: "Мордовский, Каковский? Ха-ха-ха!.." — заканчивая совсем непечатным. Ответить и пристыдить их мы не смели — осложнится сдача работ, придраться могут к любой мелочи, зарежут объем, и не найдешь концов. Все же наш негодующий взгляд и наше молчание сдерживали их грубую вольность.

При замере один из них оставался стоять на каком-нибудь пне с разграфленной книжкой и ставил точки, когда второй голосом передавал результат замера каждого бревна, делая пометку цветным карандашом на срезе. Бревен накапливалось за декаду полсотни и больше. Лежали они вразброс по местам валки, так что все их сразу не так просто было предъявить, приходилось буквально лазать по снегу туда-сюда и обратно, что раздражало приемщиков и давало повод всячески нас оскорблять. Было весьма сомнительно, что ответственность приемщиков подконтрольна: бревна должны были вывозиться к реке для сплава, но зачастую они оставались на годы, а иногда и совсем не вывозились.

Общий объем выполненных работ подсчитывался этими же приемщиками. Списки на

продовольствие согласно подсчету передавались в магазин, где спецпереселенцы могли выкупить его за деньги, поскольку теперь уже, хоть и не регулярно, но все же кой-какую зарплату начисляли с удержанием пятнадцати процентов на содержание комендатуры.

Но в магазине нас ожидало горькое разочарование: того, что мы получали на десять дней, едва хватало дней на пять. Наши усилия не оправдывались, и руки совсем опускались. Получалось так, что, находясь вместе с матерью и малыми, мы только ухудшали их и без того трудное положение. Что оставалось нам? Продолжать работать — полное изнурение. Бежать? Но бежать в том виде, в каком мы есть, неизбежен провал и крах. Да и куда, собственно, сунешься в марте из таежных мест Зауралья, когда еще снег, мороз по утрам до тридцати градусов? Именно в этом духе не раз мы вели рассуждения. Слушая, мать пробовала удержать нас от окончательного уныния, и ее забота была той самой "святой неправдой": отказывая себе, она тайком расходовала на нас почти весь свой паек. Когда же мы это заметили, она стала уверять, что "нет... ничего... я лапшицы поела, я — ничего, а вам в тайгу!"

Когда же заходила речь об Александре, о его отказе продолжать переписку, она находила и для него самые ласковые слова. Склонив голову, сидя на грубо сколоченной скамье, она погружалась в раздумье и, собравшись с мыслями, высказывала их вслух, но можно было подумать, что и не для нас, как бы только для себя, без какой-либо доли сомнений в его сыновнюю преданность и любовь к ней.

— Знаю, чувствую, верю... нелегко было, — говорила она, — решиться ему на такое письмо, да уж видно, сыночку моему нельзя было... по-другому... карусель в жизни такая, что поделаешь? — тихо, прерываясь и дрожа, облекала она свои мысли в слова из своей материнской души.

Отец продолжал присылать сто рублей каждый месяц. И хотя трудно и мало чего можно было купить на них, все же это была поддержка. Приходили от него и письма, которые всегда начинались одними и теми же словами: "Дорогие мои горемыки!" Писал он карандашом, и знакомый нам почерк с признаками неукоснительных правил каллиграфии давних лет детства был дрожаще-скачкообразным и напоминал о его огрубевших от постоянной работы молотком руках. Из писем было ясно, что ему ничего неизвестно о нас, о Константине и обо мне, и что он пытался узнать что-нибудь через родственников, полагая, что, может, им мы писали о себе, но и родственники ничего не знали. О том, что я и Константин находимся на прежнем месте ссылки, он, по-видимому, и мысли не допускал. Обо всем писал осторожно, по именам никого не называл, а лишь как-то так: "О ребятах спрашивал в письме к свояченице, но она ничего не знает". Или: "Ребята никому не пишут". О том, что отец побывал в Смоленске, прежде чем оказаться в совхозе «Гигант» Можайского района, что имел встречу с Александром, он, понятно, ничего не писал. Как произошла эта встреча и чем она закончилась, подробно мне стало известно позже, непосредственно от самого отца, но об этом ниже, чтобы не нарушить хронологию.

В начале марта мы все еще ходили на ту отдаленную лесосеку. Случались ясные дни, солнце пригревало в таежной глуши, и передохнуть можно было, не разжигая костра. Минуты отдыха мы устраивали по исполнению намеченного себе задания: "Вот повалим еще вон ту ель и — перекур", — ставили себе условие. И было веселее и вроде бы легче работать — испытываешь чувство призрачной свободы. Так и получалось: дотянув до намеченного, присядешь, бывало, на пенек или на хлыст и так облегченно вздохнешь и словом перемолвишься. Константин закурит, а я в мечтах уже на Смоленщине: друзей вспоминаю, родное Загорье и где только не побываю, да, случалось, и усну тут же — усталость одолевала меня. И вздрогну, спохвачусь, а брат уже сучья обрубает: тюк-тюк; меня пожалел, не окликнул.

Прошел почти год с того дня, как пришлось оставить отчий дом, но я никому не сообщал о



том, где я и что со мной, хотя неотвязно вспоминал ближайшего друга по Лобковской школе Мишу Карпова, которого мне так теперь не хватало. Дружба с ним была из общности наших мечтаний, и мы были неразлучны. Миша еще шутил: "Давай разрежем вены и смешаем кровь, дабы дружба наша была неразлучной навсегда". Да, очень мы были единых взглядов. Так вот и носил я в душе образы отторгнутых от меня друзей, пока не настал такой час, когда уже начал томительно переживать и не мог не послать письмо Мише Карпову. Не помню уж, как я тогда сумел и сумел ли толком объяснить, что дела скверны. Миша откликнулся дружески и сочувственно. Он учился в городе Сухиничи в техникуме связи. Из своих скромнейших ученических запасов он выделил и прислал на мое имя посылочку смоленского сала, может, всего с килограмм. Но как же это было дорого, как порадовала та посылочка всю нашу семью! Мы крохами ее делили и, казалось, поздоровели, стали тверже чувствовать себя. А в письме он прислал свой рисунок — на развороте листа панорама таежных окраин будущего: опоры электропередач, трубы заводов, массивы жилых зданий. Он искренне верил в возможность подобного, и его воображение конечно же опиралось на имевшиеся в стране примеры Магнитостроя, Днепростроя и других строек первой пятилетки, но нам не случилось оказаться в таких местах. В дальнейшем Михаил Мефодьевич Карпов стал кандидатом медицинских наук, долго работал в Ленинграде, где мы не однажды встречались.

Вскоре случилось то, чего мы так опасались: в наше жилище проник сыпняк. Первой жертвой стала пожилая женщина — Лисовская. Она была слаба и до этого, теперь ее свалил тиф, и уже неотвратно приближался конец. Муж этой женщины упросил священника-спецпереселенца — стриженного смоленского попа, который давно уже распрощался и с ризой, и с гривой, — и тот пришел. Вид его был совсем не церковный, казалось, он всего стеснялся, поспешно читал отходную молитву, щепотью тряс воздушные кресты над умирающей и тут же, похуже, боясь заразиться, юркнул из хаты. Тем же вечером женщина скончалась. Сам Лисовский впал в отчаяние и совсем не держался на ногах. Мы не могли оставаться в стороне и всячески разделяли его горе. Силами тех, кто жил рядом, обрядили покойную и проводили на таежный каменистый бугор окраины, названный кладбищем. Картина самого погребального шествия была гнетущей: гроб с телом покойной тащили волоком, пристроив под него подобие полозьев. На самом бугре нельзя было выкопать могилу — скальный грунт можно было разрушить лишь сверху, не более чем на полметра глубиной. Вот в такую выемку и опускали гробы, а затем обкладывали могилу крупными кусками и крошевом камня.

Есть у Александра Трифоновича в одном из стихотворений, посвященных памяти нашей матери, такие строки:

Но непременно вспоминала мать,  
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,  
Как не хотелось там ей помирать,—  
Уж очень было кладбище немилое  
Кругом леса, без края и конца,—  
Что видит глаз — глухие, нелюдимые.  
А на погосте том — ни деревца,  
Ни даже тебе прутика единого  
Так-сяк, не в ряд нарытая земля  
Меж вековыми пнями да корягами,

И хоть бы где подальше от жилья,

А то могилки сразу за бараками.

Нет, это не с моих слов. Скорее всего — из рассказов самой матери. Мне так и не случилось рассказать брату о тех мрачных днях — не оказалось удобного момента, к тому же я знал, что он всячески избегал воспоминаний о наших муках.

Не удалось и нашей семье уберечься от тифа. Всего, может, прошло пять-шесть дней, как, будучи на работе в лесу, я почувствовал сильный озноб, головную боль и слабость, понял, что тиф подобрался и ко мне. Константин помог дойти до поселка, и я слег с высокой температурой. Врачей на поселке не было, медицинской помощи не от кого было ждать. Больные оставались в своих семьях, если они еще сохранялись. Лишь единственный человек из числа спецпереселенцев когда-то был лекарским помощником в армии, и вот теперь он представлял всю медицинскую службу на поселке. Но что он мог, если в его распоряжении почти ничего не было: ни помещения, ни медикаментов, да и знаний, надо думать, вряд ли было достаточно.

Однако, хотя он и не лечил и не мог лечить заболевших, все же к нему обращались, чтобы быть на учете, так как если больной выживал, то с ведома и санкции этого лекпома выздоравливающему выписывали килограмм селедков и полкилограмма сахара для, так сказать, восстановления сил.

Болел я тяжело и, пожалуй, вряд ли выжил бы, если бы не мать. Уж не знаю, где и как доставала она обыкновенную клюкву, приготавливала из нее морс, но, помню, средство это здорово облегчало и помогало. Я выжил. И получил тот "восстанавливающий силы" продукт — селедку и сахар. Только-только я стал поправляться, как слег Константин. А за ним — мать. Затем заболели сразу и Маша и Вася. В какой-то момент я был единственный на ногах и должен был спасти всех чем мог и как мог. Думаю, что выдержали мы тогда и все остались живы благодаря нашему отцу: его редкостная преданность семье, его помощь и просто беспримерная жизнестойкость вселяли жажду превозмочь недуг, устоять, выжить во что бы то ни стало.

Во второй половине апреля наша семья перебралась в свободную, никем не занимаемую хату. Это была совершенно новая хата, по типу пятистенок, с двумя входными дверьми с противоположных сторон. Никто не хотел ее заселять. И причина была в том, что людей стало меньше, жизнь не радовала, ни у кого не было желания устраиваться и прирастать, являясь ссыльным. Недолго мы с братом пожили в той новой хате. Пришла весна. Снег встречался лишь в чащобах да низинах, и вопрос о том, как быть дальше — продолжать ли изнуряться тяжким и неблагодарным трудом на лесосеке, лишь ухудшая положение матери, которая вынуждена отцовскую помощь расходовать и на нас, — этот вопрос становился неотложным.

Вырабатываемый нами паек по-прежнему составлял едва ли половину необходимого, чтобы жить и работать. Теперь же, после болезни, мы не в силах были и того выработать. Да и не принимала душа самого положения — невольниками быть мы не желали. Мать с этим соглашалась и одновременно горько страдала, предвидя наши скитания. Но день ото дня мы всё ближе придвигались к решению и наконец окончательно стали готовиться снова бежать. Собственно, слово «бежать» не совсем точное. Ведь нас не охраняла стража, мы не были обнесены колючей проволокой и в известном радиусе были свободны. Нас могли задержать, это — да, но риском для жизни это не было, стрелять в нас не могли.

Теперь нам не угрожал тиф: мы знали, что вторично им не болеют. Значит, в поселке можно было приобрести кое-какую одежонку, не опасаясь заразиться. В общем, такие заботы отпадали, хотя на душе отмечалось беспокойство совсем по другим причинам. Мы не были

единодушны в вопросе конечных наших целей: куда держать путь и чего искать? Константин намерен был вернуться в родные места на Смоленщину, хотя ясных представлений о том, что нас там ожидает, не имел. Я же настаивал на том, что проще и надежнее оказаться где-либо на стройке и не рисковать в той мере, как это может случиться на Смоленщине, где нас могут опознать. Ведь у нас не было никаких иных желаний, кроме как найти где-то работу и жить на общих гражданских условиях, что вполне могло быть осуществимо, поскольку тогда еще не требовалось паспортов. Чтобы устроиться на работу, достаточно было иметь какую-либо справку. Совсем вроде просто: "какую-либо справку". Но где ее взять?

Наши несовпадающие намерения мать замечала, и это не могло не огорчать ее: расставаться с сыновьями, уходящими в белый свет при не полном единомыслии, было ей нелегко. Только что могла она сделать? Нелегко было и нам оставлять родную мать. Но и оставаться с ней не было смысла: пробовали ведь отдавать работе все силы, да что толку?

Утром 22 апреля 1932 года мы вновь покинули лялинские дебри. Это была наша третья попытка уйти из этих мест. Были попытки уйти и из других мест — из Теплой горы и Утеса, — но кончились они без успеха. И все же мы уходили. Без копейки денег и почти без продуктов. Все, что нашлось, отдали за смену нашей изношенной одежды — это было первой необходимостью. Из снеди же мать смогла приготовить с килограмм пресных ржаных бубликов, какие она всегда делала, когда не было хлеба. Мы рассовали их по карманам, чтобы не нести в руках узелков. В самые последние минуты сестра Анна предложила свое пальто, которое купили ей еще в Загорье и которое она смогла сохранить до этих дней.

— Костя, Иван, — были ее слова, — возьмите мое пальто. Может, продадите, может, обменяете на хлеб. Как же так, совсем без ничего вы пойдете? — и не удержалась... ладонями прикрыла лицо.

Мне и сейчас не по себе вспоминать и писать об этом, но и умолчать тоже не с руки. Мы взяли пальто. Я всегда помнил о святой женской жертвенности нашей сестры. А отблагодарить или, вернее, отдарить смог только через двадцать лет. Долго мне пришлось носить в себе груз этого неоплатного долга.

Присев на минутку перед уходом, мы круто встрепенулись и без слов попрощались, обнимая друг друга. И не было сил освободиться от чувства какой-то неясной и недоказательной, но в то же время как бы очевидной и неоправданной вины, что мы, мужчины, оставляем на произвол судьбы своих родных, куда более слабых: маму, сестер, шестилетнего братишку. И сама поспешность, с которой происходило наше прощание, как бы подтверждала правомерность такого чувства: "Скорей, скорей, чтобы не видеть душевных страданий дорогих нам людей".

Ясным апрельским утром по тропинке мы пошли вниз по реке Ляле. Миновав поселок Старая Ляля, пологим подъемом дороги дошли до развилки: влево дорога вела в Новую Лялю, прямо — в Верхотурье. Наш путь был по прямой, в Верхотурье, к железной дороге. Передохнув на обочине, мы пошли дальше.

Уже во второй половине дня, пройдя километров двадцать пять-тридцать, мы встретились с двумя мужчинами. Они тоже были пешие, приближаясь к нам, вели меж собой какой-то разговор и, сбавив шаг, остановили нас. Поначалу мы встревожились, но встретившиеся обратились к нам довольно миролюбиво.

— Слушайте, ребята! — сказал один из них. — Не пожелаете ли работать на подсочке?

Для нас это было, конечно, неожиданным, и хотя мы кое-что слышали об этой работе, то есть о сборе смолы подсочкой, но сразу что-либо ответить не нашлось, и нам стали тут же

пояснять и саму задачу, и условия.

Закончился разговор тем, что мы должны были дойти до деревни, километрах в трех от места этой встречи, и там, найдя названный дом, ожидать их возвращения. Возвратиться они обещали часа через полтора-два, сказали, что идут на участок предстоящих работ и что по возвращении устроят нас с жильем и оформят на работу. Предложение показалось нам заманчивым, и мы согласились.

Мы дошли до деревни, отыскивали названный дом, в котором передние комнаты были не заперты и не обставлены мебелью. В том, что в доме было пусто и глухо, ничего подозрительного мы не нашли, посчитав, что так оно и бывает, когда дело только лишь начинается. Мы стали ждать.

Прошло часа два — никто не возвращался, и у Константина возникли сомнения:

— Черт его батьку знает, правду они нам сказали или это ловушка. Как бы нам не попасть в нее. Давай-ка, Иван, тягу дадим, пока не поздно.

Полагаясь лишь на интуицию, я начал тогда уверять, что обмана быть не должно, что люди эти говорили без какой-либо фальши, что надо, мол, ждать еще. Но Константин возразил, что если даже все правда, то все равно оставаться нам здесь не следует, так как из района ссылки мы еще не вышли и есть явная опасность быть задержанными. Мне очень не хотелось пускаться в неведомые дали, и я продолжал доказывать брату, что опасений меньше именно там, откуда бегут, и в подтверждение добавил чужие слова, слышанные мной где-то прежде: "Скрываться легко, где ты должен быть". В общем, теперь уже трудно судить, кто из нас был прав. В доводах Константина была, конечно, логика, да и был же он старше, но меня удерживали свои соображения. Я упрямылся. Гляжу: хмурый вид у брата, и глаза тускло светят, как будто ничего не видят. Потом, как-то вдруг крикнув, он сказал:

— Знаешь, Иван! Трудно гадать, как для нас лучше — то ли до конца вместе держаться, то ли, наоборот, в одиночку принять свою долю. Если надеешься на себя, то... Решай! А я не хочу ни ждать, ни устраиваться здесь!

Мы зашли в какую-то избу, продали пальто сестры за сорок пять рублей. Двадцать рублей брат дал мне. Мы расстались. Произошло это как-то просто и сразу: ни тебе наказов, ни слез. Только и сказал:

— Желаю тебе, Иван, счастья!

Я смотрел на удаляющегося брата. И тут же пожалел и даже ждал: обернется, передумает, но нет, не обернулся. Все во мне окаменело: с самого раннего детства мы были дружны, он даже любил меня, я это хорошо знал, и вот... такой поворот.

Я возвратился в тот самый дом, где предполагалось устраиваться на работу. В нем по-прежнему было глухо, и я ощутил гнетущее одиночество, какого никогда не испытывал прежде. Остаться и ждать я не мог и бросился догонять брата. За те короткие минуты брат успел удалиться, его уже не было видно, и, понимая, что шагом мне его не догнать, я попробовал бежать. Но хватило меня лишь на какие-то десятки метров — перехватило дыхание, закололо в груди, почувствовал усталость и слабость и совсем не мог бежать. С чувством невозвратимой утраты — разлуки с братом — побрел, едва переставляя ноги, соглашаясь уже с тем, что так суждено. Какое-то время я был как бы в забытьи: шел, ничего не видя. Когда же эта деревня (называлась она, кажется, Мурзинка) осталась позади, я понял, что день на исходе, явно вечереет, и где-то и как-то надо провести ночь. Эта мысль приглушила все прочие. Могло быть и так, что, попросись я в любую избу, меня пустили бы, и

согрели, может, и накормили бы, но это было рискованно: могли бы и задержать. А впереди, неподалеку, сразу за околицей деревни, виднелась тайга. Решение пришло незамедлительно: "Будь что будет!"

В тайге, как бы ни была холодна апрельская ночь, пережить можно. Неожиданно раздвоилась дорога, я не мог знать, какая куда ведет. Раздумывать долго я, однако, не стал и взял более прямую, что уходила в тайгу прежде той, которая оставалась правее. О том же, что в тайге может оказаться хищный зверь, я не думал и страха не чувствовал. Наконец я сворачиваю с дороги, углубляюсь, где больше хвойных деревьев, и ломаю пихтовый лапник, там же нахожу мшистые кочки и сдираю с них коврики мха — в изголовье. Все это стаскиваю к подножью огромной ели, сразу же приметившейся мне отходившими от комля мощными, как бы вспучившимися над почвой корнями, и вот в ложбинке между ними устраиваю себе постель. Скрючиваю ноги к самой груди, обкладываюсь шматками мха, лапником. Ватничек встегиваю кверху, чтобы укутать и голову, сжимаюсь в комок и, вслушиваясь в тихий стон тайги, погружаюсь в мысли обо всем, что было, что есть и что может быть.

Это была первая ночь в моей жизни, которую я встретил один на один с тайгой в не очень-то теплое время под 23 апреля в районе Северного Урала.

Земля еще удерживала леденящий холод зимы. И я знал: чтобы не застыть во сне навсегда, должен сам сторожить себя. Потому та далекая ночь и запомнилась мне неизгладимо. Так, не позволяя себе шевельнуться, я лежал, объятый тревожными воспоминаниями о детстве: о матери, об отце, о братьях, о школьных друзьях и «пророческих» словах отца: "Ванька! — говорил он по случаю какой-то моей шалости. — Чем черт не шутит. Пострел — ума не приложу: способный шкет! По добру — быть ему мастером! А если же нет — Бог его знает, что получится. Может и жуликом стать. Закон ведь таков: или — или". И еще в ту памятную ночь вспоминались рассказы отца о всякого рода бездомных людях: о жуликах, босяках, скитальцах, бродягах, ночующих на чердаках, в подвалах, а то и вовсе в навозных кучах, пренебрегая грязью и стыдом. Он рассказывал с каким-то особым смакованием обо всей этой жути, без тени сочувствия и сострадания, без мысли о первопричине их положения, ради того лишь, чтобы погоготать, "порвать животы" над тем, как кто-то где-то выгнал здорового оборванца из пределов своих личных владений. И его, отца, слушали, и гоготали, и я — тоже.

Ночь, однако, прошла, и я был рад, что выдержал, не закоченел насмерть во сне, о чем случалось слышать.

Смахнув с одежды налипший лесной мусор, я было тронулся к тракту, но ноги не слушались, пришлось их тереть и разминать, топая на месте, пока не почувствовал их своими. Я не знал точно, как далеко до железной дороги, но догадывался, что осталось километров тридцать или немного больше. То и дело мне встречались или обгоняли меня подводы, тогда в тех местах — обязательно с колокольчиками под дугой, диньканье их слышалось задолго до появления самой подводы и как-то неприятно настораживало своей загадочностью. Я старался держаться бодро, не оглядывался, шагал пошустрее, что, по моим представлениям, как-то ограждало от подозрений. Но никто меня не останавливал, ничего не спрашивал. Был уже полдень, когда я услышал гудки паровозов. Сначала отдаленно и слабо, затем все явственней и ближе, а часа в четыре я уже был на станции Ляля.

Я хотел есть и сразу же поспешил узнать, есть ли на станции буфет. Надежда была на имевшиеся у меня двадцать рублей. Была у меня и самодельная справочка, состряпанная собственноручно, явно туфтовая, но при нужде, если спросят, я готов был предъявить ее, хотя молил Аллаха, чтобы пронесло. В буфете не оказалось ничего, кроме вареных яиц, цена которых была непомерно высока: рубль за штуку. Я купил два яйца и тут же съел их. Немного погодя не стерпел — купил еще два или три и тоже съел. Мог бы, конечно, съесть и десяток, но не решился: совсем не знал, что меня ждет, и мысль, где же буду ночевать, не покидала

меня. Ведь я находился в райцентре, болтаться в залах ожидания было рискованно, как раз тут и встретится тот самый «Стоп», знакомство с которым уже случилось иметь.

Озадаченный заботой о ночлеге, я побрел в глубь поселка и сразу же заметил, что встречаются в основном люди заводские: в комбинезонах, в брезентовых робах, в промасленных куртках, шагают поспешно и привычно, как это и бывает у идущих со смены или на смену рабочих людей. Затем увидел скопление разного люда возле барачного вида строения. Подошел, прочел вывеску: "Управление Ново-Лялинского бумкомбината". Люди входили и выходили, беседовали и шумели, и я оказался в той массе не "белой вороной", а вроде таким же, как многие, и мне на душе стало легче, хотя само положение от этого и не менялось. Я вошел внутрь: коридор и двери, двери, двери с названиями отделов. Одна открыта настежь — "Отдел кадров". У барьерчика люди, поступающие на работу, и замечаю, что предъявляются всякого рода справки, но придинок никаких, и речь идет больше о жилье. Наконец моя справка тоже в руках ведущего прием. Помню, в ней значилось, откуда я родом, мой год рождения и что по происхождению и социальному положению я середняк.

— Ну вот что, — говорит мне работник отдела кадров, — могу взять в пожарную команду. Там у нас все такие же — юноши. Но жить-то где будешь? Общежития нет!

Я успел уже и обрадоваться, но тут же вижу, что преждевременно, и не нахожу, что сказать, стою молча. В эту минуту кто-то толкает меня сзади. Оборачиваюсь. Молодой мужчина небольшого роста смотрит на меня и говорит, что может пустить на квартиру в свой собственный дом.

— Оформляйся! — говорит.

Это было большой неожиданностью для меня, и, кажется, я ничего не ответил на его предложение, не приняв его за правду.

— Давай-давай оформляйся, и сразу же пойдем ко мне.

Оформление заняло буквально несколько минут: куда-то меня вписали, справку вложили в папку, тут же я получил записку к старшему пожарной команды лесосклада, и все так мгновенно, что во мне только и было: "Неужели так оно и есть?"

Мы идем по переулочку совсем незавидных хибарок, которые вряд ли можно назвать «домовладениями» — столь они жалки и убоги, как говорится, из мыльных ящиков, что я чего-то даже побаивался и не мог понять происходящего. Прошли метров двести и вступили в шаткие сени. Тут хозяин уточнил:

— Вот это и есть моя хата — мой простор!

Хатка была всего метров девять-десять, в соответствии с ней и печка. Но она была еще и перегороджена, так что для квартиранта предусмотрена отдельная комната, и была там сооружена из досок койка. Во второй — столик на крестовниках, скамейка, койка вроде бы на двоих.

— Вот видишь — живу один. Да, правда, была и жена — ушла! А одному скучно. Живи... пока. Все же не в бараке. Платы мне не надо. Раздевайся и привыкай.

Все это устраивало меня как нельзя было и мечтать, но хотелось есть, и я сказал об этом хозяину квартиры.

— А это проще всего: сейчас пойдем в нашу столовую. Завтра тебе дадут талоны, а сегодня поужинаем у меня.

Утром следующего дня я разыскал старшего пожарного, который проинструктировал меня и

назначил на дежурство на лесной склад, где я был обязан с вышки вести наблюдение. Так я оказался в юношеской команде, где было до десяти человек примерно моего возраста, живших в отцовских семьях. Какая-то часть из них были комсомольцы, и жизнь их была ничем не замутненной. Смех и шутки среди них были обычны и постоянны, как только случалось им быть в сборе. Все они, по существу, никаких противопожарных знаний не имели, их задачей было просто следить и в случае чего сообщать по телефону в пожарное депо.

Сама работа, или, назовем, служба, была не тягостной. Голода тоже не было: по талонам получали завтрак, обед и ужин. Начислялась и зарплата, кажется, рублей семьдесят в месяц. Угнетало другое: нелегальность жизни. В первые же дни я узнал, что работающие на складе — спецпереселенцы, и это очень беспокоило. Рано или поздно может случиться, что среди них найдутся знакомые или хотя бы только слышавшие нашу фамилию, и поскольку службу свою я нес рядом с ними, то боязнь опознания не давала покоя. А тут еще сама речь моя, как бы я ни старался, выдавала меня. В общем, положение было ненадежным, и вытерпел его я только три недели, хорошо помню: с 25 апреля по 18 мая 1932 года. В последний день моей жизни в Новой Ляле я выпросил авансом 25 рублей, пообедал в столовой и пошел прямо по шпалам на юг.

Идти было скверно. Шпалы лежали одна от другой на удалении менее шага, шагать через шпалу — слишком широко. Так я и семенил, ступая на каждую шпалу, как бы подсчитывал, сколько их на перегоне от Ляли до Верхотурья. В тот день зазеленели березки, что немного уменьшало мою печаль, прибавляло надежд: наступало тепло, а это было немаловажно для меня.

В Верхотурье я не стал заходить в здание станции, опасаясь наткнуться на какой-нибудь скрытый пост. Пристроившись в кустарнике, я отдыхал и обдумывал, как продолжить свой путь. Пеший способ я отверг начисто, как трудный, медленный и подозрительный. Из книг и устных рассказов я кое-что знал о так называемых «зайцах» на поездах — о проезде без билета или на товарняках. Практически же мне такое делать не приходилось, если не считать случаев, когда школьниками мы совершали иногда поездки от разъезда, что был между Пересной и Починком. Там было закругление пути и подъем в сторону Починка, поезд замедлял ход, и мы, школьники, без труда вскакивали на тормозные площадки. Теперь же, сидя в кустах возле станции Верхотурье, я решил ждать до вечера и, пользуясь темнотой, попробовать поехать «зайцем». На станции стояли составы, но трудно было определить, какой из них пойдет раньше и в каком направлении. Но поскольку гружены они были большей частью круглым лесом, то это уже был признак, что уйдут они к югу, то есть в нужном мне направлении. Когда же стемнело, я подобрался поближе к составу, который, по моему расчету, должен был вскоре отправиться. Присмотрев груженный вагон-платформу, на которой нижние бревна были короче верхних, образуя пустоту, куда можно залезть и быть незамеченным, я сидел и ждал, пока тронется поезд. Ждать пришлось порядочно, но иного выхода не было, и я терпел, думал лишь о том, чтобы поскорее и как можно больше отдалиться от мест ссылки. Наконец замелькали кондукторские фонари возле состава, и я забираюсь в примеченную дыру. Удобств, конечно, мало, но терплю, затаюсь и прислушиваясь. И вот — длинный гудок, и беглый лязг сцеплений перекачивается по составу. Поехали!

Сколько часов я лежал там, в нише из бревен, сказать не могу. Поезд так зарядил, что вылезти я смог аж в Гороблагодатской — километров двести, почитай, без остановки.

Я не мог не вспомнить учителя Ляховской школы Исидора Ивановича Рубо. В 1927 году на уроках географии, тыкая указкой по карте и рассказывая о природных богатствах Урала, он с особым нажимом произнес слово "Гороблагодатская".

— Вот, ребята, само название говорит о многом: гора Благодать! Благо — добро, счастье!

И вот теперь (это было 19 мая 1932 года) я стоял на той земле, о которой говорил учитель. Я узнал, что всего в трех километрах от станции Гороблагодатская есть городишко Кушва и лежит он на моем пути. Решаю пройти пешком в расчете, что раз город, то должен там быть и базар, где можно будет купить что-нибудь из съестного. Я шел по тропинке-стежке, то нырявшей с лесных бугров круто вниз, то по откосам снова взбиравшейся на бугры. Было светло и тихо, но не жарко. В этих местах лесные массивы виднелись далеко на отшибе, и пейзаж уже ничем не напоминал вчерашний день и Лялю. Отлегло внутреннее напряжение, отступила настороженность: встречные не вызывали тревожных чувств. Войдя на какую-то окраинную улицу, я ждал случая спросить, как попасть на базар. Люди встречались, но почему-то далеко не ко всякому я решался обратиться. Не могу объяснить, почему так, но замечаю это за собой до сих пор. Или во взгляде человека, или в его походке, или в угадываемой занятости как бы распознаешь, добрый он к людям или наоборот.

Немолодая женщина у крылечка, и я решаюсь спросить:

— Тетенька! — и взгляд ее на мне. — Как пройти к базару?

— Ой, к базару! Сегодня же Радоница! — так точно и сказала: Радоница, с ударением на «о». Я не знал этого слова и спросил, что это такое.

— Родителей поминают сегодня. Поминовения, дорогой мой! Я объяснил ей, что хочу есть и потому... думал...

— Зайди поешь. Помяни своих и кого Бог пошлет. Иди же, иди!

К утру следующего дня занесло меня еще дальше — я был уже на какой-то большой станции, старался не соваться куда попало, держался в стороне и готовился сесть в крытый вагон, который уже присмотрел, — без пломбы, дверь приоткрыта. Я был готов к тому, чтобы, улучив момент, залезть в вагон. Момент такой подвернулся: прибывший поезд заслонил видимость со стороны станции, и я махом был возле цели. Ухватившись руками за скобу вагонной двери и подтянув себя, смог упереться одной ногой в тавр основания, колено второй ноги заложить в приоткрытый проем и в мгновение ока оказался там.

В вагоне насыпью лежала какая-то цветная соль. В том, что соль, я убедился, когда пополз на четвереньках в темный угол: через потертые штаны соль попала в ссадину колена. Но это нисколько меня не смутило: соль так соль, а я в вагоне, угол занял, жду. Однако досадно, что стоим. Первое впечатление сильного мрака прошло, и мне стало видно, что в углу, по диагонали от меня, что-то или кто-то есть, примерно в такой же позе, как и я. Продолжаю сидеть молча и всматриваться: "Человек? Человек!" — убеждаюсь. Но он не подает никаких признаков жизни и, пожалуй, не знает, вижу ли я его. Но он-то, думаю, отлично видел, как я лез в вагон. "А может быть, он и впрямь не живой? — проскальзывает мысль. — Это хуже". Но вот поезд вздрогнул, послышался продолжительный гудок, и состав потащило. Неизвестный мой спутник продолжает молчать, а я решаюсь узнать, кого Бог послал в попутчики, и лезу к нему. Ближе, ближе, вот уже хорошо вижу в овчинном колпаке шерстью наружу (шапки такие я видел у спецпереселенцев с Украины). Он живой, смотрит на меня, молчит. Начинать пришлось мне:

— Откуда едешь?

— 3 больницы.

— А куда?

— Куда, куда. До свиих!

— А где они, свиий?



— Та що съ тий причепивси, як той лист до сраци?

"Да-а, — думаю, — не получается знакомства". Но мне уже это кое-что дает: "Украинец; наверняка тоже беглый". Уползаю в свой угол и пристраиваюсь, чтобы уснуть. Бояться его не вижу причин. Так мы ехали несколько часов, и — ни звука друг другу, а уснуть я не смог. Поезд идет, хорошо, и это немного веселит, как будто есть и впрямь какая-то твоя станция, где ждет тебя нормальная жизнь. Между прочим, то, что дала мне Радуница, давно проскочило, и хочется есть. У хохла же, видел, торба, и, похоже, с чем-то съестным. "Может, спросить?" Ползу опять к нему:

— Слушай, земляк! Поделись, если есть хлеб. Отощал я. Вместе же едем.

— О, ддывись! Хлиб? Та який есь хлиб? Бачишь, тилько силь! Ось! Це скільки треба. А хлиб?  
— отводит глаза. — Десь вин еэ?

Я снова в своем углу. Чувствуется: поезд сбавляет скорость, вот качнуло на стрелках, шипение тормозов — остановился.

Спустя несколько минут дрогнула дверь, и в просвете появляется голова, а затем и весь человек. Сворачивает в мою сторону и движется прямо ко мне. Все это я хорошо вижу — он нет. Я хорошо понимаю, что бояться нечего: новый «заяц», только и всего, но все же нервы напряжены. Коснувшись моей обуви, он на мгновение замер, но тут же понял, что в вагоне он не первый, выдохнул:

— У-у! Живая душа. Кто ты?

— Человек.

— Человек? Ну, если так, если че-л, о-век — добре!

Помедлив немного, новый «заяц» начал спрашивать меня кое о чем, но полностью я его не понимал, а лишь догадывался. Начал он примерно так:

— Да, а как у тебя курсак? — Я не понял, и он продолжил: — Ну, как, пуп к хребту не прирос? Мандрешник есть? А-а! Не все понимаешь! Хужее. Феню не знаешь. Так-так. Надо постигать, раз пробираешься таким фертом. Ну, насчет пожрать как? Нету, да-а-а, дела! Вчера в Кушве? Говоришь, Радуница? Ну так этого уже, считай, не было. Вчера... это — вчера, а клин под кишку и сегодня нужен.

Это он успел сказать, еще хорошо не осмотревшись, еще не зная, что в вагоне есть третий. Тут я ему и скажи, что, мол, вон у него, пожалуй, есть, но... не дает.

— О-о. Божись! Дела-а.

Оставив меня, тут же перебрался к украинцу.

— Здорово, Грицко! Завиткеля тикаешь?

— Який я Грицко?

— Ну — Микола.

— Який я Микола?

— Та яка різниця! Ну Семен. Я до тебе як до друга, а ты який-який. Чи сытий голодного ни разумее? Я — честный вор! Хлиб йе?

— Хлиб? Який хлиб?

— Да ты не думай, что я буду отнимать. Я же сказал, что я — честный вор, а вор имеет право только украсть, чтобы все по-хорошему, без шума. Дашь — хорошо, а не дашь — тебе же хуже! Потому как обидел вора. Будешь оглядываться, бояться, и правильно. Надо бояться! А потому мы, воры, всегда по-хорошему. Мы силой не берем! А чтобы не делать ошибок, чтобы не примечать, я должен узнать, честный ли ты человек: давай-ка показывай, что у тебя в торбе! Хочу видеть, каков ты есть.

Заканчивается эпизод тем, что вор доводит украинца до слез. Тот пытается объяснить вору, что сам он "голодный як вовк", что у него "тільки дві буханці, для сэбе", бережет — дорога впереди долгая. Вор берет буханку «взаймы», с условием, что возвратит ему две на первой же остановке.

Хлеб черствый, воды нет, вокруг нас соль, есть мы не можем. Не можем и ехать. На станции Свердловск-сортировочная вор и я выпрыгиваем из вагона. О своих заверениях насчет возврата хлеба вор уже забыл и говорит, что надо искать воды. Нашли ручеек, уходящий под насыпь железнодорожного полотна в трубу, и, определив, что вода чистая, сделали привал. Разулись, вымыли лицо, ноги и только затем начали есть взятый «взаймы» хлеб украинца. Тут я и спросил вора:

— Вправду ты обещал отдать хлеб?

— Жалеешь его? Таких не надо жалеть. Вот дал бы он хоть крошку, по-человечески — дело другое. А раз "тільки для сэбе", то надо «по-хорошему», без шума. Закон у нас такой. Но не это для меня. Я — майданщик! — продолжал он свой рассказ. — Но, видишь? — развел он руками, бросая взгляд на свою одежду. — Шмутки не те. Первым делом шмутки надо заиметь. На воле ведь я только неделю, ничего еще не успел, — продолжал он, натягивая брезентовые сапоги, — да и воля волчья: ни ксив, ни грошей, ни хаты, одним словом — воля!

Неожиданно показался поезд. Как вор насторожился! Весь — внимание: "Оно! Пассажирский!", хотя совсем не знал, куда тот поезд шел. Ему было все равно. Так он ловко, винтом взметнулся на ноги! И оставляя меня, оборачиваясь на ходу, выкрикнул: "Ну, Ванюха, добра! Ни пуха, ни пера!" — и вцепился-таки на хвосте поезда. На вагонах я успел прочесть: "Свердловск — Москва". Я был не нужен ему, как и он мне. Я остался один. Дело было к вечеру, и было не только грустно... Рассовав остатки хлеба по карманам, я поднялся по насыпи на полотно железной дороги и пошел по шпалам в сторону Москвы. На верстовом столбике значилось свыше тысячи шестисот километров.

Пусть не сердится читатель, что занял я столь много времени рассказом об этой встрече. Она была первой (если не считать Радоницы) после того, как мы расстались с братом Константином и моей остановки в Новой Ляле.

Недели через три, 10 или 11 июня 1932 года, я спрыгнул с передней площадки паровоза пассажирского поезда на разъезде Тёша (километрах в сорока от города Муром). Помню, что машинист, заметив меня только в самые последние минуты, когда я уже соскакивал, погрозил пальцем, посмеялся и что-то сказал своему помощнику. Мне же было не до смеха. Подобно бродячей, ничейной собаке, которая, поджав хвост и оглядываясь, убегает из запретных для нее мест, я, спотыкаясь, уходил в сторону. О том, что произошло на этом разъезде, я расскажу немного погодя, а сейчас вкратце о пути в тысячу триста километров — от пригорода Свердловска до разъезда Тёша.

Почти всю ночь я шел по железной дороге. Под утро, когда начинало уже светать, я почувствовал предельную усталость. Продолжать идти по шпалам было опасно: ослабло внимание — какие-то минуты я шел в состоянии полусна. Увидел по обе стороны полотна дороги защитные ряды ельника. Сразу же сошел с полотна и забрался под самый низ шатра из сплетений живых веток. И никаких мыслей — только спать.

Солнце было уже высоко, когда я вылез из укрытия. Некоторое время не мог понять, в какую сторону нужно идти, но припомнил, что железная дорога оставалась слева и что сошел я с нее на восход солнца. Сомнения отпали. Этим же днем я был на станции Дружинино. На мое счастье, местные женщины выносили здесь кое-что съестное для продажи на столах и к проходящим поездам. У меня все еще было немного денег, и мне удалось купить блюдце горячей картошки. Я принял ее в свою шапку и, смутясь, поспешил отойти в сторону. Мучил меня стыд, что вид мой, казалось мне (да так оно и было), выдавал меня как бездомного бродяжку. Очень это горькое чувство. Оно совсем отторгает от живущих нормальной жизнью, и ты не смеешь уже испытывать радость общения, опасаясь расспросов. Не встречая сочувствия, уходишь в себя, оставаясь один на один со своей печалью.

Выехать со станции Дружинине мне долго не удавалось. Станция большая, появляться на путях категорически запрещалось, и я, как черный кот, мог ожидать только неприятностей. Уходил к семафору, но на таком расстоянии поезда успевали развивать такую скорость, что уцепиться уже было невозможно. Тут уж соглашался на любые неудобства, лишь бы ехать: в угольной ли гондоле, на нефтяной ли цистерне, даже стоя на буферных стаканах между двух вагонов. Но опасность была еще и в том, что в Предуралье есть тоннели; я хотя и не точно знал, на каком они перегоне, однако знал, что есть, и было боязно оказаться в сплошной темноте и дыму, что, между прочим, пришлось-таки испытать.

Где-то в районе Красноуфимска я ехал на буферных стаканах, держась в распор за стенки вагонов. Надо иметь в виду, что в те далекие годы вагоны не были оборудованы автосцепкой и в движении расстояние между ними все время то сокращалось, то, наоборот, увеличивалось, и было совсем непросто удерживаться в положении «распятия»: руки в таком положении страшно немели, и надежда оставалась только на то, что поезд скоро остановится. Все это еще куда ни шло, но вскоре я заметил, что поезд начал все глубже и глубже врезаться между крутых, глубоких откосов и тут же вошел в тоннель. Все во мне сжалось: полный мрак, дым и страшный, спрессованный и невыносимый лязг и грохот, и нечем дышать. Только представить: в этом адском мраке и грохоте человек, не дыша, по существу, на пляшущих и прыгающих невидимых опорах удерживается в движении, едва касаясь стенок двух сцепленных вагонов. Ничего худшего, казалось, нельзя и придумать, и я в ужасе гадал, как долго это может продолжаться. Но тоннель, видимо, был не очень длинным, может с километр, так как длилось это мучение не дольше, чем человек может оставаться не дыша, и я выдержал. Мрак быстро стал исчезать, и поезд вырвался из подземелья. Но больше я уже никогда не шел на такой риск.

Не нужно много говорить, какое это было время. Везде и всюду продовольствие получали по карточкам, и купить что-либо на станциях было почти невозможно. Но надо же иметь в виду и то, что у меня и денег не было и рассчитывать на какой-то обед с базара или из буфета я не мог, если бы они и были. Голод принуждал уходить в сторону от железной дороги в селения, где, хоть и с великим трудом, все же удавалось кое-что раздобыть. Но хлеба было мало и у крестьян — легче было найти картошки, хотя бы сырой, и где-то испечь ее на костре. Несколько проще было в Татарии. Татары редко отказывали, сажали за стол и давали овсяных оладьев, обжаренных в конском жиру, что было, конечно, бесподобно вкусно.

Но вот я уже в Чувашии.

На станции Канаш я сидел в скверике. Сам себя я, наверное, не видел года полтора, совсем не представлял, как я выглядел. Чувствовал, конечно, что здорово запаршивел: космы вылезли из-под шапки, и я частенько запускал свои персты под шапку: от застарелой грязи, пота и насекомых нещадно зудела голова, да и не только голова — всё. И вот подходит ко мне какой-то мужчина вполне аккуратного вида. Сначала просто глянул на меня, но ничего не сказал. Затем сел рядом, вздохнул. Я уже подумал уйти, но он в это время спросил меня таким ласковым тоном, что я еле удержался от слез:

— Слушай, сынок! Что же такое случилось, что так сложилась твоя жизнь?

Я не знал, что ответить. Правду не решился, а готовой легенды не было у меня; сказал ему, что моей вины нет. Не знаю, что он мог подумать, только уверен, не то, что было на самом деле.

— Поди-ко, дорогой, в парикмахерскую, сними с себя муку! Наголо! И пусть тебе голову помоют. Не стесняйся, возьми! — и дал он мне три рубля. С этим и ушел от меня.

За стрижку и мытье головы взяли с меня полтора рубля. С остальными деньгами я подошел к киоску, где продавали газеты, кое-какие книжки, карандаши и прочую мелочь из школьных товаров. Я посмотрел несколько книжек, и в одной из них оказался совершенно чистым лист под обложкой. Я купил эту книжку, купил школьное перо, химический карандаш и ученический циркуль. Конечно, не только в этот момент — давно и томительно я таил мысль, и теперь она стала неотложной задачей: во что бы то ни стало остановиться и устроиться на работу — место ссылки осталось далеко позади. Но как же устроишься, если нет никаких документов? И никто же не мог мне их дать. Оставался лишь один выход: я должен был сделать хоть какую-нибудь справку. Вот для этой цели я и купил перечисленные предметы.

Дня через три я был уже в Арзамасе, и тут решил выполнить эту задачу по мере сил и способностей.

У читателя может возникнуть вопрос: считал ли я эти мои действия преступлением? Отвечаю так, как думал тогда и думаю до сих пор: нет, не считал и не считаю. Я ничего не искал, кроме права жить свободно и честно трудиться, и вся моя жизнь прошла в труде. Но права такого я был лишен. Лишен без суда, то есть — по произволу, который в те годы имел место в нашей стране. А раз это так, то должно же быть ясно, что был бы я полный глупец, если бы безропотно согласился стать жертвой несправедливости.

От Арзамаса я отошел километра три по железной дороге и свернул в кустарники. Нашел воды, нашел склянку и из химического карандаша приготовил чернила. Сидя на пне, пристроил у себя на коленях обрезок дощечки, которую предусмотрительно нес с собой, и при помощи пера и циркуля выкрутил на отдельном кусочке бумаги нужные окружности будущей печати, вернее — будущего отпечатка. Рассчитав количество знаков в названии сельского Совета, я нарисовал по памяти все, что считал нужным в той последовательности, как это может видеться через зеркало, то есть наоборот, не слева направо, а справа налево. Затем с этого рисунка, предварительно хорошо увлажнив его с обратной стороны, сделал отпечаток на чистом листе бумаги, вырванном из купленной в Канаше книжки. На этом довольно примитивном бланке я и написал справку. Конечно, я хорошо понимал, что опытный человек сразу же распознает фальшивку, но, во-первых, такое не угрожало мне уже потому, что я не поднимался в своих намерениях выше, чем "бери больше — носи дальше". На таких работах дотошных исследований о документах не делалось, а во-вторых, само время было такое: грамотных людей было не так уж много.

Теперь возвратимся к моменту, когда на разъезде Тёша, в сорока — сорока пяти километрах от Мурома, я соскочил с передней площадки паровоза пассажирского поезда. Дело было во второй половине дня. Передо мной был небольшой рабочий поселок, небольшой лесопильный завод. Доносилось шарканье пилорамы, визжали циркульные пилы, дымила металлическая труба и были видны десятка два штабелей пиломатериала и много круглого леса.

Видимо, всему приходит конец. Я решил пойти к заводу, чтобы узнать о возможности получить работу. Не дойдя до завода, я встретил человека, отличающегося одеждой и внешностью от людей физического труда того времени. Преодолев свою робость, я спросил его, можно ли, мол, найти здесь, на заводе, работу. Он приостановился, переспросил меня и,

указав рукой на рядом стоявший почерневший деревянный дом, сказал, что вот контора и там, в бухгалтерии, всё точно скажут. И я пошел в контору.

В бухгалтерии было три человека, все они щелкали на счетах. Один из них, в пенсне, с круглым чистым лицом, заметил меня первым. Узнав, что я хочу поступить на работу, спросил меня о документах. Этому солидному человеку я и протянул свой «документ». Я мог ожидать всякое, но как ни странно, страха не испытывал — был просто уверен, что если даже и не примут, то на этом все и кончится. Да, я заметил, что «документик» не очень понравился и что человек в пенсне глядел на него с сомнением: переворачивал, покачивал головой и даже кое-что спросил относительно мест, откуда я значился родом. Но на работу принял и сказал, что пойду я таскать горбыли в лесопильный цех. Тут же мне была дана записка к мастеру Азанину, кстати сказать, к тому самому человеку, который указал мне контору.

Наступившую ночь я спал под крышей, на топчане, покрытом куском войлока.

В отличие от районов Урала, здесь (тогда — Нижегородский край) голода не знали. Помимо пайка по карточкам хлеб можно было покупать в местных лавках по несколько повышенной цене, а неподалеку от Тёши — в Ардатове — на базаре было сколько угодно муки, и совсем недорого.

Работа горбыльщика считалась легкой, и заняты на ней были женщины. Поставили меня к вполне зрелой и нагловатой девице, которая была сильнее меня раза в два. Сразу же она полностью меня подчинила себе и командовала без зазрения совести. Нашей обязанностью было относить горбыли и всякого рода срезки. Как только бревно проходило через пилораму, мы хватали горбыли и тащили к вагонеткам, грузили и откатывали за пределы цеха. Иной раз комель горбыля был совсем непосильный для меня, девице же доставался всегда вершинный его конец, и она без усилий брала, как рыбу за хвост, одной рукой. Я не был еще мужчиной и по возрасту; утомленный в скитаниях, истощенный недоеданием, готов был чуть ли не плакать, видя очередную ношу. Однако я терпел и старался не подавать виду, что мне тяжело. Всего более давило меня то, что в маленьком сжившемся коллективе из местного населения был я загадочной личностью, и сочинять ответы, кто я есть, почему и как оказался в этих местах, было противно и больно. Любопытствующих же было на каждом шагу, и меня охватывала тоска одиночества среди людей.

Очень хотелось хоть что-нибудь сообщить матери о себе, но порадовать ее было нечем, не говоря уж о тех опасениях, которые не покидали меня. По самой же своей природе и впитанной материнской морали я не мог стать Иваном, не помнящим родства. Всегда: на работе, в часы отдыха, за обедом ли, перед сном — образ матери был зрим и неотступен. Мне так и слышался из глубин ночной тишины ее голос: "Где мои сыночки? Откликнитесь! Я теряю надежду видеть вас, родные мои!"

Отцу, который жил и работал в то время близ Можайска, преданнейшему семьянину и мужественному человеку труда, тоже писать не решался, боясь, как бы мое письмо не повредило ему: ведь он жил не под своим именем.

Наконец написал коротенькое письмо сестре матери Анне Митрофановне на Смоленщину с просьбой сообщить мой адрес отцу.

Время, однако, шло, и я мало-помалу втянулся в работу, с горбылями стал справляться свободнее. И появился у меня друг — шустрый парнишка Ваня Чепуров. Он был из местных, но воспитывался в детском доме и какое-то время успел пожить и, может, поработать в Нижнем Новгороде. Он часто говаривал: "У нас, в Нижнем..."; можно было подумать, что он и родился там. В действительности же он был из деревни Тёплого, всего в двенадцати километрах от разъезда Тёша. Там с ним вместе пришлось мне даже побывать в гостях у его сестер.

Был он совсем малого роста, но хорошо знал дело, которое далось ему где-то в детдомовских мастерских, и работал он здесь молотобойцем, что меня, сына кузнеца, сблизало с ним. Так и держались мы вместе, как только кончался рабочий день.

Одет он был не лучше меня, спал в чем был на работе. Заработок наш был очень невелик. Мне платили один рубль семьдесят копеек за полный рабочий день, Ване Чепурову, молотобойцу, — несколько больше, но ни у меня, ни у него никаких сбережений не получалось, все уходило на питание, так как считавшийся дешевым хлеб стоил два рубля за килограмм. Был, правда, случай, когда, заимев с полочки рублей по тридцать, мы отправились поездом в Муром купить что-нибудь из одежды. Приобрели на толкучке по рубашке и брючишкам и, не рассчитав своих возможностей, остались без копейки. Целых полмесяца бедствовали, но, хотя и натощак, форсили в обновках. И ведь — только подумать! — босиком. Обувь, в которой работали, была очень плохой, грубой — не в масть. Мирились с этим.

Как-то накануне воскресного дня вечером мы с другом-тезкой долго не ложились спать, занятые мыслью, как бы чего поесть. В большом полупустом бараке было человек десять, хотя могло бы разместиться до полусотни. Вдруг, смотрим, вошел невысокий человек с вещевым мешком. Сделав несколько шагов, остановился, смотрит вроде бы на нас. Какой-то миг — и у меня воскресает образ отца: схожесть фигуры, роста, даже ног, с таким сближением в коленях, и я напрягаюсь вниманием и вскрикиваю: "Отец!" Лечу к нему без памяти. Вырывается из меня: "Папа!" Обнимаю, целую и слышу его слова, сказанные вполголоса: "Чи-и! Я — не родной тебе". Чувствую свою опрометчивость — смутился и ничего не могу сказать, и отец это понял, сказал: "Да ничего. Пустяки!"

Ровно год я его не видел, знал лишь самую малость о нем, и вот — встреча. Оказывается, он совсем недавно узнал, где я есть, полагал, что разъезд Тёша рядом с Муромом, и там, в Муроме, сошел с московского поезда. Пришлось ему идти пешком все сорок километров.

Чтобы побеседовать без свидетелей, мы отошли в сторону и уселись на ничейном топчане. Он угостил меня московской булкой, отрезав от батона около трети, и сказал, что едет на Лялю: решил попытаться спасти своих "горемык".

Расспрашивал он меня обо всем. Слушал, курил, качал головой, вздыхал.

— Ну слушай теперь, что я тебе расскажу.

## Рассказ отца

С месяц всего пробыл я на Ляле после того, как, в прошлом году Костя ушел с тобой. Гадал всяко: оставлять мать с детьми — нехорошо, но быть бесполезным возле — еще хуже. Помалу кое-что разузнал да и рискнул. С Павликом и пошел. Он, ясно, мальчишка хилый, но рассчитал, что оставлять его тоже нет резона, — пропадет. А был уже август — время года, когда можно найти в лесах и ягоду, и грибы, а если добраться до какого-либо селения, то и картошку. Так вот и решил пойти лесами, тайгой, оставляя все дороги в стороне аж до самой Камы. Подсказал мне случайно местный охотник-старик, что, если подняться вверх по Ляле километров сорок — пятьдесят и пойти строго на запад, то всего день-два — и перевал, а там любой ручеек приведет на Каму. Поразмыслив, я понял, что такой путь сулит больше шансов на удачу. Так вот и пошли: топор, соль да кусок хлеба, и не на восток, вниз по Ляле, а на запад, искать Каму. Надежда на успех, казалось, была еще и в том, что этим путем никто не шел, никто не имел его в виду, значит, для нас более безопасно. На третий день заметили, что начали спускаться, — перевалили. Чтобы убедиться в этом полностью, нужно было найти хоть какую речку или ручей. При нас ни часов, ни компаса — только слух и зрение. Всматривались и прислушивались, останавливались и вновь продолжали свой путь, поистине

дерзкий и отчаянный. И скажу тебе, сынок, что, даже рассказывая о том, жуть меня охватывает и в дрожь бросает. Глушь, дебри, бывали минуты горького отчаяния, но еще судьба моя не без милости: услышали шум горной речки, и от сердца отлегло — обнял Павлушу: "Ну, — говорю ему, — кажется, мы не пропадем, рядом речка. А тут и смородина! Пища!" А дальше как-то скоро жизнью, человеком запахло: стожки сена стали встречаться, следы зимних дорог, по которым сено возят, а вскоре добрались и до селений, но решили не искать встреч с людьми, прежде чем отдохнем возле речки. А топор несю, не бросаю, документ своего рода — работать можем. В общем, дошли мы и до Камы. Тут на пристани я и взялся плотничать, чтоб привыкнуть, оглядеться, заработать на билет и — пароходом вниз. Три дня посколачивал трапы и — ага! Есть и на билет, есть и на еду. Спешить, метаться, хорониться от людей в таком случае никак не годится. Так добрались и до Волги, а там и до Чебоксар. В Чебоксарах нанялся в кузню. Дней десять болты, скобы ковал. Опять — расчет, и дальше, уже к железной дороге. За месяц дотянулись аж до Смоленска. Тут-то и пошло, чего и во сне не снилось. Ну, понимаешь, захотелось же с Шуркой встретиться. Он, понятно, уже совсем не Шурка, куда там! Но мне-то, думаю, сын же, не называть же мне его Александром Трифоновичем, вот так. Стоим у подъезда Дома Советов, знаю же, что должен он быть в этом доме. Выжидаю случая спросить. Подвернулся какой-то служака, с бумагами, папиросы курит толстые. Я к нему: так и так, мол, не можете ли передать Александру Твардовскому, что надо нам его видеть. Здесь он должен быть, в редакции. Очень нужен он.

— А как вы его знаете? — спрашивает тот.

— Да, — говорю, — родом-то он из наших мест, вот так. и знаю!

— Ах, та-ак! Ладно, я передам, — и пошел этот человек туда, в этот дом. Стоим мы с Павлушей, ждем. А на душе беспокойно: помню же, какое письмо было от него туда, на Лялю. Однако ж и по-другому думаю: родной сын! Может, Павлушу приютит. Мальчишка же чем провинился перед ним, родной ему братик? А он, Александр, и выходит. Боже ты мой, как же это может быть в жизни, что вот такая встреча с родным сыном столь тревожна! В каком-то смятении я глядел на него: рослый, стройный красавец! Да ведь мой же сын! Стоит и смотрит на нас молча. А потом не "Здравствуй, отец", а — "Как вы здесь оказались?!"

— Шура! Сын мой! — говорю. — Гибель же там! Голод, болезни, произвол полный!

— Значит, бежали? — спрашивает отрывисто, как бы не своим голосом, и взгляд его, просто не ему свойственный, так меня всего к земле и прижал. Молчу — что там можно было сказать? И пусть бы оно даже так, да только чтоб Павлуша этого не видел. Мальчишка же только тем и жил, что надеялся на братское слово, на братскую ласку старшего к младшему, а оно вон как обернулось!

— Помочь могу только в том, чтобы бесплатно доставили вас туда, где были! — так точно и сказал.

Понял я тут, что ни просьбы, ни мольбы, ничего уже не изменят. И прошу его только, чтобы обождал, пока я съезжу в Столпово к другу — Роману Ивановичу Игнатенкову, который якобы должен мне денег, а уж когда вернусь, то, дескать, делай со мной что хочешь. Дрогнуло его сердце: Павлуша попал ему на глаза.

— Ну, ладно, — говорит, — поезжай.

Роман Иванович принял нас хорошо: усадил за стол, поднес рюмочку, накормил и уложил отдыхать. Ну что тут можно было ожидать, если все по-дружески... Но сон ко мне не шел, я почувствовал какой-то подвох: "К чему бы укладывать нас спать?" — разгадывал я. О том, что встречался с сыном, я ничего не сказал. Лежу это я в тревожном раздумье, пожалуй, час, а может, и больше, и то вроде разуверяюсь в сомнениях, то снова впадаю в них. Вдруг слышу какие-то голоса, а затем шаги в сенцах и... входят. Кто-то говорит: "Поднимай!"

Бог ты мой! Вот как можно ошибиться! Предал, подлец, с потрохами! Знал бы ты, сынок, как мне было тяжело смотреть на Павлушу! Мальчик, в чем только душа держалась, спал и не думал, что поведут сейчас под конвоем, — еле разбудили его.

Вели нас в Ляхово той дорогой, что была из Столпова через Ляховский лес. Да ведь и дело было уже к вечеру, знаешь, мысли и такие были, что могли и шмокнуть: мол, бежал... и крышка! И кто там дознавался бы!

Из-за позднего времени нас не довели до Ляхова и оставили на хуторе у Селедцова, что жил возле Казанских, по выходе из леса.

Заставили раздеться до белья и лежать на полу до утра. Охранял нас сын Селедцова, усевшись на скамье с пистолетом в руке.

Была у меня трость, вырубленная еще в уральской тайге. И что ж ты думаешь, блеснула мысль у меня такая: раз на всю ночь оставляют нас в этой хате, то, думаю, неужто только в сказках бывает невероятное? И прежде чем лечь на пол, поставил ту трость к стенке с таким расчетом, чтобы мог я «ненароком», достать ее ногой, толкнуть — упадет и даст звук. Ну о том, что я мог так думать и для чего так поступил, наш конвоир, конечно, ни понять, ни догадаться не мог.

Ночь. Лежим мы, рабы Божий. Охранник никаких вопросов не задает. Тишина. Тускло светит керосиновая лампа. Никаких движений, никаких разговоров, но сквозь ресницы я все же пытаюсь наблюдать, в каком состоянии и положении сидит наш страж. И замечаю, что начинает его одолевать сон — тусклость и тишина неумолимо давят на него, и думаю, что если не будет ему смены, то не выдержит, уснет. "Дай же Бог!" — держу про себя эту мысль. Лежу, не сплю. Какой там сон мне! А Павлуша, чувствую и слышу по его дыханию, уснул. Начинаю и я делать вид, что засыпаю, — издаю храп, сам же — весь внимание и напряжение, слежу за охранником. Похоже, что моего храпа страж не слышит, но это еще не убеждает меня — может ведь и притвориться. Терплю еще некоторое время. Охранник пустил слюну, голова его склонилась, и вижу: пистолет как только не выпадет из его руки, но все же... удерживается, хотя явно пальцы не сжимают. Да, тяжкая, роковая минута отсчитывала в моем сознании бегущие секунды; но будет ли, можно ли рассчитывать на более удобный момент? — ставлю себе вопрос и тут же толкаю ногой поставленную у стены трость. Она падает, издавая резкий звук, однако охранник не среагировал ни единым нервом.

Встаю. В белье, босиком. В мгновение прощаюсь взглядом со спящим, моим родным мальчиком, сердце и воля напряжены предельно, осторожно открываю окно и с кошачьей легкостью вылетаю в окно в тьму предосенней ночи. Павлушу оставляю спящим, в надежде, что с ним не должны сделать ничего страшного. Сынок мой Ванюша, разве легко было мне оставить его, почти ребенка?!

Шанс оставался только один — добежать до двоюродного брата, который жил тогда в Краснинском уезде, Тарасова Демьяна Никитьевича. Но ведь легко сказать — добежать! Босиком, в заношенном белье преодолеть более сорока верст! Кустами, оврагами, болотами, межами!

Свой рассказ об этой жуткой истории отец завершил тем, что лет десять он не встречался со своим двоюродным братом, что когда тот ночью открыл дверь, то опешил и не сразу узнал нашего Трифона Гордеевича. И не удивительно: пред ним был изможденный странник в белье, босиком. Но понял и принял по-братски, по-русски. Не усомнился, не побоялся. Одед, обул. Когда пришел час расставанья — отдал свое личное удостоверение.

Вот тогда-то и устроился наш отец кузнецом в совхозе «Гигант», что был в те годы близ Можайска.



Одну только ночь провел отец возле меня на разъезде Тёша. День был воскресный, и я был свободен. Путь свой отец держал в Зауралье, на Лялю, где все еще оставались мать, сестры и самый маленький из нас, братьев, шестилетний Вася. Задача у отца была сложная: любимым путем вывести свою семью из ссылки. В тот же день я проводил отца в далекий и рискованный путь, пожелав ему счастья. Подошел поезд, и мы простились. Это было в начале августа 1932 года.

О дальнейшей судьбе отца и всех наших я мог узнать, как было условлено, только от тетки Анны Митрофановны со Смоленщины. Именно она поведала в свое время о том, что местные власти препроводили к ней Павлушу после побега отца из-под конвоя на хуторе Селедцова и что Павлуша чувствует себя у них в семье как дома. Но вот каких-либо вестей об оставшихся на Ляле, о судьбе брата Константина и об отце, уехавшем на место ссылки, я так на разъезде Тёша и не дождался. Наступала осень. Тоска давила меня нещадно, работа на пилораме вымотала меня физически до изнеможения, одолевали и сомнения, что рано или поздно назовут меня чуждым элементом. Все это вместе взятое да плюс постоянные напоминания, вроде: "Ой, парень, рано ломаешь себя!" или: "Такую тяжесть таскаешь смолоду!" — подготовили меня к тому, что решил я уволиться.

Как-никак у меня теперь была справка с последнего места работы, и я смело предъявлял свои документы. Пробовал работать на всяких случайных работах, сходясь с людьми, жизнь которых была так же незавидна, как и моя. Приходилось грузить рудстойку, выгружать кирпич, картошку, колоть дрова. Нигде я долго не задерживался, и в какой-то день ноября 1932 года появился в Москве на Казанском вокзале.

К этому времени я научился без труда отличать людей, жизнь которых по тем или иным причинам ставила их в наитруднейшее положение. Они ютились по вокзалам, то там, то сям отогревали свои зады, лепясь к отопительным приборам, иногда целыми группами поджидая что Бог пошлет. Иногда же в поздние часы их без сожаления изгоняли, иногда предлагали работу за наличный расчет — соскребать или грузить снег лопатами на привокзальных тротуарах и площадях, а иногда ловили и увозили неизвестно куда. Мне приходилось не только слышать и видеть такое, но однажды и самому оказаться в толпе разновозрастных оборванцев, согнанных в угол сотрудниками ОГПУ.

Вопреки ожиданиям, обошлись с нами очень хорошо. Человек в долгополой шинели, обращаясь к толпе опустившихся и несчастных людей, громко спросил:

— Есть ли среди вас такие, кто хочет работать? В ответ взметнулось множество рук с выкриками: "Я-а! Я-а! Я-а-а-ая!"

— Хорошо! — продолжал сотрудник ОГПУ. — Поднимите руки, у кого есть документы!

Теперь уже рук оказалось немного. Сотрудник ОГПУ вроде бы начал считать, но тут же махнул рукой: "Ладно! Посмотрим!"

Открыли запасной выход, и была дана команда:

— Выходи к машине! В баню!

Какая-то часть не пожелала ехать, но человек сорок залезли в машину. Был в их числе и я. Куда нас везли и где была та баня, никто, пожалуй, не знал. В бане дали нам кольца с крючками и заставили нацепить на крючки все наше барахло для дезинфекции. Документы предложили сдать под ответственность банщиков. Поздно ночью нас привезли в Марьину Рощу и поселили в бывшую церковь на Лазаревском кладбище, которая была переоборудована под общежитие.

На следующий день всем нам были выданы талоны на завтрак из буфета ОГПУ на Малой

Лубянке, где осуществлялась надстройка домов № 7 и № 16. Там же, в учраспреде стройки, нас определили на работу. После странствий и скитаний казалось, что мы попали в рай. Нам были даны боны (вместо денег), и мы могли покупать в закрытых распределителях продукты. Кроме того, имели пропуск в буфеты и столовые, где кормили отлично.

В Москве, примерно в начале декабря 1932 года, я получил письмо от тетки из Смоленщины, из которого узнал радостную весть. Наша семья — отец, мать, сестры и маленький Вася — находилась в городе Нижний Тагил. Отец работал на заводе кузнецом, мать и сестра Анна тоже работали, жили все в заводской квартире по улице Тагильской, в доме № 14. Как это все случилось, я узнал значительно позже, в начале 1934 года, когда девятнадцатилетним парнем приехал к своим; уже более года они проживали в селе Русский Турек Уржумского района, что на правом берегу реки Вятки.

Случилось это вот как. После встречи со мной на разъезде Тёша отец благополучно доехал до мест ссылки на Ляле и в приметном для себя месте спрятал свои документы. В поселок он явился как бы с повинной, объяснив, что нигде не смог найти спокойной жизни: "Делайте со мной что хотите!" Встретило его начальство с недоверием, и некоторое время содержали отца в каталажке. В сумке у него нашли московские булки (мечтал угостить, порадовать своих "горемык"), в связи с чем возникало подозрение: "Старик говорит неправду". Допросы и расспросы велись довольно строго, только ночами, чтобы поменьше кто знал о его возвращении. Все же матери и сестрам стало известно, что отец находится в поселке, им удавалось подходить к окошку той каталажки и видеть отца. Он был очень опечален, говорил, что не знает, чем все это закончится. Планов своих он открыть не мог. К тому времени в поселке была организована кузница, но некому было в ней работать: не было кузнеца. Это и помогло делу: отца стали посылать работать в кузнице, а вскоре разрешили соединиться с семьей.

Свою мечту и задачу, ради которой приехал, он не забывал и обдумывал, как лучше ее осуществить. Особая сложность была в том, что с ним вместе их было пятеро — целая группа, незаметно вывести которую из поселка невозможно. Решено было по одиночке или по двое перебираться в определенное место в тайгу, а там, надев самое необходимое, ждать отца. Он должен был уйти из поселка последним.

До самого конца рабочего дня отец был в кузнице, работал, как обычно, оставить работу было нельзя. После работы он домовито пошел в опустевшую хату с охапкой дров. Посидел, покурил и, пожелав сам себе удачи, налегке, с одним лишь топориком, скрылся в тайге.

Рассказывал отец, что очень беспокоился: "Окажутся ли все в условном месте?" "А вдруг «горемыки» мои разбредутся, не окажутся, где нужно? Где их искать?" Но обошлось: отец нашел их.

Младшая наша сестра, Мария, рассказывала, что шли месяца полтора лесами. Часто отец оставлял их, а сам уходил искать какое-либо селение, чтобы добыть картошки. "Так было страшно! — вспоминала Мария. — Бывали случаи, когда ждать приходилось часов по десять, сидя в диком лесу, с напряжением лова каждый шорох и боясь, что с ним что-то может случиться, и тогда всем нам беда и конец.

Да, можно поверить: нелегко им пришлось.

Глубокой осенью они дошли до села Лая, что в двадцати километрах от Нижнего Тагила. Здесь остановились: почувствовали, что дальше идти не могут. В местном совхозе отец нашел работу, квартиру, привели они себя в мало-мальски человеческий вид: отогрелись, отпарили и отскоблили многослойную грязь бродячей жизни. К зиме перебрались в Нижний Тагил, в тот самый район старого демидовского завода, где отец и проработал несколько месяцев в кузнечном цеху.

Но работа в заводской кузнице, хотя и нравилась ему, все же была для него уже тяжела, не по силам: шел ему пятьдесят седьмой год, да и кузнец он был не заводской, а именно сельский. По этой причине он и переехал с семьей на реку Вятку в село Русский Турек Уржумского района. Этот переезд тоже не был прост и легок. Собрали деньжонок на проездной билет до станции Вятские Поляны, а на оплату подводы от Вятских Полян до Русского Турека у них почти ничего не оставалось. Сто двадцать километров шли они пешком в сторону Уржума по зимней дороге. Но, как ни было тяжело, дошли до того «таинственного» села, где, по рассказам, был дешевый хлеб и где нужен был кузнец.

Был тогда в Русском Туреке большой и богатый колхоз "Красный пахарь". Руководил им умный и хозяйственный председатель Меринов. С великим удовольствием он принял нашего отца на работу по договору в колхозную кузницу. Приглашал и в члены колхоза, но отец воздержался. Голода, особых недостатков в тех местах совершенно не знали. Богатейшее село стояло на правом берегу судоходной Вятки. Места эти были тогда необычайной красоты: простор широчайший, много зелени: пойменных лугов, цветов, лесов, и сам воздух ничем не замутнен — свежесть и прозрачность удивительные. И народ там какой-то особенный: добродушный, гостеприимный и, чем еще отличается, — поголовно песенный. Да как поют! Диво дивное!

Отец, бывало, восторгался аккуратностью и царившим порядком во дворах местных жителей: все выложено плиточным камнем, все покрашено, убрано, присмотрено. А какой хлеб умели выпекать тамошние женщины!

Все это мне стало известно, как уже отмечал, позже. А пока я находился в Москве, работал на стройке. Скажу честно, что никак не ожидал и не предполагал, что быть мне на той стройке суждено недолго. Из-за сущей ошибки, может, даже из-за моего усердия к порученному делу, к обязанностям, так скверно все обернулось, что пришлось уйти. Случилось же вот что.

Производитель работ по надстройке дома № 7 на Малой Лубянке Лебедев (сразу же отмечу — добрейший человек) как-то заметил меня среди прочих. Узнав о том, что я сравнительно ловко мог писать, он дал мне работу в прорабской конторке. Стал я у него вроде секретаря: подшивал бумаги, вел какие-то графики, составлял сводки движения рабочей силы, принимал телефонные звонки, развозил по Москве различные пакеты. По приказу значился делопроизводителем (не знаю даже, есть ли такие должности в нынешнее время на стройках, но в те годы были). В общем, так все пошло хорошо, что и умирать ни к чему. У прораба был заместитель — Ржевский. Юркий такой, энергичный и очень деликатный, воспитанный, и тоже — вполне хороший человек, относившийся ко мне самым сердечным образом, хотя, правда, посмеивался иногда с долей ехидцы, называя меня «делопут». И особой обиды на него я не имел, поскольку и был, пожалуй, делопут. Какой там из меня делопроизводитель!

Вот этот самый хороший человек срочно посылает меня однажды в одну из комнат строящегося этажа, в которой работали жестянщики, передать его распоряжение о немедленном наведении порядка в той комнате, чтобы провести какое-то собрание. Я мчался по лестнице через три ступеньки, грохоча деревянными подошвами (в тот год многие из сезонных рабочих носили обувь на деревянной подошве). Нашел названную комнату и передал распоряжение. Но меня там не хотели слушать и послали на... Я обиделся и сгоряча сказал обидчику оскорбительное слово о национальной принадлежности. И тут же убежал. Однако один из рабочих выскочил и преследовал меня до самой прорабской, грозя жалобой начальству. Ржевский был у себя, и мой преследователь вбежал к нему и пожаловался, всячески преувеличивая суть происшедшего. Ржевский вскипел, поднялся, подошел ко мне и приказал:

— Сейчас же, Твардовский, напишите заявление, чтобы я вас уволил.

Карьера моя потерпела полный крах. Заявление я писал и плакал, но... Москва слезам не

верит, никакой возможности спасти дело не было, Ржевский был неумолим.

В справке так и было указано: "Уволен за антисемитскую ругань".

Что делать? Куда податься? Где меня ждут? На эти вопросы ответа не находилось. Помыкался по Москве, погоревал об утрате мелькнувшего блаженства, да и сошелся с каким-то "беглым каторжанином" и поехал с ним в Тулу. Боже ты мой! Мороз, как назло, арктический. Ноги мои в деревянных башмаках совсем окоченели, руки тоже — кочерыжки. Едем в холодной электричке искать неведомо чего. Тула нам ничего не дала. Работа находилась: копать траншеи, но куда там копать в лютый холод! Вертелись на вокзале. Наконец нападаем на желаемое — группа людей окружила делового человека. Подходим, узнаем: оно! Вербовщик из Каширы набирает людей для разгрузки угля на Каширской ГРЭС. Берет всех и всяких, нас тоже. Едем в теплом вагоне, оформляемся в топливный отдел. Выпрашиваем аванс. Получаем горячую пищу, поселяют в общежитие. И все оживлены, все даже рады, что нашлось-таки и место под крышей, и какая ни на есть работа.

На следующий день ведут на резервный склад, где ждут нас вагоны с углем. Это уже зима 1933 года. Хорошего мало: лопата, тачка, уголь. Но деваться некуда — все работали с удивительной энергией. И надо заметить, что, преодолев тягостное впечатление первых дней, я так втянулся в эту нелегкую работу, что даже, как ни странно, полюбил ее. Работал со страстью, желая стать самым ловким, отмеченным, признанным. Может, это выглядит наивно, но время же было такое, когда Красная доска была затаенным ориентиром и мечтой каждого увидеть однажды на ней и свое имя. С тачкой бегали, да-да, именно бегали, как циркачи, совковая лопата ныряла послушно под осыпь угля в ритме учащенного дыхания, дорога была каждая минута в той первейшей задаче — успеть, не отстать, догнать!

На Каширской ГРЭС я проработал месяцев восемь. Среди грузчиков я был самый молодой и выглядел весьма жидким. Нередко приходилось слышать, как и будучи еще на разъезде Тёша: "Поберегись, подумай о себе, изломаешься!" А однажды и сам начальник отдела подозвал, некоторое время молча взглядывался, а затем сказал:

— Вот что, дорогой мой. Плохо ты выглядишь. Пойди-ка ты в отпуск! Путевочку дам тебе в дом отдыха. А когда вернешься, скажу тебе еще кое-что.

Ехать не нужно было: дом отдыха находился недалеко, и я пошел пешком. Хорошей одежды у меня все еще не было, и, очутившись там, где умели и знакомиться, и шутить, и танцевать, да и одеты были не так, как я, — почувствовал я себя не в своих санях. Так и провел те две недели в скуке и стеснении, молча и одиноко. То ли это была душевная травма, то ли привычка, только лучше мне было среди тех, которые жили в трудностях и нужде.

Возвратясь из дома отдыха, я узнал, что меня переводят в коммунальный отдел, где, дескать, будет легче, вот по молодости лет моих и нашли нужным предоставить более легкую работу. "Посылают чистить туалеты!" — пошутил кто-то. Воспринял же я эту новость с обидой. В это же время объявили о проведении паспортизации. Пошли всякие толки о предвисящей сверке и проверке документов. Слухи эти резали меня по самому сердцу: ни сна, ни покоя. Вскоре началось заполнение стандартных справок, требовалось сдавать имеющиеся документы в паспортный стол. Но что мог я сделать? Ни свидетельства о рождении, ни какой-либо законной справки я не имел. После спросов и расспросов получил я Временное удостоверение сроком на три месяца. Документ, прямо надо сказать, оскорбительный.

Обратиться к Александру, рассказать ему о своих делах не решился, помня, что сам он не делал и попыток узнать, где мы есть и что с нами. Да и что же я мог ему рассказать о себе? О том, что бежал из ссылки? Так такая правда вряд ли могла порадовать его. Наоборот, она принесла бы ему только печаль и горесть, иначе не могло и быть — его сердце не могло быть каменным. Я оставался один на один со своими заботами, доходя до отчаяния и депрессии.

Собираюсь ехать к отцу в Русский Турек: ему можно все рассказать, он все поймет. Но сбережений, то есть денег, у меня не было, и это удерживало меня. Наконец, все же еду. Выпал снег, начались морозы, и от Вятских Полян пришлось идти пешком: навигация на Вятке закончилась. Сто двадцать километров одолел за четыре дня, ночевал на постоянных дворах, которые в тех местах еще не назывались по-иному.

В Русский Турек пришел днем. Село большое: несколько улиц. Мне надо на Колхозную, к магазину, напротив которого жили наши. Первым меня заметил братишка Павел. Оказалось, он уже давно здесь, в Туреке, приехал со Смоленщины, где более двух лет жил у тетки Анны Митрофановны после той страшной ночи, когда отец вынужден был его оставить на хуторе Селедцова.

Да! Тут, как сказано у Александра Трифоновича, "хоть не с того зайдя конца", но приходится вспомнить: непомерна была тяжесть, которую взвалил на себя отец, оставив спящего сына-подростка, — ведь мальчик ничего не знал о планах отца.

Павлуша был разбужен тогда охраной:

— Говори, где должен быть батька!? Ты знал! Знаем мы вас! Не скрывай, отродье кулацкое, если хочешь жить!

Но Павлуша ничего не знал. Плакал. Не о своей судьбе — об отце: "Убили!.." — иных мыслей у него не возникало.

Отец же полагал, что жизнь мальчика будет сохранена, хотя не исключал жестоких с ним обращений, и это его мучило. И все же надеялся: станут расспрашивать о родственниках, которых, к счастью, было не так мало, и не иначе — передадут Павлушу в одно из родственных нам семейств. Он не ошибся. Павлуша был отдан нашему родственнику Ивану Борисовичу Вицкопу в Бердники, на хутор, что был рядом с деревней Одоevo, всего в двух с половиной верстах от Загорья. Теперь же он был со своими в Туреке.

Но вот и я в родной семье. Мать, сестры, отец, младшие братья — все рады встрече. "Ой, Иван, ты ли? Какой ты высокий! Боже мой! — слышу возгласы, принимаю объятия, поцелуи. И снова: — Тебя не узнать! Молодец! Живой! Хорошо! Ох, Ваня, дорогой мой! — говорит мать. — А про Костю так ничего и не слышно, — и всхлипнула. — Невезучий он. Разве же не написал бы? Да, видно... Да и куда же он напишет! Откуда ему знать, где мы?"

— Ну, мать, не нагоняй тоски, — вставляет отец. — Давай-ка что-нибудь на стол, а то мы так и будем судьбу перетряхивать стоя. Костя — мужчина! И не глуп. А значит, и пропасть не должен!

Тут же узнаю подробности. Мать с Анной работают в «Заготзерно»: в Русском Туреке крупный ссыпной пункт, обслуживающий несколько земледельческих районов. Отсюда идет отправка зерна водным транспортом. Павлуша возле отца в кузнице, Маша и Вася ходят в школу. Квартиру снимают у одинокого местного старика, который рад случаю жить с людьми. В общем, обжились, попривыкли, хотя, по рассказам матери, не угасает чувство настороженности и боязни: как бы ни проговорились дети.

Мать и ввела меня в курс тех деталей их жизни, о чем я еще не знал. Оказывается, что сама она и старшая сестра Анна живут здесь под своей родной фамилией — Твардовских, а все остальные из детей, в том числе и Павел, называют себя Тарасовыми, как бы являясь детьми от второго брака с Демьяном Никитьевичем Тарасовым. Вот ведь сколь непроста ситуация: даже Вася, которому еще только восемь, девятый, должен уяснить и свято помнить, не проговориться, не ошибиться, в случае если где-то его спросят, почему в семье две фамилии. Так что нашего Трифона Гордеевича как бы и в живых нету. И про себя он, здравствуя и работая, тоже должен помнить, что он, Трифон Гордеевич, вовсе и не он.

На этот счет я ничего не слышал от самого отца. Как ни в чем не бывало, он интересуется работой, меня берет к себе молотобойцем, о чем успел сразу же договориться с механиком, и мы теперь втроем возле горна, занятые оковкой деревянных двуколок-тележек для погрузки зерна в баржи. За одну тележку платят тридцать рублей — цена отличная, и мы хорошо зарабатываем. И ни охов, ни вздохов, о хлебе никто не толкует: мука продается свободно, на столе всегда свежий, домашней выпечки чудесный каравай. И я про себя дивился: ведь в это самое время в Зауралье люди умирали от истощения. Тут же, на вятской земле, никто не спросил у меня никаких документов — работай на здоровье. Получалось вроде бы все складно и хорошо, отмечалось и некоторое успокоение от недавних передряг и потрясений, но это лишь временное явление. Оно не могло заслонить или исключить тревогу и озабоченность о том, что нас ждет впереди, и вопрос этот так и оставался неразрешимым — жили одним днем, с затаенным чувством неуверенности, неверия в постоянное благополучие. Отец, правда, держался своих мнений: "Раз я живу и работаю по найму у государства, то страшиться нет причин. Праведный суд не обвинит меня за то, что, выполняя родительский долг, я презрел несправедливость". Но ведь это только слова, а в жизни бывает совсем по-другому, и в этом мы уже не раз и не два убеждались.

Приближалась весна 1934 года. В Туреке трепетно ждали ледохода, тянулись к Вятке-реке. Вятка, священнопочитаемая в тех местах, может быть, язычески обожествлена до степени поклонения и потому, что с наступлением тепла ее правый берег преображался: краски девичьих нарядов, сердечные песни любви к родному краю, неизбывная радость общения с пробуждающейся природой — все манило, молчаливо притягивало и нас, пришлых, желающих забыться и приобщиться к торжеству населяющих тот край здоровых людей. Я тоже шел на тот Березовый берег. Да и как же тут удержаться! Что может быть заманчивее, желанней встречи? И они, встречи, конечно, случались, радостью озаряли искалеченную юность.

Начало навигации отмечалось в Туреке как праздник. Встречать первый пассажирский пароход выходили стар и мал. Речная гладь просматривалась далеко вверх и вниз, и множество людей терпеливо и пристально, со сладостным трепетом всматривались в даль, и, казалось, каждый только и желал первым заметить и первым же успеть объявить: "Идет!" Но заметить первым среди сотен ревностно ожидающих вряд ли кому удавалось. "Идет!" — выкрикивалось громом смешения голосов над массой всплеснувших рук и прыгающих тел. Прерывисто хлопая плицами и сбавляя скорость, пароход обманчиво вырастал в объеме и осторожно прижимался к пристани, как бы утопая в гуле радостных приветствий, пожеланий, поздравлений и суетных движений собравшихся. Недолги минуты стоянки. Поспешно убирались трапы, пароход отчаливал, и люди с какой-то опустошенностью медленно растекались цепочкой по разным дорожкам и стежкам.

Но не только первый пароход был встречаем жителями Турека. Встречали пароходы ежедневно, хоть и поскромнее, чем первый. Выходил на берег и наш отец, чтобы полюбоваться, посозерцать, а может просто развеять свои тягостные мысли, поскольку он не приближался к самой пристани, а поодаль, присев на какой-либо бугорок, молчаливо всматривался в бурлящий момент жизни вятичей. Когда же приходили баржи и начиналась погрузка зерна, то любил наблюдать, как работают грузчики. Тут можно было видеть местных силачей, которые за спор, для показа своей силы, порой принимали на себя по пять-шесть, а то и все восемь мешков с зерном, унося их по трапу на палубу баржи. Вот тут уж, бывало, отец от души «болел»: очень любил сильных людей. Вообще была у него какая-то непреходящая страсть восторгаться, если замечал в людях необычно выделяющееся: силу, ум, талант — в мастерстве ли, в песне ли, в рассказе. К таким людям его всегда тянуло как магнитом. В Русском Туреке он тоже разыскал и близко познакомился с неким Михаилом Никитьевичем Бушковым, который не только отличался силой, это само собой, но был высокоинтеллигентным человеком и удивительно интересным собеседником. Родом он был из этого же села, но много лет состоял в гастрольной цирковой труппе, с которой разъезжал

по городам волжского бассейна. По возрасту он оставил труппу и жил в родном селе. Частенько бывал Бушков у отца, и они интересно проводили часы досуга. Но вот что кажется мне существенно важным: при всей драматичности обстоятельств, постигших нашу семью, никогда не случилось слышать, чтобы отец позволил себе недостойно высказываться по отношению к властям, выражать нечто антисоветское, жаловаться на судьбу, хотя оснований для обиды было у него предостаточно.

Ну, так вот. Мы все уважали Михаила Никитьевича и были рады, что он бывал у нас. Был он нехвастлив, осторожен, изысканно вежлив, внимателен. Слушать его рассказы было сущим удовольствием.

Однажды мать решила поделиться с Михаилом Никитьевичем своим сокровенным и, присев возле него, обратилась:

— Михаил Никитьевич! Все вот хочу показать мое сокровище, да как-то и не смею.

— Да, да, рад слушать вас, уважаемая Мария Митрофановна, пожалуйста, ради Бога!

Она держала в руках завернутый в тряпицу пакетик уцелевших фотографий из Загорья. Среди прочих были у нее фотографии старших сыновей, запечатленных в 1930 году, когда Александру было двадцать, а Константину двадцать два. Оба почти в одинаковых позах — руки заложены одна за другую чуть пониже груди. Оба в костюмах, рубашки с косым воротом, так что и вправду, "как один с лица".

— Вот старшие мои. — Отец молчал. Но было заметно, что нелегко ему, будучи родным отцом, выдавать себя за отчима: потупя взгляд, дымил самокруткой. (Напомню читателю: отец носил тогда чужую фамилию.)

Но в 1934 году Александра знали лишь на Смоленщине, поэтому слова матери о том, что "Шура — поэт, печатается...", на Михаила Никитьевича не произвели особого впечатления. Однако, считаясь с чувством матери, он показал себя удивленно-заинтересованным, отметив, к слову, что и фотография дает повод угадать образ художника. Но мать, похоже, ожидала чего-то большего. Глубину ее печали понять не всякому было дано. Смутьясь, она вновь вкладывала фотокарточки в пакетик, как бы сожалея, что посмела открыться чужому человеку. Она медленно встала, тихо и молча ушла к себе. Минуты этого эпизода сохранились в памяти до мельчайших подробностей — был глубоко тронут, что мама, лишь глянув на образы дорогих сыновей, не могла удержать слез. Именно этот фотоснимок Александра Трифоновича находится сейчас в экспозиции Дома культуры совхоза «Починковский», посвященной его творчеству. Мне часто приходится бывать в этом Доме культуры, кстати, построенном на средства Александра Трифоновича как дар своим ближайшим землякам (совхоз «Починковский» находится в полукилометре от того места, где стоял отчий дом — хутор Загорье). И когда я вижу эту прекрасную фотографию 1930 года, то передо мной непременно встает тот далекий вечер в Русском Туреке во всем его трогательном и незабвенном содержании.

И вот пришло-таки письмо на имя матери... от Кости. Адрес был написан его рукой, его колючим, размашистым почерком. Жив! Но та последняя секунда перед вскрытием конверта, та грань, за которой тайна о человеке должна была стать явью, прошла в гробовой тишине: что с ним? — у всех нас был только один вопрос. Писал он, что с великим трудом узнал, где мы есть, что скоро будет на Кубани, что много пришлось испытать и что, будем надеяться, — доживем до встречи, когда можно будет обо всем рассказать. Ниже было недвусмысленно сказано, что очень ослабел из-за плохого питания. Нам было все ясно: нужно срочно организовать посылку. Тут же отправили письмо, где была выражена наша любовь к нему и готовность всячески помогать, чем можем, что в наших силах и что будем ждать и надеяться

на радостную встречу.

Это было весной 1934 года, как раз по истечении двух лет со дня, когда мы с Константином разошлись, находясь в пути. Позволю привести несколько строк из стихотворения Александра Трифоновича «Братья», помеченного 1933 годом. Любопытно, что автор в тот период переписки с Константином не имел и о его судьбе лишь догадывался:

Лет семнадцать тому назад  
Были малые мы ребятишки.  
Мы любили свой хутор,  
Свой сад.  
Свой колодец,  
Свой ельник и шишки.  
Нас отец, за ухватку любя,  
Называл не детьми, а сынами.  
Он сажал нас обапол себя  
И о жизни беседовал с нами.  
— Ну, сыны?  
Что, сыны?  
Как, сыны? —  
И сидели мы, выпятив груди,—  
Я с одной стороны,  
Брат с другой стороны,  
Как большие, женатые люди.  
Но в сарае своем по ночам  
Мы вдвоем засыпали несмело.  
Одинокий кузнечик сверчал,  
И горячее сено шумело...  
Мы, бывало, корзинки грибов,  
От дождя побелевших, носили,  
Ели желуди с наших дубов —  
В детстве вкусные желуди были!..  
Лет семнадцать тому назад



Мы друг друга любили и знали.

Что ж ты, брат?

Как ты, брат?

Где ж ты, брат?

На каком Беломорском канале?

Шесть месяцев я проработал с отцом в кузнице. Было уже лето. За этот период я сдружился с пареньком из учительской семьи, которая жила по соседству с нами. Звали его Волислав Перельман, но в семье и между соседей называли просто Воля и Валька. Складный и развитой парень, несколько моложе меня, он имел среднее образование, теоретически знал автомобиль, но нигде еще не работал и мечтал уехать из Турека, хотя определенно еще не знал, куда и зачем.

Моя жизнь в родной семье, как бы она ни была сытна в тот момент, все же тяготила меня: отец жил по чужим документам, у матери и сестры нет никаких, я тоже — на птичьих правах. "Что день грядущий мне готовит?" — вертелось в голове беспрестанно. Узнав о том, что друг мой идет в район получать паспорт, решил и я пойти вместе с ним попытать счастья. И вот, кстати сказать, удивительный вопрос: ведь если носишь при себе этот документ и... ну хоть бы кто спросил! А без него — никакой жизни нет. Тебя как бы и нету. Вот ведь чувство какое! И кто этого чувства не изведаль, то и не приведи Бог!

Выйдешь, бывало, посмотришь на веселящуюся молодежь на том Березовом берегу, порой и призабудешься — все вроде ладно, а как только вернешься к своим да послушаешь боязливые толки, так все вокруг мраком покрывается.

С Волькой Перельманом мы пошли в Уржум каким-то, по старинному порядку, праздничным днем. Погода была редкостно хорошей: в меру тепло, но и не сухо — только радоваться, и по большаку, обсаженному Бог весть когда березами, шло много народу в этом же направлении — на Уржум. Люди торопились на ярмарку, которая проводилась ежегодно в этот день на речке Белой, что протекает на подступах к городу. Ярмарка так и называлась — Белорецкая. Побывать на ярмарке, конечно, было интересно, но мы имели более важную задачу и потому прошли напрямик до города, в районное управление милиции.

Перельману не о чем было волноваться: местный житель, намерен уехать, для получения паспорта есть все основания, и отказа ему не могло быть. Мое же дело совсем другое. Правда, на руках у меня стандартная справка с места жительства, справка с места работы и просроченное и нигде не прописанное Временное удостоверение, которое получил еще на Каширской ГРЭС. Мы должны предъявить наши документы начальнику милиции. Ждать долго не пришлось — получили разрешение войти к нему в кабинет.

— Здравствуйте, молодые люди! Слушаю вас.

— Нам нужны паспорта. Хотим уехать из района.

— Да? Решили? С чего бы так: "...из района"?

Перельман передал свои справки. Стоим. Во мне скользнуло волнение, но креплюсь. Однако тревога моя оказалась излишней. Начальник начал как бы даже беседовать, спрашивать, куда парень надумал ехать, а когда услышал ответ, что "окончательно еще не решил", то от души рассмеялся: "Вот это здорово!"

Наконец и мои справки и заявление в руках начальника.

— Это что же? — говорит мне. — Приезжий?

— Да, приезжий.

— Сезонный рабочий? Или как?

Отвечаю, что работал с отцом здесь, в Русском Туреке, но вот есть намерение побывать на родине,

— Так-так. Свидетельства о рождении разве нет? Гм... Ну, что ж... — Вновь смотрит на мое просроченное Временное удостоверение и качает головой, как бы давая мне понять, что можно и отказать, но тут же бросает свой взгляд на меня: — Ладно! Придете в три часа.

Чтобы скоротать время, решили побывать на ярмарке, необычность которой была прежде всего в том, что проводилась она не в населенном пункте, а прямо на пойменном лугу возле реки.

Отойдя немного от здания милиции, мы увидели вывеску: «Столовая». Перельман, касаясь меня рукой, приостанавливает наше движение: "Стоп! Надо зайти".

Заказывает окрошку, о которой я в то время не имел представления: не приходилось ни есть, ни даже слышать, что существует такое летнее кушанье. В семье, на родине, готовилось нечто схожее с окрошкой, однако называлось у нас это блюдо ботвиньей — хотя тоже на основе кваса, но со значительно большей долей свеклы. Хлебнув ложку-две, я тогда же подумал о своем невежестве: ведь даже житель вятской глуши явно превосходит меня в самых обычных вопросах быта, а я где-то так и остаюсь числящимся в том черном списке как сын кулака. И вынужден молчать.

Но это лишь так, вскользь, — мысли мои были целиком заняты паспортом. Я верил и не верил: "Неужто получу?" И тут же: "Вот-вот будет у меня эта книжца! Как это важно и дорого!"

Погожий июньский день. Среди прибрежных тальников и по широченному лугу с цветущими травами кишит людская масса, тонущая в звуках и гомоне. Тут и торговые палатки, и игорные устройства, нарядные карусели с челноками, лошадками и всякими чудищами, и большой балаганный цирк, и товары сельских умельцев для хозяйственных нужд.

Мы остановились у цирка, где интригующе объявлялись новые аттракционы с участием «кумира» любителей русской песни. Никогда прежде мне не приходилось бывать в цирках, и потому зазывы были заманчивы. Мы купили билеты.

Клоуны, жонглеры, акробаты, фокусники — все ново для меня, все держит мое внимание на пределе. Объявляется заключительный номер:

— Поет Анатолий Новиков! "Когда я на почте служил ямщиком".

Певец был молод, красив, строен. Сделав общий поклон, он вдруг преобразился, и было похоже, что запел, уйдя в себя, в свои мысли. И слова песни, и его голос, и сам он слились в единый образ неизбывной печали. Мне и сейчас порой слышится эта песня в исполнении того молодого певца, хотя минуло с тех пор более полувека. И "Налейте, налейте бокал мне вина, рассказывать нет больше мочи!" — было покрыто благодарной публикой такими рукоплесканиями, что как только не сорвало купол балагана!

Обратно в Турек ноги несли меня, не чувствуя усталости. Я спешил порадовать своих полной удачей: трехгодичный паспорт был получен. На радостях возникала мысль о поездке в Смоленск, чтобы повстречаться с братом Александром. Хотелось видеть его, понять его душу, истинное отношение к судьбе отчей семьи. Я еще не знал, как посмотрят мать и отец на мою затею, но с Волькой успел поделиться своей мечтой, всячески расхваливая свой древний город. И слова мои взбудоражили его, когда я примерно обрисовал панораму: стоит на Днепре, есть кремлевская стена, исторические памятники, да и климат что ни на есть умеренный, и яблоки дешевле картошки — заинтересованность его заметно возросла.

Вряд ли нужно пересказывать, как были рады мать, отец, сестры и младшие братья тому, что мне дали паспорт. Когда я, придя домой, обнимая маму, сказал: "Можешь поздравить меня!" — то, не будучи набожной, она ответила: "Ну и слава же Богу, сынок. И я, и все мы, рады и желаем тебе счастья!"

И о чем мы только ни переговорили в тот вечер! Был решен и вопрос о поездке в Смоленск: "Надо ехать". Ни мать, ни отец не возражали. И все вместе обдумывали теперь, как рассказать и нужно ли рассказывать обо всем, что произошло в нашей жизни за эти четыре года. Ведь Александр совсем не знал, что на Урале нас давно нет, что Трифон Гордеевич — не Трифон Гордеевич, а Демьян Никитьевич, что он нам, старшим, "не родной отец", только лишь меньшим родной — Маше и Васе. Получалось так, что говорить обо всем нельзя, что лучше умолчать пока о подробностях.

С Перельманом я встречался ежедневно, и, естественно, ему стало известно, что я собираюсь поехать в Смоленск. В один из дней перед отъездом он изъявляет желание присоединиться, поехать со мной. Это, как мне казалось, не грозило особыми осложнениями. Обещать что-либо я не мог, но все же по-товарищески обязан был там, возле родственников, приютить его хотя бы на первые дни по приезде на место. Сам я имел намерение не просто побывать в Смоленске, а если окажется возможным, остаться там насовсем. Перельман не исключал возвращения домой, если в Смоленске не будет подходящей работы и условий.

Пароход отходил вечером. Как всегда, на пристани было много народа и немало знакомых. Было грустно. Нас провожали.

Утром следующего дня были в Вятских Полянах, ожидали поезда. Через двое суток подъезжали к Смоленску, с любопытством вглядываясь в показавшийся Соборный холм с пятиглавой громадой Успенского собора.

В Смоленске я не сразу стал искать встречи с братом — остановились у сестры нашей матери — Анны Митрофановны. Это для меня было проще, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Но так уж получалось, что заявиться к родному брату прямо с вокзала я не смел, так как ничего не знал о его личных делах.

Кстати напомним, что Павлуша года два жил именно в этой семье. Так что Анне Митрофановне многое было известно о судьбе всех наших. А я хорошо знал ее как человека очень доброго, всегда способного разделить чужое горе. Домишко ее стоял самым крайним на улице, рядом со старым братским кладбищем, на кромке небольшого обрыва. Ее муж, Иван Борисович Вицкоп, был латыш. Живя в городе, он работал конюхом. Постоянно страдавший головными болями, ведущего положения в семье он не имел, и все заботы лежали на Анне Митрофановне. Росли у них три сына: два подростка — Коля и Боря — и малыш лет трех Володя. Жили они в постоянной нужде, и все это знали, но именно к ним, к этим бедным людям, мы могли всегда прийти как к друзьям.

Встретили нас в этой семье радушно, и два дня я провел у них, прежде чем встретиться с Александром. Узнал, что изредка им случалось видеть его, но какой-либо близости нет, встречи случайные, никаких разговоров не было.

В те же дни — так совпало — в Смоленск приехал в отпуск из Баку Михаил Плескачевский — сын брата нашей матери Григория Митрофановича. Он тоже очень хотел встретиться с Александром, чтобы показать свои рассказы, опубликованные в "Литературном Азербайджане". Это был воспитанный энергичный молодой человек, искавший свое призвание и нашедший, в конечном итоге, в журналистике: лет двадцать с лишним работал спецкором «Труда» по Азербайджану. Впоследствии, много лет спустя, Михаил Плескачевский был в очень хороших отношениях с Александром Трифоновичем, кое-что печатал в "Новом мире". Но все это будет потом. Тогда же, в 1934 году, Александр для Плескачевского был недоступен, и последний даже искал совета у Анны Митрофановны, как осуществить встречу с двоюродным братом.

Более четырех лет прошло, как я встречался с Александром, шел мне теперь двадцатый год, выглядел я не мальчишкой, а вроде бы уже, так сказать, молодым человеком: был сравнительно приодет — в костюме, с ухоженной прической, словом, обычного вида для людей моего возраста. Однако предстоящая встреча волновала меня.

Нашел я брата в самых задах улицы Краснознаменной возле склона, в двухэтажном деревянном доме, на первом этаже, в его комнате. Захватил я его в ту минуту, когда он куда-то собирался. Он стоял посреди комнаты в сорочке, на которой недоставало пуговицы. Жена его Мария Илларионовна стояла возле с приподнятыми руками, в которых была иголка с ниткой. Прервать это занятие нельзя было, и потому встреча получилась очень необычная: пришлось какую-то минуту выжидать, чувствуя себя не совсем ловко. Потом, конечно, последовали объятия, приглашения к чаю, нескончаемые вопросы:

— Ну как ты? Кто ты? Откуда? Куда?

Ответить на них сразу я не был готов, и Александр не стал добиваться моих подробных объяснений. Он как бы пожалел и даже извинился, что не может уделить должного внимания: куда-то спешил, и встреча наша была непродолжительной. Договорились увидеться еще раз, кажется, на следующий день. Но то, что он обронил такие вопросы, как: "Кто ты?", "Откуда?", понуждали меня вдуматься: как их понять? Не таят ли они тревогу брата? Не есть ли это нечто отдаляющее меня от него?

Повторная встреча тоже не была долгой. Поинтересовался он тем, что я думаю делать, чем заниматься, где устраиваться, и когда услышал, что хочу остаться в Смоленске, то стал мне говорить, что этого делать не следует. И нарисовал такую мрачную картину, что возразить ему я не нашелся.

— Смоленск для тебя, это, знаешь... — он не досказал, но, чуть помедлив, добавил: — Ты ничего хорошего здесь не найдешь. Неприятности же тебя будут поджидать на каждом шагу. Я — дело другое. Я должен жить там, где меня знают. — На слове «должен» он подчеркнуто сделал нажим и закончил следующими словами: — А тебе, поверь, Иван, лучше не оставаться здесь!

Слова "Я должен жить там, где меня знают" были для меня загадочны. С наивностью я воспринял их в том смысле, что личные его дела устроены благополучно, что ему нет нужды куда-то уезжать, искать иное место, так как его знают в Смоленске, чего нет у меня, и потому мне будет трудно. Я был огорчен: "Вот оно, — думал я, — подтверждение рассказа отца".

Никогда: ни в тридцатые годы, ни прежде, ни позже — брат не посвящал родственников в тайны своих тягот и душевных страданий. Таков был его характер: сочувствий не терпел и защиты не искал. С удивительным мужеством и спокойствием он нес груз испытаний. Но хотя бы одно слово об этом! Ни в письмах, ни при встречах, которых в течение жизни было не так уж и мало.

В 1934-м, 1935-м, да и не только в эти годы, но еще и прежде он подвергался яростным

нападкам за якобы проводимую в его творчестве неверную, не соответствующую действительности и задачам дня идеологию. Ярлык "кулацкий подголосок" приклеить было несложно: сын раскулаченного отца. О том же, что вечный труженик-отец был несправедливо и жестоко обижен невеждами, волей случая оказавшимися в положении власть имущих, никто не хотел подумать.

А. И. Кондратович в книге "Александр Твардовский" на основании сохранившихся публикаций смоленских газет пишет: "Нападки такого рода повторялись не раз и не два, но в 1934 году они приобрели уже характер угрожающий. «Негодовали» как раз потому, что поэт показывает колебания крестьянина, — мол, в то время таких колебаний совсем не было: крестьянин рвался в колхоз. Обвиняли в том, что он идеализирует мечту крестьянина о своем единоличном хозяйстве и тем самым подпевает кулацкой идеологии: так и писали о Твардовском как о "кулацком подголоске".

Таким образом, моя смоленская встреча с братом совпала с тем периодом, когда он носил в душе боль тяжких обвинений от людей, с которыми был рядом, то есть от смоленских же литераторов — В. Горбатенкова, И. Каца, Н. Рыленкова, Н. Павлова, пробивавших себе дорогу в литературу путем непозволительного очернения тех, кто своим талантом мог их заслонить.

Надо думать, что Александр догадывался, что мне, как и всем остальным родным, ничего не известно об этих терроризирующих его нападках, и, видимо, не хотел, чтобы это стало известно матери: о себе он ничего не сказал.

И потом, лишь единственный раз, мне довелось слышать неодобрительный отзыв Александра Трифоновича о Н. И. Рыленкове. Это было в 1956 году 18 сентября. Вместе с А. Г. Дементьевым Александр Трифонович приехал в Смоленск, чтобы навестить мать. Было застолье, и, поскольку Рыленков жил в том же доме, на той же лестничной площадке, мать спросила Александра, пригласить ли Николая Ивановича.

— Рыленкова? — переспросил он. — Нет! Не надо! Не хорошо помнить, но что поделаешь? Для него я был "кулацкий подголосок".

Встречей с братом летом 1934 года я остался недоволен. Мне казалось, что мой приезд и сама встреча пробудили в нем, не побоюсь сказать, чувства некоей вины или даже угрызения совести. Забыть о письме к нам в ссылку, о встрече с отцом в том же Смоленске в 1931 году у подъезда Дома Советов он не мог. Так я думал, и мне было жаль брата. Нравилось мне или нет, но я не мог не учитывать того факта, что был он искренним комсомольцем двадцатых годов. Мысли во мне роились, может быть, путано и сбивчиво, но, в теперешнем моем осмыслении, мне представлялось, что революционное насилие, коснувшееся родителей, братьев и сестер, пусть ошибочно-несправедливое, как бы явилось тем пробным камнем для Александра, когда нужно было показать, чего ты действительно стоишь как комсомолец. Может, даже не кому-то показать, а прежде всего показать своему внутреннему «Я» — самому себе. Видимо, мог он рассуждать примерно так: "Каждый кулак — чей-то отец, а его дети — чьи-то братья и сестры... Чем же твои родные лучше других? Наберись мужества, скрепи сердце, не давай воли абстрактному гуманизму и тому подобным внеклассовым чувствам" (цитата из письма одного литератора ко мне). Такова могла быть логика. Если уж идешь со своей душой за коллективизацию, а значит, и за ликвидацию кулачества как класса, то просить исключения для своего отца не было моральных прав.

Есть основания верить, что в душе Александр скорбил и больно переживал допущенную местными властями несправедливость по отношению к нашей семье, но из этого ничего не следовало, аргумент для того времени весьма слабый, ибо таких, как наша семья, среди раскулаченных было много, так как четких критериев для отнесения того или иного хозяйства к числу кулацких не существовало. Если в двадцатые годы признавалось в качестве такого

критерия использование наемного труда (хотя часто это был мнимый критерий, так как наемным трудом порой приходилось пользоваться по необходимости и беднякам, например: нет своей лошади или же мужских рабочих рук), то с началом коллективизации и он был отброшен.

В автобиографии Александр Трифонович писал: "В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно..." Что ж, выходит, что он не забывал об этом, а стало быть, оставалось только одно: "Наберись мужества, скрепи сердце..." Видимо, так оно и было: лишь отрывочно осведомился он о положении нашей семьи и совсем не стал расспрашивать, каким образом она перебралась с Урала в Уржумский район Вятской области.

Волька Перельман не вникал в подробности моей встречи с братом. Теперь он уже знал, что брат — поэт, очень хотел видеть его, но обстановка была такова, что я не мог его взять с собой. Он оставался у Анны Митрофановны, иногда уходил посмотреть город, но уже было ясно, что в Смоленске не останется. Когда же узнал, что я собираюсь уехать, то обрадовался и воскликнул: "Отлично! Едем обратно в Турек!" Но возвращаться в Турек я уже не хотел.

Накануне отъезда из Смоленска, чтобы застать брата дома, я прямо с утра пошел к нему попрощаться. Застал его возле дровяника, где, видимо, вместо зарядки, он возился, не то укладывая, не то поправляя поленницу. Заметил меня, взмахнув руками, начал было говорить, что вот, мол, понимаешь ли, надо: печное отопление. "Приходится и этим заниматься! — И, вздохнув, продолжил: — Оно, знаешь, не во вред".

— А я, Шура, пришел... проститься. Уеду я! — что-то во мне дрогнуло, перехватило дыхание, он это тут же заметил, приблизился и, положив руку на мое плечо, нежно и осторожно сказал: "Слушай, Ваня, мой совет — совет брата. Оставаться тебе в Смоленске или нет, волен и должен решать сам, ты не мальчик".

— Да-да. Я понимаю. Я решил: уеду непременно!

— Вот что, Ваня, — глянул на часы, — я сейчас же переоденусь, и мы пройдем вместе.

Прошли какие-то минуты, и он вышел. И казалось мне, что он преобразился: белоснежная холщовая рубашка дополнила и как бы осветила его прекрасный облик. "Ну вот мы и пошли", — услышал я, увлекаемый его волей, стесненно чувствуя его руку, коснувшуюся меня чуть пониже плеч. И он, и я шли, занятые своими мыслями, уже соглашаясь и как бы не сожалея, что вот-вот должны были расстаться.

Остановились у кромки городского сада Блонье. Тут он спросил:

— Как у тебя с деньжонками?

Мне очень не хотелось признаваться, что денег я почти не имел, и потому ответил, что еду, мол, пока лишь до Москвы.

— Так. Тогда, знаешь, не осуди, возьми-ка карманные! — И дал мне двадцать рублей.

Не знаю, не знаю: разные суждения бывают на этот счет, но в жизни я всегда чувствовал и придерживался того простого правила: легче и отрадней дать, чем взять. Да что ж...

Брат сжал мою руку и, сдерживаемый какой-то тайной, молча глядел мне в глаза, затем обнял, прижимая к себе, прошептал: "Всё, Ваня, всё!" Незримый путь образовал угол: я на Ново-Рославльскую, он — своей дорогой.

По просьбе отца я должен был побывать у его родной сестры Прасковьи Гордеевны Котловой, которая жила тогда километрах в двенадцати от Смоленска, в деревне Босино. В

раннем детстве мне случилось однажды быть там вместе с отцом, тоже в летнее время, возвращаясь из города на лошади, запряженной в телегу. Сейчас мне предстояло передать Прасковье Гордеевне и ее сыновьям приветы нашего отца, проведать, живы ли, здоровы. Автобусов тогда не было, и мы — Перельман и я — отправились пешком. Мне это было нужно еще и для того, чтобы развеять засевшую во мне печаль после встречи с братом. Мы шли по Киевскому шоссе, а где попадались наторенные пешеходные стежки, предпочитали их. Перельман никак не был мне лишним — друг, к тому же оптимист и выдумщик. Подходя к реке Сож, мы догнали шедшую в том же направлении девушку, которая подсказала, как попасть в Босино и даже к усадьбе Котловых. Котловы Прокопий и Спиридон — сыновья Прасковьи Гордеевны, а мои двоюродные братья, некогда работали с нашим отцом в кузнице и сами теперь были кузнецами. Без труда мы вышли к избе Прокопия, где случился и Спиридон. Ну где же им было узнать меня, если видели единственный раз, когда было мне лет восемь-девять.

— Да я же Иван, вашего дядьки сын!

Спиридон и Прокопий тут же обнаружили в моем лице и в глазах сходство со старшими братьями, а еще больше — "с дядькой Трифоном" и, перебивая друг друга и ударяя себя ладонями по бедрам, утверждали, что "да, так оно и есть".

— Не-э, Иван! Все равно бы я узнал, но, тут, знаешь... Да-а, и ладно! — резанул рукой Прокопий. — Пойдемте в хату!

О гостеприимстве этих людей я знал и раньше, по рассказам отца, теперь же оно было проявлено в моем присутствии, несмотря на трудное время. Крестьянский стол тут же заполнился всем, что нашлось, с истинным радушием простых людей, которые не задумываются о расходах ради гостя.

Прокопий послал дочку за Прасковьей Гордеевной, и она тут же пришла, заполнив хату сбивчивыми возгласами, в которых была и печаль, и радость, и удивление: о том, что в Загорье нас давно уже не было, они не знали, но все ждали, что дядька Трифон должен бы навестить, "да что-то не слышно".

Нужно было рассказать обо всем, что случилось, да как же найти те слова, чтобы и все было ясно для них, и не стало предметом загадочности для моего спутника и друга Перельмана, который был здесь же и который еще не был знаком с историей нашей семьи. И было уже поздно что-либо предпринимать, и я испытывал большую неловкость при расспросах об отце, о матери, обо всем прочем. Оставалось рассчитывать только на скромность и порядочность друга, что он не позволит себе вникать в чисто родственные, интимные беседы. Кажется, он вел себя с должным тактом, и я мог поддерживать беседу в нужной мне форме.

Мои двоюродные братья были уже в том возрасте, когда, как говорится, "борода ползет на грудь", ненамного моложе нашего Трифона Гордеевича. Я слушал воспоминания Спиридона о минувших годах и о дядьке Трифоне.

— О-ох! Мастер же он был тогда! Любую лошадь без станка мог подковать. И петь был мастак! У-у! Бывало: "Как полоску Маша жала, золоты снопы вязала — молодая-а!" А то, знаешь, про купца:

"Ехал из ярмарки ухарь-купец". Здорово, хорошо пел дядька Трифон. И работа шла хорошо!

Через два дня, в Москве, я расстался со своим другом. Он имел билет до Вятских Полян — возвращался домой, в Турек. Не могу даже сказать, как я решился остановиться в Москве, если в ней не было ни единого знакомого и никто же меня не приглашал в столицу Шел пешком по городу куда глаза глядят, до полной усталости, что-то искал, хотя, честно говоря, и сам не знал, что именно я могу найти. И вот, кажется в районе Савеловского вокзала,

натякаюсь глазами на вывеску "Биржа труда" на приземистом строении. Слова эти я слышал когда-то еще в Загорье от людей, бывавших в Донбассе, и помнил, что на бирже труда узнают о вакантных рабочих местах или даже получают направление на работу. Но знал я и то, что в Москве не всех прописывают. Все же решаюсь зайти.

В огромном зале ряды столов и столиков, и за каждым столом сидит человек, представитель предприятия: завода, фабрики, стройки, организации. Возле — группки интересующихся: спрашивают, читают объявления, показывают документы. Вслушиваюсь. Кому-то дают направление, кому-то отказывают. Но столов много, и я не тороплюсь отчаиваться, продвигаюсь; на глаза мне попадает объявление: "Московский учебный комбинат производит набор на краткосрочные курсы слесарей-водопроводчиков и отопленцев, берут и с иногородними паспортами". Мне просто и неожиданно улыбнулась фортуна. В тот момент ничего лучшего я и не смел ждать. Дали направление в учебный комбинат, и я вместе с небольшой группой поехал трамваем на место предстоящих занятий и работы. В тот же день мы были устроены в общежитии, а назавтра уже знакомимся с новым для нас делом. Комбинат находился по улице Ново-Алексеевской, совсем рядом с Ярославским шоссе. Недели две-три нас учили работать: соединению труб, монтажу, ремонту, проверкам систем водопровода и отопления. Было там много ребят, преимущественно моего возраста.

И вдруг — новость: всех переводят на железнодорожный ремонтный завод в Люблино-Дачное, сокращенно называвшийся «Можерез». Водопровод и канализация, чему нас обучали, были оставлены, и нас распределили по разным цехам. Я оказался у сталеплавильных электропечей подручным сталевара, как новичок — третьим подручным. И все шло складно: живем в общежитии, ходим на работу, предвидится нормальный заработок, осваиваем новую стихию.

Тогда же на радостях я написал Александру, что нахожусь рядом, в Люблино-Дачном, что работу нашел и чувствую себя хорошо. Ответ получил не из Смоленска, как мог ожидать, а из Москвы: он был на Первом съезде советских писателей и жил в гостинице «Интернационал» на Тверской. "Может, встретимся", — писал Александр, и было указано, в какие часы. Я очень обрадовался и сразу же поехал к нему.

В номере на первом этаже с нами было четыре человека. Кто были те люди, сказать не могу, Александр не нашел нужным или удобным представить их. И я понял: для интимной беседы условий нет, — что тут же и подтвердилось предложением Александра:

— Есть у меня, Ваня, намерение просто пройтись, прогуляться. Как смотришь на это?

— С удовольствием!

Оказавшись среди бесконечной массы встречных, обгоняющих и рядом идущих людей — обычная суэта большого города, — мы никакой стесненности или неудобства не ощущали и могли поговорить.

— На съезд я приехал на положении гостя — делегатского билета у меня нет, — говорил брат, — но для меня сам этот факт не так уж и важен — важнее другое: я сам слышу, кто о чем говорит, и рад этой возможности. Ты вряд ли можешь понять сложность стоящих передо мной задач. Двадцать четыре за плечами, труда положено много, а удовлетворенности нет, я как бы без собственного голоса. И не чувствовать этого я не вправе... Вот, Ваня, как обстоит дело.

Где-то мы приостановились: время истекало, он как-то сразу заговорил о другом:

— Смотри же... Начинай приводить себя в порядок! С одежкой... тоже важно — научись и галстук завязывать. Но не спеши жениться! Не заражайся моим примером! Мне, понимаешь ли, жена во многом помогла, но в жизни чаще бывает наоборот.



Он улыбнулся и глядел на меня, как бы спрашивая, все ли я понял. Расстались в хорошем настроении.

Работать мне пришлось со сталеваром-украинцем, очень напоминавшим запорожского казака: висячие усы, осложнявшие ему работу у печи (он заботливо оберегал их, прикрывая рукой в рукавице), дымящаяся лысина и гогочущий смех — все просилось на полотно. Но был он уже стариком, и его крупная фигура выглядела надломленной многолетним трудом. Начинал он работать у плавильных печей еще до революции, где-то на южных заводах и всю жизнь отдал этому нелегкому делу. Можно представить труд сталевара до революции, если еще в тридцатые годы, в мою бытность на «Можерезе», завалка шихты в электропечь производилась вручную, лопатой, броском. Но такой метод годился лишь для мелочи, которую можно взять с металлического листа совковой лопатой. Когда же шла тяжеловесная шихта, например, прибыль, отрезанная автогеном от отливки вагонных центров, весом 70–80 килограммов, то такой кусок забросить в печь под силу не каждому. Их вдвигали в печь на особой лопате, вес которой тоже был не менее пятидесяти килограммов, и чтобы двигать ее, требовались усилия троих крепких ребят. В предельном напряжении сил эта работа на трехтонной электропечи продолжалась минут сорок, но за эти сорок человек выматывался до такой степени, что прийти в норму ему уже не удавалось до конца рабочего дня. И ведь не по приказу работали люди с таким напряжением, а лишь из желания быть передовым, выиграть время, перекрыть вчерашний показатель, заработать звание ударника, а затем, может, стать стахановцем.

Должен сказать, что была-таки и во мне силенка: я мог забросить в печь восьмидесятикилограммовую прибыль просто руками. Правда, не только сила нужна; ловкость, пожалуй, играла не меньшую роль. Стану, бывало, левым боком к завалочному окну, ноги — пошире, для устойчивости, а круглыш "на ребро", чтобы подобраться под него руками, и шпулюю прямо в печь. А сталевар мой, Гетун, знай повторяет: "Гоп! Гоп!" — «помогает» мне.

Так вот и проработал я до отпуска. Съездил к родителям в Русский Турек, проведаль. И все бы оно хорошо. "Молодость счастлива тем, что у нее есть будущность", — говаривал учитель нашей Ляховской школы, и это прочно удерживалось в моей памяти — не забыл эти правильные, отеческие слова. Но... куда же денешь то, что постоянно тревожило, не давало покоя: сидела во мне печаль, о которой не мог я никому рассказать, поделиться. И чтобы стало для читателя ясно, в чем она заключалась, привожу несколько строк из письма брата Александра к М. В. Исаковскому. Писал он из Смоленска в 1935 году, 6 октября. Прочешь это письмо мне случилось сорок с лишним лет спустя в журнале "Дружба народов" (№ 7, 1976):

"...Послезавтра мне идти в призпункт, где еще придется испытать самое мучительное: каяться в том, что выбрал неудачных родителей, и доказывать, что я не против Советской власти. Но, знаешь, я как-то спокоен, все эти вещи в конце концов притупили чувствительность к такого рода испытаниям".

Не знаю, кому было труднее: Александр должен был «каяться» за неудачный выбор родителей, я — томиться неправдой, которую в анкетах писал на вопросы о социальном происхождении. Но он имел возможность хотя рассказать о своих чувствах Исаковскому, я же и этого был лишен.

Получалось так, что об обстоятельствах жизни брата, о нападках на него из-за того, что родители раскулачены, я ничего не знал и не догадывался, — ведь уже целых пять лет он жил вне отцовской семьи, выслан не был, и я лишь завидовал его «благополучию». При встречах и в редких письмах он ни разу и словом не обмолвился о своих трудностях. Но и ему не были известны мои неразрешимые проблемы. Я не мог рассказать ему о том, как мы оставили Зауралье, как отец перебрался с семьей в Кировский край, и это была мучительная тайна.

Весной 1936 года, кажется в конце марта, я затронул этот вопрос в письме к брату, — дескать, как же так, ты, Александр, вовсе не интересуешься судьбой родной семьи? А мать, мол, все смотрит в окно, грустит, шепчет свою песню "Перевозчик-водогрѣбщик, перевези меня..."

Нет, я не думаю, что мое напоминание заставило его тут же попросить адрес. Наверняка он никогда не забывал о матери, да и обо всех родных, но... возможности его были очень малы, и с окаменелым сердцем шел он трудной дорогой своих планов. А кто же из нас мог тогда это понять?

Вот какое письмо было отправлено со станции Вятские Поляны М. В. Исаковскому 14 апреля 1936 года (Неман, 1977, № 2):

"Дорогой Миша! Сегодня я (с одним попутчиком) после долгой торговли еду на Уржум. Стараюсь не думать о трудностях (120 км, грязь, пароход через неделю). Уже совсем было решил отправиться назад, но почта не принимает посылкой чемодан. Договорился с татаринком за 300 рублей (с двоих), а сразу у нас запросил 500! Назад буду только с пароходом, т. е. недельки через полторы. Помяни, Мишенька, мою грешную душу, ежели зальюсь или как иначе сгибну где-нибудь. На свечи я тебе оставил, кажется.

Александр.

P. S. Может случиться, что телеграфирую насчет денег. Переведи телеграфом: Русский Турек, Кировский край, до востребования, мне.

А. Т."

Вот тогда, побывав в Русском Туреке в апреле 1936 года, Александр Трифонович и решил перевезти отцовскую семью в Смоленск.

Не могу сказать точно, было ли это как-то оформлено, было ли разрешение от властей, но думаю, что ничего такого не требовалось. Стариков и детей разрешалось вывозить, если находились попечители. О том, что Александр Трифонович побывал в Русском Туреке и что семья уже переехала в Смоленск, я узнал из писем сестер. Как все это произошло, описать подробно они, очевидно, затруднились, и о многом я мог лишь догадываться.

Сложным для Александра Трифоновича был вопрос устройства всей семьи с жильем по приезде в Смоленск: где и как разместить шесть человек? Сам он занимал одну комнатенку метров пятнадцать, которая служила и кухней, и спальней, и рабочим кабинетом. Приютиться оказалось возможным только под крышей сестры матери — Анны Митрофановны. Избушка ее была мала, и лишь с натяжкой можно было считать ее пригодной для жилья: латаная-перелатанная, пегая по причине всяческих глиняных подмазок, но было всегда готова принять всякого, кто нуждался. Семья Трифона Гордеевича была родственно принята. И ничего. Было лето, и можно было использовать для сна навес и сенцы.

К началу лета 1936 года наш старший брат Константин жил и работал на Кубани в станице Прочноокопской, в колхозе. Теперь и ему было известно, что семья отца в Смоленске и что я непременно поеду туда.

Знал ли Александр в те годы что-либо о своем старшем брате? Что-то, конечно, знал, может, даже из моих отрывочных рассказов при встречах, но, видимо, знал мало, а может, только догадывался.

В последних числах июня 1936 года я ехал ночным поездом из Москвы в Смоленск. Прибыл часов в семь утра. На типично окраинной, поросшей зеленой травой улице Ново-Рославльской меня встретил Павлуша, а рядом уже была та заветная мазаная избушка,

и кто-то нас заметил — юркнул в проем, и вот уже вижу: мать, сестры, тетя Анюта и ее ребята. Мать, с прижатыми к груди ладонями, смотрит, что-то говорит и... встреча. Объятия, волнения, вздохи и самые сердечные, трепетные слова материнской преданности и счастья:

— Ваня, сын мой! Дети! Милые мои! Будьте ж вовек благословенны! Пойдем же, пойдёмте в хату!

Сидя на низеньком сапожническом табурете, я слушал рассказ мамы. Как всегда прежде, с прямотой и любовью к нам, ее детям, но на этот раз еще и с желанием как бы пережить вновь ту счастливую минуту, она рассказывала о том, как после долгой, многолетней разлуки нежданно-негаданно вошел к ней ее любимый сын Шура. Это было в Русском Туреке в середине апреля 1936 года.

— Нет, Ваня, вряд ли ты можешь представить, — продолжала она, — что я чувствовала. Кажется, одно такое мгновение в жизни стоит того, чтобы жить и быть матерью. Батка в кузнице был с Павлом, рядом, вот-вот должны были подойти обедать, и, знаешь, такая грусть напала на меня, что отвести ее можно только слезой. Слеза, может, человеку и дана природой, чтобы заглушить горе. И только бы сказать: "Где ж ты задержался, перевозчик ты мой?", а в дверь: тук-тук-тук! И не знаю, сказала "Да!" или не сказала, обернулась — входит... Шура. "Боже мой!" — вырвалось. Думала: привиделось мне, а он, мой родной, бойко так — ко мне, освободил руки — чемодан был — и: "Мама! Родная! Нашел же я тебя! — Обнимает, целует и опять: — Мама, милая, здравствуй!" Ну где же тут удержишься? Рада, а сердце почему-то никак не утихнет, и говорю ему, что, значит, мысли мои, мол, долетели до него...

Рассказ матери дополнялся и обрастал вставками подробностей, которые успевали делать сестры и младшие братья. Здесь же хотелось мне слышать и о встрече самого отца с Александром, поскольку все мы знали о их крайне трудной встрече в Смоленске летом тридцать первого года.

— Ваня, сыночек мой! Разве ж могла я об этом забыть! Я сразу же дала понять Шуру, что благодаря нашему отцу, его мужеству и риску вот живы остались, слава Богу. Да ведь, правда, он и сам уже не мог не понять этого, но ни слова не сказал, а когда отец шоркал у двери, встал... Тут дверь распахнулась... и не передать: сухонький наш старичок так и замер. И головою: то вверх, то вниз — растерялся и ни слова. Обнял Шура его: "Вот оно как бывает, папа! Не надо вспоминать".

Когда я приехал в Смоленск, то отца в семье не было — уже успел договориться поработать в кузнице колхоза в Раковичах, где председателем был в те годы Никита Осипович Клеменков, знавший отца. Как раз мать рассказывала и о том, что Александр с натяжкой отнесся к отцовскому отходничеству — бродить по деревням и искать где-то приработок. "Надо бы уж отдыхать ему, хватит, без малого шесть десятков за спиной, — заметил он походя, — пора уже щадить себя", но отец свое: "Нет! Руки мои еще могут работать".

В те дни, 2–3 мая 1936 года, ждали прихода отца из колхоза. В нашей беседе мать снова возвращалась к рассказам о пребывании Александра в Русском Туреке. Говорила, что все его интересовало. Вот он беседует с председателем колхоза, то идет к отцу в кузницу, где отец правил лемехи, бывал и у реки, о чем, кстати сказать, впоследствии было написано очень милое стихотворение:

Кружились белые березки,

Платки, гармонь и огоньки.

И пели девочки-подростки

На берегу своей реки.

И только я здесь был не дома,  
Я песню узнавал едва,  
Звучали как-то по-иному  
Совсем знакомые слова.  
Гармонь играла с перебором.  
Ходил по кругу хоровод,  
А по реке в огнях, как город,  
Бежал красавец-пароход.

Часов в девять утра кто-то из наших сказал: "Папка пришел!" На пороге появился Трифон Гордеевич с котомкой, не ведая о том, что сын Иван здесь, возле горемык, как он называл свою семью в годы странствий. Впечатление неожиданности и отчее чувство проявились в нем восторгом: "Да неужто, Иван, ты?! Орел мой! Д-да-авай же... давай обнимемся! Сынок! Ваня!" — Повернулся, схватил Васю, тут же Павел, Маша, — и всех называет с добавкой: "Мой пострел!", "Моя умница!", "Мое сновидение!" Как бы в смятении он начал говорить о том, что побывал в Починке, что дали ему паспорт, что он опять имеет свое имя и осталось только забыть все то, что пройдено. Отец, видимо, много кое-чего мог бы рассказать, он только-только еще успел определить порядок своего рассказа, как подкатила легковая машина, взвизгнули тормоза, послышались обрывки чьих-то слов, и тут мы увидели в окно, как из распахнутой дверцы машины осторожно выбирается... Александр! "Ой! Ваня, иди же навстречу!" — это сказала мать, и я махнул чуть ли не прыжком, а за мной и Павел, и дети хозяйки. Но гости — с Александром был и Михаил Васильевич Исаковский, — уже на крылечке.

— Ну, я как знал, вот и хорошо, что ты, Иван, здесь. Ну, здравствуйте, молодцы-братья, здравствуйте! Здравствуй, мама!

Он отдает матери пакет, авоську, обнимает ее, и мы уже в хате, Александр уже видит и отца, здороваются с ним за руку и тут же оборачиваются к Михаилу Васильевичу и говорят:

— Миша! Поспешай! Порядок требует держаться правил. Представляю: наш Трифон Гордеевич! Мария Митрофановна, мама, догадываешься... Брат Иван... — смотрит на меня, чувствую, на мою ежистую прическу. — Прическа твоя — дрянная, да-да, не нравится мне. Это, знаешь, что-то не то боксерское, не то жиганское. Ты что, боксер?

Я с трудом выдавил из себя, что, мол, дело сугубо личное, что на этот счет у меня свое мнение, а он:

— Ответ правильный, но прическа — дрянь!

Конечно, я понимал, что сказать такое он мог только по-свойски, как старший брат, что чужому он так не сказал бы, но все равно это было для меня холодным душем, и какие-то минуты я чувствовал себя очень неловко.

— Ну, а знаете, я не успел сказать, а с кем я вас знакомил?

— Ну, как же, как же! О Михаиле Васильевиче я слышала еще в Загорье, — ответила мать, — очень рады видеть вас, дорогой наш земляк.

Александр и Исаковский выглядели среди нас необыкновенно свежими,

празднично-нарядными и, пожалуй, счастливыми. Одеты они были почти одинаково: оба в белейших глаженных брюках, в зефировых сорочках без галстуков. Правда, у Михаила Васильевича сорочка была голубая, а у Александра — белая. Оба они казались очень крупными и складными, легко и свободно чувствующими себя. Мы же, от стара до мала, как застигнутые врасплох, робели и смущенно жались, теряя самообладание. И дело тут не только в степени общей культуры, хотя это очень важно, но и в чем-то еще — в природной мнительности, например, в обостренном чувстве своего личного положения, которое ненамеренно всплыло, может, что-либо другое. Но вот наш Трифон Гордеевич совсем не страдал этим «пороком», хотя причислять его к людям высокой культуры вроде и нельзя. Он, например, сидя рядом с Михаилом Васильевичем, которого видел впервые, хотя, конечно, слышал, читал и по-своему очень любил его стихи, начал разговор с ним сразу же. И как начал! Стихами самого поэта! "Проплывали дни и вечера Без больших забот и без тревоги. Было в общем сорок три двора По обеим сторонам дороги". И пошел, и пошел: "Что вы, Михаил Васильевич, можете подумать, если вот десять лет ношу я в душе ваши "Хутора"?"

Михаил Васильевич улыбнулся и кивнул Александру Трифоновичу, дескать, слышал такое?

— Да что же я скажу? Мило, конечно, слышать, что вы, Трифон Гордеевич, любите стихи.

— Так не всякие же стихи я люблю. А вот стихи, в которых я узнаю жизнь и Кузьмы, и Никиты, и соседа, и свою жизнь, — хороши — и люблю!

Тем временем Александр проворно помогал матери накрывать стол. Вот уже и вино, и закуски, и все мы были за столом, да и рюмочки, кажется, были налиты, и в эту минуту, в полнейшей для нас неожиданности, как с неба, — наш старший брат Константин. Каждый на свой лад выражает приветствие: трясут, обнимают, благодарят, и слышится голос Александра: "Брат мой, Костя, я рад!"

Приветствует Константина и Михаил Васильевич, подает ему руку, они обмениваются добрыми пожеланиями, на их лицах нежная благожелательность и радость, и кажется, все освещены светом счастья.

Александр (как сейчас вижу), сидя уже за столом, смотрел на старшего брата с какой-то затаенной грустью, может, седина на висках Константина напомнила ему что-то, может, даже тронула. Он немного откинулся, вздохнул, затем оживился и, обведя всех взглядом, сказал:

— Надо, друзья мои, выпить. Такие встречи долгими не бывают и... не повторяются!

Подобной встречи для нашей семьи уже никогда не случилось.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Нас, «курсантов-недоучек», как сами себя мы окрестили, численностью около ста человек, по какому-то межведомственному соглашению передали заводу «Можерез», где, по объяснению администрации, мы могли по собственному желанию освоить понравившуюся профессию прямо на рабочем месте. Этот неожиданный поворот в судьбе молодых людей был встречен полнейшим согласием, поскольку все мы были приезжими — из разных мест Союза и были рады любой работе и любой квартире, "какую Бог ему пошлет", как сказал поэт, лишь бы осесть, зацепиться и укрепиться в Москве.

Везли нас на этот завод автобусами не более часа. Неподалеку от производственных корпусов по сигналу "Приехали!" мы быстро и шумно высыпались на зеленую лужайку возле совсем непривлекательного барака. Внутри барака шел ремонт — рабочие таскали туда фанеру, и был слышен стук молотков. Нам сразу стало ясно, что жить придется здесь, в этом бараке, но все же как-то было странно, что ремонт не закончен ко времени нашего приезда.

Автобусы, на которых мы приехали, тут же ушли, а нам было предложено ждать — должны были привезти кровати, матрацы, постельное белье.

Первое впечатление у нашей сборной молодой братии складывалось с оттенком явного недовольствия, слышались слова: "Зона! Вокруг нас ограждение! Шхуна!.." Когда же заглянули вовнутрь, то некоторым и вовсе стало не по себе: — "Это же казарма! Никаких комнат!" — кто-то вспоминал бабушку, кто-то пропел кукушкину песню в недоумении и... все притихли: — появился сотрудник отдела кадров и сразу заметил, что есть недовольство. Он обратился ко всем со словами о том, что не следует так нетерпеливо вести себя, что еще никто не знает, чем он будет заниматься на данном заводе, а пока-то нужно просто хотя бы переночевать под крышей, все уладится само собой. "Завтра побываем в цехах, где определится вам место работы, а может, и сама судьба каждого из вас".

Эти слова были очень кстати, они смягчили первые впечатления, и наши мысли обратились к предстоящему завтра.

Небольшими группами — человек по десять — нас повели в цеха: и в одной из групп, направлявшейся в сталелитейный, случилось быть и мне, может, потому, что некоторое представление о литейном производстве я уже имел. Я знал, например, что ни особой чистоты, ни тишины, ни свежести и прохлады там нет и быть не может, что будет там и пыль, и жара, и нелегкий труд, труд в поте лица. И не только лица. Но это меня не страшило — идти туда я вызвался сам.

В огромный по тем временам сталелитейный цех мы вошли со стороны, где были работающие электропечи. Это был плавильный пролет, где есть и мартеновские печи, и ковшовое хозяйство, разные краны, и разливка, и жара, и где нового человека просто подавляет сложность коммуникаций, где все в постоянном движении, и люди, оказавшиеся среди всего этого, кажутся бессильными выбраться из поглотившей их стихии.

Ближайшая электропечь находилась от нашей группы метрах в десяти. Нам хорошо был слышен характерный, с потрескиванием, ее гул — печь работала. Возле нее были два человека: сталевар и его первый подручный. Но об этом мы узнали позже. А пока мы увидели, как поднялась дверка печи, как хлынуло из нее огненное облако газа, но больше ничего нельзя было рассмотреть простым глазом — из печи ударяло ярчайшим излучением. И сталевар, и подручный были в брезентовых робах с пришитыми полосами сукна на рукавах, чтобы предотвратить ожоги рук; на козырьках кепок были закреплены очки с синими стеклами. Мы видели, как подручный сталевара, защищая левой рукой лицо (на руке, конечно, была рукавица), в правой держал инструмент, быстро и ловко поворачивал его в печи и затем углублял в жидкий металл; потом, уже двумя руками, приподнимал и выносил инструмент из печи, поворачивался на сто восемьдесят градусов и выливал, как из ложки, небольшое количество жидкого металла на плиту. Лужица металла сильно искрилась, и сталевар внимательно рассматривал ее.

— Это пробу они берут, — сказал наш сопровождающий, — определяют, чего там надо добавлять.

Улучив подходящую минуту, мы подошли к печи, поздоровались со сталеваром и с его первым подручным. Когда же сталевар узнал о цели нашего прихода, то сразу оживился и охотно ответил на все наши вопросы. Нам было чрезвычайно интересно слышать суждение

этого старого человека о профессии, которой он посвятил свою трудовую жизнь.

— Что я могу сказать, — как бы вопросом начал Степан Микитович Гетун. — Я — сталевар! Всю свою жизнь этой профессии не изменил. — Он приподнял на своей сильно облысевшей голове козырек головного убора со сталеварскими синими очками и добавил: — Самая лучшая и самая главная профессия у сталелитейщиков — сталевар. У меня вон на второй электропечи — родной сын.

Степан Микитович как бы между прочим примерял взглядом каждого из нас, не без мысли, кто из нас мог бы оказаться наиболее подходящим на роль второго подручного в его сталеварском звене. И вот тогда, остановив свое внимание на мне, так прямо и сказал:

— Вот ты, сынок, — указал на меня, — иди ко мне работать вторым подручным! Не пожалеешь, поверь мне, старому...

— Согласен! Иду работать с вами, Степан Микитович!

Он пожал мне руку, сказал:

— Завтра выходи во вторую смену.

Моему примеру последовал и еще один юноша, Иван Белофастов. Пожалуй, только он единственный был из москвичей — хотя и не столичным уроженцем, но давно обитавшим в Москве.

Все остальные нашли себе места в разных отделах и цехах «Можереза»: формовочном отделении, механическом цехе по холодной обработке металла, кузнечно-прессовом, транспортном...

Вечером этого дня, наверное последний раз, мы собрались в общежитии все вместе, еще так и не узнав толком друг друга; большинству из нас предстояло работать не только в разных местах, но и в разных сменах: кто-то уходил в ночную, кто-то с утра, кто-то в вечернюю.

Я и Ваня Белофастов в первый день явились на рабочее место загодя, знали: работать на печах можно только в спецодежде, которой у нас еще не было. Степан Микитович помнил об этом и тоже пришел в цех на целый час раньше обычного и поджидал нас возле печей. С его помощью этот вопрос был решен без особых хлопот — к началу смены мы были в сталеварской одежде. Успели прикрепить и очки с синими стеклами к козырькам наших кепок. Когда же меня увидел таким сталевар Гетун, то подозвал к себе, пожал руку и сказал:

— Желаю тебе, Ваня, стать настоящим сталеваром. Буду рад помочь тебе советом и вниманием, пока смогу сам быть рядом. Будь ближе к моему первому подручному — парень понимающий, знает, где, что и как нужно делать. При желании человек скоро может многое понять, а когда поймешь, то полюбишь и дело.

Я продолжал работать на «Можерезе» и после нашей семейной встречи в Смоленске, — на той же электропечи, с тем же сталеваром. Но уже многое изменилось и в моих представлениях о работе, и в моих обязанностях: теперь я был уже далеко не новичок — первый подручный сталевара Гетуна! Чувствовал себя порядком поднаторевшим, обязанности свои выполнял свободно и уверенно, с полуслова понимал старшего товарища, работал с увлечением, порой до изнеможения. Первому подручному полагалось, кроме всего, умело брать пробу из ванны жидкого металла, знать процесс сталеварения (кислый и основной), быть в состоянии заменить при необходимости сталевара и вести плавку вплоть

до полной ее готовности, уметь заправить печь после выпуска металла, не забывать о подготовке шихты, быстро и правильно загрузить печь (по-рабочему — "завалить"). В общем, нужно много знать и напряженно физически работать — такова профессия сталевара. Все здесь выглядит грубым, тяжелым, для новичка — непритягательным: грубая брезентовая роба, тяжелые нехитрые инструменты: лопаты, ломы, металлические скребки, кувалда, металлическая ложка для взятия проб весом до пятнадцати килограммов — все это говорит об очень нелегком труде у плавильных печей. Если же ненароком человек, никогда прежде не видевший работу плавильной печи, увидит ее напряженный рабочий момент (когда сталевары заняты, например, удалением «козла» — застывающего металла — на подине после выпуска плавки), то, можно с уверенностью сказать, первой его мыслью будет: "И не приведи Боже таким трудом добывать хлеб насущный..." Он мог бы увидеть обливающихся потом людей, орудующих в нестерпимой жаре, вцепившись за тяжелый лом, под градом искр и излучений от раскаленной печи, когда дымом покрывается одежда, когда всеми силами надо двигать этим ломом, оберегая лицо от ожогов (такое тоже бывает), когда иссякают силы, но нельзя остановиться, нельзя переждать — дорога каждая минута, — надо устранить опасность.

Все это мне хорошо памятно, пишу как о вчерашнем дне, хотя картина труда относится к шестидесятилетней давности. Допускаю, что теперь уже все совершенно иначе, но тогда, в середине тридцатых, было именно так. Люди верили в лучшее завтра, верили в непогрешимость "Отца всех народов", воодушевлялись тем, что "Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести..." Радовались принятию Сталинской Конституции — имя Сталина всячески прославлялось в печати и по радио. Верили. И все же не все и не обо всем, что вещали газеты и радио, о чем говорилось на собраниях. Людей призывали к постоянной бдительности, утверждалось, что «враги» среди нас повсюду — в каждом городе, в каждом селе, на каждом предприятии. Эти нескончаемые утверждения меня огорчали и физически изнуряли — вселялись в сознание страх и печаль, чем, конечно, я ни с кем не делился.

Это стало сегодня далеким,

Даже странно и вспомнить теперь

Тайный страх перед чьим-то доносом,

Тайный страх перед стуком в дверь.

Эта строфа из стихотворения Евгения Евтушенко «Страхи». Оно попало мне на глаза случайно, между страниц Толкового словаря. Перепечатанное на машинке, оно пролежало в книге более двадцати лет, но вот что удивительно: случилось это именно в момент написания предыдущего абзаца.

Оснований для моих тревог было предостаточно.

Во-первых, однажды я был приглашен в спецчасть, где после обычных вопросов: "Фамилия, имя, отчество, год и место рождения" мне было предложено заполнить анкету. Даже сам факт приглашения в эту таинственную для меня секцию был неприятен, тем более как-то не приходилось слышать, чтобы кого-либо приглашали туда из прибывших на завод вместе со мной. Ответить на вопросы анкеты по всей правде у меня не хватало сил, но и неправду писать ох как нелегко. Вопросы касались не только собственно меня, но и родителей: социальное положение, судимость, кем были до революции, подвергались ли репрессиям, место проживания и т. д. и т. п. Так что отвечать приходилось с тревогой и душевным страданием: риск быть проверенным грозил разоблачением как «врага», проникшего в трудовой коллектив. И тут уж, как бы ты хорошо ни работал, ничто не поможет.

Во-вторых, в военном столе я уже был приписан к очередному призыву в ряды Красной Армии, где так же должен был ответить на подобные вопросы.



И в-третьих, был случай, что комсорг цеха предлагал вступить в комсомол. Но если мне рассказать о себе всю подноготную при вступлении, то меня не примут, после чего я буду лишь сожалеть, что сделал такую попытку, потому на предложение комсорга ничего определенного не ответил. Это немало удивило его. Честно говоря, я и сейчас, когда пишу эти строки, не могу с уверенностью сказать, как я должен был поступить перед угрожающей волной репрессий.

Так уж получилось, что я попал к сталевару Гетуну-старшему, а оказавшийся со мной рядом Ваня Белофастов был поставлен к Гетуну-младшему. В общежитии наши койки стояли тоже рядом, и мы всегда имели возможность видеть и знать друг о друге без малого все, — как на работе, так и в общежитии. Частенько Ваня подсмеивался надо мной по поводу якобы излишних моих усердий угодить старому Гетуну. Он брал какой-либо эпизод из рабочего дня, где, по его суждению, выглядел я рабски услужливым, готовым хоть в огонь, хоть в воду по первому знаку своего сталевара. Критику такого рода я принимал за шутку, хотя доводы товарища кое в чем и имели основания, но приятного в этом для меня ничего не было. Я сам хорошо понимал, что приходилось нести некую долю забот помимо своих прямых обязанностей, но считал это не услужением, а необходимостью при совместной работе: сталевар Степан Микитович был уже не молодого здоровья, и не учитывать этого я не имел права. Он слыл строгим и требовательным. Был он еще и немало честолюбив — не позволял себе и думать, чтобы уступить первенство по плавке стали. Подогревалось же это его желание еще и тем, что каждодневно и повсюду звучали призывы работать по-стахановски, что, в свою очередь, обещало и особый обед — "стол для стахановцев", и премию к праздникам, и тот самый подъем духа и самочувствия, которые будоражили воображение. Поскольку же сам Степан Микитович физически был не в лучшей форме — возраст давал о себе знать, то приходилось ему надеяться на своих подручных и порой не очень щадить их. Работать с таким человеком, надо признаться, было нелегко, но ни досады, ни просто каких-либо тихих роптаний и мелочных обид на старого, опытного рабочего у нас не накапливалось — понимали, что он вправе видеть и чувствовать нашу признательность за передаваемое нам мастерство и опыт. Кроме того, он хорошую работу умел и добрым словом отметить: "О-от, гарно зробили! О-от, так и надо!"

Во второй половине 1936 года Александр Трифонович, переезжая в столицу на жительство и учебу в Московском институте философии, литературы и истории (МИФЛИ), свою жилплощадь (комнату, где проживал в Смоленске со своей семьей) в двухэтажном доме на улице Краснознаменной передал семье отца, которая прибыла в Смоленск в июне того же года из Русского Турека. Изредка я получал письма от родителей. Из них мне было известно, что в смоленских газетах появлялись публикации, в которых утверждалось о якобы кулацких тенденциях в творчестве А. Твардовского. Меня беспокоило и то, что я не был уверен, что Александр Трифонович точно знает, каким образом наш отец смог перевезти семью из Зауралья на среднюю Вятку. А вдруг, думал я, ему ничего неизвестно о том, что отец самовольно оставил место ссылки, если нет, так это же риск! И переписка моя потому была крайне сдержанной, чтобы поменьше было известно, кто и где находится.

И тут вот такая неожиданность. В том же 1936 году, в августе, придя в общежитие, я увидел нового, поселившегося на соседней койке человека в воинской форме. Нет, он ничем не был похож на сотрудника НКВД — демобилизованный красноармеец из какой-то технической воинской части, назвался по фамилии — Долбежкин, я назвал свою фамилию — Твардовский. Так вот мы и познакомились. Он рассказал, что служил один год, поскольку имеет среднее образование, устроился на «Можерез» крановщиком, комсомолец. Затем перевел разговор на то, что фамилия Твардовский ему знакома, что в Глинковском районе, на его родине в Смоленской области, были Твардовские и что теперь их там нет: раскулачили и куда-то сослали. Я, право же, ничего не мог сказать, что-то невнятное промямлил, как бы про себя: "Н-да-а...", сам подхватился как бы узнать насчет чая, к титану, а в лицо, почувствовал, хлынул жар, будто приблизился не к титану, а к электропечи.

Пока я ходил да готовил чай, наш новый сосед познакомился и уже беседовал с моим товарищем Ваней Белофастовым. Мало-помалу, овладев собой, я смог предложить чай — от сердца отлегло.

Особенно доставалось подручным сталеварам во время заготовки, подвозки и завалки шихты в печь. Чтобы выиграть время, Степан Микитович всегда желал, чтобы шихта была заготовлена из самых веских кусков металлической обрезки, чаще всего из отрезанных автогеном прибылей от отливок вагонных центров (колес). Такая шихта позволяла ускорить первичное накопление жидкого металла на подине; на пульте становилось легче удерживать ровную вольтовую дугу и тем самым сокращать время плавки. Но заготовить такую шихту отбором вручную из невообразимой горы смешанных и перемешанных кузнечно-прессовых отходов, насыпью наваленных магнитным краном — задача, как говорится, дай Боже сил и терпения. И тут никуда тебе не деться, время не ждет, а нужные кусочки весом килограммов этак семьдесят-восемьдесят, и надо этот кусочек взять, вытащить, выкатить, погрузить на вагонетку, тут же вновь вскарабкаться на гору, и ты слышишь голос сталевара: "Ваня, чуточку выше! — «помогает». — О-о! Так его, так! Давай, давай! О-ость! Добре!" — Он доволен, улыбается, тут же уходит — работающую печь оставлять нельзя.

Выпуск металла из электропечи отмечался с особой торжественностью — результат большого труда и мастерства, производился обязательно с разрешения и в присутствии сменного мастера-инженера. В нашей смене был таковым инженер-металлург Пастернак. Никогда и никто из рабочих не слышал, чтобы он повысил голос, позволил пренебрежительно отнестись к нам — всегда был немногословен, корректен, но присутствие его в смене было очень заметным, даром что был он невелик ростом и скромно одет.

К моменту выпуска металла готовился последний анализ, пирометрист измерял температуру, и тогда, по указанию инженера, вводился нужный элемент присадки, давалась команда к выпуску. В ту минуту, как правило, устанавливалась тишина — никаких разговоров. Первый подручный открывал лётку (это делалось острым ломиком), печь медленно наклонялась, из лётки выползала дымящаяся струйка металла и тут же, на желобе, быстро усиливаясь, скатывалась в ковш, охваченная огненными клубами газа. При благополучном выпуске жидкий металл полностью освобождает подину.

Длится такая операция не более десяти — двенадцати минут. Металл в ковше, судьба его в руках разлильщиков, слышится, "Вира!", и сталеварам остается лишь проводить взглядом уплывающий ковш и хотя бы мысленно пожелать удачи при заливке форм. Сменный инженер уходит к месту заливки форм, а мы, облегченно вздохнув, — к новому циклу нашей горячей работы с чувством достоинства своей профессии.

В последних числах сентября 1936 года меня вызвал инспектор отдела кадров. Вызов этот передала табельщица моему сталевару прямо на рабочем месте в момент, когда я с ключом в руках работал у электродержателей, вверху, стоя на своде, в нестерпимой жаре, готовый принять от крана графитовый электрод, навинтить его на одну из фаз и закрепить ключом.

— Чего ему там надо, твоему инспектору? — сквозь шум и гудение слышались слова Степана Микитовича. — Не можно ему сейчас!

— Но я передаю так, как мне было сказано.

— Освободится — придет... — что-то недосказал, нервно наблюдал за ходом моей работы, а когда я сошел вниз, сказал мне, чтобы сходил в отдел кадров.

Человек, который меня вызвал, предложил сесть. Осведомившись, что перед ним именно я, Твардовский Иван Трифонович, он, однако, не сразу дал мне понять, зачем я понадобился ему, — медлил, подыскивал слова, начинал не с того конца.

— Так вот, здесь у меня список, в который вы тоже записаны, — начал он и прервался, прикусив губу. Подумал. — Вопрос, понимаю, непростой, но в моих силах предложить... и, вероятно, это будет лучшее из возможного... — Я слушал, гадая, каким может быть его предложение и о чем.

— По проверенным анкетным данным мы не можем оставить вас на заводе. В связи с этим вам лучше уволиться по собственному желанию.

Должен признаться, я был готов услышать большую неприятность: какую-либо придирку по доносу, навету, угрожающим обвинением или нечто другое из ряда витавших в те годы страхов. Так что рассудка я не лишился, хотя и понял, что я — изгой. И не знаю, дорогой читатель, не знаю, чем объяснить, но я себя почувствовал более свободным, снявшим с себя довлевший над душой призрак преследований и разоблачений, не исключавших и репрессий, что подразумевалось под кратким «взяли» никто иначе, как "его взяли", не говорил. И перед глазами вставала картина обысков, грубых понуканий, допросов и кое-что пострашнее, если жертва будет отрицать фальсификацию. Тут же, не выходя из кабинета инспектора кадров, я попросил лист бумаги и написал заявление, где просил освободить меня от работы на заводе «Можерез». Зная, что так или иначе должен буду как-то объяснить своему сталевару об уходе, я спросил инспектора, как это сделать.

— Сегодня продолжайте работать. Причину вашего ухода разглашать не нужно, если вы не хотите неприятности. Сталевара Гетуна мы сами поставим в известность — мы знаем, как это сделать. Надеюсь, вы понимаете, для чего я говорю все это.

— Понимаю.

— Ну вот, в этих рамках и держите себя!

Я возвращался к рабочему месту, охваченный наплывом бессвязных мыслей и щемящей душу горечью. Вырваться из этого состояния, смягчить нервное напряжение не удавалось, но я взывал сам к себе: "Крепись! Тебе нельзя падать духом!"

Трудно было скрыть свое волнение от человека, с которым проработал более двух лет, от Степана Микитовича. Когда я подошел к нему, то первым его вопросом было: "Что случилось? Я вижу — что-то у тебя неладно! Зачем тебя вызывали в отдел кадров?"

Я уклоняюсь от ответа, говорю, что, дескать, ничего особенного, что нужно было уточнить место моего рождения... Попытался перевести разговор о работе. Но все это, похоже, было неубедительным. Он пожал плечами и молча взглянул на меня с прищуром, как бы молвя: "Так ли?"

В этот последний день моей работы Степан Микитович, сдав смену, попросил не уходить, подождать. Оказалось, что он хотел бы видеть меня у себя дома. Я был бы рад удовлетворить эту просьбу, побывал бы у него, но в этот момент был в нерешительности — понял, что он хочет сегодня же узнать о том, что мне сказали в отделе кадров, а потому я поосторожничал, всячески поблагодарив его за приглашение, но к нему не пошел. Про себя решил побывать завтра днем в отделе кадров, поскольку так или иначе наше звено идет во вторую смену, то есть в 16.00, и мне дадут обходную, то к Степану Микитовичу я приду лишь проститься, с благодарностью и признательностью за все доброе, что сделал для меня.

Есть какое-то правило или закон жизни: не во всем сокровенном должен человек открываться — не принято. И носит порой человек в душе тяжкую ношу, не смея выплескивать ее наружу. Так вот годами томила и жгла меня несправедливость жизни, которая официально называлась самой демократичной: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек". И ведь в это же время гибли невинные, или, точнее, невиноватые.

Был я немало обеспокоен тем, что не сказать никому об уходе с завода по-человечески — негоже, а объясняться со всеми знакомыми — я не был уверен, что такое не повлечет неприятности. Очень хочет душа встретиться с мамой, побывать в Смоленске, иметь живую встречу, не заменять ее письмами накоротке — это во-первых; а во-вторых, вообще излить душу кровным людям и узнать о их жизни и делах. Из Москвы уезжать не хотелось. Но куда денешься? Разве на сто первый километр, в подмосковную глухомань, да такую «высылку» едва ли и дадут.

Этот долгий сентябрьский день был для меня полон тревог и сбивчивых размышлений обо всем, что угрожало мне бессрочной жестокой мезтью за якобы лично мною содеянные ошибки, оправдать которые мне не удастся ни трудом, ни давностью времени. "Нет, нет! — рассуждал я с самим собой. — Что-то есть страшное и преступное в этой узаконенной социальной системе, если даже дети заносятся в списки потенциальных врагов, по наследству несут рабский крест какой-то вины".

Вечером, придя в общежитие с работы, в нашем уголке я увидел беседующих Долбежкина и Ваню Белофастова. О моих печалях им не было известно, и речь об этом не могла возникнуть. У них была своя забота: собирались во Дворец культуры, но у Долбежкина не было никакой другой одежды, кроме той армейской, в которой он ходил постоянно и которая ему так надоела, что рад хоть на час-два заменить ее гражданской. Такая же картина и с обувью — кроме кирзовых цвета золы сапог, у него больше ничего не было. Вот об этом и было мне поведено с явным прицелом услышать, как я среагирую. Но для меня ничего нового в этом вопросе не было — самому случалось обращаться к ребятам: то "одолжи брюки", то что-либо другое, чтобы можно было посвободнее чувствовать себя среди людей, не чуждаясь, не избегая встреч, не стыдясь перед любопытствующим взглядом за свое незавидное положение. Позволю себе упомянуть, что в те тридцатые годы материальное положение молодежи, оказавшейся в отрыве от родительской семьи, было более чем трудное. Прожиточный минимум оставался очень высоким, молодые рабочие тем более занятые на тяжелом производстве, на свою зарплату могли едва прокормиться. Выкроить что-то на приобретение одежды попросту не удавалось, да и купить ее можно было лишь на рынке по спекулятивным ценам, что было тем более не по карману.

Я с удовольствием был готов присоединиться и пойти с Ваней Белофастовым и Долбежкиным во Дворец культуры, чтобы как-то скоротать вечер, развеять плохое настроение, и, конечно, был рад помочь принарядить молодого человека. Общими стараниями собрали и одежду, и обувь, хотя и не очень на "в самый раз", — Долбежкин был полных сто девяносто сантиметров. Ребят такого роста в общежитии не было, брюки пришлось, так сказать, немного приспустить на бедра; советы на этот счет не охладили желаний, и мы пошли.

Для меня было кстати поближе понять Долбежкина, чтобы, помилуй Бог, не грешить, что будто он был причастен к моему увольнению. И я был рад, что повода для подозрений не оказалось. Молодой человек показал себя простым, открытым товарищем. И не моя вина в том, что так и не сказал ему, что семья Твардовских, которую "раскулачили и куда-то выслали", как раз и есть семья моего отца и что я был в ссылке вместе с семьей. Но я не принял это наказание без вины — из ссылки бежал. С тех пор и несу свой тяжкий крест. Да, об этом я не сказал, как и о том, что мне предложили уволиться с завода, потому что знал: в таких случаях товарищи начинают или не замечать тебя, или вообще держаться подальше...

Порядочно помыкавшись после вынужденного увольнения, я был рад прибиться к любому месту, где есть крыша, тепло, какая-никакая работа. Таким местом стал подмосковный совхоз "Старый большевик", что был в те годы неподалеку от станции Отдых Раменского района. Произошло это, можно сказать, случайно, как, должно быть, и бывает в трудный час, когда человек обостренно внимает всему, что окружает, с затаенным волнением ища и выжидая случая, чтобы решить свои неотложные задачи; так это было и у меня.

От станции Отдых нужно было пройти влево метров триста дорогой через сосновый бор, и сразу начиналась большая, в несколько квадратных километров, открытая низменность, на которой не было даже кустарников. Вдали был виден единственный двухэтажный дом и несколько небольших низких строений, — усадьба совхоза. Хозяйство было в самом начале своего развития, нужны были люди, принимали всех без отказа, но шли сюда неохотно — пустынно и неуютно была картина этой дикой местности. Но вся неуютность и невзрачность совхозной усадьбы воспринимались мной как что-то схожее с некоей резервацией для неугодных, где все же есть возможность остановиться, что-то заработать, получить место в общежитии для сна и отдыха, оглядеться, размышлять о дальнейшем — как быть, на что надеяться, во что верить? Так примерно рассуждая, понимал, что есть смысл пережить какое-то время здесь, может, всю предстоящую зиму, не бросаясь неведомо куда.

В том единственном двухэтажном доме одна из квартир первого этажа была занята конторой совхоза. При оформлении обратили внимание на справку с последнего места моей работы: "Уволен по собственному желанию". Удивились, что московский завод я сменил на работу в совхозе.

— Что это вас побудило? — как бы между прочим был задан вопрос.

Я, помню, замялся, не совсем серьезно ответил, что давно мечтал пожить и поработать в деревне. Вряд ли спрашивавший поверил моим словам, но допытываться дальше не стал.

Предвиделись строительные работы, но пока предложили поработать в совхозном лесу по расчистке, наведению порядка и как бы окультуриванию прилегающих к дачным местам участков молодого соснового леса. Этими работами ведала прораб-женщина — всегда в мужской одежде, но усердно следившая за своей внешностью: было ей около сорока. Вот в ее распоряжение меня и направили.

Жить мне, естественно, пришлось в общежитии, где было совсем неплохо — четверо в комнате. С двоими из них мне пришлось работать под началом той самой женщины в мужской одежде. Учиться на этой работе было нечему, все было ясно и понятно: удаляли кустарники, валежники, сухостойные деревья, всякую мелочь и хлам сжигали на костре. Но продолжалась такая вольготная работа недолго: как только выпал снег, вся эта «санитарная» деятельность прекратилась, и нас перевели на строительство животноводческих помещений. Да, на душе было скучновато — работать нужно было по-настоящему, и ничего иного не предлагалось, выбора не было. Но не мне было пугаться лопаты или кайла, все было хорошо знакомо, да еще как! И пусть не покажется смешным, если скажу, что надо уметь владеть и этим грубым инструментом, не стыдиться, не считать зазорным эту трудную работу; надо уметь красиво и легко ее делать, и вот тогда-то почувствуешь радость своего труда, как чувствует настоящий крестьянин.

Я не имел намерений оседать и закрепляться надолго в совхозе, но получилось так, что проработал в нем более года.

Числа 13 или 14 декабря 1937 года приехал я наконец в Смоленск. Было часов восемь вечера. Трамваем не воспользовался, прошел пешком от вокзала в верхнюю часть города до самого дома на Краснознаменной, где в то время жила наша мама и сестры. Было темно, и я не без труда нашел этот дом. Их комната находилась на первом этаже, это я знал — бывал в 1934 году у Александра. Я тихо постучал в дверь, но ответа не услышал. Повторил погромче — услышал: "Войдите!" — слово это прозвучало сипло и немощно, но все же я узнал — отвечала мама. Открыв дверь, я увидел ее и сразу заметил обеспокоенность: ладонью приподнятой руки в момент моего приветствия она старалась дать мне понять, чтобы я не говорил громко, сама же, приблизившись, шепотом сказала, что живут давно в постоянной тревоге, стараются не говорить в голос...

— Боимся стука в дверь... в городе ползут слухи о врагах, вредителях, шпионах...

Я еще не успел раздеться, еще не подошел к сестре Анне, склонившейся над кроватью младенца — родилась девочка, о чем я пока только догадывался, — а мама успела назвать имена нескольких наших родственников, которых взяли за последние месяцы: дядю Григория Митрофановича Плескачевского, дядю Ивана Борисовича Вицкопа, Семена Зубрицкого и кого-то еще из знакомых, всех не могу уже и вспомнить. Я, конечно, знал, что мама всегда была легко ранимой, тревожные слухи она переживала тяжело, подавленно, но тут она называла такие факты, что вряд ли кто мог остаться равнодушным. Врагом народа был назван первый секретарь Смоленского обкома Румянцев, эта же участь постигла председателя Смоленского облисполкома Ракитова, были арестованы несколько смоленских литераторов.

— Мне страшно! — слышал я слова мамы. — Мы ведь знаем только самое малое из того, что происходит в городе, если куда-то увозят ночами таких, как Иван Борисович Вицкоп — он и работал-то конюхом, — то, значит, так же могут взять и нашего Трифона Гордеевича. Вот он и уехал на Кубань, к Косте, — боялся, что так же вот заявятся ночью и увезут. И ни слуху ни духу.

Рассказала мама еще и о том, что в школе, где наша Мария учится, на обложках школьных тетрадей, в виньетке возле портрета Пушкина, обнаружили в самом рисунке слова против Советской власти. Об этом она шептала чуть ли не на ухо:

— Что это такое? Говорят, все тетради с портретом Пушкина изъяли у учеников. Ты вот, Ваня, приехал, а я боюсь: так и думаю, что как только кто-нибудь из тех, кто следит, заметит, что кто-то к нам ночью пришел, — заявит, и могут, знаешь, приехать и забрать тебя. Ты, Ваня, не боишься?

Новости и опасения мамы действительно коробили настроение, да к тому же оно у меня хорошим и не было, так что мне уже и самому не хотелось, чтобы, помилуй Бог, кто-то приметил, что я нахожусь у мамы. Тогда же я узнал о неудачном замужестве сестры Анны. Очень недолго продолжалась ее супружеская жизнь и закончилась тем, что в один печальный вечер она не дождалась мужа с работы, куда-то он таинственно исчез, и все ее попытки узнать о его судьбе ни к чему не привели. Незадолго до моего приезда она стала матерью, крошку-девочку назвали Надей, и была эта девочка самым дорогим подарком в судьбе сестры. Она пронесла ее через все лихолетья с мечтой и верой в свое счастье, о чем, кстати, должен поведать, — она не ошиблась: кандидат педагогических наук Надежда Ивановна Твардовская живет и здравствует в Москве, благодарно заботясь о своей маме Анне Трифоновне. Но такое пришло, как можно догадаться, через много-много лет, и пусть простит меня читатель, что посмел забежать в другое время.

Эта моя побывка у мамы в конце 1937 года в Смоленске памятна тем, что над значительной частью граждан довлели кошмары страхов. То, что мама боялась и не могла спать спокойно, основания у нее были бояться: три ее родные сестры пережили аресты мужей, судьбы которых навсегда остались неизвестны. Одной же из сестер мамы, Анне Митрофановне, при второй ее попытке узнать о судьбе мужа было сказано: "Если еще раз посмеете наводить подобные справки, то угодите туда, где тот, о ком вы интересуетесь". После такого ответа она поняла, что надо молчать. И она молчала.

Той же декабрьской ночью 1937 года я расстался с мамой и сестрами на долгие годы. Младших братьев, Павла и Васю, повстречать не удалось, хотя были они в Смоленске, но желания задержаться в городе хотя бы на один день у меня не было.

Более двух суток, почти не слезая с полки общего вагона, я ехал из Москвы до Нижнего Тагила. Поездка моя была результатом долгих раздумий: очень хотелось осесть на

постоянное местожительство, где можно было бы без опасений жить и работать спокойно. Местом таким как раз представлялся Нижний Тагил, где с начала тридцатых годов было развернуто строительство Уралвагонзавода — одной из крупнейших строек тех лет. Об этом я знал не только из газет, но и по различным объявлениям в отделах организованного набора рабочих во многих городах.

Приехал я поздним вечером, и в первые же минуты услышал по радио: "Уважаемые товарищи, прибывшие на Уралвагонстрой, выходите на привокзальную площадь, вас ждет транспорт!" Объявление прозвучало так неожиданно, что поначалу я усомнился: правильно ли понял. Но когда услышал объявление во второй раз, сомнения отпали. Тем временем из разных точек зала ожидания люди поспешили к выходу на площадь, не стал раздумывать и я.

На бортовой автомашине с закрепленной будкой и сиденьями нам, группе человек в двадцать, было предложено ехать до Вагонки, где предстояло переждать до утра в специально отведенном помещении. Об этом сказал подоспевший к машине представитель треста, и он же привычно отработанным тоном дал команду садиться в машину: "По одному, по лесенке!" Понаблюдал, пока сел последний, резко захлопнул дверцу. Кто-то из темноты будки заметил, что представитель треста "туго свое дело знает", что, дескать, хватка есть. Машина взвыла, вздрогнула и, круто вырулив, быстро понеслась в темноту, тарахтя и подбрасывая будку. Все притихли, как бы подтверждая, что знакомых тут мало, а, может, и вовсе нет.

От вокзала до Вагонки было километров десять — двенадцать, и мы проскочили их, даже не заметив, как машина остановилась у барака с заиндеветыми от мороза окнами. Это было то помещение, где временно, до прохождения санитарных мероприятий и оформления на работу должны находиться вновьприбывшие. Здесь, в этом бараке, мы встретились с людьми из Сибири, которые приехали несколькими часами раньше. Теперь всех можно было видеть и слышать, и я понял, что и «сибиряки», и прибывшие вместе со мной все из мест заключения: из Бамлага, Вяземских лагерей и других мест "не столь отдаленных". На Уралвагонстрой их направили в порядке трудоустройства, что, конечно, имело свою положительную сторону — как бы там ни было, а все же гарантировалось место работы, общежитие, по возможности и спецодежда, не исключалось получение небольшого аванса. Все это было очень и очень важно для тех, кто был, по лагерной пословице, "яко наг, яко благ — яко не имел ничего". Стоял декабрь, морозы лютые, и можно догадаться, как чувствовали себя люди, одетые кое-как и кое во что, да к тому же в большинстве своем и без денег. Меня нисколько не пугало общение с людьми, отбывшими срок в лагерях, — я понимал, что среди них, как всегда и везде, люди разные и только время покажет, кто чего стоит. Мне даже казалось, что устраиваться на работу вместе с такими людьми для меня проще и легче, поскольку мое собственное положение было весьма незавидным. Работать же предстояло на строительстве, где будут и снег, и ветер, и... всего будет.

В этом первом нашем пристанище мы должны были провести ночь при полном дискомфорте — бытовых удобств предусмотрено здесь не было: десяток дощатых топчанов, и ничего больше, но была надежда, что "даст Бог день — даст и пищу".

Утром нашему взору предстала Вагонка — поселок-город из множества жилых строений барачного типа. В малой доле выделялись среди этого моря бараков двухэтажные брусковые дома, но и они не могли считаться долговременными, как можно было представить будущее соцгорода, глядя на первые капитальные здания: многоэтажной больницы, Дома дирекции, других, пока немногих, каменных многоквартирных домов. В сторону же вступившего в строй собственно Уралвагонзавода были обозреваемы огромные, в несколько сот метров длиной, производственные корпуса, дымящиеся заводские трубы, мощные газопроводы, движущиеся паровозы на подъездных путях, сплошной поток спешащих на смену рабочих. Все это воистину было внушительно-впечатляющим, даже торжественным свидетельством

воплощенного труда тех, кто начинал с нуля, на необжитой, дикой уральской земле, мирясь с неустроенностью быта палаточных городков, преодолевая суровые испытания холодом и недоеданием. Были привлечены на эту стройку и тысячи спецпереселенцев. Их положение было еще более трудным — многие из них умирали от истощения и болезней.

Но вот формальности были окончены: баня, санобработка одежды, инструктаж по технике безопасности, беседа с представителем милиции о правах и обязанностях гражданина. Все это было малоинтересным для людей, прошедших годы «воспитания» в исправительных лагерях. Слышались реплики: "Покороче!", "Хватит тебе..."

Распределили нас по разным строительным участкам и объектам, которых, к слову, было там предостаточно: и каменный карьер, и лесочасть, и пилорама, и погрузбюро, дорстрой, бетонный завод и прочее, прочее.

Группу человек из десяти, в том числе и меня, направили в распоряжение конторы № 4, входившей в трест Уралмашстрой, которая вела строительство объектов завода № 5 и рабочего поселка под названием «Северный». Стройка эта находилась в шести-семи километрах от Вагонки, но автобусного сообщения там еще не было, и нам пришлось добираться туда пешком. Было морозно и ветрено в тот день — градусов тридцать пять ниже нуля, да и ветер встречный. У большинства же моих попутчиков, как и у меня самого, одежка и обувь не по сезону — мерзли мы жутко, и никакая дерзкая наша храбрость не спасала: хоть и применяли все мыслимые и немыслимые способы — мерзли наши ноги и руки. И путь казался намного больше, чем был на самом деле. Не хочется и вспоминать об этом. Но кое-как добрались до конторского барака, ввалились в коридор, прогремели по скрипучему промерзшему полу и были радешеньки, что дошли.

Нас тут же поселили в единственный, построенный на отшибе, барак. В большой (вполбарака) секции находилось нас только пока десять человек, но ожидалось прибытие еще новых людей. Поселок строился и к этому времени состоял из десяти двухэтажных брусовых домов. Все эти дома были заселены семьями рабочих-строителей (преимущественно спецпереселенцами) очень плотно: в каждой комнате по две и даже по три семьи. Сейчас и представить трудно, как это могли жить семьи, когда на душу приходилось по два-три метра жилплощади. Но вот свидетельствую: такое встречалось.

Январь 1938 года. На строительную площадку каждый день поступают десятки вагонов и платформ различных грузов, большей частью в виде обычных строительных материалов: песок, щебень, кирпич, цемент, пиломатериалы. Я и мой товарищ и напарник Сергей Соколов — грузчики погрузбюро железнодорожного отдела. Морозы в ту зиму стояли жестокие, до минус сорока. Без теплой обуви и рукавиц работать на открытом воздухе в такой мороз при всем желании невозможно. Но, к великому нашему сожалению, на складе этого строительства в наличии только лапти, обыкновенные лыковые, выдаваемые взамен валенок. И ничего иного. Создавалось глупейшее положение: нам необходимо работать — и никаких возможностей для существования. Об этом как-то неловко вспоминать даже по прошествии лет — так велика была наша досада! Эта неразбериха, неорганизованность, безответственность омрачали души и разрушали веру в ту якобы существовавшую заботу о человеке.

— Как быть и что делать? — обращаюсь к Сергею. Мнется, что-то взвешивает, прикусывает губу, наконец сдержанно:

— Лапти, конечно, можно попробовать, знакомая штука, только вот чтобы толком — онучи шерстяные нужны. В общем, знаешь, берем! Найдем и онучи... портянки, впрочем, надо спросить у хозяина...

Так вот, подобрались в лапти — и пошло у нас с Сергеем дело, как говорится "куда с добром!".



И не было причин кого-либо стесняться: выглядела наша обувь совсем, нет, не то слово — очень хорошо выглядела она, так как обувались под "брюки навывпуск", лаптей-то почти незаметно было — сами потом смеялись над собой, что поначалу испугались этой вполне достойной нашей русской крестьянской обутки. Да в ней же просто отлично: легко, тепло, удобно! Тем более на работе в мороз. Вот что я должен сказать о лаптях, испытав на собственных ногах.

В работу по разгрузке стройматериалов мы впряглись с Сергеем тогда с полной серьезностью: в ночь, в полночь шли по первому сигналу, с совковыми лопатами на плече (личные, хорошо присаженные и тобой приработанные лопаты — вопрос очень значащий), но Боже мой, не боясь ни мороза, ни работы. Мы работали настолько успешно, что вскоре на стройке нас стали отмечать как самых достойных, и бывали случаи, когда администрация присылала в общежитие нарочных, чтобы уведомить нас и поздравить с премией. И ведь было такое в том самом тревожном 1938 году, но страха уже не чувствовалось на этой простой и грубой работе грузчика. Так и продолжалось с января до конца марта и в планах на ближайшее будущее я не загадывал о каких-либо переменах своего положения. Но перемены произошли.

Здесь, в этом маленьком поселке, я встретил девушку, с ней начинали у меня складываться дружеские отношения. Послужила этому чистейшая случайность: уходя на работу, я как-то прихватил с собой мое первое письмо к маме из Нижнего Тагила, чтобы на пути забежать в отделение связи и отправить его заказным. В служебном помещении, за барьерчиком, возле молоденькой сотрудницы почты в тот момент сидела ее подруга. Их беседа, естественно, прервалась, я подал письмо и заметил, что взгляд девушек на конверт был весьма внимательным, как и на самого отправителя, который стоял перед ними в рабочей одежде. Всего две-три минуты и задержался я там. Получив квитанцию, слегка поклонился и сказал: "Спасибо!", а уходя — "До свидания!". Вот с этого и началось мое сближение и знакомство. Где бы мне ни случалось встретиться потом с той самой подругой сотрудницы почты, она непременно приветствовала с улыбкой на очень милом лице. Кстати скажу, что встречи пока были только беглыми: когда я шел на работу или с работы, со своей неизменной лопатой на плече, обутый в лапти. Мы обменивались приветствиями, и только. Но однажды эта девушка, шедшая с прорабского участка, догнала меня и, поравнявшись, сказала:

— Здравствуйте! — и, улыбаясь, добавила, что теперь знает мою фамилию. — Вы Иван Трифонович Твардовский. Правда, фамилию я узнала еще тогда, на почте, а имя и отчество мне сказала табельщица из погрузбюро Анихимовская.

— Ну вот и прекрасно! Смеею просить вас назвать ваше имя, и мы будем добрыми знакомыми!

— Моя фамилия Романова, зовут Марусей. Будем знакомы, и первенство в этом деле принадлежит мне! Согласны?

Мы пожали друг другу руки, продолжая идти. У подъезда одного из двухэтажных домов она остановилась:

— Здесь я живу вместе с сестрой, — указывая на окно квартиры, сказала она. — Если пожелаете — приходите, пожалуйста!

Поблагодарив за любезное приглашение, я попрощался и ушел в свое общежитие. Про себя, между прочим, пытался определить, кто же она. О том, что на поселке много спецпереселенцев, я знал, но вслушиваясь в ее чисто русскую речь, не мог заметить ни малейшего сходства с речью переселенных из западных или южных областей Союза. В сущности, это никакого значения не имело, я искренне был рад встрече, тайно мечтал о настоящей дружбе, о счастье, о прекрасной и долгой весне и всех земных радостях,

которыми так вот щедро может одарить судьба. Это была завораживающая меня вспышка чувства, свойственная, может, отдельным натурам, а может, просто молодости, — мне было двадцать три года...

В связи с тем что прибыл я на эту стройку одновременно с группой освободившихся из лагерей и в общежитии поселился вместе с ними, то так само собой получалось, что к этой категории жителей поселка я и был причислен, то есть к тем, кого если не в глаза, то про себя называли «колонистами» или «лагерниками», и, дескать, надо подальше от них. Собственно, по этой причине терять мне было нечего, и я не старался где-либо доказывать, что, мол, "не за того принимаете" — был убежден, что человек познается в делах и ничто другое не может играть важной роли.

Прибывших по так называемому «трудоустройству» после отбытия срока в лагерях поначалу было всего несколько человек; затем, к концу третьего месяца, в моем общежитии их было около полусотни. Немало из них было тех, кто оставались в своем прежнем качестве и лучшей доли не искали, чем воровская вольность, и были убеждены в том, что для Советской власти они не опасны — не «контра», а всего лишь "честные воры", что их и судят «помягше». Были среди них и такие, что порой было странно и жутко видеть взрослого человека, бесстыдно хваставшего аморальными похождениями, полным отсутствием чести и чувства долга даже перед собственными детьми, которых они где-то оставили и ничего не хотели знать об их судьбе. Случались жестокие сцены расплат, когда в азартной картежной игре проигравший оказывался несостоятельным, то есть «заигрался». В этих случаях следовало «качание» прав избиением должника, которого не положено было как-либо защищать. По воскресным дням «шустрые» ребята, не скрывая намерений, отправлялись на городской базар «поработать» по специальности и призванию не без мысли о том, чтобы показать, кто чего стоит. Вещественным доказательством считались привозимые с базара бумажки и кошельки, которые тут же дарились любопытствующим зевакам на память, после чего герой дня щедро угощал своих людей, делаясь опытом и посвящая в тайны мастерства.

В то же время среди этих людей встречались отличные специалисты, с достоинством отвечавшие за свое слово, дорожившие честью имени. Такие люди были для меня сущей находкой: радостно было общаться с ними. Это казалось важным еще и потому, что мое знакомство с девушкой Марусей Романовой наполняло мою жизнь волнующей озабоченностью и любовью, и мне претило уродливое поведение людей.

Как-то свободным вечером я наконец решил побывать у своей милой знакомой, которую я стал называть Машей — мне казалось, что так теплее и ласковее. Мы уже часто встречались. Маша многое успела мне рассказать о себе и о судьбе своей семьи. Жила она со своей старшей сестрой и семилетним братишкой, в комнате занимали лишь один угол, поскольку здесь жили еще три подобных им семьи, с той разницей, что две были супружескими парами. На душу там приходилось не более двух квадратных метров площади. Видя такую тесноту, мне было не по себе: жить так, казалось, могут только отверженные, несчастные люди. Да и что иное можно было подумать, глядя на это семейное общежитие? Всего там могло быть с лихвой: и обид, и неправоты, и слез. Так жили уцелевшие спецпереселенцы на восьмом году ссылки.

Маша Романова была спецпереселенкой. Она родилась в 1917 году в семье крестьянина Тюменской области, в деревне Кулига Ялуторовского района Романова Василия Яковлевича. В 1931 году эта семья была раскулачена и выслана в район строительства Уралвагонзавода. От голода и болезней в 1932 году умерли отец, мать, сестра отца и младенец-девочка. Маша и ее старшая сестра Прасковья на похоронах не присутствовали — их не отпустили с работы, и для них осталось неизвестным, где, как и кто хоронил их родителей. Все это было чистой правдой, и не мне было сомневаться: сам повидал всяких бед и до войны, и после. И когда я выслушал рассказ Маши обо всем, что пережила она в ссылке, то стала она родной и самой близкой навсегда.

В начале апреля я стал десятником погрузбюро. Должность эта не являлась моей давней мечтой, произошло это не по моему желанию, но вот произошло. Дело, может, в том, что за сравнительно короткий период в не столь многочисленном коллективе я дважды был премирован за работу в необычно сильные морозы — температура понижалась до сорока трех — сорока пяти градусов, о чем упоминалось в приказах по строительству. Таким образом я стал приметен у администрации и был приглашен к начальнику конторы в его кабинет. Учтиво поприветствовав, он предложил мне присесть поближе, в кресло, и начал наш разговор примерно так:

— Простите, вас как звать, товарищ Твардовский?

— Иван Трифионович.

— Ну так вот, Иван Трифионович, знаю о вас как о хорошем и дисциплинированном рабочем, и есть, значит, соображения назначить вас на должность десятника погрузбюро. Что вы можете сказать по поводу такого моего предложения?

Честно говоря, такое предложение было очень неожиданным, любые встречи с начальством все еще ассоциировались у меня с чем-то неприятным, с каким-либо выяснением, и потому я как-то замялся, вопрос повис в воздухе, и это было тут же замечено

— Попробуйте! — продолжил начальник конторы. — Мне кажется и я надеюсь, дело у вас пойдет.

Видя, что я не выразил радости по поводу возможного назначения, начальник рассказал о некоторых предстоящих мероприятиях в связи с уходом по болезни начальника железнодорожного отдела и назначении на его место нового человека, которому хорошо знакома работа на транспорте. Так что, — говорил он, — вы будете работать с молодым энергичным инженером, и это будет весьма интересно.

Это мне показалось любопытным, и предложение я принял.

Нелишне вспомнить, что в те годы даже неполное среднее образование было далеко не у всех простых людей, так что должность десятника представлялась никак не меньше, как должность среднего техперсонала, шла по категории ИТР. В столовой имелись отдельные места, и не должен был такой «ответработник» находиться в общежитии вместе с рабочими. И конечно же не должен был носить лапти, быть небрежно одетым, словом, он должен был быть заметным, помимо всего, и своим внешним видом. И ни в коем случае не держать себя за панибрата с людьми, находящимися под его руководством. К счастью, все это мне было известно — калачом я был уже достаточно тертым.

Новым начальником железнодорожного отдела был назначен инженер Богинский Сергей Андреевич. Пришел он из плановоэкономического отдела, который возглавлял год или два, но его влекло к транспорту, поскольку и образование он получил в этом направлении. С именем этого человека связаны самые светлые дни моей работы в те годы на Урале вплоть до призыва меня в июне 1940 года на службу в Красную Армию. С первого дня знакомства я увидел в нем серьезного, но очень общительного человека, умевшего быть требовательным и щедрым на внимание, на бескорыстную помощь в любых возникающих затруднениях как по службе, так и вне ее, если только был в силах это сделать. Болезненно воспринимал несправедливость по отношению к спецпереселенцам, сочувствовал, что в гражданском правовом отношении они оставались ущемленными многие годы.

— Не могу понять, — говорил он, — почему эти трудолюбивые люди низведены до положения форменного рабства? Ведь это позор социалистическому обществу!

7 июля 1938 года стало днем нашего с Машей законного вступления в брак. Это было нами

решено заранее, и день тот помнится с чувством особого права и долга. "Надев свое лучшее платье", как сказал поэт, мы с Машей отправились в центральный поселок — Вагонку, чтобы зарегистрироваться в загсе. "Мы должны быть только счастливыми!" — эти слова вертелись в нашем сознании сами по себе. И Маша не отпускала моей руки, льнула все ближе, в улыбке глядя в мое лицо; она была полна светлой радостью дня. Мы и путь избрали себе по душе: знакомой, любимой тропинкой, которая начиналась возле поселкового клуба, вела через небольшой сосновый бор, затем цветущим разнотравьем по косогору, скатывающему к магистрали, идущей к центру Вагонки.

Регистрация брака свершилась без осложнений: я предъявил паспорт, Маша — полученную от комендатуры справку. Сотрудница бюро загса произвела запись, поздравила с вступлением в брак, пожелала быть счастливыми и всего того, что в таких случаях принято желать новобрачным.

Свадебного застолья предусмотрено нами не было. Чтобы хоть немного придать торжественности нашему задушевно-личному счастью, мы зашли в ресторан, который, кстати, был рядом, в одном из временных сооружений, заказали почему-то (скорее всего по незнанию) бутылку какого-то розового ликера, что-то из съестного, этим и закончили наше интимное застолье, употребив лишь несколько граммов того неведомого нам напитка. Первым, кто нас поздравил, был инженер Богинский. От него же нам было дано разрешение поселиться в комнате бывшего начальника железнодорожного отдела.

Вряд ли нужны подробности о начальном периоде нашей семейной жизни. Должно быть понятным, что у невесты-спецпереселенки не могло быть какого-то припасенного имущества в форме так называемого приданного — была она, по существу, совершенно неимущей, если, конечно, не считать скромной одежды на каждый день. И денежных средств у нас нашлось лишь на покупку двух стульев, примитивного кухонного стола, самой дешевой кровати, кой чего из посуды. Вот и все, чем могли бы обзавестись для начала. Но мы были очень счастливы, что так вот, самостоятельно, без каких-либо вспомоществований вышли из затруднения. Собственно, мы не были каким-то исключением — так же примерно начинали и другие только что поженившиеся пары.

Все у нас ладилось, и не было предела интереса и жизненным увлечениям. В меру наших возможностей терпеливо и расчетливо, как могли, улучшали и украшали мы свой быт. И так славно было на душе, что свела нас судьба, и весь мир, казалось, стал краше и добрее. А тут и радиоприемник приобрели; он открыл нам окно в мир событий — слушали и не могли наслушаться, засиживаясь до глубокой ночи. И был случай, что в один из таких вечеров по радио выступал поэт Михаил Васильевич Исаковский, автор той самой, тогда еще только появившейся, песни «Катюша». И помнится, что свое выступление он начал словами: "Родился я на Смоленщине...". Это было так трогательно для меня — слышать голос земляка, которого случалось видеть и быть с ним рядом, — сердце мое сжималось.

В мае 1939 года Маша была в декретном отпуске, мы трепетно ждали нашего первенца. И день этот пришел: 28 мая у нее начались родовые схватки, нужно было отправить ее в больницу. Бегу к диспетчеру Шиманскому. Человек, думаю, понимающий — поможет. Но не так все просто: "Лимузин ушел в банк!" — разводит руками диспетчер, но делает попытку вызвать «скорую», его слышат, он старательно объясняет ситуацию. Ответ неутешительный: приехать могут часа через два. Досадно и обидно, и ничего не могу придумать. "Ах, будь что будет!" — бегу прямо к начальнику конторы, в кабинет, и прошу помощи: мол, так и так, жена... нужно отвезти, «Скорая» не обещает... Начальник меня понимает, нажимает кнопку, входит секретарь. "Позовите шофера!" — дает указание и тут же желает мне счастливого пути.

29 мая меня поздравили с днем рождения сына, но свидание разрешили лишь на второй день. Но вот я уже в больнице, поднялся на третий этаж. Маше передали, и она вышла,

держа на руках спящего сына, и, приоткрыв простынку, показала мне личико крошечного человека, в котором я уловил родные черты, мысленно сказал: "Слава Богу", пожелал здоровья Маше и сыночку, поцеловал Машу, попрощался, обещая звонить, чтобы узнать, когда можно будет приехать за ней.

После того как я привез домой Машу, мы успели перебрать множество русских мужских имен, чтобы окончательно решить, каким именем наделить нашего первенца. Остановились на имени Валерий. Я должен был поехать в загс и выполнить эту святую обязанность — зарегистрировать новорожденного. Никаких плохих предчувствий не возникало у нас, и разве ж могли мы ожидать, что акт регистрации мог принести нам тяжкую душевную боль, потрясшую наше сознание до нервного расстройства. Вот как все это произошло.

Войдя в помещение загса, я обратился к сотруднице.

— Давайте ваши документы! — были ее слова, когда я присел.

Документы у меня были готовы, и я подал свой паспорт и справку от комендатуры на имя жены и справку из больницы о рождении ребенка. Быстро взглянув, спросила второй паспорт.

— У матери новорожденного паспорта нет — она спецпереселенка, — ответил я, не предвидя, что из-за этого может не состояться акт регистрации, и поспешил добавить, что вместо паспорта я подал справку от комендатуры.

— Нет, нет! — вспыхнула сотрудница. — Что вы! Регистрацию новорожденных спецпереселенцев производит только комендатура НКВД. Мы не можем ее подменять!

— Боже мой! Как же так?! Получается, что я, являясь отцом ребенка, гражданин СССР, но этого еще недостаточно?

— Ничего не знаю! Новорожденный — дитя спецпереселенки и по положению должен быть зарегистрирован по группе спецпереселенцев.

Не могу передать, что в те минуты происходило во мне, в моем сознании. Я готов был рыдать и проклинать все и вся. Я не знал, как и что сказать жене, придя домой, той, что так верила в свое счастье и так жестоко должна быть наказана. Принести ей приговор за несовершенновую вину! Упрекнуть ее в том, что она родилась у родителей, которых сталинская репрессия загнала в могилу? "Что же делается на нашей земле? — думал я. — Если так попираются священные человеческие права, то жизнь теряет всякий смысл". Во мне горел, бурлил вулкан негодований. Но спрашивать и доказывать было бесполезно.

Скрыть от жены то, чем закончилось мое посещение загса, я не считал возможным и боялся, что как бы не возникло у нее подозрения, что я могу испытывать разочарование в том, что мы стали супругами. Она не знала, что сам я тоже был таким же спецпереселенцем и в полной мере познал положение изгнанных из родных мест. Однако открыться ей в этом до поры не считал целесообразным: никто пока об этом не знал, приехал я в Нижний Тагил добровольно, и ни к чему было посвящать в это жену. В дальнейшем, правда, Маша узнала, что семья Твардовских была в ссылке.

Пока я добирался до дома, все думал, как лучше объяснить Маше, что регистрация не состоялась. Пришел к тому, что сказать нужно только правду, но ни в коем случае не выражать огорчений. Словом, суметь не придать случившемуся серьезного значения: плевать, дескать, на все неувязки, образуется, так как есть же Сталинская Конституция, где сказано ясно, что сын за отца не отвечает и самоуправству хода не дадут. Было похоже, такой прием мне в какой-то мере удался, — внешне сильного беспокойства Маша не выразила. Сообщил ей и о том, что намерен поговорить с Богинским, он, надеюсь, подскажет,

как лучше поступить в этом вопросе.

Богинский терпеливо и внимательно выслушал меня, искренне посочувствовал нам с Машей и, пораздумав, пришел к выводу, что допущено нарушение закона о правах граждан. "Раз дело приняло такой оборот, — обещаю тебе покопаться в юридических справочниках и завтра сообщить тебе", — сказал он. Назавтра Сергей Андреевич сказал:

— Справочники я просмотрел и убедился, что есть смысл отправить письмо товарищу Сталину. Это же черт знает что происходит: новорожденного зачислять в списки ссыльных! Нет, нет! Я напишу такое письмо товарищу Сталину, что местным мудрецам непоздоровится! Ты перепишешь своей рукой, отвезешь на почтамт и сдашь заказным. Тут, брат, никто не рискнет вскрыть. Вот так, дорогой мой!

Письмо Сталину было написано Сергеем Андреевичем и прослушано мной в чтении самого автора. В подлинности передать содержание его, конечно, не берусь, но были в нем и вера, и любовь, и надежда, и просьба прислушаться с отеческой заботой и мудростью Великого вождя и учителя, чтобы преградить попрание конституционных прав граждан ведомой им Великой социалистической страны.

По наивности моей, помню, я не мог удержаться и самым честным образом ронял слезу, потому как не мог и в мыслях допустить, что такое письмо не возымеет действия, даже на окаменевшее сердце.

Переписал я это письмо старательно, Боже мой, не допустил никаких ошибок в тексте и сразу же помчался на главпочтамт. Надеюсь, читатель поймет меня, что конверт с адресом "Москва, Кремль, Иосифу Виссарионовичу Сталину" в те годы любого почтового работника вводил в оторопь и растерянность.

— Самому?.. — переспросил почтовый работник в ожидании подтверждения: не ошибка ли.

— Так, так точно, товарищу Сталину! — отвечал я серьезно, хотя было и чувство какого-то риска.

Около трех недель я ждал ответа. Дождался... Нас посетил представитель комендатуры НКВД. Он сказал, что ответ на письмо мое в Москву получен из области в адрес районной комендатуры. Назначил день моей явки в комендатуру, имея при себе документы для регистрации новорожденного.

— Вы теперь убедились, что писать в Москву бессмысленно, — сказал представитель НКВД с показным чувством вершителя судеб. — Комендатура правомочна решать на месте любые вопросы. Не повторяйте впредь подобные действия — для вас же будет лучше.

Комендатуру я нашел в поселке Пихтовке, в одном из бараков, где и встретил уже знакомого представителя НКВД. Принял он меня, как человека в чем-то провинившегося, с покровительственной улыбкой, какую может позволить себе сильный к слабому.

— Могу ознакомить вас о том, чего вы не ожидали. Вот ваше письмо. Его переслали из Москвы нам! — Он показал мне конверт с приколотой служебной запиской с грифом "Секретариат ЦК ВКП(б)...", адресованной Свердловской областной комендатуре НКВД.

Встреча в Пихтовке с комендантом закончилась тем, что мне было вручено свидетельство о рождении сына Валерия. На нем стояла треугольная печать Нижне-Тагильской комендатуры НКВД. И хотя в документе не было упомянуто, что мать новорожденного является спецпереселенкой, факт сам по себе оставался фактом: на имени сына — несмываемое клеймо; это меня томило и жгло душу: нам было отказано в самых элементарных гражданских правах. Эти душевные раны мы хранили в глубокой тайне от родных и знакомых, знали из

опыта, что откровенность не приносит в таких случаях ничего, кроме неприятностей: ревнителям «бдительности» на руку любая зацепка. С начальником железнодорожного отдела Сергеем Андреевичем Богинским складывались у меня самые добрые отношения. Обнаружив во мне интерес к познанию принципов нормирования труда и то, что я мог свободно пользоваться логарифмической линейкой, он предложил свою помощь подготовить меня на должность нормировщика. Я был очень рад его вниманию и глубоко признателен за бескорыстную помощь. С того момента я и начал энергично изучать основные слагаемые элементы различных работ, из которых можно подсчитать фактическую затрату рабочего времени на единицу измерения труда. Сергей Андреевич был удивлен результатами моих стараний и высказал мнение, что я вполне могу справиться с обязанностями нормировщика отдела, что, между прочим, вскоре и произошло. Воодушевленный этим в моем представлении успехом, я не остановился: прошел трехмесячные курсы повышения квалификации, где узнал много нового об основах планирования, статистики, бухгалтерского учета, сметных работ, экономики производства. Все это благотворно влияло на самосознание своей роли, своей сущности и своего положения в среде интеллектуального труда; надо мной перестали тяготеть чувства подавленности.

В сентябре 1939 года я получил отпуск. Еду поездом к брату Константину на Ставропольщину. После всевозможных тревожений, которых, как говорится, не дай Бог иметь и злему татарину, с улучшением дел по службе, с уходом в отпуск и поездкой, настроение было хорошее. Конечно, я знал, что фашистская Германия в те дни уже разбойничала в Польше, но еще не думалось о предстоящих испытаниях для нашего народа.

В вагоне я встретил знакомого молодого человека, работавшего прорабом на той же стройке, что и я. Это было очень кстати; хотя он и не был моим другом, но когда есть знакомый попутчик, всякий скажет: повезло. Он тоже ехал в отпуск, но не так, как я, один, а со своей молодой женой. И все было прекрасно: ехали — не скучали. В Москву прибыли вечером и узнали, что сделать пересадку очень трудно, может быть, удастся только завтра, а значит, ночью придется незнамо куда деваться. Так мы оказались под открытым небом в большом городе. Но у меня жил в Москве родной брат, а стало быть, по извечным законам, какой же может быть разговор, если есть возможность переночевать. Кажется, так скажет любой человек.

Имя Александра Трифоновича Твардовского не звучало тогда так громко, как впоследствии, но попутчик мой, однако, знал, что есть у меня брат в Москве и что он поэт.

— Слушай, — говорит, — Иван Трифонович! Так у тебя же брат здесь живет. Разве у русских людей бывает так, что нельзя переночевать у брата?

Я замялся, Бог его знает, что ответил, и попутчик очень удивился моей нерешительности.

— Что, адреса не знаешь? Так это же проще всего: пятьдесят копеек — и через десять — двадцать минут получишь адрес.

Адрес я знал, но знал и то, что, не предупредив письмом или телеграммой, заявиться поздним вечером не очень удобно. К тому же я не был уверен, что брат дома, а супругу, Марию Илларионовну, я почти не знал, разговаривать с ней не приходилось, видел ее лишь бегло, да и вообще нас, братьев своего мужа, она не хотела ни знать, ни видеть, и никто из нашей семьи, в том числе и наша мама, никогда не слышал от нее слова приветия. Так что была у меня причина для раздумий.

— Да будь же ты мужчиной, в конце-то концов! — сказал мой попутчик. — Пойдем к нему вместе! Я сам буду говорить с ним. У тебя есть удостоверение, что ты в отпуске? Я тоже покажу ему документы, и, уверен, он сделает все, что в его силах для нас обоих. Мы ведь живем и работаем вместе, вместе едем. Да разве он позволит, чтобы о нем кто-то на Урале

имел плохое мнение.

Давно это было, но все свежо в памяти, запечатлелось до мельчайших деталей. Поехали мы на тот Большой Могильцевский переулок, что в районе Арбата, нашли нужный дом. У подъезда, метрах в трех-четыре, была простенькая скамеечка, и мы присели на нее. Ох как мне было неловко: один не решался, а тут приперся с людьми... Не знаю, может, действительно это чудовищно плохо, не знаю. Знаю только: при всей завидности моей жизни приехал бы ко мне пусть самый дальний родственник, я был бы только рад. Да и приезжали же! И приезжают. И как же? Сам как-нибудь, а гостю сделаю из последних сил все. Да и разве не так у простых людей? (Да простит мне читатель, что не посмел утаить этот эпизод из моих встреч с братом Александром.)

Минут десять, как тот спортсмен, что рискует перекрыть рекордную высоту в прыжке с шестом — добавить еще хотя бы один сантиметр, — собирался с духом, прежде чем нажать на кнопку звонка. Встаю: "Ну, ладно, пусть будет, что будет", иду и нажимаю. Стою, жду, слушаю. Ага, кто-то идет... Дверь открывается, и я вижу Марию Илларионовну.

— Вам кого? Кто вы?

— Я — брат Александра Трифоновича, Иван, — отвечаю.

— Александра Трифоновича дома нет! — и закрывает дверь.

Что я чувствовал, стоя у захлопнутой двери, можно себе представить. Все сказанное слышали и спутники мои, объяснять не требовалось. Они продолжали сидеть на скамейке, а я стоял возле. Это длилось, может, одну минуту, дверь вновь открылась, и я услышал голос Александра Трифоновича: "Кто там?" Было уже достаточно темно, и он не смог разглядеть.

— Шура! Это я, Иван.

— Ах, Ванюша? Так проходи же!

И тут самое для меня страшное: мне нужно сказать, что не один. Приблизившись к нему, говорю, что я не один, что со мной наши сотрудники — муж с женой; вот, дескать, такая беда — мы проездом, но не смогли закомпостировать билеты. Некуда нам деться...

— Да ты что?! Кто же так поступает?

Его слова окончательно парализуют меня. Я чувствую, что уже близка та грань, когда остается только повернуться и молча уйти. И, кажется, я сказал, что, мол, прости за беспокойство, ничего нам не нужно. И тут смотрю, его атака глохнет, он спрашивает: "Где они?" Когда же понял, что буквально в трех шагах и все его слова слышны, начал приглашать гостей в дом.

— Спасибо, Александр Трифонович, но мы, уж извините, не хотим затруднять вас, — сказал мой спутник.

— Нет, нет! Не обращайтесь внимания, что я должен был сказать брату. А вы — дело совсем другое, так сказать... Проходите, пожалуйста!

С чувством незваных гостей мы вошли в квартиру старинного дома, состоявшую из двух или трех комнат. Вполне возможно, что в квартире не все комнаты занимала семья брата. Александр стал знакомиться с моими спутниками, было похоже, что они произвели хорошее впечатление, и он с подчеркнутой вежливостью уделил внимание нашей даме:

— Вас мы поселим отдельно, а мужчин... что ж, мужчинам, — развел руками, — придется мириться с тем, что, как говорится, Бог послал... Да-да! — улыбнулся и сделал знак рукой,



что нельзя было не понять: на полу.

В первые минуты Мария Илларионовна не показывалась, была на кухне. Нас пригласили в просторную комнату, в которой был накрыт большой продолговатый стол. Александр Трифонович спрашивал о том о сем, чтобы как-то занять гостей и тем несколько сгладить неловкость, которую мы не могли не испытывать как незваные и неожиданные. Мария Илларионовна в беседу не включалась, и ее можно было понять: Александр оказался дома. Но ни старания брата, ни выпитая чарка не смогли притупить во мне горького чувства. Встреча получилась нерадостная, с тяжелым осадком, хотя большой вины за собой я не видел.

Во время ужина вдруг послышался детский беспокойный голос из смежной комнаты, и Александр встрепнулся, поспешно бросился туда. Там, в отдельной комнате, спала дочурка Валя, было ей тогда лет восемь. А увидеть ту Валю мне довелось только лет через сорок совершенно случайно на Новодевичьем, в день памяти Александра Трифоновича.

Наутро у каждого были свои заботы. Спутники мои благодарно распрощались с хозяевами квартиры и тут же уехали, а мне брат обещал посодействовать в оформлении билета и сделал это — закомпостировал в особой кассе, имея на это какие-то права. Но прежде чем я отправился на вокзал, он дал мне познакомиться с новым, в переплете, изданием "Страны Муравии". "Это пока лишь сигнальные экземпляры, займись, почитай, — сказал он, — а вообще, знаешь, увезешь Константину, давай-ка я надпишу". Он взял книгу и хотел было идти, но приостановился и сказал: "Пойдем, кабинет посмотришь!" Мы прошли до передней прямо, повернули в какой-то узкий коридорчик и вошли в квадратную комнату, где стоял его письменный стол и очень много, как мне тогда показалось, книг на полках вдоль одной стены. Я был удивлен и спросил: "Неужели можно все эти книги прочесть?" Он улыбнулся: "Прочесть... Не прочесть, а изучить, по-настоящему их знать нужно". На титульном листе "Страны Муравии" он написал: "Брату Константину Трифоновичу с пожеланиями всего доброго. М. 14.09.39. Александр".

— А это вот — тебе! — и вручил мне книжку «Дорога» с похожей надписью.

В кабинете мы задержались, присели.

— Засиделся я, Иван, в этом мрачном склепе, солнце сюда не заглядывает, — начал он. — Крайне надо бы проехать, проветриться. Вот уже и полночь, чувствую, начинает появляться... Да, кажется мне, что обстановка в мире складывается опасная: фашизм топчет польскую землю, а это же совсем рядом. Кто знает, что мы можем ожидать? Ну, а как ты там живешь? Говоришь, женился? Не внял моему совету не спешить? Ну что ж... лишь бы все было хорошо. И сын уже есть? Поздравляю, поздравляю! Как назвал? Валерием? Понял. Ну а меня можешь поздравить с вступлением в ряды Коммунистической партии. И, понимаешь, я не просился, — продолжал он. — Считал и верил, что должен быть час, когда мне скажут: "Иди к нам!" И оно, такое время, пришло. Он взгляделся в меня. — Э-э! А ты, смотрю, невесел! Что это? Обижаешься, что вчера сгоряча окатил тебя? Извини, Ванюша! Я ведь и посожалел, что так получилось, да что ж... Не принимай, пожалуйста, близко к сердцу! А сейчас пойдем-ка хоть чаю попьем. Впрочем, нет, зачем же нам уходить, здесь, кажется, нам удобней будет. Займись пока возле книг, журналов...

"Страна Муравия" для меня уже не была свежей новостью — читал, кое-что помнил наизусть, и с особым интересом читал то, что попадалось из написанного об этой поэме. Но тут под рукой было новое издание, и я наугад раскрыл книгу на восьмой главе и пробежал по знакомым строчкам до: "И мальчик, точно со слепым, идет по праву руку с ним". Мне вспомнилось кое-что из знакомой истории, и я перевернул еще страницу: "А вот откуда же ты теперь, Илья Кузьмич, бредешь?" — "Бреду оттуда..." Я сразу представил образ отца, слабого братишку Павлика.

И тут входит брат, неся на подносе чай.

— Заглянул? — спрашивает. — Ну, скажи: остается, — приложив палец к виску, спрашивает, — что-нибудь?

— Да как же нет? Очень даже остается! Можно сказать — осталось! Но это в общем, обо всей вещи я говорю. А скажи мне, о чем я мог вспомнить, читая вот эти строки?

Он посмотрел, на чем я остановился.

— Понял! — говорит. — Батю нашего ты вспомнил! Тогда же я сказал брату, что, мол, читая «Муравью», встречаю обороты речи главного героя, отдельные слова и образные сравнения, которые очень живо напоминают мне отца. "То конь был — нет таких коней! Не конь, а человек", "Трулля — трулля — трулля-ши! Пропил батька лемеша" и всякие "Как хватит, хватит...", «бубоч-ка», «шмякнул». Да и сама песенность отдельных мест — от отца.

— Ведь стоит только вспомнить, — говорю я брату, — как отец, возвратясь из поездки, начинал рассказывать что-либо про лошадей, а такое случалось не так уж редко, то именно как-то так он и говаривал: "Нет таких коней! Не конь, а человек". И дело не в областничестве; говор у него, безусловно, был смоленский, но, однако ж, какой-то именно ему присущий.

— Да, — ответил брат, — отрицать такое не буду, в его речи много было интересных особенностей.

Провожая меня на вокзал, он был молчалив, но вот вдруг:

— Ты понимаешь, я замечаю, что в народе есть что-то тревожное.

На вокзале он задерживаться не стал, попрощался тепло, еще раз напомнил передать Константину его приветы, затем крепко так сжал руку и тихо сказал: "До свидания, Ваня!", оставил меня, и тут же я потерял его из виду.

Через двое суток я сошел с поезда на станции Кавказской. Здесь я должен был пересесть на ставропольский поезд, проехать всего, кажется, километров пятьдесят, сойти на небольшой степной станции Расшиватка, узнать, в какой стороне хутор Фельдмаршальский, где жил и работал Константин, и добраться попутным транспортом до него. Но был уже вечер, а до отправления поезда нужно ждать еще часа три, так что прибыл я на Расшиватку темной непроглядной ночью, какие только бывают в южных степных районах. И так плохо все сложилось: темень кромешная, до хутора более двадцати километров, и никто меня не встретил, хотя я и отправил с Кавказской телеграмму. Но кто же ее мог доставить в столь позднее время? В общем, закуривай, друг, и торчи на станции до утра. И вокруг была какая-то особая, просто ужасающая глушь: ни тебе огонька, ни человека, и станция без зала ожидания. И пришлось мне бодрствовать до утра: то присяду на скамеечку, то пройду туда-сюда-обратно, а о времени никаких ясных представлений: часов у меня не было. Но вот дождался-таки утра, узнаю, что неподалеку есть элеватор, и чтобы уехать, надо быть там: из станций и хуторов машины с зерном идут на элеватор.

Молодой шофер соглашается меня взять. Тут же предупреждает, что ехать придется в кузове, что в кабине почему-то нельзя, но для меня хорошо и это. "Ладно, — думаю, — давай хоть в кузове, лишь бы ехать". Машина — избитая полуторатонка с деревянной кабиной, — скрипя и рыкая, трогается. Мы выезжаем на степную, до глянца накатанную по чернозему дорогу, и передо мной — открытая пятнистая степь со всех сторон, до горизонта, где чуть-чуть местами заметны купы предполагаемых деревьев. Машина идет ходко, и я доволен, определяю, что минут через тридцать буду на месте. Но что это? Резкое торможение, шофер выпрыгивает из кабины, за ним — клуб черного дыма. Он срывает с себя промасленную фуфайку и отчаянно пытается накрыть, смять, захлопать фуфайкой языки огня. Борьба эта

продолжалась всего минуты две-три, огонь сбит, но шофер все еще в напряжении, тяжело и отрывисто дыша, стоит у открытой кабины ни жив ни мертв. Наконец, глянув на меня, хмыкнул, тряхнул головой, дескать, вот как бывает, и полез в кабину. Скоро мы въехали в хутор Фельдмаршальский, единственная улица которого протянулась на несколько километров, и по всей улице — стаи белых кур.

Чтобы узнать, как мне разыскать брата, мы подъехали к правлению колхоза имени С. М. Буденного, и здесь, не успев еще соскочить с машины, я услышал женский голос: "Иван Трифонович! Добро пожаловать!" Это была Евдокия Кононовна, жена Константина. Оказывается, они только что получили мою телеграмму, поняли, что встретить меня на станции уже не могут, а потому она и поджидала возле правления, полагая, что так или иначе я должен сюда прибыть.

Видела она меня впервые, как и я ее, но без ошибки опознала, узрев некое сходство с братом. Теперь мы шли к их квартире. Константина я увидел издали, он шел с арбузами, остановился, всмотрелся и — ношу прямо на землю, широким шагом — навстречу нам. Ну, думаю, сейчас он что-нибудь выкинет: человек удивительной силы и, к случаю, не против показать ее. Зажмет, думаю, в свои кузнецкие руки И точно: как это он сгреб меня, так чуть не оказался я на плечах у него.

— Вот тебе! — говорит. — Это — по-моему! Молодец, Иван! — и к Евдокии Кононовне: — Как, Дуся?! Я правильно говорю?

— Да у тебя все как-то через колено. По-медвежьи! Ну ей-Богу, правда. Идемте в хату, а то, знаешь, смеяться люди будут.

Здесь должен сделать небольшое отступление ради некоторых любопытных подробностей.

Старший брат оказался на Кубани, освободившись из заключения, где отбыл три года за побег из района спецпереселенцев. Кубань встретила его неприветливо. В нескольких местах, куда он обращался насчет работы, получил отказ: лагерная справка срабатывала не в его пользу. К тому же и вид его не внушал доверия: одет был в обноски, никаких вещей, обувь совсем негодная. Что делать? Куда податься? Было от чего голову повесить...

Это произошло летом 1935 года в Армавире.

Случайно, где-то в пути, ему подарили книгу Н. Островского "Как закалялась сталь". С этой книгой он не расставался и носил ее постоянно с собой. Неудачи с устройством на работу так измотали его, что, будучи уже на грани отчаяния, он решил пойти в управление НКВД, чтобы узнать от "самого главного", что ему остается делать и как быть, если нигде не хотят принять на работу.

В приемной НКВД спросили, кто он есть и по какому вопросу хочет обратиться.

— Я не знаю, кто я есть. Хочу видеть начальника, который мог бы ответить на мой вопрос.

Начальник заинтересовался странным посетителем и велел привести его в кабинет. Об этом моменте брат рассказывал так:

— Когда я вошел в кабинет, начальник откинулся на спинку стула и несколько секунд смотрел на меня молча. Молодой, лет, может, тридцать. В петлицах «шпала», ремни, значки, ну и все как и должно быть — начальник. И вопрос ко мне: "Что вас заставило прийти к нам?" Отвечаю, что так и так, мол, не с добра, ясно... Не знаю, как мне дальше быть и куда деваться. Куда бы ни обратился насчет работы, отказывают. Посмотрите мой документ и скажите: кто я такой есть? И стал доставать из нагрудного кармана справку, а книга-то в руке у меня, засуетился: туда-сюда, из руки в руку — и раз ее на стол, а начальник: "Стоп — стоп

— стоп! "Как закалялась сталь"! Где вы смогли ее найти?"

И сразу я почувствовал совсем другое внимание ко мне.

"Вы любите книгу? Вы читающий?" — спрашивает. — "Да, — говорю, — книга для меня — самый близкий и самый надежный друг".

Посмотрел мою справку, несколькими вопросами коснулся судьбы. "Ну что ж, Константин Трифонович, — сказал, — не попробовать ли вам устраивать свою жизнь... в колхозе? Я могу сейчас же позвонить в Прочноокопскую — это совсем рядом, за рекой. Кстати, есть там и кузница, и дело может пойти на лад. Как вы?" "Я — с радостью! Спасибо!"

Книгу "Как закалялась сталь" я ему подарил.

В большом, построенном не без выдумки доме некоего кулака брат занимал лишь две комнаты, причем, одна из них была складом зерна, полученного на трудодни. И сразу же стало ясно, почему на улице хутора так много кур — колхозникам некуда было девать зерно.

— Вот так, Иван, и живем, — начал Константин. — В зерне купаемся, а денег — ни гроша! Правда, продать можно, но надо везти в горы, к черкесам, а для этого нужен транспорт, а его-то и нету. Приходится ждать, когда освободится колхозный, да и тогда, опять же, не вдруг его получишь: нуждающихся много, и... — он махнул рукой, — да что это мы... Пойдем-ка, подолью я тебе водички, с дороги надо освежиться, а ты, Дуся, делай что положено в таких случаях, — улыбнулся, — басни — баснями, а дело — делом.

Я гляжу на брата и вспоминаю строки из стихотворения «Братья» Александра Трифоновича: "Что ж ты, брат? Как ты, брат? Где ж ты, брат?" Вижу, понимаю: положение Константина пока незавидное.

Под тутовым деревом, у крылечка, вода в разных посудинах: в бидонах, бочонках, ведрах. Брат поясняет, что вода у них — вопрос не пустячный, что пресной в местных колодцах нет, привозят откуда-то за несколько километров, а поэтому собирают дождевую. А дожди выпадают не так-то часто, и благодатный, казалось бы, край имеет свои минусы. Но местный, степной житель, отмечает брат, ничего такого не скажет. Он приспособлен, степь — его родная стихия, нет пресной воды — есть кавуны, а то и подсоленная вода идет за первый сорт. А нас, приезжих из России, они здесь считают «кацапами», которым только и "жить в лесах да лапти плести". Это, знаешь, от их прежней казацкой вольности удерживается: "Мы — казаки!"

Но вот Евдокия Кононовна просит к столу. С искренним, сердечным вниманием она спешит объяснить, что это, мол, лишь пока, наскоро, для начала, что по-настоящему — немного попозже, а сейчас: "Пожалуйста, пожалуйста!" Она вся в движении и старании выразить свое гостеприимство, и это ей удается вполне, а я, со своей стороны, достаю из чемодана припасенный для нее подарок, брату передаю "Страну Муравию" с приветом и добрыми пожеланиями от Александра Трифоновича и на стол ставлю бутылку токайского вина. В этот момент, слушая слова благодарности хозяйки, я смотрел на Константина — в его руках была "Страна Муравия" — и замечал на его лице отрешенность от всего сиюминутного. И хотя длилось это, может, только одну минуту, нельзя было не заметить скрытую тайну в отношениях между старшими братьями. Разгадать ее я не мог, но во мне клубились всякие, забежавшие в прошлое мысли...

Прочтя на титульном листе дарственную надпись (без риска можно сказать — прохладного содержания, в которой, на мой взгляд, очень не хватало одного слова — "Дорогому"), он передал книгу жене, а сам встал и молча прошелся по комнате, нервно дотрагиваясь одной рукой до подбородка, держа другую на бедре, но тут же встряхнулся и, слегка кашлянув, присел к столу.

— Ты о чем, Костя, зажурился? — спросила Евдокия Кононовна.

— Э-э, Дуся! Тут совсем другое... Давайте выпьем по чарке!

Константин не имел пристрастия к спиртному на протяжении всей своей жизни, а в те далекие предвоенные годы — тем более. Очень редко, лишь по особым случаям, он позволял себе выпить чарку вина, да и то только с близкими, дорогими людьми. По молодости курил, но потом, в возрасте тридцати с чем-то лет, навсегда отказался от этой привычки. Стоически твердый в отношении раз и навсегда принятого решения и убеждений, он в то же время бывал несдержанным и прямолинейным, никогда «дипломатично» не останавливался перед вопросом, удобно или нет высказать правду. Правда была основой всей его жизни, и он никогда и ни перед кем не угодничал. Константин совершенно не терпел всякого рода делячества, бесчестия и мещанско-обывательского пристрастия. Эти качества его характера нередко оборачивались для него обостренными отношениями с людьми, ставящими личное благополучие превыше всего, идущими порой на сделку с совестью.

На вопрос Евдокии Кононовны: "Ты о чем, Костя, зажурился?" — брат не стал отвечать за столом, видимо, не хотел при жене касаться глубоко личного. Однако он не выказал себя и чем-то огорченным — оставался радостно настроенным и нашу беседу направлял на безобидные воспоминания об отце, о житии ушедших и обо всем том, что может заполнить вакуум в непосредственном общении. Отдав должное наспех организованному застолью, брат осведомился:

— Не лучше ли, Иван, отдохнуть тебе?

Но я отказался и предложил пойти посмотреть жизнь местного населения как она есть.

Мы вышли на улицу, в полдень ставропольского сентября, показалось непривычно жарко, и я, признаться, посожалел, что не принял предложения отдохнуть; но тут же отвлекся: брат начал рассказ.

— Понимаешь, Иван, как бывает порой невыносимо больно сознавать свое положение... — говорил он. — Живу, как видишь, в нужде, как безродный пришелец, а в душе я — истинный патриот, и когда случилось читать мне "За тысячу верст", то и передать тебе не могу, как это стихотворение меня тронуло! И надо же было Александру так точно передать голос души! Только сказать: "За тысячу верст от родного порога проселочной, белой запахнет дорогой", или: "Ольховой, лозовой листвой засыпленной, запаханным паром, отавой зеленой; картофельным цветом, желтеющим льном и теплым зерном на току земляном". Ну как тут не занает сердце?! — продолжал он. — Вот она, жизнь и поэзия жизни! Но Александр — поэт, и ему дано все, чтоб голос его был слышен миллионам! И конечно же я рад, что он одарен щедро, но... ты знаешь, вот уже почти десять лет, как от него не получаю ни строчки, ни слова. Но нет, я не совсем точен. Вот как было. — Он прервал свой рассказ и заметил: — А хутор-то у нас позади... Вот она и степь перед нами! Но это, пожалуй, и хорошо, что в степи оказались: мы двое в степи, никто нам не мешает. Так вот слушай! Был такой период, еще в Прочноокопской. Там я так доработался, что обносился до самого края. И вспомнить неловко: штаны в дырах, и кальсонов на мне не было. Ну, а чтобы как-то их зашить, подлатать, представь, просто не было возможности где-либо укрыться от людских глаз, — штаны ведь надо снять. Вот и уходил я в степь, чтобы никто не видел меня. И, понимаешь, показалось, что если уйти подальше, то полная гарантия, что никто тебя не видит, а ты — наоборот, хорошо видишь, что близко никого нет. Вот, брат, какая беда у меня была. Да, знаешь, думал-думал я, как быть, как выйти из положения, да и решил написать Александру. Попросил у него несколько рублей денег, так прямо и пояснил в письме, что обращаюсь по крайней нужде. И знаешь, что он ответил мне? "Нужно рассчитывать на свои силы". Так, Ваня, горько мне было и стыд меня мучил — забыть не могу, — места себе не находил, ругал себя, что ошибку такую сделал. Ну вот и все. Выход, конечно, нашелся, но не так-то сразу.

Выручила меня теперешняя жена — Дуся. Но тогда-то она не была моей женой, да и знакомой назвать ее не мог я. Рассказал ей, что вынужден уйти из колхоза, на время, чтобы поработать где-либо за деньги. Да и о том, сказал, что нет ни рубля, дескать, на первый же день. Дала она мне денег и сказала: "Будут — отдашь, а не отдашь — тоже не велика беда". Да ведь и у нее же, я понимал, это были не деньги — копейки, сбереженные великим терпением. Вот тогда и поехал в леса Усть-Лабы, на заготовку дров. Она же, Дуся, и посоветовала мне так сделать. Так вот и стала она дорогим для меня человеком-другом, о котором начал думать с волнением...

Утром следующего дня (кажется, это было 17 сентября) мы узнали из газет, что Красная Армия начала освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину. Это было столь значительное событие, что наши беседы приняли совсем иной характер: ожидать можно было самого непредвиденного поворота, и я заторопился к своей семье на Урал.

Возвращался я поездом "Минеральные Воды — Свердловск", минуя Москву. То были первые дни похода Красной Армии, и этими новостями жила вся страна, в том числе и находящиеся в пути: мы не были лишены возможности слышать передаваемые по радио последние известия об освобождении наших братьев из-под панского гнета. Но народ приветствовал и одобрял действия Красной Армии. В общем, из всего, что происходило, еще не было повода для больших тревог, в сообщениях не указывалось о серьезных и тяжелых боях, и все было как бы на оптимистической ноте, народ чувствовал себя вполне спокойно.

И вот я дома, в своей родной семье. Как хорошо и дорого так вот войти в свое скромное жилище, где тебя ждут, где ты нужен, где спит твой маленький сын и ты отдаешь ему свою любовь и свою скопившуюся радость: видеть его, сердцем и мыслью пожелать здоровья и счастья.

Осенью 1939 года завод, строительство которого вела контора номер четыре треста «Уралмашстрой», вступал в строй действующих. Железнодорожный отдел был передан в ведение завода. Таким образом, из строительной организации я был автоматически переведен в транспортный отдел завода оборонной промышленности. Сам факт перевода меня в ведение администрации завода мог бы меня только порадовать, но я не мог не иметь в виду, что отдел кадров и спецчасть завода непременно обяжут пройти переоформление, где вновь придется заполнять анкету с множеством уже известных мне вопросов: социальное происхождение, причастность родителей — были ли связи, отношения и прочее и так далее, что неминуемо может закончиться так же, как на «Можерезе». И слухи об этом уже имели место, что не предвещало благополучия и не снимало озабоченности. И хотя на службе все пока шло прежним порядком, втайне, не делаясь даже с женой, я постоянно чувствовал тяжесть социальной несправедливости и душевной угнетенности, не видя даже в отдаленности выхода из этого заколдованного круга судьбы.

С момента пуска завода вводились и новшества: была учреждена военизированная охрана, построена проходная, вход на территорию завода стал по пропускам. Некоторые службы, не относящиеся непосредственно к производству завода, но до сих пор находившиеся на его территории, размещались теперь вне заводской территории. По этой причине был переведен и я. Моим рабочим местом стала контора транспортного отдела, размещавшаяся в отсеке автогаража. Вскоре, как можно было и предполагать, служащим, переведенным со строительства, спецчасть завода предложила заполнить анкету, в том числе и мне. После этого я продолжал работать еще несколько месяцев, вплоть до января 1940 года.

Но неприятности и несчастья подстерегали меня не только по месту работы, но и в самой семье. Маша стала замечать, что наш маленький Валерка не совсем здоров, что с головкой у него что-то неладное — было ему уже семь месяцев от роду, пора бы ему уже и сидеть, но мальчик с трудом поворачивал голову, не мог ее держать прямо, когда брали его на руки, то она бессильно склонялась на сторону. Замечалось и то, что голова выглядела крупнее, чем

должна быть у ребенка к семи месяцам со дня рождения. Тревоги наши усиливались с каждым днем — обратились к поселковому фельдшеру, довольно пожилому человеку, пользовавшемуся большим уважением и доверием. Его внимательный осмотр и расспросы закончились тем, что высказал он свои предположения об очень серьезной болезни, что он не исключает водянку мозга, что означало самый неблагоприятный исход:

— Болезнь неизлечима! — сказал этот уважаемый человек. — Такие дети живут только до двух-трех лет, а если и больше, то как инвалиды детства.

Убитые горем, несли мы свое милое чадо домой, не видя перед собой белого света. Все как-то потускнело от этого приговора судьбы, и никто уж ничего не мог изменить, никто не был в силах чем-то помочь мне. Вот в таком безысходном положении, терзаясь своей беспомощностью, прожили мы дня два. По радио передавалась какая-то статья об удивительном человеке, профессоре Свердловского мединститута хирурге Лицком. Рассказывалось о почти невероятных случаях в его практике, когда безнадежно больных он возвращал к жизни. И мелькнула у меня мысль: "Не попробовать ли обратиться к этому профессору-хирургу, и если уж и он не в силах будет приостановить течение болезни, то хоть знать будем, что сделали все, что могли по велению долга и совести". Но вот как к нему попасть? С чего начать, чтобы он принял нас? Решили отправить письмо в Свердловский радиокомитет, чтобы узнать, как нам поступить в данном случае и можно ли надеяться, что профессор нас примет.

Прошло не более недели, и ответ нам пришел: из радиокомитета сообщали, что мы можем поехать прямо в клинику, где профессор Лицкий примет и обследует ребенка. Был указан и адрес клиники, и день возможного приема. В те дни января 1940 года морозы стояли небывалые, минус сорок — сорок пять градусов, но ничто нас не могло остановить, мы сразу же собрались и поездом выехали в Свердловск.

Профессор Лицкий принял нас в клинике. Был он уже тогда довольно пожилым человеком, высокий, медлительный и сдержанный в высказываниях. Выслушал нас очень внимательно, спросил, как давно стали замечать отклонения в развитии младенца, как он спит, как реагирует на голос матери, интересовался условиями нашей жизни, в частности тем, как и чем питалась мать младенца в период беременности, обратил внимание на незарастающее темя у младенца, ощупал его рукой, после чего сказал: "Да, у него водянка мозга".

В заключение он сказал, что гарантии на успех операции он дать не может, но если мы будем согласны, то может положить на исследование и операцию. Мать должна оставаться при ребенке.

Вот так. Не услышав ничего утешительного от профессора, мы должны были согласиться с тем, что Маша останется в клинике на какой-то неизвестный срок, не видя возможности на скорое свидание со мной, и ей казалось самым тяжким в столь трудный для нее час, что я уеду, что окажется она без близких людей, это ее просто пугало. Все это понимал и я, и мне было бесконечно жаль, но уехать я был обязан, меня ждала работа. Уважаемого нами профессора я сердечно благодарил за его радушие, за его готовность прийти нам на помощь и тут же должен был попрощаться с самыми дорогими для меня женой и сыном.

На вокзале в Свердловске я увидел большое количество людей в одеждах, как-то резко отличимых от привычных наших. Оказалось, что это была большая партия прибывших беженцев из западных областей Белоруссии и Украины в связи с теми событиями, которые произошли в Польше осенью 1939 года. Этих людей было много, и все они свободно ходили по вокзалу; производили впечатление, что все их интересовало; но трудно было сразу понять — то ли они были рады, что оказались на Урале, или же просто присматривались к новой для них обстановке. Мне показалось тогда, что выглядели они в своей вполне добротной одежде совсем не бедными людьми, хотя при них не замечалось какого-либо багажа. Кстати, среди

них было много и евреев, и собственно поляков (это выяснилось несколько позже, в Нижнем Тагиле, на стройках).

Возвратясь в Нижний Тагил, я встретил Сергея Андреевича Богинского. Мне нужно было его видеть, чтобы поделиться своей печалью о болезни сына, о том, что жена находится в Свердловске вместе с ним в клинике, да и просто побеседовать как с добрым знакомым человеком. Но о себе я еще не успел рассказать, как услышал от него, что он увольняется.

— Почему так решил, спрашиваешь? — ответил он мне вопросом и продолжил: — Ну, во-первых, положение «зама» меня не устраивает. Во-вторых, есть еще некоторые причины, но об этом... Да, а тебе, скажи, разве спецчасть не предложила заполнить анкету?

— Да, Сергей Андреевич, предложила. Я заполнил.

— И о том, что жена из...

— Что вы, Сергей Андреевич, хотите сказать?

— Так ясно же, что и о чем! Что она — спецпереселенка!

— Нет, об этом не сказал.

— Вот! А мне уже известно, что из этого поселка планируют переселить спецпереселенцев, километров так за сорок, кажется, на станцию Ива, что по дороге на Нижнюю Салду! Вот так, дорогой мой Иван Трифонович! И хотя меня все это ни в коей мере не касается — не хочу работать там, где существует система выискиваний всяких там «опасных», «чуждых» и прочих "неблагонадежных".

Этот диалог произошел на квартире Сергея Андреевича. Пришел я к нему, чтобы как-то развеяться от своих мятущихся мыслей в связи со столь серьезной болезнью сына, а получилось, что лишь добавил свежую порцию к тому, что было. Сергей Андреевич был в плохом настроении и, казалось, размышлял о чем-то еще не совсем решенном и сложном. Вот он было замолчал, задумался, слегка барабанил пальцами по столу, тут же встряхнулся, оживился и выпалил: "Иду на «Коксохимстрой»! Рассказал о том, что предлагают ему должность начальника планового отдела, сожалеет, что раньше об этом не подумал. Как стало известно позднее — ушел он не по собственному желанию.

Для меня не было большой новостью возможное перемещение спецпереселенцев из поселка вступившего в строй оборонного завода и то, что меня это может коснуться. Предчувствия о подобных мероприятиях властей меня не покидали. Небезразличным для меня было и то, что Сергей Андреевич уходит, но желая ему успехов и благополучия, я не сомневался, что добрые наши отношения он не нарушит и мы будем их сохранять. Он искренне сопереживал мои горести по поводу болезни моего сына, заверив, что всегда дружески будет готов откликнуться на мое обращение к нему.

В один из особо морозных дней января 1940 года мне случилось быть свидетелем, когда шофер автобуса отказывался отвезти сотрудников дирекции завода на представление балаганного цирка, прибывшего в Нижний Тагил. Свой отказ шофер мотивировал тем, что мороз в тот день удерживался на отметке минус 45–48 градусов, и были у него опасения разморозить радиатор. Представитель же дирекции (ни фамилии, ни должности его я не знал) никакие доводы шофера во внимание не принимал, был возмущен отказом шофера, настойчиво требовал выполнить его приказ. И тут черт меня дернул вмешаться в этот эпизод: я посмел поддержать сторону шофера.

— Что же вы так безразличны к справедливым доводам водителя? Для вас, что же, никаких законов не существует? — сказал я этому представителю дирекции, одетому в добротное



меховое пальто.

И тогда весь свой неудержимый гнев он обрушил на меня:

— Ах так! Как ваша фамилия?! Твардовский? Очень кстати, что вы попали мне на глаза! Завтра же придите ко мне в отдел кадров завода!

Автобус, кажется, в тот памятный день не был отправлен, но мне на другой день в отдел кадров пришлось-таки пойти. Начальником отдела был некто Лебедев. Тот самый, что приказал мне: "Завтра же..." Конечно, было ясно: член ВКП(б), сотрудник НКВД тех лет, разговоры могли быть только краткими и непременно на «вы». К тому времени заводоуправление размещалось в только что построенном здании, где мне еще не приходилось бывать, но вот я вошел в это здание в первый и, по существу, в последний раз. Лебедев был у себя. На мое "Здравствуйте!" он откинулся от письменного стола и произнес мою фамилию вопросительно: "Твардовский?" и сразу же сообщил: "Мы получили ответ из Смоленской области на запрос о вас. На основании чего предлагаю вам подать заявление об увольнении с завода. Вы меня поняли?"

Просить этого человека, объяснять ему о сложившихся тяжелых обстоятельствах у меня в семье я не нашел в себе сил, да вряд ли и могло это что-либо изменить — взгляд его не обещал сочувствия.

Положение мое очень осложнялось, и было отчего приуныть, но я крепился, не показывая того, как велика была моя печаль. Хлопоты о работе пришлось до поры отложить: жена с ребенком находилась в Свердловске, и надо было навестить ее. Что же касается работы, то в Нижнем Тагиле в те годы никакой проблемы не было — город был окружен стройками, и безработица никому не угрожала. Однако была проблема с продовольствием. Война с Финляндией заметно отразилась на снабжении городов Урала — в магазинах мало чего было, за хлебом рабочие стояли в очередях чуть ли не с полуночи. Не могу забыть, что, уезжая к жене, я не мог купить самый скромный гостинец, без чего просто стыдно было прийти на свидание, именно в больницу. Но что тут скажешь, если так оно было.

Приближалась весна 1940 года. Жена и сын были уже дома. После операции в области темени (это было заметно по рубцу после разреза) и пункции в позвоночнике, казалось, мальчик чувствовал себя лучше, хотя уверенности, что беда миновала, у нас не было. Оправдаются или нет его прогнозы, профессор мог сказать лишь по прошествии времени, и с этим мы согласились — младенца не спросишь, как он себя чувствует, жили надеждой на лучшее.

Работал я теперь на «Коксохимстрое», в группе аналитической отчетности планового отдела, где начальником был Сергей Андреевич Богинский. Работа не была для меня сложной, тем более что ввел меня в курс дела сам руководитель. С прежнего места жительства мы переехали в поселок треста «Коксохимстрой», который и назывался Кокс. Это был барачный, запущенный поселок, до предела перенаселенный; для нас едва нашлась комната-развалюха, в приземленном бараке, в который, видимо, никто уже не соглашался поселиться, так она была отпугивающе ужасна. В ней не было живого места: дверь, окно, стены, потолок, пол — все избито, изношено, обшарпано до крайней степени. Но куда было нам броситься, если таковы твои права — согласились, не нам было условия ставить. Так вот, молча, не оглядываясь на любопытных зевак — где их нет? — мыли, скоблили, как могли, латали, сохраняя терпение и супружеский лад, дабы не впасть в уныние, не утратить веру в свои силы.

В двадцатых числах июня 1940 года я получил повестку из военкомата Тагилстроевского района, согласно которой был обязан явиться 26 июня на призывную комиссию. О том, что буду призван для прохождения действительной службы в рядах Красной Армии, я как-то не

думал. Мне шел уже двадцать шестой год — случаи подобных предписаний бывали и прежде, но заканчивалось обычно тем, что на службу меня не брали, и это меня немало огорчало. Но на этот раз, после медицинского освидетельствования, мне был задан вопрос: "Есть ли у вас репрессированные родственники?" Я ответил, что из родственников таких нет. Но указал, что жена из спецпереселенцев.

— Так жена ведь — самый близкий родственник! — было утверждающе сказано одним из членов комиссии, и тут же было дополнено, что я призываюсь для прохождения действительной службы.

Жена была опечалена. Она сразу же представила, какое бедственное положение ожидает ее без меня: ребенок нездоров, пойти работать — надо сдавать ребенка в детские ясли, но больного туда не возьмут. Как жить? Денежных сбережений у нас не было, запасов продовольствия тоже. Все деньги, которые я получил при увольнении с работы, оставил жене, но это не было выходом из положения — уходил не на месяц, не на два... Тяжело было на душе.

Провожала меня Маша только до трамвайной остановки. Я не знал, что еще полные сутки буду в Нижнем Тагиле, во Дворце железнодорожников, и сожалел, что поторопился проститься с женой. Наверно, совсем не обязательно говорить, как много было таких же, как я, не прошедших вовремя действительной военной службы. Многие из нас были в возрасте двадцати пяти — двадцати восьми лет, имели семьи, работали на самых разных, порой ответственных должностях и теперь должны учиться и беспрекословно подчиняться своему прямому начальнику, который мог быть лет на пять-шесть моложе.

Наш эшелон был отправлен лишь вечером 27 июня. Под Ленинградом стало ясно, что везут нас на территорию, где совсем недавно шла война с Финляндией. Конечной остановкой стал город Сортавала, где на окраине, с его северо-западной стороны, в чистом поле, был разбит палаточный лагерь. Здесь мы были обязаны жить до осени, проходить курс молодого бойца, словом, учиться военному делу. Давалось нам нелегко: трудно было втягиваться в воинскую дисциплину, учиться военному языку, правилам доклада, рапорта, обращения к старшему и так далее. Осенью после принятия присяги в составе группы сослуживцев я был откомандирован в местечко Вартсиля и зачислен в первую роту триста шестьдесят седьмого стрелкового (пехотного) полка.

И опять напряженная служба. Именно в 1940 году в Красной Армии была значительно повышена требовательность: обучение проходило в обстановке, максимально приближенной к боевой. Совершались походы с полной боевой выкладкой, проводились тактические учения в полевых условиях даже в зимний период с ночевками в лесах у костра. Командир роты старший лейтенант Ребров отличался исключительной требовательностью, взыскательностью, даже бессердечностью по отношению к красноармейцам. Взыскание грозило за самый пустячный проступок — никому никаких снисхождений.

Особо заметных следов прошедшей военной кампании в тех местах не было. Городок не был разрушен даже в малой доле — он сохранился вполне чистым, даже нарядным. Но, в общем, мы очень мало знали о той зимней «незнаменитой» войне с Финляндией 1939–1940 годов. В нашем сознании еще жила вера, что если завтра война, если враг нападет — будем бить врага на его территории "малой кровью, могучим ударом".

В целом же служба в Красной Армии для нас проходила, наверное, самым обычным порядком, и была надежда, что так она и закончится и настанет день, когда мы возвратимся к своим семьям и будем счастливы. Так хотелось думать, так я писал в моих письмах к жене, чтобы хоть словом... чем же я мог ей помочь, кроме сердечного слова?

22 июня 1941 года я был в карауле и с четырех до шести часов утра стоял на посту по охране

и обороне склада учебных пособий. От армейских казарм склад находился примерно в пятистах метрах, и мне хорошо было видно, что в начале шестого часа от казарм мчался галопом красноармеец-связной, держа на поводу вторую лошадь для командира. Мне показалось странным, что связной был в неполной форме — на нем не было гимнастерки, а только нательная белая рубашка. Через несколько минут заметил, что в казармах и около них было необычайное оживление. Сначала подумал, что это учебная тревога, но тут же засомневался: "Что-то случилось особое". Вскоре сменились часовые, и я узнал, что Германия напала на Советский Союз и уже бомбила Киев. Все боевые подразделения полка оставили казармы. Наша рота заняла указанный участок обороны, рыла окопы, хотя еще было неясно, откуда можно ожидать противника. Обзор, однако, держали в сторону границы.

Первые три дня мы не слышали ни единого выстрела, но на четвертый стало известно, что финны напали на пограничную заставу, которая была в девяти километрах от расположения нашей части по прямой, через болото. Иных путей к заставе не было. В тот же день одно отделение нашего взвода ушло на помощь заставе. Через сутки из посланного отделения вернулись пятеро. Они рассказали, что к моменту их прихода заставка уже была занята финнами, что они встретили их автоматным огнем и что четверо из наших были убиты; одного товарища, раненного в живот, несли примерно половину пути, но по просьбе самого раненого оставили его на маленьком болотном островке. Он просил оставить ему гранату, а самим спешить в подразделение и рассказать обо всем, что произошло.

Это сообщение нас потрясло: оставить раненого товарища в одиночестве, на гибель — это никакими объяснениями нельзя было оправдать. Я не выдержал и с негодованием упрекал вернувшихся в том, что поступок их был жесток и неоправдан. Я считал, что оставлять тяжелораненого ни при каких обстоятельствах нельзя, что кто-то из них должен был остаться возле него и ждать помощи.

Война показывала нам свое жестокое лицо.

Наша рота в полном боевом составе была послана в район погранзаставы с задачей выбить из нее финнов и овладеть заставой. Путь туда, как уже было упомянуто, лежал через болото и две небольшие речки в зыбкой, болотной местности. Продвижение было медленным и трудным: более двух часов мы шли, подминая под себя мшистую гладь дикой тундроподобной равнины. Шли молча и, наверное, каждый из нас был охвачен гнетущей мыслью: приближались к затаившемуся коварному противнику, находящемуся в более выгодном положении, чем мы: он нас мог видеть, а мы его — нет.

Впереди обозначилось начало возвышенности, поросшей мелколесьем и кустарником, за которыми просматривались хвойные деревья, с прогалом по верхней части возвышенности. По цепи передали остановиться. Когда все подтянулись, была поставлена задача развернуться и продвигаться на возвышенность.

Мы шли широким фронтом, полагая, что где-то неподалеку находится погранзастава, занятая финнами. Зрительно мы держались друг друга, в напряжении ожидая встречи с противником, держа наготове винтовки. Один сержант как-то незаметно выдвинулся вперед, послышался выстрел и надрывной крик: "Я ранен, товарищи!" Мы увидели его лежащим. Вцепившись руками в ногу, он сбивчиво объяснял, что видел финского офицера, который опередил его выстрелом и успел скрыться. Последовала громкая команда: "Вперед!" Мы достигли вершины, где начинался крутой склон, залегли. Противник молчал. Не было видно и каких-либо признаков заставы. Впереди крутого спуска вновь обозначалось болото, и вряд ли нужно было нам продвигаться вниз по крутому склону, не уточнив обстановку. Но наше командование никаких уточнений не предприняло, мы начали спускаться. Вот тут-то и открыл противник полный автоматный и минометный огонь по нашей роте, пришив ее, как гвоздями, к крутому откосу, оставаясь невидимым и неуязвимым — наши ответные выстрелы были нецельными и, как говорится, в белый свет. Три четверти состава роты остались там, на

той возвышенности, среди диких болот. Добрая половина из оставшихся там была ранена. Спасти их мы не могли.

Вышло нас из этой «операции», по предварительным подсчетам, сорок два человека из ста шестидесяти списочного состава роты.

Оставалось загадкой, где были во время этой трагической «операции» командир роты старший лейтенант Ребров и замполит Вовк. Никто из оставшихся в живых не видел их в бою, и мы не знали, как нам быть дальше. Выйдя на дорогу неподалеку от первого места обороны, мы решили послать кого-нибудь в штаб полка (местонахождение его приблизительно было известно), чтобы дать знать командованию о том, что произошло, и получить какие-либо указания. Один из нас (фамилию не помню) согласился выполнить это поручение. К вечеру того же дня он возвратился и рассказал, что в штабе полка видел командира нашей роты Реброва и замполита Вовка. Они были отстранены от командования ротой.

Под командованием младшего лейтенанта Кормишина наша группа отходила в направлении Сорталавы, преследуемая финнами. Мы останавливались, занимали оборону, окапывались, но после непродолжительного сопротивления вновь отходили, неся потери в живой силе. На одном из рубежей обороны наша группа была частично усилена приписным составом, но положение оставалось по-прежнему критическим, и создавалось впечатление, что мы действовали вне связи со старшим командованием, не получали ни боеприпасов, ни пищи.

В районе местечка Харлу остатки нашей роты были присоединены ко второй роте, где командиром был старший лейтенант Жаров. Здесь нам разрешили немного отдохнуть. Вместе со мной Жаров отошел метров на семьдесят и расположился в маленьком домике на полу, чтобы немного поспать, а я стал подзаряжать диск его автомата ППД. В домике мы расположились по желанию самого старшего лейтенанта и, может, потому как-то не думалось о неожиданном нападении противника. Не было слышно никакой стрельбы. Но прошло минут двадцать, я только что успел подзарядить диск автомата и принялся осматривать свою винтовку, как услышал тихое пыхтение мотора. Взглянув в окошко, так и обомлел: в каких-то пяти — восьми метрах от домика медленно двигался, разворачивая башню, пятнистый танк со свастикой. Не помня себя, я бросился к задремавшему командиру, успел сказать, что рядом танк противника, и он все понял — схватил автомат, пулей выскочил из домика в заросли, которые были рядом. В то же время застрочили автоматы по домику, посыпались стекла и пыль, а я еще не успел собрать свою винтовку. Прижавшись к стене, лежа на полу, я не мог сообразить, что делать. Стрельба продолжалась, где-то рядом слышались чужие слова. Стук — дверь тут же распахнулась, и я увидел двух или трех финнов с автоматами наготове. Это случилось 16 июля 1941 года.

В точности не могу рассказать о том, какими мыслями я был занят в те первые минуты пленения, когда, крича и толкая в спину стволами автоматов, финны вели меня лесом без всякой заметной тропы. Видимо, не было во мне ничего, кроме страха и видений неминуемого конца, сожалений о том, что из прежних надежд ничто не свершилось, что так напрасно потрачены годы.

Показалась дорога, и это обещало надежду на некое продление... может, правда, лишь мучений и стыда перед собственной судьбой. Навстречу проезжали солдаты на велосипедах, реже — на мотоциклах. Они на ходу бросали своему сослуживцу, похоже, слова приветствий или вопросов, притормаживая, в упор всматриваясь в пленного: "Большевик?" И было до боли унижительно чувствовать себя в положении пленника. И вот ведет меня солдат, малой страны, не ведающий о том, что по классу я, в сущности, никакой не враг для него.

Полтора-два километра шли той дорогой, прежде чем свернули к подворью небольшой крестьянской усадьбы. Под купой березок были военные, дымилась кухня, стояли две рыжие лошади, за столом сидели офицеры. Среди них были говорящие по-русски, мне было

сказано: "Можете сесть", когда я был еще в пяти-шести метрах от стола. Через несколько минут привели еще одного пленного. К нему подошел офицер, говоривший по-русски, и я слышал, как этот пленный на очень плохом наречии недостойно рассказывал о положении в Красной Армии, показывая обувь, где почему-то, действительно, подошва у носка была оторвана и выглядела открытым «ртом». Его не стали слушать, велели сесть рядом со мной. Привели еще пленного, очень полного, похожего, на мой взгляд, отнюдь не на рабочего человека, а, скорее, на какого-нибудь снабженца или пищевода-руководителя. Ему тоже указали место рядом со мной. Грубостей и жестокостей финны пока не проявляли и не спешили расспрашивать о чем-либо из войсковой жизни.

Через некоторое время пришел небольшой автобус, на котором под охраной увезли нас километров за десять на другой хутор, где и допросили каждого из нас в отдельности. Вел допрос финский офицер, свободно владевший русским. Как и можно было ожидать, помимо имени, года и места рождения спрашивал, из какой части, о местах службы до войны, фамилии командиров, политруков, когда был призван по мобилизации. Последний вопрос был задан, видимо, потому, что по возрасту я должен был числиться в запасе и для него было непонятно, почему я призван в армию позже обычного призывного возраста. Были вопросы, относящиеся к области вооружения, на которые я не мог ничего ответить, кроме "не знаю". Но то, что я из 367-го полка, скрывать было бесполезно — финнам было известно, что в районе Вяртсиля стоял именно этот стрелковый полк. Свою истинную фамилию я не назвал, заменив ее другой, схожей в звучании — Березовский. Сделал так из опасений, чтобы никак не могли ее использовать во вред родственникам, например, братьям, которые тоже были или могли быть на фронте. Каждого после допроса уводили и закрывали в отсеке скотного двора, где уже было несколько пленных. В этом помещении нас держали дней пять, не проявляя ни интереса к нам, ни заботы о том, как мы себя чувствуем и в чем нуждаемся. Раз или два в день какой-то в штатском приоткрывал дверь, передавал буханку очень черствого трофейного русского хлеба, ставил ведро воды, произнося: "Посалуста, кушать руски лейп", и опять запирали дверь, лишая нас света и тем давая понять весь ужас жизни в плену.

Среди нас, семерых, не оказалось ни одного знакомого. Этот вопрос был важен для меня: в случае встречи со знакомым я тут же должен был предупредить его не называть меня по фамилии, а еще лучше — не знать вовсе. Это было началом неизвестности финского плена. Чувствовал я себя мучительно: мысли терзали насмерть. И никуда не деться, не изгнать из себя память о жене-мученице, о родных младенцах — жена оставалась беременной, она писала мне об этом, и я знал, что родилась девочка, по моей просьбе ее назвали Тamarой.

Наконец нас посадили в автобус и отвезли километров за двадцать-тридцать во временный лагерь. Это был большой сеной сарай с перекрытием из жердей, огороженный колючей проволокой. Там было до трехсот советских военнопленных. Русских оставляли внизу, а всех, принадлежащих к другим национальностям, в том числе и украинцев, заставили подняться на перекрытие (то есть на верхний ярус), что можно было понять, как в лучшие условия. О питании и санитарных условиях нельзя говорить без содрогания: находившиеся наверху справляли естественные нужды куда придется, из-за чего внизу было просто невыносимо. В этом лагере мне пришлось быть только двое суток. Встретил одного пленного из первой роты, из отделения минометчиков, который был ранен в ногу. Успел предупредить его, чтобы не называл меня по фамилии. Больше мне не пришлось его нигде встречать.

Из этого лагеря в группе из ста человек я был отправлен на какой-то металлургический завод. На этот раз этапировали нас пешком под конвоем со служебными собаками. Шли всю ночь, не отдыхая. Конвой был очень строгим: ругань и угрозы висели над нами непрерывно: "Рюсся, пер-р-келе! Са-атана! Юмалаута!" На завод пришли утром, где должны были разгружать металлическую стружку с железнодорожных платформ. Что это была за работа, описать трудно: от немыслимо сцепившейся и слежавшейся массы острорежущих стальных спиралей мы должны были голыми руками отрывать ком и сбрасывать его с платформы. Это

были неопишемые муки вконец измученных пленников, для которых ниоткуда нет и не может быть никакой помощи и никакого сочувствия. Кому адресовались их бессловесные проклятия, можно только предполагать, но что проклятий не могло не быть — это уже точно.

Лагерем для нас был временный навес с отгороженным из тонких досок отделением для кухни. Все это вместе с примитивной будкой-уборной было обнесено ограждением из колючей проволоки.

Поваром вызвался быть некто по фамилии Кунаев. Утром мы получали триста граммов ржаных галет (на весь день сразу), двадцать граммов сахара, пятнадцать граммов масла. Два раза в день получали по пол-литра ржаной затирухи, называвшейся по-фински «пуура» (каша). Но, в сущности, это никакая не каша, а просто баланда из муки, которую можно было пить без ложки. Продуктов было явно недостаточно, чтобы жить и работать по десять часов. Мы всегда были голодны и утомлены от бесправия, презрения, ненависти, несчастья, горя, страха.

Как-то после работы на солнце, в один из августовских дней, придя в лагерь предельно усталым, я зашел на кухню и попросил воды. Высохло во мне все внутри. Повар не дал мне воды, хотя она не была на строгом учете. Я просто не мог представить, что свой, советский человек может отказать в нескольких глотках воды, имея возле себя полную бочку этой природной спасительной влаги. Я схватил стоявший там же ковшик, быстро зачерпнул воды и стал пить, но повар вырвал из моих рук ковшик, выплеснув воду на землю. Я не стерпел, толкнул повара, назвав его подлецом. Как мне казалось — на этом эпизод и закончился. Но нет. Когда после ужина и поверки все улеглись друг возле друга ко сну, вдруг слышу, что меня разыскивает начальство лагеря в лице самого фельдфебеля. Ну, естественно, в таких случаях было положено явиться и сказать: "Господин фельдфебель! По вашему... такой-то... явился".

Фельдфебель был суров, зол и желчен. В минуты гнева он с лица бывал ужасен — все в нем клокотало. Точно таким он и был, когда я остановился в двух метрах от него и назвал себя. С трудом произнося русские слова, он сказал:

— Это правда, что вы ударили повара?

— Правда, господин фельдфебель.

— Вы зна... помниль, что вы есть военнопленный?

— Да, господин фельдфебель, помнил.

— Почему ударить повара?

— Я очень хотел пить, я попросил, но повар не дал... воды, я не выдержал...

Он астматически прохрипел, задохнулся и медленно проговорил:

— Я хотел вас застрелять, но вижу, вы говориль правду... Поэтому застрелять вас не буду.

С этим он меня и отпустил, но для меня было уже совершенно ясно, что этот человек не задумается, что перед ним беззащитный, и может лишить его жизни.

После этого случая прошло недели полторы-две, как один пленный совершил побег. Не могу даже представить, где, в какой момент он успел быть вне наблюдений охраны. Никто этого не приметил, и никто не знал ни по имени, ни в лицо убежавшего. Поднята была тревога: нас пересчитывали с таким ожесточением, с такой поспешностью и негодованием, что казалось, вот-вот застрочат автоматы по перепуганной, вконец затурканной массе изможденных рабов.

Бежавший был задержан на второй день. Недалеко от лагеря его держали в бане, где, надо полагать, били нещадно. Перед заходом солнца всех нас построили в две шеренги. Фельдфебель появился с переводчиком и, остановившись метрах в десяти от пленных, объявил:

— Бежавший пойман! Из Финляндии никто не может убежать! Каждый, кто будет пытаться бежать, будет пойман и расстрелян!

Затем привели раздетого до белья бежавшего, чтобы показать, что он действительно пойман. Нам было приказано войти в сарай. Минут через пять прозвучал выстрел. Все были подавлены, никто ничего не говорил в голос — стояла гнетуще-шелестящая тишина. Люди думали о войне и о судьбе.

Но почему же группа пленных в сотню человек не пыталась выразить протест: кричать, ругаться, требовать: "Не смей! Будь проклят! Мы отомстим!"? Почему все молчали, не посмели сказать ни единого слова? Неужто все эти люди были подлецами? На такой вопрос я не знаю, что ответить. Видимо, людей подавил страх: каждый боялся того, что палач не пощадит любого, выдернет из толпы и тоже. Бог знает, что могут с ним сделать. Ведь это было начало войны, Красная Армия не могла сдержат натиск врага, и слухи об этом доносились в любую точку мира, в том числе и в лагеря для пленных. Враг торжествовал и глумился, и надо понять тех, кто в первые дни войны оказался в плену: умереть, конечно, каждый имел возможность, даже находясь в плену. Но вот мне не пришлось видеть таких, кто решился бы подставить себя под автоматную очередь, не принося этим никакой пользы Родине.

К осени 1941 года на грузовых машинах нас перебросили километров за двадцать в селение Тохмаярви. Так же называлась и местная железнодорожная станция. Здесь же был кирпичный завод, принадлежавший частному предпринимателю, но завод почти бездействовал, на нем было не более пятнадцати рабочих, да и то преимущественно женщин. Сушильные камеры этого завода использовались для сушки древесной чурки, которая шла на топливо для газогенераторных автомашин. Вот пленные и были поставлены на эти работы — загружать и выгружать чурку. Ее в специальных ящиках вдвигали по прокладкам вглубь камер, в пять-шесть ярусов, а после просушки таким же порядком вытаскивали и наполняли чуркой бумажные мешки. Работа на этих камерах могла бы считаться и не весьма трудной, но ведь в камерах всегда было очень жарко — плюс пятьдесят — шестьдесят градусов; так что нелегко слабому и подневольному человеку работать в таких условиях, и спасались только тем, что сменяли друг друга.

Отношение к пленным здесь было значительно мягче, и объяснялось это тем, что были мы на виду у тех немногочисленных финских рабочих, которые относились к нам довольно сочувственно, а потому и охрана вела себя более терпимо. Находясь на работе, мы могли встречаться с финскими рабочими, но было досадно, что никто из нас не знал финского языка, как и сами финны — русского. По этой причине контакт был очень затруднителен, его, по существу, просто не получалось, и я приходил к выводу, что надо всеми доступными средствами изучать финский язык. Впереди была полная неизвестность, а стало быть, при любых обстоятельствах знание языка могло играть очень важную роль.

Изучение финского я начинал с того, что терпеливо заучивал отдельные слова. Но не зная фонетических особенностей произношения, не зная частей речи, не имея представления о словообразовании, не имея ни словаря, ни каких-либо иных учебных пособий, изучение чужого языка оказалось делом очень непростым. И все же я не оставлял этих моих занятий и где бы только ни случалось слышать живую речь, я с предельным вниманием вслушивался, стараясь понять и запомнить хотя бы отдельные элементы разговорной речи. Кстати, возможность такая была. Вместе с пленными все время работал один дежурный финский рабочий — мастер на все руки: он и плотник, и электрик, и механик. По первому сигналу он

тут же появлялся там, где была в нем нужда. Человек он был удивительной доброты и терпения. Каждый день он приезжал на велосипеде с какого-то отдаленного хутора, всегда вежливо здоровался: "Хюая пйвя!", что по-русски означало: "Добрый день!", делился сигаретами, и все мы были рады его появлению, его радушию и сочувствию. Его фамилия была Койвунен. Мы так и обращались к нему: "Херра Койвунен, здравствуйте!" (херра — господин). Конечно, никаким господином он не был, и, видимо, такое наше обращение к нему было непривычным и странным, он очень смеялся, но не поправлял и не обижался.

Здесь, на окраине селения, специально для пленных была построена небольшая казарма и отдельно — кухня и туалет. Все это было обнесено ограждением из колючей проволоки с вышками для охраны. Внутри казармы — сплошные нары в два яруса к одной из сторон помещения и два окошка, освещавших проход возле нар. Площадь казармы была равна примерно ста метрам — не более одного квадратного метра на человека, что дает представление и о санитарных условиях — невыносимая скученность и скверный запах испарений.

Здесь же, в Тохмаярви, случилось ЧП, повлекшее большую неприятность. Двое пленных рискнули отлучиться в дом местного жителя и попросить что-нибудь съестного. Как рассказывал сам хозяин дома, просьбу их он понял и предложил им кофе с бутербродами. Но надо понять, что такое мизерная финская чашечка кофе для изголодавшегося человека! Она не могла утолить голода. Поблагодарив хозяина, с тем они и ушли. Хозяин не вышел их проводить, а при выходе, где-то на веранде, они увидели стоявшую миску со сливочным маслом и, черт их попутал, не смогли удержаться, чтобы не забрать ту миску. Кто-то из них сунул ее под полу и, прижав локтями, унес, не будучи замеченным. В обеденный перерыв, когда все мы были в казарме, послышался приказ: "Всем быстро выйти и построиться!" На площадке возле казармы стоял озлобленный фельдфебель, немного в стороне — два солдата с винтовками, пожилой мужчина (финн) в гражданской одежде и переводчик.

— Внимание! Сегодня двое военнопленных самовольно вошли в дом приват-хозяина, где их угощали кофе. Приказываю: тем, кто были в самовольной отлучке и зашли в дом приват-хозяина, выйти из строя!

Никто не вышел. Все замерли в молчании. И никто не знал, в чем дело, естественно, кроме тех, кто отлучался.

— Повторяю! Двое пленных, которые сегодня отлучались без разрешения и были в доме частного жителя, — выйти из строя!

Никто не вышел и при повторном приказе. Полное молчание. Фельдфебель что-то сказал хозяину, и тот пошел вдоль шеренги, всматриваясь в лица. Шел медленно, приостанавливаясь и... узнал: "Хян! Тямя миес!" — отступил на шаг в сторону, пальцем указал на пленного. Затем прошел дальше и указал на другого: "Хян!"

Солдаты несчастных выдернули из строя, переводчик потребовал признаться, что заходили в дом, но они не признались. Их завели в казарму, где они должны были указать свои места. Через несколько минут их вытолкнули из казармы. Под тряпьем у изголовья ребят нашли ту злосчастную миску с куском масла.

Провинившихся поставили отдельно перед строем, объявили приказ: "За самовольный уход и воровство будут отправлены в штрафной лагерь!" Солдатам было приказано: "Увести!"

Месяца три-четыре наша группа находилась в Тохмаярви. Затем нас погрузили в вагоны и увезли на территорию Советской Карелии, высадили на станции Пяжиевая Сельга. В 1942 году эти места были оккупированы Финляндией. Лесной поселок не был ни сожжен, ни разрушен, но жителей, оказавшихся в оккупации, было очень мало, и видеть их случалось лишь на расстоянии. Как они там жили и чем занимались, сказать не могу.



Какие-то планы финнов не оправдались, и, продержав нас около месяца в Пяжиевой Сельге, они были вынуждены перевезти нас в Петрозаводск, в бывший советский лагерь НКВД, который полностью, со всеми лагерными службами, сохранился. Одновременно с нами в этот лагерь прибыла группа из другого места, и теперь здесь было не менее ста пятидесяти военнопленных. Всех, кроме лагерной обслуги, водили на оборудование цеха на месте строительства тракторного завода, которое было начато на берегу Онежского озера в полутора километрах от лагеря. Полностью законченных объектов там не было, лишь отдельные производственные корпуса из шлакоблоков были возведены до уровня перекрытий, на других — только фундаменты да опорные колонны. Стояли там и многоэтажные коробки, похожие на административные здания, также оставшиеся незавершенными. Был там и один совсем небольшой корпус под кровлей, который привлек внимание финнов, решивших организовать в нем производство березовой чурки для газогенераторных автомашин. В это время, как никогда прежде, в Финляндии вставал вопрос о бензине: все их автомашины работали тогда на древесном угле или на сухой березовой чурке.

На этом оставленном Красной Армией строительстве побывало много финских спецов. Они лазали по объектам, о чем-то судили и рядили, но по всему было видно, что чувствовали они себя временщиками и ни о каком использовании незавершенного строительства, похоже, не помышляли. Было более чем странно, что финны ничего иного не могли придумать, как убрать мешающие проезду крупные блоки и колонны и заставить пленных копать яму возле каждого блока или каждой колонны и таким образом захоронить их навечно в земле. Каких-либо механизмов для подъема и перемещения многотонных изделий у них здесь не было, поэтому впрягали пленных в эту работу.

Общая картина была крайне гнетущей. Полностью сохранившийся лагерь НКВД, где содержались советские заключенные, теперь, по иронии судьбы, был использован финнами для пленных. Здесь все свидетельствовало о далеко не лучших условиях, в которых содержались заключенные под эгидой НКВД в сравнении с тем, что заново создавались финнами для пленных. Но ведь финны в данном случае — наши враги и поработители. И не они опутывали этот лагерь густой сеткой колючей проволоки, не финны построили отдельно стоящий БУР (барак усиленного режима) с ограждением высотой в четыре метра и нарами из круглых жердей; финны до такого не додумались. Получалось так, что обитель мы сами себе уготовили, и тут уже не скажешь, что финны — жестокий народ, а мы — гуманисты. Тут и речи не может быть! Дошли до пленных и слухи о том, что "у нас нет пленных, есть предатели и изменники". Куда же еще яснее? Значит, нет нам возврата на Родину? Или "из плена — в плен", чтобы стать лагерной пылью. И мысли такие преследовали меня постоянно, как больного. А может, я и был уже болен, поскольку нагрузка на психику невыносимо беспредельна. Такие симптомы я чувствовал: солнце порождало непередаваемую тревогу и грусть, я часто плакал, вспоминая родных: жену, детей, мать, отца, братьев, сестер. Конечно же я понимал, что судеб, схожих с моей, миллионы. Да что ж из того? У каждого на этот счет свой взгляд, своя природа.

Приехали финские гражданские специалисты и тут же приступили к монтажным и всяким прочим работам. Для выполнения тяжелых, грязных и трудных работ они привлекали пленных. Работы велись довольно долго, месяца три. Был установлен паровой котел, подведено электроснабжение, построено несколько сушильных камер, поставлен транспортер, циркульные пилы и прочее. В этот период, пожалуй, находиться под началом гражданских специалистов было легче и проще, и объяснялось это, видимо, тем, что в большинстве своем специалисты были интеллигентными людьми, они не позволяли себе грубостей по отношению к пленным. Хотя и это не меняло общего положения в вопросах питания и условий в лагере, но все же к нам относились по-людски, а это что-то да значило. Помню и такое. Когда инженер заметил, что я проявляю интерес к финскому языку, пообещал купить для меня русско-финский словарь, и слово свое сдержал, за что я был немало

благодарен ему. Но, как выяснилось впоследствии, этот благожелательный жест инженера не прошел незамеченным, и ему было-таки указано, чтобы впредь такое не повторялось. Это я смог понять из объяснений самого инженера: "Узнал луутнанти" (лейтенант).

Таинственная фигура в форме финского офицера, действительно, время от времени попадалась на глаза — на местах работ и в самой лагерной зоне. Он появлялся неожиданно-негаданно; в одиночестве, ни к кому не обращаясь, степенно, как может позволить себе человек на прогулке, ходил по зоне лагеря, в задумчивости останавливался. Кое-кто из пленных видел этого человека в местах изначального их пребывания в плену и с осторожностью поговаривал, что именно он уводил куда-то пленных, после чего их никто уже не видел... Внешне этот офицер был элегантен и красив, но было в его лице нечто холодно-мрачное и отталкивающее, взгляд был всегда направлен как бы внутрь себя. Называли и фамилию его: Хильянен, что по-русски означало «Тихий». Видеть мне его пришлось, может, всего пару раз, но личность его я хорошо запомнил. И так вот было угодно судьбе, что месяца через два мне пришлось оказаться в его власти и на себе испытать весь ужас его должности (об этом расскажу немного погодя).

К осени 1942 года организованное финнами чурочное производство начало работать. Никакой особой механизации там не было: вертелось десятка полтора трофейных циркульных пил. Самым примитивным образом, с ручной подачей, работали на этих пилах пленные, тут же рядом вручную кололи чурку; дальше она шла в сушильные бункера, затем, высушенную, ее ссыпали в бумажные мешки, там же грузили на автомашины и увозили. Так и продолжалась эта нудная, изнуряющая шумом и визгом работа...

К часу дня на лошади привозили с лагерной кухни бочку обеденной баланды (жидкой мучной затирухи), и работа прекращалась. Пленные обступали ее со всех сторон, у каждого наготове какая-либо банка, миска или старый, где-то подобранный советский котелок. Эти жалкие посудины пленные всегда держали при себе, сберегая как ценнейшее имущество. Терпеливо и вожделенно ожидая своей скудной порции, они медленно продвигались очередью вокруг той повозки с бочкой, подставляя свои посудины под выныривающий ковш, отходили в сторону и тут же, часто без ложек, трясясь, выцеживали все, что досталось. Хлеба к этому часу, конечно, никто уже не имел — сохранить полученный утром было выше сил.

Проследивая вновь и вновь обстоятельства и причины, приведшие этих советских людей к столь драматическому положению, нельзя не учесть и не признать, что причиной-то оказалась полная неспособность командования предвидеть обстановку и соответственно имевшимися в его распоряжении силами организовать боевые действия. Не могу забыть, как нелепо была на три четверти загублена наша первая стрелковая рота 367-го стрелкового полка близ местечка Вяртсиля в первом же бою. Мы были буквально брошены под истребительный огонь врага, хотя самого-то врага так и не обнаружили — враг, поджидая нас, был хорошо замаскирован. Там, где-то у заставы, мы оставили убитыми и ранеными не менее ста двадцати человек, едва ли причинив какой-либо урон врагу. Куда уж более доказательный факт преступного незнания обстановки и ведения боя! Да к тому же еще бегство с места боя самого командира роты Реброва и его замполита Вовка. Объяснить этот случай, пожалуй, нельзя ничем иным, как преступным расчетом, что война все спишет. Но какой же ценой можно измерить тот моральный ущерб, который понесли в своих душах оставшиеся в живых?..

Я второй раз упомянул о моем первом дне войны совсем не для оправдания, что оказался в плену, что остался жив. По прошествии более полувека, когда за все мои несчастья оплачено, кажется, самой дорогой ценой, мне совсем не хотелось бы вновь видеть себя, пусть даже мысленно, узником одиночки Лубянской тюрьмы с ее непременными ночными допросами 1947 года, вновь выслушивать решение Особого совещания, пройти этапом через всю Транссибирскую магистраль, через все пересылки и произвол блатных, вновь увидеть себя в Чукотлаге, везущим на санях ящик с костлявыми трупами, чтобы свалить их в заранее

вырытую бульдозером траншею на втором километре от поселка Эгвекино...

Очень не хочется вспоминать об этом, но читатели моих первых публикаций напоминают, что хотят знать обо всем дальнейшем.

Среди пленных в Петрозаводском лагере был финн, родом якобы из какого-то района Ленинградской области, с его слов — бывший студент третьего курса Лесотехнической академии. В рабочей зоне он исполнял роль переводчика. На втором году пребывания в плену для узников лишь в редких случаях возникала необходимость в переводчике — многое они понимали вполне на финском языке, но поскольку бывший студент был финном, то для него условия были особые, и это его вполне устраивало — физически он не работал. Появился он в этом лагере как-то незаметно, его откуда-то привезли с нарочным, как переводчика. Но это никого и не удивляло — перемещения бывали всегда. Для меня появление такого пленного было кстати: интересуясь финским языком (я этот язык хотел знать как можно полнее), я всегда мог обратиться к нему с любым вопросом и тут же получить ясный и толковый ответ. Мне приходилось иногда беседовать с этим человеком, порой откровенно и доверительно, в том числе и о том, как прошла моя молодость, как сложилась судьба, всегда ли человек в силах организовать свою жизнь так, чтобы она была радостной и счастливой. Чаще же наша беседа переходила к теме о войне, о всенародной трагедии, то есть к неопишуемому горю, великой беде каждого, где бы он ни был и кем бы он ни был (имея в виду прежде всего судьбу простого человека, судьбу солдата). Конечно же посылали проклятия фашизму и Гитлеру, но вот Сталину — нет, чего не было, того не было, хотя и тогда мы знали о его жестокостях, но остерегались, может, только таили внутри себя. Впрочем, кое-что я мог и рассказать, например, о моих скитаниях в ранней юности, о тех несправедливостях, которые я испытывал все десять довоенных лет, о том, что семья отца подверглась высылке в период коллективизации и что все это лишает меня надежды на возможность благополучного возвращения на Родину. Это есть самое страшное что только можно представить: меня постоянно жгла и бередила душу память об оставленной на Урале семье — у жены на руках было двое малых детей и, что в ее крайне бедственном положении, она, не могла рассчитывать ни на какую помощь ни от кого, тем более будучи спецпереселенкой.

Шел второй год войны. На финском участке фронта не было слышно об активных военных действиях. Но всем было известно, что кровопролитные сражения продолжаются на огромных пространствах Центра и Юга нашей страны. Война приняла затяжной характер, и конца ей не было видно. Эта жестокая правда отзывалась в душе каждого пленника уроком и отчаянием при осознании полной бессмысленности своего рабского существования, упованием на милость врага за покорность и смирение.

Советскую листовку с броским заголовком "ПОСМОТРИ И ОТОМСТИ!" я поднял на территории строительства, когда нас только стали водить туда на работу. Ниже заголовка художник изобразил распластанный труп зверски убитой девушки: порванное платье, обнаженная грудь, разметанные волосы, на лице, шее и груди пятна крови. Ниже рисунка две строки текста, призывавшего помнить, что на захваченной врагом территории "могут оказаться твоя сестра, жена, мать..." Сложив вчетверо, я сунул ту листовку в нагрудный карман да так и носил при себе. Мне почему-то казалось, что листовка предназначена была для партизан, и потому я думал, что вдруг однажды партизаны дадут как-то знать о себе и, может, чего не бывает, помогут освободиться из лагеря... Но мысль такая не закреплялась: нас, пленных, держали на работе на очень открытом берегу Онежского озера — препятствие для партизан непреодолимое, укрыться им тут негде.

Листовку я иногда показывал кое-кому из пленных, но заметил, что они не хотят подпадать под какую-либо неприятность, остерегаются, боятся. А один раз я показал ее тому студенту-финну, с которым случалось беседовать и делиться раздумьями. На следующий же день на место работы подъехала машина-бобик. Из нее вышел человек в штатском, тут же

увидел и подозвал к себе студента. Они посоветовались между собой, студент обернулся и, заметив меня, подал знак рукой, чтобы я подошел.

Человек в штатском, бегло взглянув на меня, открыл дверцу машины и сказал: "Олкаа хювяа!" {6}

"Приглашение" ехать Бог знает куда, я воспринял тревожно; обратясь к студенту, успел спросить:

— Почему без ведома начальника лагеря, фельдфебеля, намерены куда-то меня увести?

На мой вопрос ответил гость... на вполне правильном русском языке:

— Господин фельдфебель в курсе — ответственность за это несу я, лейтенант финской армии... — назвал и фамилию, не помню какую.

За рулем был солдат. Человек в штатском сел на заднее сиденье вместе со мной, но на отдалении и несколько повернувшись в сторону ко мне. В пути никаких вопросов не задавал. Ехали минут тридцать — сорок, остановились возле здания сельской школы, в какой-то карельской деревне, оставленной жителями. Как называлась та деревня, мне не пришлось узнать. У подъезда школы стоял часовой, и здесь, на виду у часового, человек в штатском меня оставил, а сам вошел в здание. Минут через пять — десять меня ввели, похоже, в бывшую учительскую, где я увидел сидевшего за столом финского офицера, кажется, в звании майора. Здесь же были и сопровождавший меня, и другой, которого я увидел впервые.

Предлагая мне сигарету, майор обратился ко мне на финском языке:

— Олкаа хювяа! Мейлля саа поллтаа! Пухутте-ко суомаа? {7} Поблагодарив за сигарету, я ответил по-русски, что финский понимаю очень слабо.

— Хорошо. Мы будем говорить по-русски. Да, вот что, — он взглянул на того, кто привез меня сюда, — позаботьтесь, чтобы нам был кофе, и... затем оставьте нас пока одних.

Присутствующие вежливо отдали честь и удалились. Майор, пристально всматриваясь в мое лицо, ставил меня в положение в чем-то подозреваемого, и я это понимал, поскольку доставлен был сюда по прошествии только одного дня после случая, когда я показал студенту-финну листовку "Посмотри и отомсти!". То, что у меня есть листовка и что я показывал ее некоторым пленным, отрицать не считал возможным, хотя и понимал, находясь под испытующим взглядом офицера, что уже одного этого достаточно для подозрения или даже обвинения меня в каких-либо запрещенных действиях, направленных против финнов. В общем, спустя почти полсотни лет установить истинную цену тех мгновений — бесполезная трата сил. Но вот что, с чего и как начал майор вести дознание, воссоздать в памяти можно почти полностью.

Прежде всего он дал понять, что если заподозрит, что его хотят обмануть, то это может кончиться очень плохо. После этих слов его лицо стало суровым, с проявлением черт ненависти, чего не замечалось, когда он, предлагая закурить, говорил, чтобы принесли кофе.

— Отвечайте. Вы есть коммунист? Вы были членом Ве Ка Пе Бе?

— К моему сожалению, членом ВКП(б) я никогда не был.

— Как понять ваше "к сожалению"? Вы хотели им стать, но не смогли? Что же сожалеете, почему?

Такие вопросы ставили меня буквально в тупик. Что мог я ответить финскому офицеру?

Видимо, только то, что мол, судьба: по независящим от меня обстоятельствам оказался в числе недостойных чести быть комсомольцем, а стало быть, и коммунистом. Или же что все десять довоенных лет скрывал, что вся семья отца была репрессирована, что бежал из ссылки? Что это была жестокая несправедливость по отношению известной части крестьян со стороны Коммунистической партии? Тогда о чем сожалеть? Не знаю, не знаю, как такое понять со стороны, но было, было именно так: я сожалел, завидовал и про себя роптал, как любой из моих сверстников, разделивших такую участь. Но что-то я должен был ответить на вопрос финского офицера, например, что если бы я был коммунистом, то, вероятно, получил бы образование, стал бы, может, опытным командиром, смог бы на войне решить поставленную задачу более правильно и не оказался бы в плену.

Но все это было не главным для офицера. Его волновал вопрос о листовке, попавшей в лагерь пленных.

— С какой целью, — начал он, — вы держали у себя советскую листовку и показывали ее пленным?

Я ответил, что никакой цели я не преследовал тем, что поднял на стройплощадке залетевшую листовку. Листовка для меня — голос борющейся Родины, у каждого есть чувства долга, тем более находясь в плену. Об этом никто не должен забывать.

— Кому вы ее передали?

— Листовка находится у меня, вот в этом кармане. Я могу ее показать вам. — Я вытащил листовку из нагрудного кармана и подал офицеру. В эту минуту я ожидал, что он разразится гневом, и уже был готов выслушать злые обвинения, но, слава Богу, этого не случилось, хотя листовка ему явно не понравилась. Горячась, он тряс ей передо мной, отвергая возможность подобных злодеяний со стороны финнов: "Это не есть документ! Графика — не фотоснимок! Плохая пропаганда!"

Наш «диалог» ненадолго прервался, майор встал, тихо обронил:

— Хеткисен вайлле {8}, — и вышел из комнаты, оставив меня одного.

Тут же, видимо по его приказанию, в комнату вошел чиновник. Когда майор возвратился, то, как бы уточняя, спросил:

— Ваш номер — шестьсот три?

— Да, шестьсот три, — подтвердил я.

— А теперь вот о чем. Что вам известно о партизанах, которые действуют в тылу финских войск?

Мой ответ, что о партизанах мне ничего неизвестно и что считаю этот вопрос явно надуманным, майора не удовлетворил, и он с наигранной злостью разразился вопросом еще более провокационным:

— Есть подозрение, что вы имеете связь с партизанами посредством оставления записок в условных местах и при содействии местного населения эти ваши записки попадают в руки партизан. Что вы можете ответить по этому поводу?

— Как можно заподозрить меня в том, что пленному, находящемуся под постоянной охраной, вообще невозможно сделать?

Я почувствовал что задача поставлена любыми средствами уличить меня в связях и пособничестве советским партизанам.

В доказательство моей преднамеренности содействовать партизанам приводились слова из моих ответов, в которых я высказал мое сожаление, что не случилось стать коммунистом и что каждый человек должен помнить о долге перед Родиной. Но как-то угадывалось, что, разжигая в себе чувство ненависти, майор не мог полностью подавить в себе сострадание. Это подтверждалось и тем, что он то и дело вставал из-за стола и в глаза уже не смотрел — что-то мешало... "Уведите!" — было последнее его слово.

До наступления сумерек меня, вконец подавленного, продержали запертым в какой-то кладовке. Степень бесправия так значительна, что, будучи голодным и ослабшим физически, не рискуешь заявлять об этом; в обостренном слезении звуков — надежда хоть как-то предугадать ближайшие повороты судьбы. Это томительное ожидание длилось неизвестно сколько, может, всего лишь полчаса; но ведь ты ничем не защищен, сделать с тобой могут все, что кому-то пожелается, так что и минуты кажутся нескончаемо долгими.

Услышал фыркание подошедшей к подъезду машины. Хлопок дверцей. Послышались шаги по ступенькам, по коридору. Еще несколько минут... Меня выпускают, куда-то увозят. Минут через пятнадцать — двадцать подъезжаем к какому-то лагерю. Я различаю в тусклом освещении ограждение из колючей проволоки, что-то похожее на вахту, но машина не останавливается, поворачивает и уходит в сторону; метров за двести от зоны остановилась возле домика финского образца.

В комнате размером примерно четыре на четыре метра возле стола с телефоном я увидел, можете себе представить, того самого лейтенанта Хильянена, которого случилось видеть два-три раза в лагере, из которого меня взяли. "Зачем бы это меня к нему?" — мелькнуло во мне, но страх еще не возник, еще нельзя было разгадать, чего от меня ждут. Хильянен сидел откинувшись на спинку стула, его правая рука лежала на столе. В общем, весь он выглядел беспечным, как бы находясь в ожидании чего-то ему положенного — нога на ногу, дымящая сигарета в левой руке.

Да, это, как сейчас говорят, было, было. Но я не уверен, что спустя много-много лет смогу воссоздать средствами только слова имевший место эпизод из моей жизни в плену. Но куда ни шло — попробую передать словами.

В комнате двое: я и Хильянен. Я слышу приказ: "Дальше, еще дальше, к стенке станьте". (Может, не «станьте», а "стань!", не помню.) Приказывал резко и повелительно, и я послушно пятился, не спуская с него глаз. И все же я не заметил того момента, когда в его правой руке появился пистолет. Он держал его направив на меня. Этаким черным, блестящим, настоящий, в чем сомнений не могло быть, и я, находясь под страшным, дьявольским взглядом, окаменел: здесь было не до шуток.

— Повернись лицом к стенке! Повер-р-ни-ись! — прозвучало болезненно-истощно, и тут же, в унисон с этим диким, нечеловеческим требованием, громко, с вспышкой раздался выстрел и повторяющееся: — Повернись! Повернись к стенке. Посмотри же! Обернись!

Не знаю, не знаю... может мне не поверят, что так это было, но я предпочел, коль уж так, — нет, не повернулся я. Я понимал, что убить он меня может и спроса с него не последует, но сделать это, глядя мне в лицо, в глаза, он избегает потому, что боится, что сам сойдет с ума. Так мне думалось в те кошмарные минуты.

В бешенстве он бросил пистолет на стол и произнес такие слова:

— На! Бери и стреляй в меня! Стреляй в финского офицера! Я, право же, не знал, что сказать: передо мной был другой человек, и сказал он еще такие слова:

— Всю жизнь я хотел быть таким, как ты, но не смог... Я родился в Харькове.

Такое его признание мне показалось странным и непонятным, но в тот момент не хотелось ничего о нем знать, я молчал, заподозрив в нем психически больного человека или же наркомана. Выглядел он помятым, сникшим. Неловко опираясь на стол, встал, склоня голову, сказал:

— Пойдем! Сопровожу в зону.

На вахте, передавая меня охране, он распорядился, куда меня определить, то есть водворить, и — можно ли было от него ожидать? — побеспокоился, чтобы дали мне поесть.

Переночевать поместили в барак, похоже, достойный памяти тех «героических» дней строительства Беломоро-Балтийского канала, когда заключенным представлялось заработать "путевку в жизнь". В узких проходах между почерневших двухэтажных деревянных коек я нашел шестерых русских военнопленных, предназначенных для отправки куда-то в другое место. Утром, получив дневной паек продовольствия, охрана предупредила, чтобы готовились к этапу. Было уже довольно холодно, а на мне была только легкая трофейная английская (может, американская) куртка, и я попросил что-нибудь из верхней одежды. Принесли русскую телогрейку, чему я был очень рад. Когда нас вывели на посадку, крытая спецмашина уже стояла возле вахты лагеря. Сержант из охраны по списку называл номер военнопленного, на что последний должен был ответить, называя свою фамилию и имя, и подняться в машину. Наконец дверца глухо и мягко захлопнулась, лязгнул запор, дрожью передалось от мотора, и машина тронулась. Куда нас везли, мы не знали.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Когда солдат открыл дверцу машины и сказал: "Алас пайн!", — что означало "Выходите!", мы увидели, что находимся у подъезда просторного бревенчатого здания с большими окнами, которое могло быть не иначе как сельской школой до оккупации этих мест финнами. Выглядело это здание вполне добротно: бетонный фундамент, двухстворчатая входная дверь, подъезд с широкими ступеньками, кровля железная. И было не по себе видеть, что на запустевшей площадке, где должны бы резвиться крестьянские дети, дымилась походная армейская кухня. Возле котла возился в белом фартуке поверх телогрейки какой-то усатый мужчина, не обративший ни малейшего внимания на группу, только что выбравшуюся из закрытой машины. И мне подумалось: "Остерегается, вдруг да окажется кто-нибудь из знакомых, да по имени назовет? Зачем ему такое знакомство?" Тем временем охранник отошел в сторону, держа автомат на ремне перед собой. Вскоре на ступеньках подъезда появился человек в финской военной форме, совсем не свежего вида, без знаков отличия, взглянул с прищуром на прибывших пленных, а затем на бумажку в левой руке:

— Внимание! Номер 603 есть?! Пройдите со мной!

Таким образом, я оказался первым из группы «приглашенным» в приметный дом. Сверху он напоминал по форме букву «Г»; светлый коридор тянулся в двух направлениях вдоль тыльных стен с окнами. В комнате я увидел финского лейтенанта лет пятидесяти. Он сидел за столом, просматривая какие-то бумаги, тут же, вскинув голову и посмотрев на меня, предложил сесть. Кроме меня и этого офицера, в комнате никого не было. Ничего похожего на кабинет: простенький стол, телефон, несколько жестких стульев безмолвно указывали, что все здесь временное, трофейное.

Держа перед собой, как я мог понять, сопроводительные бумаги и говоря свободно по-русски, офицер начал задавать вопросы. Я должен был назвать свой номер, фамилию и имя, откуда родом, где и когда был пленен, — словом, поначалу обычные вопросы к военнопленному, которые не раз приходилось слышать и отвечать на них. Затем он стал задавать вопросы иного порядка, как, например, знаю ли я имена тех сослуживцев, которые тоже находятся в плену в Финляндии. Я ответил, что встречать таких не случалось.

— Фамилию «Глозман» не помните? — спросил офицер как бы между прочим.

Это кольнуло меня: находясь в плену, я слышал, что Глозман действительно находился в плену, и подумал, что при каких-то, все возможно, обстоятельствах могут спросить и его в том же духе — помнит ли он Березовского, под именем которого я нахожусь в плену. Этому имени Глозман, конечно, знать не мог. На вопрос офицера о Глозмани я вынужден был ответить, что не помню; дескать, может, такой и был, но не в одном со мной взводе. После этого, понизив голос, офицер сказал:

— Никому ничего не рассказывайте о себе. Ваше настоящее имя будем знать только мы. Вы так же не должны что-либо узнавать, с кем вам придется находиться вместе. Вы будете называть себя Грозовым. Запомните это!

Эти предупреждения представились мне совершенно неожиданными и еще более — загадочными. Я тут же позволил себе спросить:

— С чем, скажите мне, может быть связано ваше предупреждение, по какой причине я должен держать себя инкогнито — жить в тайне, скрытно? Где я нахожусь?

— Вы находитесь в плену. Не будьте столь наивным, ваша жизнь полна неожиданностей. Поймите наконец-то! Все, что вы должны знать сегодня, я вам сказал.

Звонка у него не было, и потому он встал из-за стола — ниже среднего роста, совсем по-цивильски полный, круглолицый, каких в России несть числа, дал понять, что разговор окончен, прошел к двери и, приоткрыв, сказал в коридор:

— Старшина, ко мне!

Названный старшиной тут же, мигом появился. Им оказался тот, кто ввел меня к офицеру. Четко приставив ногу, он привычно произнес:

— Я слушаю вас, господин офицер, — на что получил указание поместить меня во вторую комнату.

Эта десятиминутная встреча с третьим по счету финским офицером в течение одних только суток определенно уверила меня, что финская разведка в отношении меня располагает определенным досье с моими высказываниями о невозможности возврата на Родину, исходя из сталинских определений: "У нас нет пленных — есть предатели и изменники". Высказывания подобного толка могли быть — отрицать не хочу. Я действительно был крайне озабочен и про себя убежден, что при возможном возвращении на Родину НКВД все поставит в учет: и мое «кулацкое» происхождение, и то, что был вместе с семьей в ссылке, что ссылку не принял — бежал, скрывался, что женился на девушке-спецпереселенке, и много всего прочего, что было мной пережито с глубокой душевной болью. Все такое в моем представлении в те далекие годы служило бы только против меня.

Одна была страшна судьбина:

В сраженье без вести пропасть.

И до конца в живых изведав



Тот крестный путь, полуживым —

Из плена в плен — под гром победы

С клеймом проследовать двойным.

"За далью — даль".

Но как бы то ни было, я решительно оставался убежденным в том, что никто и ни при каких обстоятельствах не сможет заставить меня пойти на службу против моей Родины. Я верил в себя, знал, что никаким обманом склонить меня к предательству финнам не удастся. Если же, допустим, встал бы вопрос о том, на что я мог рассчитывать, то прежде всего ответил бы так: я был всегда готов честно и открыто отвергнуть любые попытки принудить меня к участию во враждебной деятельности против моей страны, против моей Родины, не раздумывая над тем, что там много было учинено несправедливостей по отношению ко мне. Даже в том случае, если бы мне доказывали и напоминали о предвоенном десятилетии, которое из года в год сопровождалось притеснениями и преследованиями. Пусть оно так: не торопилось счастье поселиться в нашем доме, зато не покидала нас надежда, что "все минет — правда останется". И как молоды мы были! И жили своей семьей, были малые детки у нас — никогда об этом не забывал.

Конечно, я понимал, что пленного могут поставить в невыносимые условия, но это не может стать оправданием предательству. Все же от финнов я не ожидал такого, по крайней мере от большинства из них, что могут они показать себя столь бесчеловечными, пренебрегая элементарной порядочностью по отношению к тем, кто не согласится предать интересы своего отечества.

Очень может быть, что кто-то из читателей моих страниц сочтет их зряшными потугами автора и, может, отнесет безапелляционно к разряду трусов; забегая вперед, смею сказать, что таковым я не был никогда. В первых числах января 1947 года, хорошо понимая, как может встретить меня КГБ, я совершенно добровольно, по своему собственному желанию, находясь в Швеции, обратился в советское консульство в Стокгольме с просьбой отправить меня на Родину. Моя просьба была удовлетворена. Как это произошло и чем закончилось, я расскажу позже.

По какой-то аналогии захотелось сказать вот о чем. Второго октября 1989 года я смотрел по телевизору передачу заседания Верховного Совета СССР, где обсуждался вопрос об амнистии бывших советских военнослужащих — участников Афганской войны, которые попали в плен к оппозиции после совершенных преступлений на фронте. До чего же разными были суждения выступавших о том, кого надо, кого не надо амнистировать, и как зачастую велика была некомпетентность некоторых в том, что же оно такое, амнистия, и ради чего и во имя чего ее применяют во всех странах мира. И какой же молодец калмыцкий поэт Давид Кугультинов, что не стерпел, взял слово и на безупречном русском языке внес полную ясность в этот вопрос. Вот так же может случаться и в судебных разбирательствах: судьбу человека подчас могут решать полные невежды, и не найдется никого, кто вник бы в суть дела.

Как называлось селение, где меня допрашивал финский лейтенант, узнать не удалось. Первой неожиданностью для меня было то, что в комнате, куда поместил меня «старшина» (звание условное — никто не знал, кто он есть), находилось пятеро советских пленных. Свободной была одна койка, и мне указали на нее. Осмотревшись, я понял, что присесть не на что, кроме как на койку. Мое появление ни у кого из обитателей комнаты не пробудило ни малейшего интереса, что показалось мне дурной приметой. Не случилось ничего такого, как это бывает у нормально живущих людей, как например, в каком-нибудь рабочем общежитии:

подходят, знакомятся, спрашивают о том о сем: "Как там у вас?", "Откуда?" и все такое прочее — этого не было. "Значит, — подумал я, — предупреждены так же, как предупредил меня офицер: никому ничего не рассказывать о себе и не интересоваться о тех, с кем придется находиться вместе".

Двое читали какие-то толстые книги, другие — старые журналы. Поинтересовался, откуда оказались здесь книги; подумал, что не могли ли уцелеть из школьной библиотеки. Мне ответили, что книги принес «старшина», а где он их взял — этого никто не знал. Ну, естественно, стесняться не было причин, заняться же хоть чем-то, отвлечься, заглушить навязчивые мысли, было просто необходимо, и я попросил позволения взглянуть на титул. Это была книга Солоневича "Россия в концлагере", изданная в Париже в 1935 или в 1936 году. Вторая книга называлась "От двуглавого орла к красному знамени" генерала Краснова.

Об этих книгах я тогда узнал впервые, был, конечно, немало заинтригован их заголовками, но прочитать их довелось значительно позднее, когда судьба занесла в Швецию. Здесь же, в Финляндии, удалось прочитать лишь отдельные эпизоды из лагерной жизни на Соловецких островах. Читали их, конечно, с обостренным интересом, поскольку положение этих людей настраивало на невеселые размышления.

Само собой разумеется, что, оказавшись среди незнакомых людей, нужно было понять, кто есть кто: что они чувствуют, что их привело сюда, представляют ли себе, что их может ожидать? Они всячески уклонялись от каких бы то ни было обменов мнениями, предпочтя уход в себя, как бы оставляя за собой право принимать решения только самостоятельно при любых обстоятельствах. В сущности, такую точку зрения я считал правильной и был намерен до конца следовать такому правилу.

Приоткрывая двери комнат, «старшина» объявлял, чтобы выходили на ужин. Тут же включили электроосвещение — где-то поблизости работал двигатель. Собирались в прихожей, где стоял длинный, человек на двадцать, стол со скамьями по обе стороны. Послышались команды «старшины»: "В одну шеренгу, становись! По порядку номеров, рассчитайсь!" Зная, что вот-вот появится офицер и нужно будет доложить, как положено, «старшина» смотрел в оба и офицера увидел точь-в-точь к моменту. Команды «Смирно» и "Равнение на середину" дал вовремя и с усердием доложил:

— Господин офицер! По вашему приказанию люди в количестве девятнадцати человек...

Кивком головы офицер дал понять, что ему все ясно, остановился напротив шеренги и, сцепив руки пониже груди, как бы раздумывая, с чего начать свое обращение. Несколько секунд помедлив, начал примерно так:

— Вы, русские люди, являетесь тем поколением, которое родилось и выросло в условиях отрицания религии, то есть вне веры в слово Господне, в слово Христа. Прошу вас внять моей просьбе и вместе со мной, прежде чем принять пищу, обратиться мыслью к Господу Богу и прочитать молитву верующих во Христа — "Отче наш". И да поможет вам Бог произнести слова молитвы, обращенные к Нему, повторяя их за мной.

Такого обращения никто не ожидал и, возвращаясь памятью к столь давнему эпизоду, позволяю себе отметить, что реакция пленных была покрыта сдержанным молчанием и понять, кто и как воспринял те слова, в тот момент было невозможно. Мне же казалось, что это была начальная ступенька к верованию в predeterminedность судьбы, которую изменить никому не дано: все предначертано волей Всевышнего. То есть намекалось на то, что для нас остается единственный путь к спасению — поклонение воле Божьей.

Когда же офицер сказал: "Начали!" и стал отдельно произносить слова молитвы: "Отче наш! Иже еси на небеси... да будет воля твоя, да придет царствие твое...", то оказалось, что два-три человека знали текст молитвы и произносили слова свободно, в унисон офицеру.

Другие повторяли следом, некоторые, кажется, молча внимали, не выражая своих чувств.

Тот самый усатый повар, которого видели возле дымившей полевой кухни, приносил и ставил на стол финскую жидкую кашу (пууру), мелкую соленую рыбешку (салакку), отваренную в «мундире» картошку, пресный финский хлеб (лейпя) в виде плиток галет из ржаной муки простого помола. Все это делилось порциями в том расчетливом объеме, чтобы по окончании трапезы на столе ничего не оставалось.

Из любопытства, но больше, видимо, желая присмотреться, что-то понять, уловить характерное в поведении этих людей, офицер присутствовал на ужине от начала и до конца. Похаживая с видом отчужденности, он тем не менее мог кое-что слышать или желать того. Из-за давности времени не считаю возможным передавать мельчайшие подробности. Помню лишь нечто из касавшегося лично меня. Вот, например, мной был тогда задан вопрос: "Как скоро мне будет сказано, чего от меня хотят?" Офицер ответил: "Думаю, что это произойдет скоро. Может — завтра. Но куда вам спешить? Война ведь продолжается, и конца ей еще не видно". Помнится, что слова офицера коснулись самых больных точек сознания, как укор чувству долга, пусть даже невольной, но все равно — вины: "война продолжается". В завершении офицер предупредил, что "во избежание опасных последствий, ночью свободно выходить в туалет нельзя". На вопрос: "Как быть при неотложной естественной нужде?" — ответил, что старшина Шульгин полномочен самостоятельно решать такие вопросы, и он знает, как быть в таких случаях.

И вот настал такой день, когда ожидаемое старшее начальство прибыло. Предвиделось, что своей целью оно имело с каждым пленным, по отдельности побеседовать и методом опроса выявить степень его пригодности для службы в пользу Финляндии, воюющей против Советского Союза.

Приглашения к начальству начались часов с одиннадцати. «Старшина» влетал в комнату, называл номер военнопленного и предлагал пройти в кабинет офицера. По возвращении первого таким же порядком уходил следующий. О том, как прошла беседа, о чем спрашивали, в каких званиях были военачальники, возвращавшиеся ничего не рассказывали. В общем, надо признаться, что в ожидании своей очереди я испытывал предельное нервное напряжение, хотя, как ни странно, страха не чувствовал.

— Номер шестьсот три! — Взгляд «старшины» был обращен на меня. — Проходите!

Кроме уже знакомого нам офицера в комнате были трое: в хорошо подогнанной форме, майор лет тридцати пяти, с ухоженным красивым лицом, несколько помоложе — лейтенант, и третий — в штатской одежде мужчина, средних лет. Майор, сидя возле стола с сигаретой в руке, неспешно потряхивал ей над пепельницей, как бы раздумывая о чем-то, раза два бросил свой взгляд на меня. Через переводчика предложил присесть, после чего последовали вопросы.

В начале это были самые обычные вопросы. Национальность? Год рождения? Из какой социальной среды? Верую ли в Бога? Когда, где, при каких обстоятельствах попал в плен? Участвовал ли в зимней (финской) войне? Какое семейное положение?.. Мне не составляло труда ответить на них, и казалось, на этом должно было и закончиться. Правда, услышав, что у меня двое малых детей, майор как бы сочувственно качнул головой и что-то сказал, но что — понять, не удалось...

Далее через переводчика последовали вопросы майора:

— Известно ли военнопленному о том, что Сталин сказал о пленных: "У нас нет пленных — есть предатели и изменники"?

— Об этом я знаю.

— Из каких источников вам стало известно об этом?

— В основном из финских газет, радиопередач, просто из случайных рассказов при контактах с финнами во время работы.

— По окончании всякой войны стороны передают пленных в порядке обмена, не считаясь с тем, что ожидает каждого возвратившегося. На вашей родине, в Советском Союзе, существуют жестокие законы. Вас непременно будут судить и отправят на каторжные работы. Вы будете готовы принять такую участь и не станете уклоняться от возвращения на Родину?

— Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос с полной определенностью. Война продолжается. Обстоятельства могут во многом измениться. На Родину я непременно вернусь, но не насильственно, а только по собственному долгу, чести и сыновней любви к Отечеству.

— По собственному чувству и любви вы, что ж, готовы погибнуть, даже не повидав родных детей? Вы не знаете о том, что в Советском Союзе погибли тысячи совершенно ни в чем не виновных, без суда и следствий?!

— Зачем же так — не знаю? Я знаю о многом, что было до войны, но война продолжается, и потому еще нельзя говорить, как сложатся обстоятельства.

— Вот мы, в Финляндии, знаем, что у вас, в Советском Союзе, звучат слова по радио: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек". Вы так же думаете?

— Нет. Я так не думаю.

Я понимал и предчувствовал, что эти явно наводящие вопросы майора финской разведки с напоминанием о словах Сталина: "У нас нет пленных — есть предатели и изменники" были рассчитаны на то, что какая-то часть из военнопленных легко согласится с тем, что по возвращении на Родину после войны не избежать если не смерти, то колымской каторги, что по сути своей смерти равно. Значит, понимать нужно так: вражеский плен в перспективе будет заменен еще более жестоким — колымским лагерем. И никакой надежды на лучшее — "с клеймом проследовать двойным".

Майор поднялся со стула, осмотрелся и знаком дал понять переводчику и присутствовавшим при опросе офицерам, чтобы они вышли, оставив его один на один со мной. С минуту он молча прошелся по комнате, затем, к моему немалому удивлению, вполне прилично заговорил по-русски:

— Будем откровенны: ваша судьба — в моем распоряжении. Но у вас есть две, только две возможности. Первая — это свобода и сотрудничество с нами. Вторая — это пребывать в строгой изоляции на работе в лесу, до конца... Выберите одно из двух!

— Спасибо, господин офицер, за ясность. О сотрудничестве не может быть и речи. Предпочту вашу строгую изоляцию и все связанное с ней, но не предательство.

— Предупреждаю: никому ни слова! — было последнее напутствие майора.

Вот так. Было вежливо обещано: "пребывать в строгой изоляции, работая в лесу "до конца..." Он, майор, было похоже, умышленно не договорил: то ли до конца войны, то ли до конца самой жизни? Условия, ничего не скажешь, невеселые.

Дня через три-четыре меня и еще двух пленных, побывавших на встрече с майором финской разведслужбы, под конвоем привезли на вокзал города Петрозаводска. К отправлению пассажирского поезда к нам присоединили еще троих. К вечеру поезд прибыл в город Йоенсуу, где нас высадили и пояснили, что путь будет продолжен на автомашине, которая

вот-вот должна подойти — надо ждать. Но машина, которую так терпеливо ожидали, стоя на ветру час или больше, не пришла, и после долгих хлопот конвоя определили нас в какое-то арестантское помещение, где и пришлось нам провести ту ночь, корчась и ежась на холодном, грязном полу. Утром чуть ли не мольбами выпросили поесть — получили арестантский завтрак, немного прогрелись и рады были хоть к черту на кулички, лишь бы ехать.

В неведомом нам направлении, без единой остановки везли в закрытой машине более трех часов. Затем, резко сбавив скорость и круто свернув с большой дороги, на малой скорости продолжили путь еще минут десять — пятнадцать и наконец подъехали к назначенной точке.

Еще находясь в закрытой машине, я понял, о чем говорили сопровождавшие нас конвой и тот охранник, который должен был принять прибывших пленных. Элементарную финскую речь я свободно понимал: "Мистя он туллут?" (Откуда прибыли?). — "Аанислиннаста!" (Из Петрозаводска!) Замечу мимоходом: в начале войны финны захватили Петрозаводск и, упиваясь успехами, переименовали его в Аанислинну, что в переводе обозначало "Онежская крепость".

Все это заняло лишь какие-то минуты, тут же открыли дверцу — и мы увидели одинокий дом на небольшой лесной прогалине, и стало без слов ясно, что одна половина того дома оборудована для нас и нам подобных: она была за высоким ограждением из колючей проволоки. Вторая, без ограждений, — для охраны. Входная дверь вела в коридор, разделявший дом на две части с дверьми на левую и правую половины. Как велика охрана, мы еще не знаем, пока на глазах только двое: сержант и рядовой. Сержант держит себя очень серьезно, в руке — сопроводительные документы, и он всматривается в лица, выкликая по номерам: "Сотаванки нумеро куусисата колме!" ("Военнопленный номер шестьсот три!"). Отвечаю: "Березовский Иван!" — "Туле сисян!" ("Проходи в помещение").

Прохожу в коридор, сворачиваю к левой двери и сразу слышу русскую речь. Оказывается, кроме нас, только что прибывших, двумя часами раньше была привезена группа из города Рованиеми. Факт этот, конечно, ни о чем еще не говорит, лучше это или хуже, но все же...

Сплошные, от стены до стены, двухъярусные нары, заслонившие два окна, которые тоже оплетены колючкой снаружи. На нарах вместо постели — длинные, в рост человека, мешки из гофрированной бумаги, но внутри ничем не заполнены. "Может, потом?" — подумал. Всматриваюсь в лица: вроде нормальные, как всегда и везде — разные, знакомых нет. Некоторые уже определили «свое» место у стен, — знакомо: у стены оборона надежней, и это везде учитывается.

Довольно долго не знали, в какой географической точке Финляндии мы находимся. И никаких признаков, что есть где-то хоть какое малое селение: полнейшая лесная тишина, ни собачьего лая, ни петушиной песни. И было удивительно, что к этому, затерявшемуся в лесах одинокому дому было подведено электричество. Позже мы узнали, что эти значительные лесные массивы принадлежат какому-то акционерному обществу и что такие одинокие дома есть в разных точках среди лесов — служат они жильем для приезжих рабочих в зимний лесозаготовительный период. Было совершенно ясно, что привезли нас для работы на лесозаготовках. Что это за работа, я знал по собственному опыту тех давних тридцатых, будучи спецпереселенцем, — слабому, истощенному человеку такие работы не по силам. Об этом, было похоже, еще как-то никто серьезно не задумывался, хотя мне было видно, что большая часть группы физически была в самой незавидной форме. Да и по роду прежних занятий физический труд был им мало знаком: тот — художник, тот — музыкант, сапожник, бывший секретарь райкома ВЛКСМ, повар — то есть такие люди, которые в свое время могли лишь восторгаться красотами природы, в том числе и лесом: "Ах! Как хорошо на природе! Воздух! Какой чудесный запах леса!" Работая же в положении невольника, испытывая голод и унижения, удовольствия не испытываешь и не восхищаешься.

Первый день нашего пребывания в этом запрятанном в лесах лагере закончился тем, что получили наш скудный суточный паек, успели расправиться с ним и были удостоены посещением нас сержантом охраны. Начал он с того, что у него есть желание ближе и лучше понять русских и чтобы русские хорошо и правильно понимали его. Он сомневался, что такое достижимо, — очень непросто вести беседу на разных языках. Но это было только вначале — нашлись среди нас люди, которые сумели доказать, что слова его поняты. В тех же случаях, когда произношение не достигало цели, русские переходили на письменную речь, чему нельзя было не поверить.

Сержант произвел самое положительное впечатление: его открытый, доброжелательный взгляд и какая-то неспешная предрасположенность позволяли надеяться, что такой человек не может быть несправедливым. И был он, по всем признакам, совсем невоенным — сержанту было не менее сорока, которые от рождения прошли в этих лесных местах родной для него Финляндии. "Ну и что? — предвижу, спросит читатель. — Чем он так отличился, тот финский сержант, что посвящаются ему такие теплые строки воспоминаний?" Мой ответ может быть только таким: названный сержант всегда был добр и справедлив. Политику вражды к русским, которая проводилась правительством Рюти и Таннера, он не признавал.

Для работы в лесу нам было предложено подобраться парами, что предусматривается техникой безопасности и взаимопомощью в работе. На каждую пару была дана лучковая пила в деревянной раме и два топора. Топоры особой финской формы, с более узким лезвием, специальные лесорубские, с удлиненным топорщицем и с особой насадкой — обух имеет удлинение в виде легкой конической трубки, которая предохраняет топорщице от поломки. Все это, ничего не скажешь, — хорошо, по-хозяйски предусмотрительно, но пленному от этого не лучше и не легче. Во-первых, пленный работает по принуждению и никакого личного, своего интереса к работе не имеет и иметь не может. Поэтому самый надежный, никак и никогда не ломающийся инструмент не только не лучше, но скорее всего — хуже: меньше у пленного оснований, чтобы передохнуть от немилой, рабской работы. У него забота об одном: как быть? на что надеяться? куда деваться? как выжить?

Напарником ко мне поспешил вызваться один рослый и довольно бодрый парень, приобретший в плену кличку «Граф». Каким-то образом он учуял, что работа в лесу мне знакома, и я не посмел отказать ему. Он назвал себя бывшим студентом циркового не то училища, не то техникума. Он выделялся некоторой странностью поведения: задумчивостью, отвлеченностью, порой — беспокойством, а еще и внешностью: был золотисто-рыжим блондином.

Выше я упомянул, что интереса к работе у пленного нет и быть не может, но оказалось, что для работающих на лесозаготовках «интерес» был придуман: установили обязательный объем работы на каждый день: выполнишь — садись к костру, отдыхай, жди, пока выполнят все. Вот так было объявлено тем же сержантом охраны на месте работы, где для нас он был также и прорабом от акционерного общества.

Тогда и у нас в СССР, и в Финляндии на лесозаготовках и лесоповалах применялась только лучковая пила, она считалась хорошим ручным инструментом. Со стороны глядя, и впрямь можно сказать: "До чего же хорошо, легко она врезается в дерево! И все просто! Пригнись пониже, бери левой рукой за распорный брусок, правой — за нижний конец рамы и двигай: толкай от себя — тащи на себя! И вся наука!" Но ведь лучковая пила — рама, от полотна до натяжного троса по ширине она равна сорока пяти сантиметрам при длине один метр двадцать сантиметров. В работе ее нужно удерживать навесу, строго в горизонтальном положении, то есть под углом девяносто градусов к спиливаемому дереву. Немалая сила нужна, чтобы, не отдохнув, спилить дерево хотя бы двадцать — двадцать пять сантиметров толщиной. Для пленных, впервые попавших на лесозаготовки, пребывавших в ощущении постоянного голода, такая задача была невыполнимой, чтобы, не разгибаясь и не переводя дыхания, спилить дерево с корня.

Из огражденной колючкой нашей "зоны отдыха" еще затемно выводили в лес под охраной: один охранник впереди и двое в хвосте растянувшейся цепи пленных. До места работы тридцать — сорок минут. В помещении оставался только дневальный, которому вменялось в обязанности приготовление пищи ко времени нашего возвращения из леса.

Попривыкнув и смирившись с положением, люди молча разбрелись по лесу к тем местам, где были вчера, всматриваясь, отыскивая затеси на деревьях (рубка выборочная), и, ни слова не сказав друг другу, с отрешенностью ко всему окружающему начинали свой день на чужбине.

Был среди нас пожилой пленный по фамилии Полежаев. Родом из Пензенской области, до войны — профессиональный художник. Так вот он до того ослабел, что начал впадать в какое-то оцепенение: прислонится к дереву и стоит, повесивши голову, час и два простоит... Напарника он себе не нашел и пробовал работать в одиночку, но дело у него плохо шло, и никто не обращал на это внимания. Как-то в начале дня сержант, проходя по лесосеке, нашел его неподвижно стоявшим у дерева, не приступавшим к работе, может, более часа. Его привели к костру, усадили поудобнее, и тут он мало-помалу начал оживать, отвечать на вопросы. Но лесорубом его и представить было невозможно — у него было крайнее истощение, близкое к дистрофии. В дальнейшем сержант учил его вязать метлы так, как это делается в Финляндии — распаренной на костре молодой березкой, и ни в коем разе проволокой

Этот эпизод с художником помог сержанту доказать необходимость улучшения питания пленных на лесозаготовках. Он востребовал от акционерного общества в дополнение к казенному пайку тонну картошки, и ее сразу же доставили на место. Разрешили потреблять ее без ограничений — наше положение улучшилось, а сержант почувствовал себя настоящим благодетелем: каждый божий вечер стал бывать в нашей лагерной половине, интересовался, кто каким ремеслом владеет, выражал готовность помочь тем, кто пожелает что-либо мастерить, художнику обещал краски и кисти, и свое обещание сдержал — художник был очень обрадован, даже чувствовать себя стал много лучше. И еще вот какая деталь: сержант непременно осведомлялся о картошке: "Слушай, скажи! Плохо ли, когда есть картошка?" Я хорошо понимал, что такое безобидное честолюбие сержанта нельзя составлять без внимания, что вовремя сказанное слово признательности отзовется только добром, и мне было совсем не сложно ответить сержанту по-фински: "Господин сержант! Мы очень благодарны вам, что вы так добры!" — "Да, да! Я понимаю! Спасибо!" — отвечал он, разумеется, по-фински, покачивая головой.

Для нас так и осталось неизвестным: отчитывался сержант за объемы выполненных работ перед кем бы то ни было, или же, может, никто с него такого отчета не требовал, поскольку редко кто из нас выполнял те нормы, которые назначал сержант. Да и кому же не ясно, что ослабевшему человеку не вдруг-то можно поправиться, если даже и дадут ему поесть, хотя бы и досыта, картошки. Сержант это, надо думать, понимал и взысканий никаких не налагал, за что и вспоминаю я о нем добрым словом.

Не было тайной для нас и то, что и солдаты-охранники, и сам сержант были местными и по какой-то там очереди по воскресным дням то один, то другой из них отправлялись на побывку к своим семьям. Возвращаясь, они привозили свежие газеты и охотно разрешали, например, мне знакомиться с тем, что нового на фронтах и в мире. Как раз из газет нам стало известно, что из самых разных стран, разными путями и средствами в те годы прибывали в Швецию беженцы: из Франции, из Норвегии, Дании, Польши, из Прибалтики и Финляндии. Писалось и о том, что Швеция, будучи нейтральной страной, считала своим долгом оказывать помощь всем оказавшимся в бедственном положении на ее территории, производила интернирование и содержала людей отнюдь не как врагов, хотя и в специальных лагерях. Об этих сообщениях я никому не рассказывал, хотя выбросить их из головы не мог, они все время меня занимали.

На лесосеке в редких случаях охранники находились возле работающих пленных. Большой частью они проводили время, сидя у костра. И так это вошло в привычку, что не возникало у них ни малейших подозрений о возможности побега. Туда же, к костру, подходили и пленные, выполнив задание пораньше, и таким образом отдыхали, пока подходили остальные. В зависимости от толщины деревьев задание могло быть разным: и десять, и пятнадцать, иногда и больше поваленных и очищенных от сучьев хлыстов на двоих работающих. На лесоповале я не был новичком, инструмент, топоры и лучковую пилу умел подготовить лучшим образом, и потому такой объем работы вместе с напарником Графом мы делали без особого напряжения. И получалось так, что умение работать облегчало положение: выполнив задание, мы шли к костру и час-полтора могли отдохнуть, просушиться, а иногда, как ни странно, потолковать с охранниками о том о сем, — те не только не уклонялись — были рады случаю перебраться словом. И в этом не было ничего особенного: простой человек, пусть и охранник, не может быть злым всегда, хотя бы являясь и охранником, тем более, когда видит людей в подневольном труде.

Но не надо забывать, что самый мирный, как мы могли называть «хороший» охранник, не дрогнув, убьет вас, если только вы окажетесь в побеге и за вами будет погоня. Такую ситуацию не дай Бог испытать любому несчастному. А между тем я не расставался с мыслью о побеге. И когда случалось иметь самую безобидную беседу с тем же финским охранником, я смотрел на него и представлял, каким он может стать, преследуя убежавшего.

Мысленно перебирая варианты побега, я должен был согласиться, что зимой, находясь в лесной, незнакомой, малонаселенной местности, побег неосуществим. С одной стороны, вроде бы тебя никто и не охраняет и по три-четыре часа ты не видишь ни единой живой души, но куда же ты бросишься среди снежной зимы, облаченный в одежду пленника? И всего-то, казалось, не хватало — мало-мальской, обыденно-обычной финской одежды... И тут же спохватывался: еще более важно знать местность, знать, где ты есть, куда ведут ближайшие пути-дороги, какие и где могут быть водные препятствия, которых в Финляндии великое множество... Да так вот и упираешься в тупик, и все само собой распадается.

С лесосеки хвойных мы были переведены на рубку березы. Тут и попала мне на глаза береза с большим округлым капом (выплывком). Из собственного опыта я хорошо знал цену и качества этого отличного материала для различного рода мелких, мастерски выполненных изделий. Тогда же с помощью напарника Графа я отрезал кап от ствола березы, разделал на пластины, как и должно быть, с расчетом на определенные изделия: портсигары, шкатулки, статуэтки и прочее. Право же, как-то неловко и рассказывать, что так загорелся желанием показать, что могут умелые руки, хотя бы и там, в плену: живому — живое. И мысль сработала: "Не попросить ли мне сержанта насчет «железок» — хотя бы кой-чего из режущих инструментов. В общем, сырые, совсем пока ничем не привлекающие взгляд куски березового капа я принес в зону, чтобы сразу же вываривать их в кипящей воде, томить, сушить, готовить в дело.

О том, что обратиться к сержанту мы имели возможность в любое время и по любому вопросу, я уже, кажется, говорил, — явление в условиях плена если не исключительное, то не иначе как редкостное. Мы находились с охраной под одной крышей, между нами — всего лишь коридор шириной в три шага. И мне казалось, что сержант дорожил мнением пленных и, пожалуй, даже скупал бы, если бы не имел возможности бывать у нас вечерами.

Не откладывая "на потом", я рассказал сержанту, что имею намерение выполнить некоторые работы из березового капа, но нет никаких режущих инструментов для таких занятий. В тот момент материал уже вываривался в кипящей водяной ванне, в чем он мог убедиться на месте.

— Все ясно! Хорошо! — сказал он и сразу же объяснил, чем может помочь. Объяснил он так: — Слушай меня! Завтра, как только придешь на лесосеку, разжигай костер! Без костра дело



не пойдет! И начинай вязать метлы! Штук полсотни, не менее! Графа даю в помощь, пусть помогает, ветки-прутья подносит, за костром следит — сам подсказывай, что нужно делать. Два дня хватит? Как только товар будет приготовлен, сразу же передам в магазин, за наличные, да-да! За наличные! И задача будет решена: с деньгами вместе с тобой поедем автобусом в Ааньякоски и приобретем все, что тебе необходимо. Это в моих силах.

Помощь, можно сказать, не очень... Но одно то, что "поедем вместе с тобой" для меня было очень важно, и полсотни метел я связал за два дня. Наконец-то я узнал, где мы есть: в трех километрах автотрасса, в двадцати километрах — торговый городок Ааньякоски, в двухстах километрах по автотрассе — город Коккола на берегу Ботнического залива. Все это казалось очень важным, так как мои мечты о побеге продолжали меня занимать как цель, как единственная, последняя попытка избавиться от мук, от сознания невозможной утраты надежд на право существовать: "У нас нет пленных — есть предатели и изменники". Эти слова вторгались в душу с навязчивой жестокостью и цинизмом.

Финляндия не испытала и десятой доли тех бедствий, которые выпали народам Советского Союза во время Великой Отечественной войны. И понять, пожалуй, можно: пощадили — а могло быть иначе... Это было заметно и по отсутствию разрушений, и просто по внешнему виду и душевному состоянию самого финского народа. В небольшом городке Ааньякоски, который находится в центральной, самой озерной части этой страны, не было видно той известной нам картины разоренности, неприкаянности гонимых ужасами и голодом несчастных и обездоленных людей — ничего такого финны не видели. Ааньякоски предстал чистым, ухоженным скандинавским городком, где совсем по-мирному ходили нормально одетые люди, где не чувствовалось никакой войны. В магазине хозяйственных и скобяных товаров было тихо и свободно, тут, казалось, забота могла быть только о том, чтобы побольше было покупателей. Выслушав сержанта, пожилой хозяин магазина с любопытством и удивлением взглянул на меня, суетливо стал двигаться вдоль полок, подбирая, предположительно, нужные инструменты, сопровождая рассказом о себе, что он и сам любитель поработать с деревом, кое-что понимает в этом деле.

Из предложенных инструментов я отобрал лишь то, что было самым необходимым: клюкарзы, стамески, перки, ручные сверла, косяки, стамески-уголки, коловорот и отделочные материалы: шлифовальные шкурки, лаки, клей, бруски для точки и наводки инструмента. С этим мы и ушли. Но по пути к автобусной остановке я увидел вывеску магазина "Суомен кирья" ("Финская книга"), куда и упробил сержанта зайти — посмотреть книги. Моя мысль была — не попадетс я ли на глаза книга о Финляндии, чтобы поподробней ознакомиться с географией этой страны. Я почти был уверен, что если такая книга окажется, то удастс я и купить ее. Конечно же, главной моей мечтой была не сама книга, а надежда, что в такой книге может быть и карта, — вот на что был взят прицел. И как же мне было досадно, когда я увидел, что в продаже была и карта Финляндии. Но, черт возьми, как же мне спросить, что ответить, если услышал бы от сержанта: "А зачем тебе карта?" Книгу с названием «Исянмаа» ("Родина") я отыскал, стал ее смотреть, но думал о другом: "Может, рискнуть, сказать сержанту?" Нет, о карте умолчал. Нельзя. Если не сразу, то несколько позже — догадастс я, для чего пленному нужна карта.

За книгу сержант заплатил.

В истории, как я стал резчиком, нет ничего выдуманного. Я не считал себя профессионалом, но опыт имел. С отроческих лет увлекался резьбой по дереву и ваянием в этом полюбившемся мне материале. Самым серьезным образом относился к мастерству на свой лад в смысле отличительности, оригинальности, уникальности моих изделий — повторяться не умел и не позволял себе. Осмелюсь привести здесь суждение брата Александра Трифоновича об одной моей работе, подаренной ему к сорокапятилетию. Вот что он писал:

"Дорогой Иван! Сердечно благодарю тебя за подарок, которым я был очень тронут. Выполнен

прибор рукой настоящего мастера-художника. Помимо всего, я очень люблю дерево, этот материал отличается какой-то особенной теплотой, и мне тем дороже твой подарок. Спасибо еще раз. Буду хранить этот прибор среди самых дорогих для меня вещей.

Карачарово, 14.08.55

Твой Александр".

Не скажу, что я уповал на неперемный успех моей затеи, но все же некоторую надежду возлагал, что кое-что, может, выгорит. Было замечено, что финны весьма равнодушны ко всякого рода редкостным сувенирам и совсем необязательно в виде подарков, главное в том, чтобы сам предмет, какая-то, пусть даже пустячная, вещь имели связь с чем-то существенным из событий в жизни. И тут любая тема годилась: от русских часов до брелока, значка, какой-нибудь поделки руками русского человека в виде курительной трубки, деревянной ложки, берестяного туюска, диковинного изваяния или просто безделушки. И надо заметить, что ни одному финну и в голову не придет, чтобы он позволил себе недобросовестность или необязательность, если он дал слово, что-либо пообещал, — всегда ведет себя с достоинством и порядочностью, о чем смею сказать из личных наблюдений.

С течением времени в лесную заповолочную обитель русских пленных стали проникать финские крестьяне, лесники, рабочие лесосек. Вначале изредка и робко, затем более смело, поскольку со стороны охраны строгих запретов не было. Больше того: сержант и сам в таких случаях любил поприисутствовать и непременно рассказать, что, дескать, есть среди этих ребят и художник, и жонглер, и мастер дамской обуви и что финский они понимают. Для определенной категории простых финских граждан такие сведения о русских были новы, достоверны и увлекательны, и вслушивались в них с полным вниманием. Ну, естественно, художник со своей стороны должен был подтвердить, что это действительно так, и значит, надо было кое-что показать. Кстати, мы должны помнить, что речь ведь о том самом художнике Полежаеве, пережившем степень крайнего истощения. Но вот отогрелся, кистью стал владеть, к случаю мог порадовать пейзажем с натуры, натюрморт, портрет исполнить. Но бахвальства не терпел, был скромнен, хотя просьбы и похвал имел предостаточно.

Примерно с половины февраля 1943 года, вскоре после завершившегося победой Советской Армии Сталинградского сражения, к нам, в этот лесной замок, по воскресным дням стали наведываться финны, и не в одиночку, не парами, а целыми группами, и, как можно было догадаться, это имело связь с тем облетевшим весь мир известием о полном разгроме армии Паулюса и пленении его самого и его трехсоттысячной армии. Рядовые финны, которые по тем или иным причинам не находились на фронте, желали поделиться с нами, русскими пленными, размышлениями о победе русских в Сталинградском сражении.

— Ой! Ребята! Слушайте! Это было такое сражение, какого не знала мировая история! — перебивая друг друга, рассказывали финны.

Не преувеличивая, должен упомянуть, что было чему удивиться: Финляндия была в состоянии войны с Советским Союзом, и в то же время среди финнов встречались люди, не только не питавшие вражды к русским, но даже с симпатией отзывавшиеся о русских, или, точнее, о советских воинах, которые увенчали себя славой Победы под Сталинградом.

Конечно, нельзя сказать, что в этот маленький лагерь для пленных приходили финны только из сочувствия к пленным или из чувств солидарности к советским воинам. Приходили сюда и просто из любопытства, чтобы посмотреть, понять, сравнить, представить: что же такое за люди, воспитанные в коммунистической стране? Чем таким они отличаются от граждан Финляндии? Трудно сказать, что они могли подумать, но, на мой взгляд, впечатления у финнов о русских складывались вполне хорошие, хотя положение пленного никак не украшает человека, и не учитывать этого нельзя.

Подобным посещениям способствовали и слухи, что среди небольшой группы пленных был художник, был музыкант-балалаечник, который самолично, в самых невероятных условиях, изготовил русскую балалайку и превосходно исполнял на ней удивительные мелодии, в том числе и финские. Это был юноша девятнадцати лет из Кировской области, Коля. К сожалению, его фамилию я не помню. А что такое редкостный мастер дамской обуви? Да к тому же было известно, что он, Костя Бутурлин, ленинградский мастер! И сержант не упускал случая напомнить об этом, поскольку без его ведома ни о каких сделках не могло быть и речи, а потому и слухи о ленинградском кудеснике летели через леса и болота точно туда, куда нужно. И появлялся нужный материал, появлялись и новенькие изящные дамские туфли.

Предполагали, что это был единственный лагерь военнопленных, где охрана не препятствовала контактам финнов с пленными. Пленным же это было только на руку: финны приносили с собой сигареты, что-нибудь из продуктов, газеты и журналы, а порой, если смогли стороны договориться, например, об оплате за какую-то работу (портрет, картину, поделку, ремонт и прочее) частью деньгами, то передавали и деньги. Если же у пленного заводилась собственная, заработанная трудом, финская марка, то он мог попросить любого, чаще знакомого посетителя, купить что-либо, что также не запрещалось. Но финны лишь в редких случаях принимали деньги от пленного на сигареты или на лезвия для бритвы — такие просьбы обычно выполнялись за «спасибо», сказанное по-фински.

Для меня помимо всего немаловажным было слышать живую разговорную финскую речь, поскольку она существенно различалась с чисто литературной, и мне, изучавшему этот язык с помощью словарей, книг, газет и всяких случайных печатных текстов, было очень непросто воспринимать беглую разговорную речь. И все же успех в знании финского языка был налицо: меня хорошо понимали, и я свободно мог объясниться. Порядочно был я знаком с грамматическими особенностями финского языка: падежные окончания, состояние предмета по временам, лицам, числам и прочее. Я должен был готовить себя, по существу, к странствиям по чужой земле с мыслью, что смогу добраться до нейтральной Швеции. Понимал, конечно, что риск велик, но иного выхода не видел, да и терять мне, находясь в плену, было нечего.

Приближалась весна. В марте я с полной отдачей и усердием был занят — назову так — изготовлением необычных по тонкости мастерства изделий из березового капа. Но надо же иметь в виду, что от работы в лесу никто меня не освобождал — заниматься этим я мог только вечерами и в воскресные дни. Сержант пошел мне навстречу только в том, что позволил работать в чердачном помещении, чтобы мне никто не мешал. И это было весьма важно. Но больно вспоминать о том, на что я рассчитывал. Дело в том, что мне было крайне необходимо каким-то невероятным образом приобрести типично финскую штатскую одежду, пусть самую недорогую и легкую, к весенним дням (брюки, куртку, свитер, рубашку, кепку с удлиненным козырьком), чтобы заменить «форму» пленника с латинской буквой «V» — «Vanki», что означало «Пленный». Вот это было для меня наисложнейшей задачей, ради разрешения которой и впрягся я в изготовление нескольких настольных миниатюр, относящихся к прикладному искусству, исходным материалом для которых был избран все тот же березовый кап. Задумано это было в расчете на то, что прежде всего изделия должны быть филигранны и декоративно эффектны, чем и привлекут внимание и интерес. И если такая цель будет достигнута, то средства и труд будут оправданы.

Но я уже чувствую, что читатель хочет услышать: что же за изделия мог я сотворить в тот момент в условиях плена? Да еще с претензией, называя или относя их к классу утонченного мастерства? Отвечаю так: случаи, когда человек, находясь в неволе, проявлял в себе невообразимые силы чисто творческого труда, известны с давних времен, и вряд ли нужно приводить конкретные примеры, например, из жизни крепостных или даже узников; это не требует доказательств. Мной же были изготовлены две шкатулки и портсигар. Плоскости этих изделий были отполированы до зеркального глянца, украшены ажурным орнаментом

растительного мотива и увенчаны изваянием из северной фауны (упряжка оленей в движении; мальчик с овчаркой; портсигар был инкрустирован изображением дымящей трубки).

В первой половине мая 1943 года нас четверых — меня, Графа, боксера из Ленинграда Игнатущенко и Семена (фамилию не помню) из Пензенской области — везли этапом в обыкновенном товарном вагоне в северо-западном направлении. Мы догадывались, что не иначе как в штрафной лагерь. Произошло это после моего вместе с Графом побега: нас задержали истошно-немолчным криком: "Стой! Стой, Граф! Не смей, не смей!.." — это кричал бегущий впереди охранника дневальный — видел: автобус остановился, мы были у открытой дверцы... Могли бы, конечно, войти и в салон, но поняли, что уехать не удастся; дали знак водителю, что мы не поедem, и автобус ушел. Задумано же было так: сбросив с себя одежду военнопленного, затаиться у автодороги и ждать автобуса, чтобы наискорейше отдалиться от мест, где, как представлялось, поначалу непременно будут вести поиски. Вероятно, так оно могло и завершиться. Но никто не подозревал, что дневальному было поручено вести слежку за всем, что могло происходить в этой группе военнопленных, тем более когда участились контакты между пленными и штатскими финнами. Ему удавалось и подслушать, и приметить, кому и что могло быть передано, мог он, таким образом, знать и о том, что есть «значки» кое у кого и что конкретно припрятано, и так далее. Его недремлющее око было всегда на страже: мог он заметить и то, что Граф и Березовский поддевали под обычную робу нечто дополнительное из припасенного, что и толкнуло его к доносу и участию в поимке.

Да, кому еще не доводилось быть в положении пойманного, не дай Бог и знать о том, как оно чувствуется, когда ведут тебя, неудачника, торжествуя над твоей несчастной участью. Спасибо хоть за то, что нас не били, — сержант не позволил. Но было, право же, как-то неловко, что из-за нас пострадали Игнатущенко и Семен — их присоединили по подозрению в намерении тоже бежать.

В вагоне мы были не менее суток. В нашем представлении было необычным, что мы четверо занимали вагон! Нам была дана вода, этапный паек продовольствия, но хоть плачь, кричи — ни звука ответа на просьбу по естественным надобностям — охрана нас, похоже, не сопровождала. Выход из положения, конечно, мы нашли, но ругательных слов в адрес финских правителей было послано "от души" с добавкой. Где-то стояли на запасных путях часов пять или больше, — и надо же! — какая-то неведомая нам говорившая по-русски женщина, оказавшаяся поодаль, услышав нашу ругательную речь, остановилась и безбоязненно обратилась к нам:

— Здравствуйте, русские люди!

Боже мой, как мы были тронуты этим обычным приветствием из уст женщины-матери! Да и как не дошло бы до глубины души родное сочувственное слово, если ничего такого не приходилось слышать два года! Эти вдруг долетевшие слова в минуту почти отчаяния и тоски коснулись непередаваемой, чарующей сущностью, и всем нам хотелось взглянуть на ту добрую и милую русскую женщину, которая еще успела сказать, что "Россию никто не победит, верьте, надейтесь..."

На железнодорожной станции города Вааса нас посадили на грузовую машину и увезли в лагерь для русских пленных, который находился в семи километрах от города, возле селения Муустасаари (Черный остров). О том, что это был штрафной лагерь, можно было догадаться без слов и пояснений. Поражало прежде всего то, что сравнительно небольшая территория, обнесенная многорядным ограждением из колючей проволоки, была усеяна и загромождена бесчисленным множеством больших камней-валунов. За исключением небольшой площадки и узких проходов к баракам, округлые граниты были везде и всюду. Это создавало постоянное неудобство при встречных движениях, люди вынуждены были тратить немалые усилия, пробираясь между этих преград, нередко ударяясь о камни, проклиная все на свете и тех, кто

с такой изощренностью осложнил условия жизни людей, оказавшихся в плену.

В этом лагере в основном содержались пленные, которые совершили побег, но были задержаны. Попадали сюда и по другим причинам, например за воровство, но это в малом числе. Использовали пленных на довольно тяжелых работах на строительстве аэродрома, погрузке и разгрузке в порту, изредка на сельскохозяйственных и других работах.

Общая атмосфера жизни пленных была наполнена духом унижительного отношения к русским: за малейшую провинность, а чаще всего на почве какой-то необъяснимой насаждавшейся ненависти, узников пороли розгами: для чего возле бани, в бочке с водой, всегда торчали заготовленные ивовые прутья. Немилосерден и жесток был начальник лагеря, получивший лагерное звание Черный лейтенант. В полную противоположность представлению, что финны якобы должны быть блондинами, начальник лагеря был смугл лицом и черен, как смоль, волосом. Своим желчно-злым взглядом он, казалось, мог парализовать жертву. Поэтому его появление в зоне немедленно замечалось, и об этом, как по цепи, все узнавали: "Черный в зоне!" Он был невзрачен, мал ростом, сух и насторожен, как голодный хищник. По его же указанию в зоне была вырыта двухметровой глубины яма с отвесными стенками, куда могли сбросить провинившегося и продержат в ней сутки и двое при любой погоде.

Люди слабели, болели, умирали. Как теперь стало известно, в Ваасовском лагере только на русском кладбище похоронено в 1943 году около семидесяти человек. Убежать из этого лагеря никому не удавалось. Случаи самых дерзких попыток заканчивались неудачей, чаще — гибелью тех, кто рискнул убежать. Был случай, когда четыре пленных, работая в песчаном карьере в двадцати километрах от лагеря, отняли у конвоира винтовку и патроны, затем связали его, заткнули кляпом рот и бежали. Возглавил побег бывший моряк Вася. В лагере его и звали Моряком, на равных у него были и еще две клички: Москва и Боцман. Далеко уйти беглецы не успели, служебные собаки их настигли. Сколько могли они отстреливались, но одной винтовкой отразить осаду было немыслимо, и все они погибли. Со следами жестокой расправы труп Васи Моряка был привезен в лагерь для показа и назидания и не убирался двое суток.

За давностью времени моего пребывания в штрафном лагере в Финляндии и в связи, видимо, с преклонностью возраста, имена людей, среди которых жил, терпел и Бог его знает на что рассчитывал и надеялся, помню очень немногие. Да и сама жизнь так складывалась — долгими годами шел по белому свету вместе с массой вконец обездоленных, как бы безликих, лишенных индивидуальных черт, низведенных до полной утраты желаний касаться возвышенных чувств самой примитивностью существования. Был все же в штрафном финском лагере один пленный родом из Рязанской области — Николай Дьяков, с которым я как-то сблизился и поделился некоторыми тайнами — рассказал ему, что настоящая моя фамилия Твардовский, что поэт Александр Твардовский доводится мне родным братом. И вот хотя жизнь нас вскоре и разлучила, но он не забыл меня и спустя почти тридцать лет нашел меня. Встречаемся. Вспоминаем. Он живет в Москве, тоже пенсионер и тоже написал книгу о своих злоключениях.

Сказать, что я родился в рубашке, вроде бы нельзя. Выпало мне в жизни с лихвой всяческих несчастий, хотя и дожил вот до светлых, радостных дней моей судьбы — времени перестройки, чему искренне рад: "Судьба не обделила, своим добром не обошла", как вычитал у одного поэта. Но это к слову. Рассказ же пойдет о том, что было и прошло...

Июль 1943 года. Лагерь военнопленных в Финляндии «Муустасаари». Время утреннего развода по местам работы, основная масса пленных уже собралась возле вахты и на площадке, но из зоны ее не выводят. Переводчик поднялся на камень-валун, послышалось громкое: "Внимание! Слушайте! Кто имеет специальность литейщика?" — сказано было именно так: литейщика. Не горнового, не сталевара, не вагранщика, формовщика, заливщика.

Среди пленных, а было их около четырехсот, нашлось только двое, которые назвались литейщиками: Григоренко Анатолий и я — автор этих строк.

— Подойдите сюда! — было сказано.

Черный лейтенант — начальник лагеря и возле него пожилой, небольшого роста, изрядно располневший господин в будничном костюме, но при галстукке, как в тот же день стало известно — предприниматель, владелец небольших литейно-механических мастерских. Через переводчика нам были заданы вопросы:

— Что вам знакомо по литейному производству?

Я ответил, что знаю и могу формовать вручную по моделям в парных опоках и на плацу в одиночных. Знаком с тигельной плавкой на коксе и многим другим в фасонно-литейном производстве. Я понял, что мои ответы произвели хорошее впечатление на предпринимателя, как и ответы моего товарища. Таким образом Черный лейтенант запродавал нас владельцу мастерских по какому-то соглашению, и нас стали водить под конвоем на это частное производство. На весь рабочий день нас оставляли в мастерских под ответственность хозяина, а по окончании рабочего дня, так же под конвоем, уводили в лагерь.

Но одно то, что в течение дня мы не видели ни охраны, ни погонял-переводчиков, что находились среди простых, мирных, рабочих людей, которые относились к нам, без всякой тени неприязни, сочувственно, — казалось чуть ли не сном. И невозможно было понять ту поразительную разницу между жестокостями по отношению к пленным в лагерной зоне, где властвовали ненависть и насилие, и тем, что мы почувствовали, оказавшись на производстве вместе с финскими рабочими.

Это было очень маленькое частное предприятие, состоявшее из двух отделений: литейного, в котором работали, включая и нас, всего пять человек, и механического на семь рабочих мест. Изготавливались здесь всякие мелкие и мельчайшие детали для моторных катеров: гребные винты, кнехты, декоративные накладки, ручки, краники, болтики и прочее. Все это тщательно обрабатывалось и доводилось до глянца шлифовкой и полировкой.

В литейном отделении мы увидели единственного старого и слабого мужчину-литейщика, набивавшего формовочной землей спаренную опоку, стоя у формовочного стола. Были там еще две женщины, готовившие стержни для форм, а также занимавшиеся очисткой литья, приготовлением формовочной смеси и так далее. Было совершенно ясно, что здесь мы нужны позарез: одному мужчине, тем более слабому, в литейке делать нечего. Тигель с металлом, хотя бы килограммов на семьдесят, поднять из горна, поставить в рогац и разлить в формы посильно только двум рабочим. Так что у хозяина была, может, единственная надежда на двух русских пленных, и ему не терпелось увидеть, что они из себя представляют в деле. Мы же, в свою очередь, не могли рассчитывать на милосердие хозяина, понимали, что ему нужны умелые руки. Он снял с полки модель трехлопастного гребного винта и повертел ее в руках так и этак перед нами, переводя свой взгляд с одного на другого, как бы спрашивая: "Ну, понимаете?" и сказал: "Будьте добры, делайте!"

Хозяин предприятия был из финских шведов по фамилии Сёдерлюнд, отлично знал, на чем испытать: изготовить форму для отливки хотя бы и малого трехлопастного гребного винта — работа из наиболее сложных, это мне было известно; модель неразъемна, в связи с чем снять верхнюю опоку, не нарушив форму, нельзя, если не применить так называемые по рабочему лепёхи — дополнительные вкладыши из формовочного состава для стержней, снимаемые отдельно. Об этом как раз трудно догадаться, если не случалось ни видеть, ни слышать — допустить ошибку проще простого. Нам же иметь такой финал испытаний было крайне невыгодно, и мы постарались его избежать.

Я употребил слово «постарались» и вот подумал, что кто-то из читателей может это понять, как раболепное желание угодить хозяину. Но я с полной серьезностью хочу сказать, что об этом совсем не думалось. Для меня дорога была сама возможность хотя бы в течение дня не видеть тех, кто усердно нес службу угнетения, чем бесстыдно спасал себя. Кроме того, я рассчитывал, что если удастся удержаться в стороне от зоны, то, может, подвернется удобный момент перебраться в Швецию — страну, которая помогает всем ввергнутым войной в несчастье.

Совершенно беспристрастно смею сказать, что хозяин предприятия Сёдерлюнд оказался очень неплохим и сговорчивым человеком. То, что он проявлял заботу о людях и в том числе, может, особенно о нас, пленных, подтверждалось постоянно. Он никогда не посмел сказать "давай, давай", как это практиковалось у нас в СССР не только в местах спецпереселений и в лагерях НКВД, но ведь и в колхозах было так. О том же, что, работая у этого мелкого собственника, мы, пленные, не знали голода — нет нужды и говорить: обед и ужин для нас готовила и приносила в бытовую комнату его дочь. Звали ее непривычным для русских двойным именем Анна-Лиса. Ее личная жизнь была помечена глубокой душевной травмой — муж наложил на себя руки, оставив ее с младенцем, когда ей было только двадцать. В нашу бытность мальчику было уже лет пять-шесть, и он всегда был с мамой рядом. Красотой она не отличалась, к тому же была излишне полной для своего возраста, и было похоже, что это ее немало огорчало. К нам, русским, она была расположена весьма любезно и доброжелательно — к случаю охотно могла присесть возле нас во время обеда, в меру приличия полюбопытничать, порасспросить о том, о сем. А уходя, непременно скажет: "Кайкеа хювин тейлле, поят!"{9} Такое ее отношение очень трогало нас и возвышало ее как женщину. Возможно, это объяснялось ее личной печалью о своей неблагополучной судьбе, но если и так, то свойственно это только хорошим людям.

В течение всего рабочего дня наше положение как-то скрашивалось: называли нас по имени, не слышалось унижительного финского «сотаванки» ("военнопленный"), не резало слух каким-то образом залетевшее из лагерей НКВД блатное: "А ну, суки, вылетай без последнего!", "Ты, падло, куда прешь?!", "Тебе, гнилая твоя потроха..!", не давила бесконечная ужасающая ненависть-злоба к себе подобному. Конечно же на работе у Сёдерлюнда ничего похожего не было. Но вот кончается рабочий день, приходит охранник с автоматом и уводит тебя в зону, «отдохнуть» в аду. Ведут тебя по улице пригородного поселка, ты видишь мельканье ног встречноидуущих, но тебе не хочется даже приподнять голову, смотришь вниз и думаешь, думаешь... И не мил тебе свет. И не на что тебе надеяться — впереди, если даже это случится и ты вернешься на Родину, ждет тебя какая-нибудь Индигирка или Колыма, Норильск или Печора: "Сойдешь поневоле с ума — оттуда возврата уж нету!", как поется в песне колымских зэков.

Все же в конце концов взбрело мне в голову вот что: а не затеять ли разговор с хозяином о том, чтобы не водили нас на ночлег в зону? Подумалось так: хозяин сам из себя вроде бы человек сговорчивый и доступный. На работе у него никто нас не охраняет, нет сомнений и в том, что как работники мы ему очень необходимы, ведем себя вполне добросовестно. Так за какой же такой грех мы должны переносить нечеловеческие муки лагерных условий в часы ночного отдыха? Этой мыслью я поделился с Анатолием, которого теперь уже, казалось, порядочно понял по совместной работе и положению. Он, Анатолий, мужчина моего же возраста, с делом знаком хорошо, очень честолобив, но не глуп и симпатичен. Не было между нами и секретов. Слушал он меня и плечами пожимал.

— Слушай, Иван! — начал он. — Ты, право же, черт знает, право же, не то проницатель, не то отгадчик: ты как мог почувствовать или разгадать мои мысли? Отгадал, присвоил и подаешь теперь мне, как свои. Вот брат чудо! Поверь мне, я давно думаю об этом. Знаю, что уже многие из пленных этого же лагеря живут у крестьян, без охраны. Так почему бы и нам об этом не поговорить?

Саму беседу с хозяином вряд ли стоит описывать подробно, скажу покороче. Финским я владел к тому времени лучше Анатолия, и потому было решено, что вести разговор более с руки мне. Хозяин был молчалив вообще, и это меня несколько смущало: трудно было понять, как он реагирует — на этот раз он только слушал да покачивал головой. Были некоторые проблески не то ухмылки, не то улыбки, как бы удивляясь моей смелости, но хотя и не сказал ни «да», ни «нет», неудовольствия не выразил. Сказал только одно: "Селева!" ("Ясно!"), с тем и ушел.

Дней через пять, придя в литейку, после обычного приветствия: "Хювя пайва!" ("Добрый день!") хозяин объявил, что с этого дня мы можем ночевать здесь, в комнатушке. Естественно, мы должны были поблагодарить господина хозяина за его внимание и сердечность.

В бытовой комнате для нас была поставлена широкая деревянная койка, на ней — наволока (чехол) для матраца из сена, то же — для подушки, одеяло. Большого мы и не желали, так как лучшее могли видеть только во сне. Правда, наш рабочий день стал несколько длиннее, но это не было по принуждению или напоминанию со стороны хозяина мастерских — иногда было просто как-то неудобно ничего не делать, если сам швед подолгу задерживался, работая на токарном станке. Когда же он уходил домой, то ни на какие запоры нас не закрывал.

Мы догадывались, что в улучшении нашего положения существенно помогла Анна-Лиса. Сама она, конечно, ни словом не обмолвилась об этом, но была просветленно рада, что нам стало удобнее и легче. Она не могла знать, что в моих затаенных планах созревало решение любыми путями бежать из Финляндии в Швецию, в страну морских разбойников, где не знают войны более двухсот лет, с тех самых пор, когда армия их короля Карла Двенадцатого была разбита под Полтавой. И совершить такой марш я должен был, не дожидаясь окончания войны. Денно и ночью думал об этом: кажется, всего ничего — семьдесят километров Ботнического залива отделяют берега Швеции от Финляндии, но это не для меня. Другой вариант — по суше, вдоль берега вплоть до пограничного Торнио, где граница проходит по реке. Но здесь, по этому пути, если верить карте, набирается строго по прямой не менее четырехсот километров — не шутка.

Сказать об этом Анне-Лисе при всей моей душевной к ней признательности я не мог и был терзаем ее добротой в том смысле, что сочтет меня неискренним или хотя бы неблагодарным. Кроме того, я понимал, что факт возможного моего побега, как следствие, должен был причинить неприятности ее отцу, поверившему русским пленным, что они не убегут, и взявшему на себя ответственность перед лагерной администрацией. И хотя между мной и Анной-Лисой особой близости не было и, пожалуй, не могло быть, полностью исключать всякую ее надежду на, может, будущую серьезную дружбу, как мне казалось, тоже нельзя было.

Как-то мы заметили, что в механическом отделении приступили к работе два новых человека, которые привлекли не только наше внимание, но и того старого литейщика, и женщин, работавших на формовке стержней, и на прочих, разных вспомогательных работах. Вскоре стало ясно, что эти два новых токаря — эстонцы, получившие убежище в Финляндии, что они «паколайсет», то есть, по-русски, беженцы. Кое-что о беженцах из Прибалтийских советских республик мне было известно из финских газет, которые я имел возможность читать каждый день, — их приносила мне Анна-Лиса. Кстати сказать, с каких-то пор я понял, что для изучающих чужой язык газета является очень существенным учебным пособием. Тут и броские заголовки, и рубрики кратких информации, и происшествия, и объявления — все это очень схоже с публикациями газет на любых языках.

Сближения с эстонцами-беженцами я не искал, хотя видел их каждый день. Это были молодые люди в гражданской одежде, как можно было предположить, никаких ограничений



они не имели в смысле передвижения и проживания среди финнов — жили на частных квартирах. Изъяснялись они на своем родном языке, и финны их понимали, что для меня было любопытно. Позже я имел случаи кратких словесных общений с эстонцами, обращаясь к ним на финском языке, и убедился, что в известных пределах их элементарная речь мне была понятна.

Продолжая находиться под хозяйской крышей без каких-либо попыток отдалиться от мастерской, я не оставлял своих намерений отправиться в странствие вдоль побережья Ботнического залива на север. Сдерживала меня одежда и отсутствие энной суммы денег — где-то в пути выпить хоть чашку кофе, купить финскую лепешку. Не разрешив этих вопросов, нельзя было и думать пускаться в путь. Все, казалось, способствовало: время года, наше безнадзорное бытие, знание языка, осведомленность в географии. Но в той одежде, которая была на мне, ни в коем случае рисковать было нельзя. И тут еще появились новые, до поры не учитываемые мной сложности: ведь я все еще ни словом не обмолвился с Анатолием о своих планах. Размышлял: "Ну, если, допустим, все у меня будет, как говорится, "на мази", настанет какой-то вечер, когда я уже должен сорваться с места, то как быть? Попрощаться и уйти? Ждать случая, когда он будет спать, — уйти тайно? Или понадеяться на его солидарность и ввести в курс предстоящих моих намерений?" Казалось бы, за столь немалый срок нашей совместной работы можно человека узнать, да вот такого убеждения у меня не было, может потому, что я сам никому не открывался. Так же, видимо, мог и Анатолий хранить свою тайну.

И все-таки я решился рассказать Анатолию о своих намерениях. Не могу вспомнить точно было ли это поздним вечером или ночью в часы мучительной бессонницы, да и не в этом главное, факт — что разговор такой состоялся. Ну, раз это так, то надо было рассказать и о том, что меня побуждало идти ва-банк, — на такой трудный и рискованный поступок. В жизни оно так, сам примечал: долго человек сдерживается, томится, ни с кем не делаясь своей тайной, да приходит такой момент, что нет больше сил, и стоит только чуть затронуть эту предельно натянутую струну — и все... Может, и не на пользу себе, а может, и легче станет.

Рассказал я Анатолию о своей ранней юности, о спецпереселении и мытарствах всей нашей семьи: побег, аресты, жизнь без документов, о более позднем периоде, когда предлагали увольняться с работы только потому, что по происхождению ненадежен, отказывали зарегистрировать новорожденного в загсе и посылали в комендатуру НКВД, где новорожденного регистрировали как спецпереселенца. На ж тебе, обернулась война еще и пленением, в придачу ко всему.

— Вот, дорогой мой Толя, что меня побуждает на такой шаг! Тут и гадать не надо, что можно ожидать при моем возвращении из плена. Все будет учтено, и Колымы не миновать, а это страшнее финского плена.

После недолгой паузы, которую Анатолий понял, что я закончил свои откровения, он тут же спросил:

— Хочешь знать мое мнение? — на что я ответил неопределенно, но и не возражая, в том духе, что «допустим» или "ну, пусть так..."

— Я, Иван, не моложе тебя и хорошо помню, как батьку забирали в тридцать втором — какая-то малость пшеницы была у него припрятана, и ее нашли. Пять лет "учили свободу любить!" А ты таился, ничего не говорил мне о своих планах. Неужто не доверял? — почти с обидой закончил он.

Я должен был объяснить ему, что в таких рискованных делах положено быть осторожным и ни в коем случае не наталкивать, не впутывать человека, который своим умом не пришел к подобному решению.

— Ну это само собой, это правильно. Так я же своим умом и решаю: давай вместе! Разве хуже вдвоем?

Сказать ему, что да, я считаю — хуже, так ведь обидится. Я был уверен, что он еще не успел вдуматься, не в состоянии был даже представить себе, как велик риск нелегально преодолеть более четырехсот километров вдоль морского побережья, озираясь, голодая, ночуя под случайным кустом. Право же, я посожалел, что объяснился с ним, но правда и то, что уйти, не сказав ему ничего, вряд ли бы смог.

— Ладно, Анатолий, можем пойти и вместе, если ты до конца сможешь оставаться мужчиной в полном смысле этого слова. А пока, знаешь, давай-ка спать! Спи и думай о том, где и как достать нам самое простое и необходимое из одежды: штаны, куртки, кепки, рубашки. И Боже избавь от беды... никаких поводов для подозрений и догадок! Учти это! О том чтоб без шумток — нечего и думать! Ну, спокойной ночи!

Литейная полностью держалась на наших плечах. Мы изготовляли формы, наблюдали за нагревом и плавкой в тигле, разливкой металла, часто и выбивали горячие формы. Так что у хозяина было основание считать, что работников Бог послал ему вполне хороших — повезло, и, как нам казалось, было за что хозяину и некоторые издержки нести. А пришли мы к такой мысли в связи с тем, что после таких работ, как заливка форм и выбивка опок с горячими отливками, мы бывали в пыли и в поту и в той же робе шли на отдых. Вот в таком виде и предстали мы перед хозяином с деликатным вопросом: так-то оно так, человек цивилизованный, не можете не понять, что после работы нужно бы нам переодеться, да нет у нас ничего, кроме этой грязной робы. Оно, конечно, мы понимаем, что мы — пленные, но менять одежду все же, видимо, нужно.

Сам старый швед приходил в мастерские в чистой одежде; в раздевалке, в шкафу — другая, к станку он вставал переодетый. Грешное дело: на его рабочий костюм я засматривался, но сейчас не о том.

Хозяин нас выслушал и предложил следовать за ним. Мы оказались в кладовой, где было много различного имущества — материалы, инструменты, приборы — Бог знает, чего там только не было, и мы не сразу поняли, ради чего хозяин решил познакомить нас с этими сокровищами. Когда же он начал снимать с полки и класть на стол одну за другой стопки брюк и курток, а после сказал: "Выбирайте, может, что-нибудь подойдет", — мы почти растерялись. Нам верилось и не верилось, что все это ни на какие запоры не закрывалось, и сторожа у хозяина не было. Здесь же, в бытовой комнатке, по существу, среди всего этого имущества нас оставляли одних, и хозяин никогда ночью не приходил, чтобы проверить, все ли у него во владении в порядке. Не стану утверждать, что в Финляндии везде так, но у этого предпринимателя было именно так: никаких намеков, что может быть что-то похищено, чему мы очень удивлялись, ведь в мастерских, кроме нас, никого не оставалось с вечера и до утра. Собственно, такие условия, когда мы оставались вне надзора и слежки за нами по окончании работы, убеждали меня, что есть возможность тихо оставить это место и что более удобного обстоятельства выждать не следует, его просто не может быть. Делясь такими соображениями с Анатолием, я заметил, что друг мой среагировал с какой-то долей сомнения или нерешительности. Это меня несколько обеспокоило: я почувствовал, что он колеблется, к твердому решению не пришел и вряд ли придет, надеяться на него нельзя. Про себя же подумал, что есть резон решительно ускорить задуманное и этим же вечером, с наступлением темноты, сказать, что я ухожу.

После работы, когда Анна-Лиса принесла нам ужин и, как обычно, присев на стул, начала о чем-то рассказывать, я попросил прочитать составленную мной записку к ней на финском языке, содержание которой было примерно следующее: "Простите, пожалуйста, Анна-Лиса, и будьте столь добры, скажите, нет ли у Вас какой-нибудь мужской рубашки, которую Вы могли бы мне подарить? Только это между нами. Был бы очень Вам обязан". Бегло прочтя мою

записку, которую, кстати, я показал ей, держа в своих руках, она выразила полную готовность сделать все, как нужно, сказав, что сейчас же принесет."

Могла ли она заподозрить меня в том, что рубашка нужна мне в преднамеренный мной путь? Я рассчитывал по ее расположенности к нам, что такой мысли у нее не должно было возникнуть, хотя, конечно, я рисковал. Но пока все шло благополучно, Анна-Лиса принесла рубашку не таясь, открыто, я тут же ее надел, благодарно обещал отдарить, если Бог потерпит мои грехи и будет милостив к моей судьбе.

Это было в двадцатых числах августа. Было пасмурно, и оттого сумерки сгущались явно раньше обычного. Я почти был уверен, что Анатолий не решится идти со мной, но это не могло меня остановить, и я должен был сказать ему последнее слово. Видимо, он догадывался, что минута расставания близка и ему, может, удобнее будет ответить на возможный мой вопрос — признаться, что передумал, что уходить со мной он не решается.

— Ну, Анатолий, мой час пробил. Сборы, как видишь, недолги, и я готов еще раз поставить себя под испытание на прочность. А как ты?

— Не осердись, Иван, не осуди — боюсь!

Ну какая же могла быть обида на человека, который решил, что на такой шаг он идти не может. Мне же оставалось только просить его задержаться в мастерских хотя бы на полчаса, пока я успею скрыться. И еще о том, что ему ничего неизвестно, куда я намерен продвигаться. Расстались мы по-хорошему, пожелали друг другу удачи. Но я совершенно был уверен, что он сразу же поставит в известность лагерную охрану во избежание каких-либо обвинений в сокрытии факта побега. Я дал ему понять: "Ты спал, а когда проснулся, меня уже не было..."

Принаряженный в хозяйский рабочий пиджак и его же кепку, я вышел из мастерских, прислушался: кроме гула автомашин, ничего не было слышно. Убедился, что велосипеды находятся там, где им и положено быть, всем трем машинам. Очень спокойно (то есть, конечно, в том смысле, спокойно, когда это достигается предельным напряжением воли) я взял один из находившихся в пирамидке, проверил — покрышки были туго накачанными, — после чего вывел к магистрали и только тут обнаружил, что велосипед женский. Но возвращаться, чтобы заменить, было уже ни к чему. И сердце, и ноги, и все во мне было подчинено единственной цели: быстрее и дальше откатиться от места, где меня только что не стало, и я нажимал на педали. Подъезжая к городу Вааза, почувствовал, что пошел дождь, и это было, наверное, хорошо. Было часов девять вечера — время не позднее, и транспортных средств на магистрали было еще много, в том числе и велосипедов. Встречные меня не могли беспокоить, но в те моменты, когда обгоняли на мотоциклах, было тревожно: как знать — все могло быть. Но все же была надежда, что Анатолий никак не имел в виду, что я использую велосипед; вспомнят о нем, может, только назавтра. А напряжение нервное все еще не сбавлялось — сердце стучало с отдачей в виски, и я чуть ли не звучно ощущал удары! Дождь продолжался, спина и ноги были мокры и горячи, я дышал ртом, с меня градом лилась смесь пота и дождя, но я продолжал бросать свой вес на педали, чтобы все еще и еще, и еще дальше, дальше на север. Часов у меня не было, и я не мог даже приблизительно определить, как долго нахожусь в пути и как далеко успел отъехать, прежде чем подумать, как мне лучше поступить: продолжать этот велосипедный бросок или, может, пора спешиться и искать какое-то укрытие. Но о каком укрытии могла идти речь, если я не мог и подумать о встрече с человеком. По обе стороны был густой смешанный лес, больше похожий на заросли ольхи и, может, черемухи да березок, и уже совсем редко стал встречаться транспорт, — это тоже как-то неприятно, ведь ты можешь вызвать подозрение в случае какой-либо встречи и тем более, помилуй Бог, вопроса ко мне: кто ты есть? куда ты? кого тебе нужно, и где он тот? Ни на один из подобных вопросов я не смог бы ответить.

Остановился и с велосипедом — круто в сторону, в эти мокрые, неведомые мне заросли. Дождь продолжает шелестеть по листве, я барахтаюсь с велосипедом, который цепляется за все видимое и невидимое, но метров на двадцать я все же оттащил его от дороги. И там я его оставил, а на душе — какая-то жуткая грусть из-за всего, что делала война с человеком. Я стоял, не зная, как мне быть глухой темной ночью в непролазных зарослях во вражеской стране, где таких просто-запросто могут убить как врага, — война продолжалась.

Как бы не своей силой я сдвинулся с места с чувством полной отчужденности от всего живого на свете, продираясь в безотчетности по мокрым кустам в темной ночи. Все дальше и дальше, надеясь незнамо на что, потому что быть без движения еще тягостней и безнадежней. Вдруг вышел на поляну. Остановился, присел на корточки, всматриваясь и касаясь ладонью земной поверхности. Я понял, это была поляна после покоса. Блеснула мысль, что где-то неподалеку может быть сено. Стал всматриваться поодаль себя и — о-о! — я мысленно вскрикнул: "Так вот же, вот же он, сенной сарай!" Внутренне, в уме, я сообщал сам себе эту спасительную, уже видимую, представшую по воле Спасителя надежду. Я иду с предвкушением возможности забраться в глубь сена, зарыться, где не только сухо, но еще есть и доля сохранившегося июльского тепла, что может быть дороже в такую минуту!

Я был потрясен до глубины души и благодарил Господа Бога за его милосердие. Ведь я ничего не ведал, когда шел во тьме, был в отчаянии, и вот эта поляна, как дар Господний. Я вырыл глубокую нору в сухом ароматном сене и успокоился, почувствовал, что могу уснуть.

Это была первая ночь из тех примерно сорока пяти ночей, которые мне пришлось провести в одиночестве за время пути от лагеря до финского пограничного со Швецией города Торнио. Описать подробно эти сорок пять суток мне не под силу. Можно лишь представить положение человека, который без денег и без документов преодолел после побега из лагеря около пятисот километров по чужой земле. Пришлось изведать и голод, и страхи, и минуты, и часы отчаяния и безнадежности. Неделями питался брусникой, которая часто попадалась в сосновых лесах у побережья Ботнического залива. Случалось наниматься в крестьянских хозяйствах копать канавы, чтобы иметь немного финских денег и продовольствия в пути. Были случаи, когда задерживали и держали взаперти день-два, но благодаря тому, что я выдавал себя за эстонца и знал по-фински, отпускали, как говорится, с Богом. Последнее задержание произошло в самом пограничном городке Торнио, где я рискнул пройти через границу прямо по мосту через пограничную реку. Тот мост соединяет два государства, и местное население ходит свободно из Финляндии в Швецию, и наоборот. Но охрана знает местных, можно сказать, в лицо. Здесь меня и задержали у самой цели: оставалось всего двадцать — тридцать метров до шведского берега. Жуткое состояние: могли бы вернуть на исходное место, но... В камере полицейского участка продержали без допроса почти трое суток. Наконец вводят в кабинет к полковнику полиции. Спрашивает по-фински: "Куда вы идете?" Я отвечаю на финском языке, что иду в Швецию. "Кто вы?" Отвечаю, что эстонец. После этого он подвел меня к карте городка и указал мне, где можно безопасней перейти границу — вброд, несколько выше по реке, которая в тех местах является границей.

Сказал, в какое время это лучше сделать: перед вечером С тем и отпустил меня на свободу.

Все, что я успел увидеть на карте этого городка, я держал в памяти, и мне было ясно, что, выйдя из полицейского участка, нужно пройти вспять моего пути метров пятьсот, свернуть налево, в переулок, то есть в северном направлении, и пройти за пределы населенного пункта. Однако, как было сказано, я должен был обойти городок перед вечером, притаившись, выждать до сумерек, находясь у пограничной реки, и только потом быстро перебежать через реку. Перебежать через реку... Эти слова не могли не беспокоить: "Что же за река, которую можно перебежать?" — думал я. До предвечерней поры оставалось еще часа два-три и провести их тоже оказалось непростым делом — надо было поменьше попадаться на глаза местным жителям. Но ведь и стоять не годится, если сам вид твой совсем не вписывается в окружающую тебя среду, ты — пришелец из какого-то иного мира, на твоём лице следы

глубокой тоски, и ты это знаешь, ты очень не хочешь слышать вопросы, обращенные к тебе, ты хочешь есть...

Побуждая себя к более бодрому шагу, я прошел метров двести и увидел вывеску: «Кахвила». Какая-то мелочишка у меня еще сохранилась, и тут-то я, как бы подхлестнув себя, взбежал по ступенькам подъезда, вошел в кофейную. Было там и тепло, и светло, и уютно, и ко всему еще чудесный запах горячих пампушек и кофе со сливками. Как во сне: молоденькая финка-северянка в белоснежном передничке с широкими ляжками крест-накрест любезно налила мне две крошечные чашечки кофе, подала на блюде пару пампушек, обронив свое учтивое: "Олкаа хювя!" ("Пожалуйста!"), и эти ее слова вошли глубоко в мою душу, как доброе пожелание, как благодать моему пути. "Киитоксия пальйон!" ("Большое спасибо!") — ответил я с чувством смущения и какой-то неловкости, потому что ты — инкогнито и ты не свободен от мнительности.

Задами я прошел по бугристому пустырю и, притаясь неподалеку от реки Торнио, сидел часа два, поджидая сумерки. Вслушиваясь и всматриваясь, я не заметил никакой пограничной охраны. Не было видно и пограничных столбов. Когда же сумерки начали сгущаться, момент моего решения перейти через пограничную реку подступал к последним секундам отсчета. Я чувствовал, что не исполнить своего решения, усомниться или передумать уже не могу. И абсолютно не испытывал страха. Я просто рывком бросился бежать по затравяневшему низинному берегу прямо к реке, ни с чем не считаясь. И в те же минуты я услышал крики с финской стороны, охрана заметила, но остановить меня могла только пуля — я продолжал бежать. Тут же, лишь на секунды позже, я услышал крики со шведской стороны, а затем увидел бегущих мне навстречу двух шведских солдат и понял, что их крики относились к финнам. Вот так я оказался в Швеции, а точнее, на шведской пограничной полосе, где и был встречен двумя, как показалось, очень рослыми пограничниками в белых меховых шапках. Там я назвал себя собственным именем.

Это было 15–18 октября, точно не помню — дней не знал.

Там же, не дав мне отдышаться, они осыпали меня вопросами, которые я не мог понять, но когда один из них, тыча пальцем себе в грудь, произнес: "Яг эр свенскар! Свенскар!" — это уже было созвучно с нашим «швед» или «сведен», тем более что его палец указывал и на меня, я понял его и сказал: "Я — русский! Рюслянд!" Тут я услышал: "О-о! Ео-о!" На их лицах было и сочувствие, и приветствие. И нет, совсем не было это похоже на то, что меня повели под конвоем. Они как бы увлекали меня, идя рядом, торопясь и отрывочно, с помощью жестов, пытались мне что-то объяснить на непонятном для меня языке, касаясь моей невзрачной одежды, брезгливо произнося что-то схожее с нашим "фез-э!", бросая жест в сторону. Но, в общем, вели они себя совсем невраждебно, и это меня успокаивало и ободряло. Минут через десять мы подошли к будке телефонной связи, куда один из солдат вошел и позвонил. Очень скоро подошла автомашинка типа нашей ГАЗ-69, из нее как по тревоге почти на ходу выскочил человек в темной форме и вопрошающе обратился к солдатам. Было упомянуто слово «рюсск». Его взгляд скользнул по мне с головы до ног; и я услышал вопрос: "Рюсск пойке?" ("Русский парень?"). Я догадался, о чем он спрашивает, кивнул утвердительно, подальше этого разговор не пошел, полисмен не знал ни русского, ни финского, и мне было указано, чтобы я сел в машину.

Ехать пришлось совсем недалеко — машина остановилась у небольшого каменного строения котельной, где была и душевая. Вот так: прямо с ходу — меня под душ. Но об этом я догадался не сразу. Первым долгом мне стали предлагать и так и этак показывать, чтобы я разделся, но происходило это не в душевой, а в кочегарке, возле котла, и я никак не мог понять, в чем дело и чего от меня хотят. Потом показали мне кабину, открыли вентиль, и я увидел, как хлынули струйки воды — догадался наконец, что могу вымыться после моих долгих странствий. Но ведь надо только представить, каков я был, если полных семь недель не раздевался, — на мне все истлело и боязно было вообразить, что после душа мне

придется надеть опять то, что сбросил с себя. Но беспокойства мои были напрасными: когда вышел из душевой, то своей грязной одежды не увидел — она уже была сожжена в топке. Кто-то из младших чинов полиции накинул на меня простынь, указал надеть тапки, и в таком виде я был уведен в арестантское помещение и водворен в камеру, где было указано место и выдано нательное белье. Все это произошло прежде, чем подвергли меня первичному допросу: кто я есть, откуда и зачем перешел границу.

На допрос меня пригласили только на третий день. Не знаю, был ли это следователь в обычном моем представлении или же это был какой-то оперуполномоченный, но факт, что русским языком он не владел — допрашивал, с моего согласия, на финском. В сущности, для меня это никакой роли не играло, поскольку вопросы мне были ясны и понятны, каких-либо обвинений мне не предъявлялось, и у меня не было причин отвечать не так, как было на самом деле. В сравнительно краткой форме я рассказал этому первому шведскому следователю сущую правду: о том, что моя родовая фамилия Твардовский, что звать меня Иваном и все то, что само собой следует по порядку: год рождения, место рождения, место жительства до службы в Красной Армии, сколько времени был на войне, когда попал в плен, когда и как бежал из лагеря пленных и т. д.

Здесь, в этом шведском пограничном городке — Хапаранда, соединенном посредством моста через пограничную реку с таким же названием с соседним финским городком, я пробыл на положении задержанного не менее двух недель. Не буду описывать условия содержания — они были не сравнимы с условиями в советских местах заключения.

За эти две недели по одиночке и группами прибыло человек сорок норвежцев, с десятков немцев из Северной Финляндии и трое русских. Вступать в близкое знакомство с кем-либо из встретившихся здесь беженцев мне не случилось. Накануне отправки в лагерь для интернированных мне была дана вся необходимая по сезону одежда. Уезжал я поездом без всякой охраны, но, поскольку шведского языка совершенно не знал, мне был дан сопровождающий из штатских граждан. Поездом мы ехали часов семь — восемь, сошли на станции города Умео. Но до лагеря нужно было добираться автобусом — он был где-то в стороне, километрах в сорока от Умео, на берегу средней части Ботнического залива.

Это было в первых числах ноября 1944 года — в первый день моего пребывания в шведском лагере интернированных беженцев из разных стран Западной и Восточной Европы: Франции, Бельгии, Голландии, Польши, Дании, Норвегии, из Прибалтийских республик и прочих дальних и близких от Швеции мест. Но начнем с того первого впечатления о самом лагере. Еще при въезде предстал обзору очень своеобразный, возведенный на склоне обширной лесной поляны городок не менее чем из сотни аккуратных типовых домиков-общежитий. Называть их бараками просто не хочется, да пожалуй, и нельзя — так они привлекательны и опрятны. Их строгие ряды на фоне зубчатой стены хвойного леса и благодаря броскому присутствию живых,двигающихся обитателей выглядели нарядно-праздничными. И ничего лишнего возле жилых домиков: ни сарайчиков, ни отхожих будок — санузел, водопровод, центральное отопление в каждом домике.

В домике, где меня поселили, были только русские и говорящие по-русски. Кстати, он был там единственный, русских в этом лагере было мало, всего человек тридцать или несколько больше. Но то, что русские жили отдельно от других, не было исключением — другие национальные группы также были поселены отдельно, и это было хорошо, так как были случаи национальной неприязни и явного недружелюбия. Самые неприятные эпизоды столкновений разыгрывались в столовой, которая была узким местом: приготовить пищу для такой массы людей и потом суметь в сжатые минуты подать на столы, накормить — все это стоило почти адских усилий шведским девушкам. И можно представить, какое нужно иметь терпение и выносливость, чтобы с утра и до вечера обслуживать все новые и новые сотни разноязыких пришельцев, которые к тому же не всегда вели себя достойно.

Каждый из интернированных по истечении двух-трех недель пребывания в лагере, пройдя какую-то проверку или уточнение данных, мог получить паспорт для иностранца и поехать в любой населенный пункт, чтобы устроиться на работу. В большинстве случаев администрация давала адреса предприятий, где желающие могли получить работу с оплатой на общих основаниях, то есть в тех же размерах, как оплачивался труд шведских рабочих. Но речь, конечно, могла идти о рабочих местах, где не обязательно знать шведский язык: например, работать лесорубом, грузчиком, рабочим при ресторане и т. д. Такие условия лично меня в тот момент вполне устраивали, и я поджидал такой возможности. Во-первых, меня не прельщало жить на «милосердных» хлебах, я догадывался, что в конечном итоге каждое государство за своего подданного, находившегося в интернировании, обязано будет оплатить понесенные расходы. Во-вторых, с того момента, как только среди русских интернированных стало известно, что я Твардовский Иван Трифионович, то их это как-то сильно напугало, и меня стали обходить — зачислили в агенты НКВД. Поначалу я думал, что это просто интеллигенты от безделья шутят, ан нет. Один из них, назвавший себя журналистом, перешел на полный серьез и, обращая ко всем русским, криком призывал: "Что тут гадать?! Его брат, поэт Александр Твардовский, законченный сталинист! И сомнений не может быть, что этот не зря тут, по заданию НКВД прибыл!"

В Швеции, конечно, такие толки не могли представлять мне угрозу, но было неприятно: навесили тень агента на меня. Поспособствовало этому нелепому подозрению еще, пожалуй, и то, что я по простоте рассказал, что бежал из штрафного лагеря один, путь мой был побережьем Ботнического залива, в пути находился почти семь недель и границу перешел в районе реки Хапаранда. Этим маршрутом никто из русских не проходил, хотя ясно же было, что в Швецию все русские прибыли из Финляндии. Если же это так, то я вправе был думать, что удалось им это сделать не без помощи тех, кому они служили. Но это, конечно, лишь моя догадка. И многое осталось неясным: в связи с чем, откуда и каким образом, если спросить каждого из русских, оказался он в Швеции, как-то все старались уйти от таких вопросов. В лагере, где мне довелось быть (а был я там недели три), русские в своем большинстве были из интеллигенции, образованные люди: журналисты, преподаватели высших школ, инженеры, врачи, служители религиозного культа и прочие в этом роде. Никто из них ничего о себе не рассказывал. Они держались отдельными группами, как давно знавшие друг друга единомышленники. Позволю себе более подробно сказать лишь об одном из них — Бронеславе Яворском. Ко мне он относился довольно дружественно, кое-что рассказывал о себе. Называл себя инженером, якобы доводился сыном известному в свое время московскому солисту. Обладал и сам отличным баритоном и по просьбе слушателей охотно исполнял два-три классических романса. Его любимые вещи были: "Хотел бы в единое слово...", "О, не буди меня, дыхание весны...", "Песнь варяжского гостя", "Сердце красавицы склонно к измене...". Позже, примерно через год, когда я работал в одной из частных резных мастерских в селении Индальсэльвен неподалеку от города Сюдсвалль, он приезжал ко мне из города Уппсала. Рассказывал, что как инженер, не владеющий ни одним из европейских языков, он не может получить инженерную должность на предприятиях Швеции — в лучшем случае предлагают пятьдесят процентов ставки инженера, а потому живет в нужде, в одиночестве и тоске. Он и посетил меня не от радости.

В конце ноября 1944 года администрация лагеря интернированных уведомила меня, что "паспорт для иностранца" на мое имя получен, и если я пожелаю, то могу поехать на работу. Из русских и украинцев, согласившихся на такое предложение, набралось восемь человек. Без каких-либо задержек, в назначенный день автобусом нас доставили в город Умео, посадили на поезд, предупредили проводника вагона, чтобы не забыл, что этим русским ребятам нужно сойти на станции Аспео, где их обязательно встретят. Такая забота объяснялась тем, что никто из нас не владел шведским языком.

На той безвестной, утонувшей в лесах маленькой железнодорожной станции Аспео с населением едва ли более пяти-шести семейств, нас встретил и тепло приветствовал

представительный рослый господин. Убедившись, что все мы, восемь человек, именно те, которых он ожидал, дал нам понять, чтобы следовали за ним. Не зная языка, мы не могли уяснить, что он предлагал нам немного отдохнуть в его семье за чашкой кофе, что, кстати, у шведов самый обычный жест доброжелательности, мы молча шли следом, не удостоив господина элементарным в таких случаях словом «спасибо». С неподдельным радушием встретила нас супруга самого господина, который был, как мы узнали позже, представителем акционерного общества «Бюваттен» в данном районе лесозаготовок. Мы были тронуты вниманием к нам, готовностью так любезно и бескорыстно, с душевной щедростью угостить нас ароматным кофе со сливками и домашним печеньем. Мы благодарили, как могли, но было до обидного неловко, что никто из нас не владел ни одним из европейских языков — достойно поблагодарить мы не могли. В завершение этой встречи нам предложили ознакомиться с комнатой фамильного собрания редкостных предметов культуры скандинавских народов прошлого, что также произвело на нас сильное положительное впечатление, о людях шведской глубинки. Описать картину того часа нашего отдыха, знаю, мне не удастся, но надеюсь, меня могут понять, что случай такой достоин памяти.

До места нашего назначения, где нам предстояло работать, нужно было пройти километров десять-одиннадцать в сторону от железной дороги, лесом. Господин предложил нам ознакомиться по карте, чтобы мы не сомневались — заблудиться мы не можем: на девятом километре значился крестьянский хутор, дальше — по льду через озеро напрямик к домику лесоруба, где есть и мастер участка, и повариха, и нас там уже ждут. Так и получилось: вечером того же дня мы были встречены и приняты в том маленьком домике на отшибе от больших дорог и скоплений беглых представителей разных стран и народов. Ясно же, что ничего завидного нет в том, что мы получили возможность работать в лесу. Но людям, совершенно не знающим языка, лучшего нельзя было ни ожидать, ни искать. И нет нужды останавливаться и описывать, как она, работа в лесу, начиналась и как шла — все такое почти каждому знакомо и понятно, если учесть, что полсотни лет тому назад в Швеции работа в лесу производилась тем же методом, как у нас в России в те годы — еще не было ни бензопилы, ни сучкореза, ни трелёвочного трактора, — все это пришло позднее. Разница была лишь в том, что лесоруб в Швеции зарабатывал раза в два-три больше, чем лесоруб в СССР, если сравнивать по объему товара, который можно приобрести на зарплату одного рабочего дня. Но не это было чем-то важным в жизни всех тех, кто оказался в плену или просто на чужбине, — эти люди жили одним днем и о своем будущем никаких ясных представлений иметь не могли. Восемь русских, в составе которых мне случилось работать в шведских лесах зимой 1944/45 года, до войны и на войне друг друга не знали. Не было среди нас и разговоров о том, кто, где и чем занимался на Родине, как и о том — на что рассчитывает и надеется каждый из нас. Судя по возрасту и каким-то прочим приметам, как мне казалось, все могли быть семейными людьми, но почему-то этот вопрос оставался тайной. Как и чем это объяснить — можно лишь гадать. Между прочим, не замечалось, чтобы кто-либо проявлял себя открыто антисоветски, вроде бы даже наоборот: эти люди искренне, патриотически радовались успехам Советской Армии на фронтах. Но вот не помню, чтобы были высказывания о готовности возвратиться на Родину по окончании войны — боязнь ответственности оставалась непреодолимой. По существу — ответственности за несовершенное зло, за то, что остался жив из тех тысяч брошенных на произвол и потому погибших по вине бездарных командиров, не принеся своей смертью никакой пользы Родине.

Вместе с нами в лесу работали и шведские местные крестьяне: трое на собственных мощных рыжих лошадях вывозили из леса бревна к месту сплава, два других шведа работали на повале, как и мы. Общение с ними было каждодневным, в известной мере — обоюдозанимательным: мы все больше постигали тайну шведской народной речи. И это было очень кстати: жизнь обязывала; в свою очередь, на досуге для простых шведов мы представляли непосредственный, из первых рук, источник знаний о жизни в России. Интерес к России и к русским удерживается с тех далеких исторических событий, когда завоевательный



поход на Россию короля Карла Двенадцатого потерпел поражение под Полтавой. Об этом знает буквально каждый житель Швеции. И здесь не могу не вставить в строку, что в своем подавляющем большинстве шведы необычайно любопытный и общительный народ. Им все интересно и непременно хочется знать, в то же время они ничего не скрывают, рассказывают о своих личных делах, взглядах, убеждениях. Шведский крестьянин всегда готов рассказать, а если будет удобный случай — показать гостю свое хозяйство: свои достижения, обустройство своей усадьбы. Он всегда трезв и житейски мудр, свободолюбив и милосерден. Мне случалось и бывать, и жить в шведских семьях, до сих пор храню в памяти имена тех добрых людей и названия мест, где это происходило. Но об этом расскажу ниже.

С наступлением весны 1945 года, в апреле, когда Советская Армия уже была на подступах к Берлину и всему миру стало ясно, что дни фашистской Германии сочтены, когда информация о фашистских лагерях смерти, освобожденных Советской Армией, стала широко публиковаться в шведской печати, с иллюстрациями документальных фотоснимков, не было сил удержаться от слез и содроганий души, глядя на полуживые скелеты уцелевших узников, не было границ гневу и проклятиям людским фашизму за его зверства над людьми, за миллионы сожженных и замученных. Я видел, как в Швеции с мольбой взывали к Богу низвергнуть и покарать изверга рода человеческого.

Ни интернированным, ни освобожденным Советской Армией из фашистского плена по негласному закону не было дано право чувствовать себя причастными к исходу Великой Отечественной войны — Победе. Так именно понимал каждый, кто оказался в плену или "пропал без вести", а таких было, страшно сказать, более трех миллионов! И хотя большинство из них стали жертвами невообразимой неорганизованности нашей обороны в первый период войны, каждый понимал, что плен — незаживающая рана души воина. Все это действительно так, и всем известно, что миллионы советских воинов отдали жизнь свою, защищая Родину. И все же: неужто все, оказавшиеся в плену — не хочется повторять их число, — не смогли совладать с собой и, забыв о своем священном долге, предпочли жизнь в плену врага, в лагерях смерти? Так, может, есть предел человеческих сил? Может, с этим как-то нужно считаться, если вершители судеб тоже люди и у них есть матери и дети?

Из-за начавшихся паводков с прежнего лесоучастка нас, русских, перевели в другой, более населенный район, неподалеку от железнодорожной станции Бюваттен, что между шведскими прибрежными городами Шеллефтео и Орншёльдсвик. Но здесь в прежнем составе мы оставались недолго. Поселены мы были точно в такое же общежитие, как на прежнем лесоучастке, — такой же небольшой стандартный домик, с той лишь разницей, что стоял он возле шоссе у автобусной остановки. Мы часто видели проходящие автобусы, иногда они останавливались, подбирали пассажиров и продолжали свой путь. Но почему-то такая картина вызвала тоску почти необъяснимую: кто-то куда-то уезжал, а мы оставались на месте... Но вот вдруг один из нас, рослый двадцатипятилетний брюнет (звали его Федей), стал собирать свой чемоданчик, объявив, что уезжает... в Стокгольм (!): "Работать нет сил, ничто меня не интересует, душа моя стонет и плачет". Почти в точности такими словами он поведал о том, что давно нестерпимо угнетен душевно и что держался только насилием над собой, но дальше, мол, нет мочи вести борьбу с чувством беспросветной подавленности. Понять истинную причину столь упаднического Федино настроения мы не могли, отнеслись к его решению неодобрительно, предостерегая от легкомысленного поступка, но он оставался при своем мнении. Выглядело это довольно странно: он не пожелал объясниться с мастером как с представителем конторы, хотя этого требовал существовавший порядок оформления ухода с предприятия. Помимо всего, нам казалось, что такой поступок одного из нас, русских, когда он самовольно бросает работу, не заявив о расчете, будет воспринят как бестактный и неблагодарный в отношении гуманных мероприятий, предпринятых Швецией. Не без труда, Федю мы все же удержали и мастеру дали понять о крайне плохом самочувствии товарища. К сожалению, мы затруднялись перевести на шведский такие понятия, как «угнетенность», «разочарование», "утрата интереса к жизни", и мастер не сразу

догадался, о каких симптомах мы говорим. Но как только он уяснил, что речь идет о душевном страдании, то спокойствие на его лице резко сменилось озабоченностью, и мы услышали от него: "Йу-йу! Йаг форстор. Дет ар псуюхиска депресшун!"{10}

История эта закончилась более печально, чем можно было ожидать. Поначалу мастер сопровождал Федю в больницу в город Шеллефтео — ближайший уездный центр. Когда же недели через две мы всей группой поехали навестить своего товарища, то его там уже не оказалось — он был отправлен в Стокгольм. По-быстрому, оперативно что-либо узнать в тогда еще совсем незнакомой для нас стране, почти не зная языка, не представлялось возможным — вопрос отпал сам по себе. Значительно позже, по тем известным законам жизни, что человек, так или иначе, не может существовать вне всякой связи с людьми, когда кто-то из нас жил и работал в Стокгольме, до меня дошли слухи, что Федя скончался в больнице от туберкулеза скоротечной формы.

В том, что по окончании Великой Отечественной войны большое количество соотечественников по самым разным обстоятельствам находилось на чужбине, по Европам и Америкам, — не было секрета. Предполагалось, что правительство СССР непременно будет решать вопрос возвращения своих граждан на Родину, в том числе и тех, которые оказались в Швеции. Интересовались этим вопросом все, хотя далеко не все считали, что возвращение возможно. Опять же по разным причинам: ничего не было известно о судьбах тех, кто уже возвратился из немецкого плена.

К осени 1945 года в шведских газетах появились сообщения о том, что правительство СССР потребовало от Швеции выдачи какой-то части советских граждан из Прибалтийских республик. Требование касалось конкретных лиц, то есть названных в документах по именам и фамилиям. Эти люди категорически отказывались возвращаться в СССР, о чем тогда же сообщалось в шведских газетах. Но Советское правительство продолжало настоятельно требовать. Шведская сторона в лице самого короля Швеции Густава V обращалась с ходатайством к И. В. Сталину с просьбой не принуждать силой тех, кто возвращаться не желает, подчеркивала, что Швеция готова предоставить возможность им жить в Швеции. Как сообщалось в шведской печати, ответ Сталина был предельно краток: "Нет! — Сталин".

Не могу назвать точно, в какой шведский порт подошел советский теплоход «Сестрорецк». Это судно было предназначено для принятия на борт всех затребованных и доставки их в СССР, как совершивших преступления против Родины. Против таких доводов Швеция выступать не могла, и посадка названных прибалтов была назначена на какой-то определенный час. Понимая, что никакого выхода нет, прибалты — по крайней мере, многие из них — пошли на самое крайнее: при помощи бритвенных лезвий вскрывали себе вены. Но и такой шаг положения не изменил и тех, кто не в состоянии был подняться и взойти по трапу, вносили на носилках, объясняя, что на судне есть врачи и необходимая медицинская помощь будет оказана. Об этой операции подробно сообщали шведские газеты "Дагенс нюхетер" и "Стокгольмс тиднинген"; называлось и число прибалтов, отправленных в тот раз в Советский Союз — их было более ста человек. Случилось так, что после нашего поселения неподалеку от железнодорожной станции Бюваттен общежитие привлекло внимание местных жителей, и стали у нас бывать и старые, и молодые люди, из разбросанных в округе хуторов и прочих селений. Объяснялось это очень просто: в шведской провинции русских людей мало кто когда-либо встречал, а тут — вот тебе, совсем рядом, приходи, пожалуйста, знакомься, беседуй, чай пей и все такое прочее... И, пожалуй, редкими были такие вечера, чтобы никто из шведов не пришел посидеть "у русских в гостях". У каждой из сторон по-своему складывался интерес к подобного рода общению, разной была способность обнаружить и понять суть привычных черт воспитанности, манеры поведения, проявления такта и человеческого достоинства как по отношению к национальной общности, так и к отдельной личности.

О провинциалах Швеции складывалось впечатление как о людях довольно высокой культуры.

Это подтверждалось не только духовностью — уважительным отношением к чувствам собеседника, желанием внимательно выслушать и правильно понять, но еще и умением не поскупились на комплимент, если есть хоть небольшая причина это сделать. Такое нельзя было не заметить, когда наш колымчанин-баянист Коля Арапов по просьбе шведов соглашался исполнить на баяне задушевные русские мелодии. Или пусть по другому поводу: знакомясь с моими скульптурными миниатюрами, выполненными на досуге, чтобы просто иметь таковые на случай... Но дело, конечно, не в том, что в Швеции я услышал нечто приятное и располагающее в отзывах о моих далеко не лучших работах. Я чувствовал все же совсем другое: после долгих лет рабского существования я увидел подлинно человеческое отношение ко мне, и это было очень дорого и незабываемо.

Живому — живое: как бы ни щемило сердце обо всем, что случилось, как бы ни была горька судьба, я не позволял себе согласиться с тем, что это уже мой конец и я не смогу возвратиться на Родину — русскому ничем не заглушить память о России. Я это чувствовал, я знал это из книг, я встречал людей в Финляндии, которые на себе испытали, что такое для русского жизнь без России.

Восемь месяцев жизни в Швеции (хотя это время прошло в основном в лесной глуши) все же кое-что значили в смысле первичного овладения языком: коряво, дурно, но каждый из нас что-то мог сказать, спросить, ответить или просто догадаться, о чем шла речь. В этом отношении я имел сравнительно большой успех — шведский для меня был вторым после финского иностранным, и это играло известную роль: я твердо знал латинский шрифт, легко разбирался в грамматических формах словообразований, умел пользоваться словарем. Помогло мне и то, что я успел дать о себе знать в Финляндию незабвенной Анне-Лисе — дочери владельца литейно-механических мастерских. Я сообщил Анне-Лисе (на финском), что жив и здоров, просил не судить строго, заверил, что готов немедленно возместить стоимость велосипеда в любой форме: деньгами или посылкой нужного товара, что это в Швеции не запрещено. Нет, Анна-Лиса не упрекнула. В ответном письме она выражала искреннюю радость, что я дал о себе знать, и были слова самых добрых пожеланий. А несколькими днями позднее я получил от нее русско-шведский и шведско-русский словари и грамматику шведского языка.

В общем, так скажу: почувствовал, что с лесорубством надо кончать. Может, не было бы таких мыслей, если бы ничего другого не знал, но — никуда не деться — я считал, что могу назвать себя знающим дело и место работы по специальности получу. К тому времени из объявлений в газетах я узнал, что в каждом городе Швеции есть информационное бюро под названием «Арбетсфёрмедлинг». Это сложное название в переводе на русский понимается как посредническое учреждение по трудоустройству: можно оперативно связаться с любым предприятием в стране, получить сведения или дать адрес предприятия, где могут принять на работу по той или иной профессии. Признаться, я не очень верил, что все так просто, а потому решил лично побывать в ближайшем городе Шеллефтео. Сделать это было несложно — автобусом не более одного часа пути. И я не откладывая совершил эту поездку. Город Шеллефтео по численности жителей можно было сравнить с районным центром. В те годы в нем было тысяч двадцать пять — тридцать, но выглядел он несравнимо крупнее, капитальнее, наряднее.

Бюро «Арбетсфёрмедлинг» я нашел без труда, шел-посматривал, собирался спросить, но не потребовалось — оказался у подъезда. Это были, можно сказать, мои первые шаги в положении свободного человека в городе на чужбине. Но к свободе тоже надо было привыкнуть, освоиться, что само по себе не совсем просто. Не думаю, что по внешнему виду меня можно было заподозрить заморским пришельцем, но на служебном месте в названном заведении оказалась... миловидная, молодая особа, чего я почему-то не предполагал и сразу почувствовал себя несвободно. И хотя я нашелся сказать и "Здравствуйте!", и "Простите!", и о том, ради чего... Но шведских слов не хватило, рассказ застопорился, пришлось извиниться и сказать, что я — русский. Как ни странно, но эпизод запомнился именно таким: для той милой

дамы было полнейшей неожиданностью, что перед ней стоял молодой русский. Она даже вздрогнула, хлопнула в ладоши и даже вскрикнула "Ой!" и, привстав, с улыбкой, говорила с душевной доверчивостью, что она рада видеть русского молодого человека и быть для него полезной.

Поездка в Шеллефтео не была напрасной. В моем присутствии отыскивали по справочнику номер телефона предприятия "Свенсоне треснидери" ("Резьба по дереву Свенсона"), которое находилось в ста двадцати километрах от города, в местечке Индальсэльвен, состоялся разговор с самим предпринимателем Гарри Свенсоном и был получен конкретный ответ: "Буду счастлив видеть у себя русского резчика, добро пожаловать, сообщайте день приезда, рейс автобуса, я встречу". Вопрос был ясен. Приближалась минута поблагодарить за приятную встречу, но помнится, что, право же, не хотелось спешить расставаться с этой очаровательной женщиной. Она встала из-за стола, подала руку и сказала: "Фрю Христина Дальберг. Всего вам доброго!"

Итак, я должен был заявить о расчете в лесном хозяйстве акционерного общества «Бюваттен» и уехать. Шестерых русских я покидал, это было ясно, навсегда. Восемь месяцев мне пришлось вместе с ними работать в лесу, но за это время я никого из них близко не узнал и ни с кем не сдружился — жалеть нечего. Мой уход им был понятен — они видели мои работы. Видели, как из березовых дров зачинались в моих руках и обретали форму изделия, достойные внимания, а иногда и восхищения. Это так. Что я могу добавить о тех людях? Существенного ничего. Помню Валентина Шевченко: примерно моего возраста, сдержанный, остроумный, завистливый и очень скупой. Сравнительно, как говорят, грамотный. Помню, был Вокбус — малограмотный, неразвитый, имени его я не знал, все называли его по фамилии. Был молодой парень Лавров, спортивного вида, совестливый, скромный. Имени не помню. Котов — самый пожилой из всех — в те годы ему было лет сорок пять, малограмотный, отсталый человек, имени его не помню. Арапов — из бывших зэков Колымы, баянист, пристрастен к алкоголю, но в Швеции свободной продажи алкогольных напитков не было — пил одеколон.

В управлении лесного хозяйства «Бюваттен», куда я пришел с заявлением о расчете, ко мне отнеслись внимательно и понимающе: были слова благодарности и пожелания благополучия и удач на новом месте. Расчет был произведен безотлагательно, было начислено и за дни положенного отпуска. Я, кстати сказать, как-то и не имел в виду, что у капиталистов есть такой закон. В общем, все было без осложнений.

Накануне моего отъезда, когда я уже собрал и уложил все мои небогатые пожитки, кое-какой личный инструмент и образцы работ, к нам в общежитие вошел незнакомый человек, приветствуя нас на русском языке. Но произношение сразу же выдавало, что гость не из русских. Он назвал себя учителем одной из школ города Орншельдсвик, что в шестидесяти километрах, сказал, что приехал сюда, желая встретиться с русскими, о которых узнал случайно, что давно и серьезно изучает русский язык, но все еще не удавалось встречаться с русскими людьми. Внешне он выглядел симпатично: среднего роста, элегантен, свободен и открыт в своих взглядах, внутренне собранный. Терпеливо подбирая слова, он рассказывал о том, что его мечта и весь смысл жизни — это русский язык, что желание такое у него возникло после прочтения великих русских писателей Достоевского, Лео Толстого (тут же отметив, что читал лишь отдельные их произведения). Но это же в переводе, что совсем неоднозначно оригиналу. Слушать его было интересно, и в искренности его слов у меня никаких сомнений не возникало. Чувство увлеченности делом, мечтой, когда конкретной цели человек отдает все свои силы, мне было знакомо с отроческих лет и потому ничего странного в молодом шведском учителе я не увидел. Я помнил, что в юности брат Александр так же был обуреваем мечтой стать настоящим поэтом, ради этой цели не считался ни с чем и молча нес душевную боль — страдал, что видно из его писем в адрес критика Анатолия Кузьмича Тарасенкова, помеченных январем 1931 года. Приведу для наглядности одно из писем:

"Смоленск, 31/1 31

Толя!

Я добит до ручки. Был у секретаря обкома, он расследовал дело насчет обложения хозяйства моих родителей и — признано, что обложению подлежит.

Подозревать в пристрастности я его не могу. Я должен откинуть свои отдельные недоумения и признать, что это так.

Мне предложили признать это и отказаться от родителей, и тогда мне не будет препон в жизни.

АПП же, несмотря ни на какие признания (а я признал и отказался), хочет, страшно хочет меня исключать.

Скажи ты мне ради Бога, неужели это мой конец. Скажи. Поддержи. Почему я один должен верить, что я, несмотря ни на какие штуки, буду, должен быть пролетарским поэтом? Может, ты-то этому не так уж и веришь?

Может, я действительно классовый враг и мне нужно мешать жить и писать.

Я жду от тебя серьезного и убедительного, но не утешающего письма, срочно! Срочно, как только можно.

Замуторили меня здесь в Смоленске, что я и выразить не могу.

Толя! Может быть, мне в Москву податься?

Толя! Об этом письме кроме тебя никто не должен знать. Оно такое. Если узнает Клара или Маруся — я перестану с тобой иметь дело.

Ты этого не сделаешь, Толя!

Жду ответа, держусь покамест! Жду ответа.

Александр".

Кажется, ясно: во имя избранной цели Александр ни перед чем не останавливался, вплоть до отказа от родителей. Тяжесть такого поступка отмолить трудно, и он не мог этого не понимать — нес этот грех в своей душе молча в течение всей своей жизни. Но, как говорится, Бог ему судья.

Проводить меня к автобусной остановке вышли из общежития все шестеро русских, вместе с которыми я пробыл эти восемь месяцев, работая в лесу. Особой привязанности к этим людям и не чувствовал, но как бы там ни было — жили вместе, на родном языке разговаривали, но вот пришел час, было всем понятно, что впереди встреч может никогда не случиться, и это не настраивало на веселый лад — было грустно. Тут же, совсем бесшумно, как из укрытия, появился и быстро подкатил автобус, мы наскоро пожали друг другу руки, кто-то втолкнул в багажник мой чемодан, я вскочил в салон автобуса, сопровождаемый словами пожеланий счастливого пути, дверь закрылась — и все осталось за чертой...

Древняя шведская дорога петляла то вправо, то влево, огибая и таким образом позволяя видеть затаившиеся ступенчатые нагромождения округлых гранитов — свидетельства некогда произошедших загадок природы. Встречно набегавшие картины смотрелись с необычайным интересом, и было не совсем понятно, когда вдруг открывался вид, где на кручах, разреженно поросших хвойным лесом, стояли ярко окрашенные, как бы насквозь

просвеченные, индивидуальные домики. Право же, представить трудно, каким трудом можно было их там построить! Ответ, конечно, виделся в том, что все такое начинается не от нужды, это так. Но ведь это совсем не редкость в шведской провинции — повсюду жилые строения выглядят добротны и привлекательно, а это значит, что жизненный уровень достаточно высок.

Местечко Индальсэльвен, где я должен был сойти, находится в двадцати километрах от города Сундсвалль. По времени, прошедшему в пути, я мог примерно определить, что остановка уже недалеко, но откуда мне знать точно — пришлось спросить у сидевшего рядом. Мне охотно дали понять, что через одну будет Индальсэльвен. Какое-то время автобус шел параллельно железной дороге и был виден прошедший поезд. Все чаще мелькали строения, и уже было ясно: я подъезжал к предназначенной мне остановке.

Я только-только успел получить и отнести немного в сторону свой чемодан, как тут же ко мне подошел человек и, приветствуя обычным "Добро пожаловать", представился, сказал, что рад меня видеть, и любезно просил идти к нему в дом. Все это было ясно, но у меня же был и чемодан, и я хотел тащить его, но господин Свенсон не дал мне этого сделать: "Нет-нет, оставьте здесь, я пошлю человека, и он принесет!" — и, подхватив меня под руку, увлек к своей усадьбе.

По улице, уходящей в сторону от магистральной линии, мы шли метров триста, и я не мог не дивиться нарядности жилых строений и чистоте самой улицы. Свернув в переулок, мы вскоре подошли к подъезду дома моего работодателя Гарри Свенсона, где мне предстояло жить и работать до конца моего пребывания в Швеции.

Это очень обыкновенный, простой человек, в чем я мог убедиться сразу же, как только оказался в его семье. И сам Гарри, и его супруга Хелен (у шведов в обращении отчества не употребляют) попросили называть их просто по имени, то есть не употреблять в обращении «господин», «госпожа», объяснив тем, что такие понятия не способствуют доброму взаимоотношению, что они, мол, имеют тон отчуждения.

Я приехал в субботу. В Швеции в этот день работа прекращается в четырнадцать ноль-ноль, так что в мастерской уже никого не было, и было предложено посидеть за чашкой кофе, по шведскому обыкновению знакомства с новым человеком. Происходило это в кабинете Гарри, мы сидели в удобных креслах возле очень низенького столика какой-то странной, асимметричной формы. Супруги Свенсон были очень гостеприимны и располагающе внимательны, может, потому, что они впервые видели русского человека и это было для них весьма интересно. Разумеется, какой-то серьезной беседы получиться не могло, поскольку шведским языком я владел еще довольно слабо, ответить даже на профессиональные вопросы мог лишь кое-как, и выходом из положения оставалось — показать свои работы, находившиеся в чемодане. И тут я спохватился и испытал конфуз, подумал, что Гарри забыл свое обещание, и посожалел, что согласился оставить чемодан. Но обошлось все хорошо — чемодан был доставлен; хотя я и не заметил, когда и кому было поручено это сделать.

Не знаю, почему получилось так, что еще не зная и не представляя, чем занимаются мастера-шведы в мастерских Свенсона, еще не видя их мастерства, я решил показать свои работы, которые сам не считал вполне удачными. Правда, в этом я не спешил кому-либо признаваться, хотя чувства такие были. У меня имелись три небольшие работы: настольная миниатюра в дереве "Медный всадник" (боязно об этом даже сказать — копия знаменитой скульптуры Этьена Фальконе), нечто аллегорическое в виде пепельницы — "Лиса возле пня" и еще статуэтка «Лось» в спокойном состоянии.

То, с каким чувством я вынимал из чемодана эти вещицы, чтобы выставить для обзора и оценки (пусть не в выставочном зале, а в квартире частного предпринимателя из Швеции), читатель может сам представить. Попросив убрать со стола кофейные чашки и вазу и

отодвинуть кресла, первым я поставил на стол моего "Медного всадника", затем «Лису» и последним — «Лося». Супруги такого явно не ожидали и смотрели как оцепенелые, не смея что-либо сказать какое-то время, после чего Свенсон обратился ко мне, разумеется, по-шведски:

— Дай твою руку, Иван! Я приветствую тебя и благодарю! Ты — скульптор!

Какого-либо официального договора между мной и Гарри, как работника с работодателем, заключено не было — меня устраивало вполне то, что он предлагал. Начал он с того, что попросил, с оговоркой "если можно", продать ему эти, привезенные мной три вещицы, которые он намерен где-то показать, узнать, какие будут суждения и так далее, словом — иметь на них право. Мне показалось неудобным назначать какую-то цену — не первые и не последние они были в моей жизни, — я с удовольствием отдал их тут же в виде подарка. Как подарок принять он не хотел — стеснялся, думаю, боялся показаться нескромным, но я настоял, чтобы он взял.

— Ладно, о делах — потом! А сейчас прошу к столу — Хелен давно ждет!

В этот момент меня познакомили с отцом Хелен, шестидесятидвухлетним Конрадом Хёглюндом, который показался мне очень приветливым и интересным человеком; проживал он в доме Гарри на втором (чердачном) этаже. Был у Свенсонов и сынишка, тринадцатилетний Магне. Гарри и Хелен было чуть больше тридцати.

Обед, как можно понять, был непредусмотренный, и это как раз было хорошо, душевно, по-людски. Здесь же, за столом, решился вопрос о жилье и питании, что было весьма важно для меня. Получилось так, что едва я намекнул, что не знаю, как устроиться с жильем, Гарри понял меня и не раздумывая предложил: "Располагайся в кабинете! К твоим услугам тахта, радиоприемник, телефон, письменный стол — живи, обедай вместе с нами, чувствуй себя как дома!" Я, право же, не совсем поверил, но оказалось, что супруги об этом уже имели разговор, — Хелен подтвердила, что все так и есть.

— Еще вот что я хочу, Иван, сказать, — вновь начал Гарри, — об оплате: доверяю тебе самому называть цену за каждую отдельную работу. И даю тебе право свободно заниматься той работой, которая тебя будет интересовать. А дальше дело покажет, как нам будет удобнее.

Кажется, я ничего не сказал в ответ, даже того, что принято в таких случаях, — «Спасибо» или "Большое спасибо", — а, пожав плечами, лишь загадочно кивнул, как бы не совсем понимая. В это время старый Конрад перехватил мое внимание на себя, начал спрашивать о впечатлениях, и течение застольной беседы пошло иным направлением. Вскоре Конрад предложил прогулку. Близился вечер, и я был рад составить старому шведу компанию. Этот человек импонировал мне тем, что держал себя независимо и совершенно не вмешивался в вопросы, его не касающиеся, в его натуре угадывалась знакомая черта всех пожилых людей — что-то вспомнить из далекого прошлого и рассказать с чувством законного права по возрасту и, может, причастности к тому, о чем могла быть речь. Прогулка была интересна сама собой: нужно было взглянуть, ознакомиться, послушать человека, который охотно рассказывал и показывал все, что имело отношение к истории данного населенного пункта, о стране, которую я еще очень мало знал. Кратчайшим путем, по крутому склону, мы спустились к реке Индальсэльвен, где Конрад показал мне единственный древний бревенчатый небольшой дом, сохраняемый как исторический мемориал, как память тяжких последствий завоевательных походов короля Карла XII. Шведы были доведены до крайней бедности, как пояснял мой спутник. Дом действительно был очень невзрачен: совершенно почерневший, маленькие оконные проемы, кровля на один скат из покрывшихся мхом плах. Здесь же мы смотрели на современный мост через реку, он был на необычайно высоких опорах, поскольку река протекает в глубоком каньоне между крутых склонов. На обратном

пути я имел возможность ознакомиться с центральной частью этого населенного пункта, где бросалось в глаза множество торговых заведений, различных мастерских, агентств, частных врачебных кабинетов, учреждений и пансионатов, так что впечатления складывались как о процветающем, торговом местечке или городке, где течет мирная и благополучная жизнь.

Сказать, что я так сразу и почувствовал себя "как дома", поселясь в кабинете своего хозяина Гарри Свенсона, после его слов, что он готов предоставить мне, как говорят, наибольшее благоприятствование, конечно же я не мог. Я понимал, что проявление подобной благожелательности представляется поспешным и потому не убедительным. Мне показалось, что Гарри просто не в курсе трудовых затрат при исполнении скульптурных изображений в миниатюрах, где исходным материалом является дерево. Короче: я заподозрил, что Гарри ошибочно ожидает большего, чем я в состоянии сделать, находясь в его мастерских, и это меня как-то тяготило.

Однако я смог отбросить такие навязавшиеся суждения и вскоре пришел к выводу, что все прояснится само собой и нет причин строить догадки о том, что будет завтра. Так я рассуждал в тот первый вечер, находясь в кабинете хозяина, где к моим услугам было все необходимое для сна и отдыха, и надо признаться, что о лучших условиях было бы грешно и мечтать. И было, право же, как-то непривычно после всех мытарств так вот вдруг оказаться в неведомой мне шведской семье, где без каких-либо моих просьб и условий я встретил такое теплое отношение и сердечность, на которые не знал даже, какими словами можно было достойно ответить. Я долго не мог уснуть.

Утром следующего дня (это было воскресенье, встал я в шесть часов) по привычке вышел во двор, умылся и тут же был замечен и приглашен на кофе — шведы без кофе не мыслят жизни. Через некоторое время, когда к Свенсонам пришли их знакомые, я услышал, что они при обращении или называя чье-то имя, прибавляли еще слова «брат» или «сестра». В их беседах, проходивших в очень сдержанной манере, мелькали упоминания об Иисусе Христе, а также и о Евангелических общинах, о молитвах, о спасении. Когда же они представляли меня своим друзьям, можно было понять, что я явился к ним по воле Божьей и что они рады этому случаю. Тогда же я понял, что нахожусь в семье евангелистов лютеранской церкви. Чем существенным она отличалась от православной, я узнал позже, а поначалу это было только интересно, и я ничего плохого не замечал в людях, исповедующих протестантство, называющихся евангелистами. Мой первый день работы в мастерских Свенсона начался с общего ознакомления с производственной деятельностью этого очень небольшого частного предприятия. Хозяин всячески старался придать побольше солидности своему детищу. Он показывал и объяснял, как происходит механизированная первичная обработка заготовок с последующей их ручной доработкой. После этого изделия имели вид выполненных вручную, что особенно ценится. Находясь в отсеке, где были установлены различные деревообрабатывающие станки, Гарри Свенсон брал из груды механически обработанных заготовку и пояснял:

— Это — будущая ваза! Смотреть пока не на что — здесь все снято и вынуто механически и грубо. Все это так! А теперь мы посмотрим, какой она должна стать при окончательной обработке мастером-резчиком.

Мы прошли в небольшое помещение, где изделия тонируют и светлым лаком проявляют текстуру, имитируя ценное дерево.

— Ну? Какое впечатление? — глядя на меня с любопытством и нетерпением, спрашивал Гарри.

Я действительно был немало удивлен — изделие было неузнаваемым и симпатичным, чего нельзя было не признать. Но вот то, что я не увидел разнообразия форм, что все эти вазы, подсвечники, подносы ничем существенным не отличались один от другого, в моем



представлении было серьезным недостатком, и об этом я посмел что-то сказать. Хозяин понял и согласился:

— Да, это правда! Но я надеюсь... — он, не договорив, взглянул на меня. Я все понял.

Когда мы вошли в помещение, где работали резчики — их было всего четыре человека, — Гарри простецки поприветствовал их, подобно нашему "Здорово, ребята!" и сразу же, попросив внимания, представил им меня, как требовал заведенный порядок, не упустив сказать, что я русский и что новому человеку нужно доброе, дружеское внимание и уважение. Помимо всего, Гарри сказал, что мне предстоит заниматься сувенирами, что это дело для них совсем незнакомое и будет всем интересно. Работа, естественно, была прервана, мне пожимали руку, искренне приветствовали, называли свои имена. Словом, получалось очень схоже с тем, как могло бы происходить подобное на родине, в России. И было мне как-то грустно, хотя и мило. Тут же я узнал, что двое из ребят, которые помоложе, Хельберт и Хенри Свенсоны, — родные братья хозяина мастерских. Третий был лет тридцати, симпатичный спортсмен (каное) Вилли Бьёрк — местный житель, и четвертый — эстонец беженец по фамилии Ливлайд. С того дня в мастерской Гарри Свенсона вместе со мной стало пять резчиков по дереву. Все вспомогательные работы, как то: разделку древесины, ее сушку, грубую предварительную обработку заготовок на деревообрабатывающих станках, — выполнял сам хозяин. Что же касается отделки тонированием и покрытием лаками, то этими работами занималась сама хозяйка Хелен и одна девушка из родственников. Столь подробное описание я делаю лишь для того, чтобы можно было представить потенциальный размах самого предприятия с громким названием "Свенсонс треснидери" ("Резьба по дереву Свенсона") — всего-навсего восемь человек работающих, в том числе в роли рабочего сам предприниматель. Но мне-то, природному кустарю-одиночке, это как раз было то, что надо на тот момент: хозяин был рад предоставить мне самые благоприятные условия для работы, самостоятельность и свободу.

Включиться в работу на новом месте и сразу же создать о себе впечатление как об опытном, знающем свое дело мастере совсем не так просто, и это мне было хорошо знакомо. Помимо всего, я находился под любопытным взглядом людей чужой страны — еще более непросто. Я это знал и потому очень неспешно устраивал свое рабочее место, чтобы все у меня было по-своему, чтобы я мог работать и сидя, и стоя. Прежде чем что-либо начинать делать, я должен был просмотреть и продуманно подобрать наиболее декоративный материал для предполагаемых мной изделий, формы которых я всегда отыскивал мысленным воображением. Я совсем не намерен выдавать себя за какого-то художника-кудесника и позволяю читателю думать обо мне что угодно, тем более что нигде не называл себя иначе как «кустарем-одиночкой». И метод моей работы с деревом ниоткуда не заимствован. Может, это покажется странным, но это так: формы и приемы работы давала сама моя трудная жизнь и природа, к которой я всегда оставался равнодушен. Моим любимым исходным материалом было дерево. Что же касается того, какой древесной породе я отдавал предпочтение, то это чаще зависело от возможностей выбора материала с учетом того, о какой работе вставал вопрос. Для особо утонченных, ажурных, филигранных работ желательны только самые твердые, но однородноэластичные породы: груша, яблоня, отдельные виды березового капа, акация, как белая, так и желтая. Конечно, есть много других прекрасных пород, но я упоминаю только те, которые произрастают в средней и северной частях России.

Здесь я позволю себе сказать о принципах моей работы. Дело в том, что, увлекаясь с отроческих лет миниатюрным изображением животных методом ваяния, я никогда не стремился к стилизации, то есть к той условности, которая может преобладать над реалистической передачей действительности. Такова черта моих увлечений — я скрупулезно добивался точности запечатленных мной действительных форм, считая, что дерево как материал такие требования обеспечивает. Другое дело, как мне это удавалось? Достигал ли я этой цели? Но об этом не мне судить.

На предприятии Гарри Свенсона я не имел ясного представления, как сложится моя жизнь даже в сравнительно недалеком будущем. Смириться с мыслью, что для меня навсегда закрыт путь на Родину, не хотел, хотя и знал, что такое сталинский тоталитарный режим и как разговаривают с теми, кто после войны посмеет возвратиться из страны, где он был интернирован. Допуская в размышлениях сцену возвращения и, значит, той воображаемой встречи с должностным лицом из органов сталинско-бериевского МГБ, облаченным правом решать твою судьбу, ты ничего иного не можешь представить, кроме желчной усмешки и злобного взгляда, жаждущего показать силу предоставленной ему власти, чтобы садистски унижить и подавить свою жертву. Приведенные психологически-навязчивые видения могут ощущаться зримо и угнетающе, и человек не находит в себе сил, чтобы не оказаться в состоянии глубокой психической депрессии, избавиться от которой нет мочи.

И еще вот что мной замечено. В случае, когда человек не испытывает материальных трудностей на чужбине, а в Швеции было именно так, еще более ощутима щемящая тоска по Родине. Я это испытал в полной мере. Работая у шведов в лесу, только что получив свободу и возможность работать по найму, а стало быть, и зарабатывать, недолгое время ты еще не думаешь о том, что все вокруг тебя чужое, ты под чужим небом, ты в чужом лесу, ты слышишь чужую речь, то есть ты еще не почувствовал и не осознал, что вся эта вполне благоустроенная жизнь создана без твоего участия и если ты и пользуешься этими благами, то ведь не как гражданин, а лишь как пришелец, принятый из чувств милосердия. Но вот ты надел хорошие штаны и имеешь возможность быть сытым, и сразу же не можешь не вспомнить разоренную войной твою Родину, своих кровнородных, которые — ты понимаешь и чувствуешь — живут в тяжелейших условиях, вспоминают твое имя, не могут не оплакивать твою гибель; "пропал без вести" — такие мысли разрывают на части твое сердце. Вырваться из подобного состояния очень трудно, и то единственное, что как-то помогало обрести душевное равновесие, была моя работа, которой я был занят, не побоюсь этого слова — творчески и профессионально. Кроме того, должен признаться, что мне еще и повезло: волей, может, чистой случайности я оказался в семье глубоковерующих людей местной евангелической общины, где всегда сохранялась атмосфера доброжелательности и сочувствия. Конечно, обратить меня в истинно верующего в Бога вряд ли было возможно — слишком далеко мы, русские, ушли от религии, но нельзя было не замечать той постоянно присутствующей доброты у верующих в их отношениях в семье между собой, равно как и в отношениях вообще к любому человеку. Они безупречно отзывчивы, терпеливы, скромны и последовательны, и я мог только позавидовать их воспитанности.

За два с небольшим года моей жизни в Швеции страну эту я узнал только примерно, как бы со стороны. Более полугода работал в лесу, на отшибе от населенных мест, с коренными жителями встречался мало. Затем, опять же, жил и работал в небольшом, провинциальном торговом местечке Индальсэльвен, так что не так-то много я могу рассказать об этом некогда грозном и воинственном государстве. В индустриальных шведских городах бывать мне совсем не случилось. Но если судить о сельской местности, то тут надо признаться, что впечатления складывались самые хорошие, особенно от культуры ведения сельского хозяйства. В общем же я не вижу необходимости распространяться о жизни шведского народа в те далекие годы — всем хорошо известно, что Швецию не коснулась война 1941–1945 годов, эта страна сохранила нейтралитет, и, естественно, ее жизненный уровень был тогда самым высоким в Европе.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Стокгольм, двадцатые числа декабря 1946 года. Был ли это вторник, четверг, суббота или какой иной день, сказать не могу — об этом я в тот момент не думал — мне было безразлично. Возле железнодорожного вокзала я попросил таксиста отвезти меня в Советское представительство.

Такси остановилось как раз у подъезда, где я имел возможность прочитать: "Полномочное представительство СССР". Здесь же, прямо на тихой заснеженной улочке Вилагатан (улица Отдыха), я увидел и услышал играющих русских детей и тем был приятно тронут, что передо мной предстала такая знакомая картина обычной русской зимы.

Не зная, что меня могло ожидать в представительстве моей Родины, я не стал отпускать шофера, поднялся на ступеньки подъезда и нажал на кнопку звонка. Дверь открылась. Я увидел важного вида и крупного роста швейцара в ливрее, который, кажется, первым спросил: "Кого имею честь встречать?" Вопрос был ясен. Я ответил, что являюсь русским интернированным и хочу узнать, куда я должен обратиться по вопросу возвращения на Родину.

— Я вас понял! — сказал швейцар и продолжил: — Вопросами возвращенцев на Родину, в Советский Союз, ведает консульство СССР. Оно находится в доме номер... по этой же улице, на противоположной стороне, это совсем рядом.

Я поблагодарил, извинился за беспокойство и с тем раскланялся. С этой минуты такси мне больше не потребовалось до конца 1952 года...

На мой звонок в консульство СССР в Стокгольме вышла миловидная, восточной внешности брюнетка. Я поприветствовал ее по-шведски и спросил, могу ли быть принятым консулом, но она меня не поняла. Тогда я спросил: "тогда, наверно, вы говорите по-русски?" — "Ну, конечно же!" — ответила она, добродушно улыбаясь, и тут же предложила пройти с ней в помещение. Тут же из другой комнаты вышел молодой мужчина, представился мне в качестве консула, назвал себя по фамилии Петропавловский, и таким вот образом было начато мое официальное знакомство и беседа по интересовавшему меня вопросу. Но надо сразу же учесть, что пишу я об этой встрече с советским консулом в Стокгольме спустя полвека — немало утекло воды за этот отрезок времени, и мне стоит трудов в доподлинности воспроизвести все о том часе моей встречи. Он, консул Петропавловский (к сожалению, уже не могу назвать его по имени-отчеству — запмятовал), был изысканно тактичен, вежлив и осторожен, что мной воспринималось как своего рода опасение: "не испугать бы" неосторожным словом, так как я еще располагал правом подумать — согласиться и назвать свое имя или же воздержаться в откровениях. Пока я сказал лишь о том, что я — русский, интернированный Швецией в 1944 году.

— Да, да, простите, как вас звать? — как бы спохватившись, спросил консул, продолжая говорить о том, что он охотно готов помочь мне в вопросе выезда на Родину.

— Ну вот и прекрасно, Иван Трифионович! Мы вас сейчас же поселим в нашу гостиницу — мы ее арендуем. Вы пока отдохните здесь, в шведской столице, может, дней пять-шесть, мы закажем вам билет на очередной пароход, и вы без всяких хлопот прибудете в финский порт Турку, там вас встретят, помогут с билетом на поезд до Хельсинки, ну и так далее. Все это не будет проблемой вплоть до вашего дома. Вот так, уважаемый Иван Трифионович! Вам все понятно, и вы согласны?

Мне, конечно, все было понятно, даже больше, чем мог предполагать тот симпатичный консул.

— Тогда о чем же речь? Все будет сделано лучшим образом, заверяю вас в этом! Давайте

ваш шведский паспорт!

Я подал в руки консула тощую книжицу, именуемую на шведском языке "Утленнингс паспорт" ("Паспорт иностранца"), которую, кажется, мне так и не пришлось где-либо предъявлять за все время пребывания в Швеции. Консул раскрыл корочки и... не знаю уж, как передать его удивление. Сначала он положил паспорт на стол, на какой-то миг сцепив на груди свои руки, откинулся на спинку кресла, потом встал, молча покачал головой и, взглянув на меня, сказал:

— Уважаемый Иван Трифионович! Я глубоко и сочувственно тронут тем, что случилась такая встреча. Дело в том, Иван Трифионович, — продолжал консул, — что именно сегодня, в день вашего обращения к нам по вопросу возвращения на Родину, мы получили-свежий номер журнала «Огонек», который открывается стихотворением поэта Александра Твардовского "О Родине". Уверен, что вы об этом не могли знать, и потому я так глубоко тронут этим символическим совпадением. Будем же надеяться, что это к счастью.

Журнал был тут же принесен, чтобы я мог сам прочитать это щемяще-трогательное стихотворение брата "О Родине". Стихотворение непередаваемо потрясло меня самим совпадением сложившихся во мне на чужбине чувств о Родине с той сыновней любовью к отчим местам, которой наполнена каждая строфа брата:

Ничем сторона не богата,  
А мне уже тем хороша,  
Что там наудачу когда-то  
Моя народилась душа.  
Что в дальней дали зарубежной,  
О многом забыв на войне,  
С тоской и тревогою нежной  
Я думал о той стороне...

Я не в силах был удержать застилающие глаза слезы — читал прерываясь от строфы к строфе в состоянии томительного волнения. И пусть оно так, что стихотворение посвящено малой родине, отчим местам, о которых поэт еще в юности говорил, что "И шумы лесные, и говоры птичьи, и бедной природы простое обличье я в памяти все берегу, не теряя, за тысячу верст от родимого края".

Моя встреча с советским консулом в Стокгольме закончилась тем, что я был причислен по графе возвращающихся на Родину. На время ожидания моей отправки очередным пароходом из Стокгольма в финский порт Турку я находился в гостинице.

Что же такое случилось, что толкнуло меня к тому, что я вдруг оказался в Стокгольме, явился в консульство и обратился с вопросом: как мне быть, как возвратиться на Родину? На такой вопрос смею ответить только в том духе, что сам вопрос я никогда не обходил, не исключал из моей жизни на чужбине, и больше того, — я этим вопросом душевно страдал и болел, и были периоды тяжелой душевной депрессии, когда терял всякий интерес к самой жизни. Работая в мастерской Свенсона, где имел хорошие условия и хорошую зарплату, я приходил к такому конечному убеждению, что никакое материальное благополучие не может унять скорбь и тоску по родной стороне и родной семье. Сейчас я не могу сказать, как долго могло продолжаться такое состояние, если бы не попала в мои руки газета "Свенска дагбладет", в которой было напечатано на русском языке "Обращение правительства СССР ко всем советским гражданам (подданным), находящимся за границей по причине пленения или по

каким иным причинам и не возвратившимся на Родину после Великой Отечественной войны". Эту газету принес мне старый Конрад Хёглюнд, отец супруги моего хозяина мастерской, кажется, в августе 1946 года, когда она была уже далеко не свежей. Вот с того момента и начал я готовиться к тому, чтобы преодолеть страх в себе и пойти на любой исход по возвращении.

Обращение правительства было напечатано по центру газетной полосы броско выделенным прямоугольником, равным четверти газетной страницы. Содержание текста было в сдержанном тоне, давалось разъяснением о том, что Советское правительство готово отнестись с пониманием к судьбе каждого соотечественника, кто не утратил чувства долга перед Родиной и правдиво расскажет о постигшем его несчастье. Ну и о том, конечно, что Родина призывает не искать счастья на чужбине, но помнить, что всяческое содействие и гуманное отношение может дать только родное Отечество.

Конечно же, я привожу лишь малую долю из того, о чем было сказано в "Обращении Советского правительства к соотечественникам, оставшимся после войны в зарубежье", вспомнить все подробно и точно за давностью лет невозможно, да вряд ли это и нужно. Мне казалось, что нужно иметь каменное сердце, чтобы не внять, не прочувствовать всю глубину трагедии тех, кто волей рока оказался в той "дальней дали зарубежной", не находя в себе сил к решительному шагу на встречу со своей отчей землей. Да, такой шаг в те годы давался не всем. И многие, как стало известно позднее, предпочли сгинуть где угодно, хоть на краю света — уезжали в Америку, в Аргентину, в Африку, даже в Австралию, если была такая возможность, лишь бы не на каторгу НКВД.

К тому времени, когда я познакомился с текстом вышеназванного обращения, мне были известны адреса некоторых русских, с которыми пришлось вместе работать в шведских лесах. Я сразу же написал им, посоветовал ознакомиться с содержанием этого официального правительственного документа, подумать и, может, отказаться от чужеземных харчей и присоединиться ко мне, вместе поехать на Родину. Но, нет, мое предложение было начисто отвергнуто. Самого же меня, как зачинщика, назвали сумасшедшим.

Старик Конрад Хёглюнд был мне наиболее симпатичен из членов семьи Свенсонов, и, можно сказать, я дружил с ним. Он был первым человеком из шведов, с которым я поделился своим намерением уехать, поскольку именно он принес мне газету "Свенска дагбладет", в которой было напечатано "Обращение".

— Мой дорогой Иван! Мне очень жаль расставаться с тобой, но по-моему, это прекрасно, что ты едешь на родную землю. Дай руку твою! — такими словами ответил мне Конрад, когда узнал, что я решил поехать на Родину.

Для богомольных евангелистов эта новость была очень неожиданной и по-особому значительной. Как-никак полтора года я жил и работал среди них без единого случая осложнений в отношениях, и я всегда чувствовал их доброе расположение, а потому предвидел, что мой отъезд не останется без внимания общины. В тот же вечер к Свенсонам собралось несколько человек, как они называют себя, "братьев и сестер во Христе", среди которых был и пастор, которого мне случалось видеть и прежде. Об этом человеке я слышал самые невероятные рассказы, в том числе и о том, что в прошлом он был бесконечно несчастным, полностью падшим, осуждаемым и что в округе его не считали за человека и все его сторонились. Но однажды он вдруг, в мгновение почувствовал себя совершенно другим человеком, освободившимся от беспросветного мрака и ужаса. В его сознании жизнь осветилась радостью, он стал глубоко верующим человеком, и в этом было его спасение. Вот такова судьба этого, в мою бытность всеми уважаемого человека, ставшего пастором Евангельской общины.

После того как отвлеченная беседа окончилась, пастор коснулся вопроса моего отъезда на

Родину. Услышав от меня, что я решился на это по зову души и чувству долга, что делаю я это по собственному убеждению, он сказал, что "на это есть воля Господня" и что ничто не происходит само по себе. Затем он попросил моего согласия, чтобы я вместе с ними с молитвой поклонился Всевышнему, потому как в тяжких испытаниях только Он может прийти на помощь, только Он воздаст каждому по его страданиям на пути к Истине.

В стокгольмской гостинице, куда меня поселило Советское консульство на время ожидания парохода в Финляндию, я пробыл целую неделю на правах обычного гостя: мне было сказано, что могу куда угодно отлучаться по личным делам, но придерживаться существующего порядка, например, не задерживаться позднее двадцати трех часов вечера. Неделя эта, надо признаться, прошла в тревожном размышлении, что само по себе должно быть понятным каждому: я понимал, что на свободе нахожусь последние дни и как только поезд минет границу с СССР, то там она, свобода, сразу и закончится. В общем, правда, я не разочаровывался, держался; корабли мои уже были сожжены, отступить было некуда и сожалеть было не о чем — жизнь на чужбине была не для меня. Но был я в одиночестве.

К посадке на пароход, уходивший в Турку, меня увезли на советской «Победе» в сопровождении консула Петропавловского. Было часов восемь вечера, посадка уже шла полным ходом, так что ожидать не пришлось ни минуты. Когда предъявили билет, то проверяющий предложил сдать шведские деньги, и я, не задумываясь, отдал, оставив у себя только какую-то мелочь, не зная, что этого можно было и не делать. Вот так, без особых формальностей, прошла таможенная процедура. Петропавловский только-только успел сказать, что в Турку меня встретят, как тут же был дан сигнал — провожавшие прощались.

В финский порт Турку пришли утром. Не знаю, по каким таким приметам можно было меня опознать, но как только я начал спускаться по трапу, то сразу же увидел человека, который крикнул:

— Иван Трифионович, сюда! Сюда идите! Ну вот, видите, я вас сразу узнал! Ну, здравствуйте! Здравствуйтесь! Как чувствуете себя? А машина вот здесь, пройдемте! Вам ведь сейчас надо на хельсинский поезд? Ну вот, видите, все очень хорошо!

Через четыре часа или через пять поезд прибыл в Хельсинки, где точно так, как и в Турку, при выходе из вагона «товарищи» меня поджидали и называли по имени, как старого знакомого. С поезда меня увезли, не знаю для чего, в резиденцию Советской правительственной комиссии, которая находилась в столице Финляндии. Ко мне все еще относились без заметных проявлений недоброжелательности, хотя ведь, вполне возможно, такое отношение было искренним. Здесь тоже не задержались, и было кем-то сказано, что нужно успеть пообедать перед посадкой на советский поезд.

В вокзальном ресторане в Хельсинки народу было очень много, в том числе советских военных. Пообедать успели, однако на советский поезд посадка уже шла, и кто-то из русских штатских сопроводил меня в вагон. После обычных при посадке копошений и суматохи все разместились по своим местам, и стало спокойно. Мое место было на средней полке, спешить взбираться на нее не хотелось, пошел покурить, пожалуй, только ради того, чтобы как-то сбавить нервную напряженность от всякого рода раздумий и предположений о близких и неизбежных поворотах судьбы. На какое-то малое время это может несколько отвлечь, но не больше того, так что задерживаться в окружении незнакомых людей и отвечать хотя бы и на безобидные вопросы или вступать в беседы мне было ни к чему.

Вряд ли я уснул той ночью, хотя в состоянии забытья, видимо, временами находился, и вздрогнул, когда чья-то рука слегка коснулась меня: "Идет досмотр! Предъявите ваши вещи, билет!" — услышал я как бы предупредительное обращение и тут же увидел, как на нижней полке у пассажира в штатском перебирают в чемодане вещи. К нему же был вопрос: "Откуда едете?" Ответ был: "Из США!" С этим пассажиром было окончено, контролер обратился ко

мне: "Ваш билет!" Билет у меня был до Ленинграда, контролер посмотрел, потом осведомился, имею ли я вещи, я ответил, что чемодан внизу под сиденьем, но контролер проверять не стал и с тем ушел. Некоторое время я не мог догадаться, почему мои вещи не нашли нужным проверять, но очень скоро все стало ясно: поезд остановился в Выборге, и мне предложили сойти с поезда.

Под охраной двух сотрудников МГБ я был приведен прямо в Выборгскую тюрьму, где сразу же, прямо с ходу, меня ввели в какой-то тюремный кабинет к сидящему за столом майору, который с явным самомнением произнес следующие слова: "Вот так работает советская контрразведка! Вы куда ехали?" Я ответил, что ехал, мол, на Родину, в Советский Союз и, как смею полагать, нахожусь в советской тюрьме. "Все правильно: находитесь вы в тюрьме. Но вы же не в тюрьму ехали, но... как видите..." Он смотрел на меня с прищуром, снизу вверх, слегка скрывая удовлетворенность своим положением. В общем, это было похоже больше на его личное любопытство, но никак не на допрос: то он спрашивал, как и зачем я оказался в Швеции, то при каких обстоятельствах я был пленен, то о моей семье, и закончилось это «знакомство» тем, что дежурному было сказано: "В третью камеру!" С меня сняли наручные часы, ремень, обшарили карманы и отвели в камеру.

Кажется, нет нужды подробно описывать все то, что я увидел в камере. Это было в начале января 1947 года, немногим больше полутора лет после окончания Великой Отечественной войны, когда тюрьмы были переполнены до ужаса, и об этом читатель слышал. Конечно, я не знал, как мне быть, если там не было ни пятнышка свободной площади как-то хотя бы присесть. Всего неполных два дня, как я из Стокгольма, где я был поселен в отдельный номер в гостинице, и вот, еще не выяснив степени моей вины, меня втолкнули в крошечный ад, где люди полностью потеряли человеческий облик и почти неудержимо наседали на меня, чтобы раздеть, ограбить и Бог его знает, что со мной сделать. Передать эту картину никаких слов не могу найти. Я видел глаза озверевших человекоподобных существ. Очень похоже, что сделано это было не без умысла, так как буйство было приостановлено дежурным тюремщиком и меня перевели в другую камеру, где находились нормальной морали люди. Значит, было дано понять, что моя судьба ничем не защищена и со мной могут сделать что угодно.

В Выборгской тюрьме я пробыл всего два дня. Какой-то лейтенант-следователь допросил без пристрастий, не затрагивая подробных обстоятельств, после чего в тот же день меня увезли на пассажирском поезде в Ленинград в сопровождении двух военнослужащих в обычном пассажирском вагоне, предусмотрительно не демонстрируя, что я ехал под охраной. В Ленинграде меня подвергли скрупулезному обыску (раздевали донага). Занималась этой операцией какая-то пожилая женщина весьма неприятной внешности, затем она же закрыла меня в так называемый «бокс» — помещение для арестованных площадью не более одного квадратного метра — кажется, более скверного ничего придумать нельзя, если еще иметь в виду, что через волчок за вами все время кто-то наблюдает большим противным глазом. Вот так это было — не хочется и вспоминать.

В «боксе» я простоял на ногах несколько часов — с ума можно сойти! Наконец выпустили — и сразу в «воронок» и к поезду, в пассажирский вагон, с охраной, конечно, до самой Москвы. Опять «воронок», и я уже в Лубянской внутренней тюрьме, в одиночке.

Томительны, безгласны и безответны дни тюремного одиночества, когда ты находишься в условиях тоталитарного сталинского режима в полной непредсказуемости о том, что тебя ждет, и отрезан ты полностью от всего живого. Да ведь и вины же, по существу, твоей нет в том, что ты не погиб на этой страшной войне. А считается, похоже, так: раз ты не погиб, то уже виноват. И рассуждать дальше не о чем... И ты в отчаянии начинаешь шагать взад-вперед по камере, считать, останавливаться, вслушиваться: этажом выше, прямо над тобой, тоже кто-то считает шаги, слышны его повороты после каждых пяти шагов. Кто он? О чем он думает? Этим никто не интересуется, и знать никому не надо.

Кажется, прошла неделя пребывания на Лубянке, и меня в первый раз увели на допрос. Глубокой ночью. По каким-то ступенчатым коридорам с поворотами и спусками — нельзя ни понять, ни запомнить, где тебя остановили лицом вплотную к стене. И от одного того, что глухой притихшей ночью, ничего тебе не объясняя, ведут по мрачным коридорам, становится жутко и тревожно, и ты невольно вспоминаешь своих близких родственников, дядей по матери — Григория Митрофановича и Ивана Борисовича, канувших в небытие в 1937 году. Но почему именно тогда, когда ты уже кое-как, не без труда, смог уснуть?

В кабинете был не то майор, не то подполковник, точно уже не могу сказать. Его фамилия была Седов или Серов. Ему было лет тридцать пять — сорок. Он предупредил меня перед началом допроса, что чем откровеннее и правдивее я буду давать показания, тем легче и скорее закончится следствие. Но я и сам был настроен к тому, чтобы рассказывать обо всем в точности так, как оно было в действительности, раз я пошел на то, чтобы добровольно, как было и задумано, возвратиться на Родину. Вполне возможно, что только потому, что в моих показаниях не возникало никаких неясностей, физических воздействий ко мне не применялось. Но следствие все же продолжалось довольно долго: по месяцу следователь какие-то выдержки мне устраивал, и я должен был терпеть и гадать: в чем причина? Четыре месяца сидел один и не знаю, как бы я выдержал, если бы не было книг — книги менялись каждую неделю, четыре-пять томиков. Маловато, но все же...

В конце мая 1947 года следователь предложил мне ознакомиться с моим делом. Все там было собрано вместе с теми свидетельскими показаниями, которые были получены от лиц, знавших меня по финскому периоду и по Швеции. Были среди свидетельств и несправедливые, но в основном отвергнуть я не мог и подписал, рассчитывая, что будет суд, будут же как-то спрашивать, уточнять, слушать меня, должны же объективно подойти к решению судьбы человека. Я в это верил.

Не могу сказать точно, сколько дней прошло после подписания мной 206-й статьи (кажется, это по тем временам обвинительное заключение), может, недели две. Было начало июня, когда меня увели из одиночной камеры. Долго шли по коридорам, затем поднялись на другой этаж, где открыли пустую камеру и приказали войти в нее. Дверь сразу же закрыли. Я осмотрелся и ужаснулся: в камере окон не было, по центру стоял неподвижный бетонный стол, возле стола — каменная скамья и ничего больше, кроме названной «мебели». Я был окончательно подавлен, почувствовал себя приговоренным к расстрелу. Ничего иного ожидать уже не оставалось, находясь в том каменном склепе. И не хотелось мне присесть на ту каменную скамью. В этой страшной камере я пробыл несколько часов, но представить не могу, сколько было тех часов. Вдруг услышал звон или кляцанье замков и ключей. Я вздрогнул. Дверь открылась, и было сказано: "Выходи!" Привели в какое-то служебное помещение, перегороженное деревянным барьером, за барьером была табуретка, мне сказали, что можно сидеть. Через несколько минут вошли два офицера, приказали встать. Один из них, произнес слово: "Внимание!", зачитал следующее: "Решением Особого совещания от... за нарушение воинской присяги, по статье 58 пункт 16, Твардовский Иван Трифонович, уроженец Смоленской области, Починковского района, деревни Загорье, 1914 года рождения, приговорен к десяти годам лишения свободы без последующего поражения в правах, с отбыванием срока наказания в ИТЛ МВД СССР".

Лично сам я этот документ не читал и не помню, ставил ли я подпись, что был ознакомлен с ним.

Нет нужды говорить о том, как я себя чувствовал. Помню, что офицер обратился ко мне после прочтения приговора со следующими словами:

— Ну зачем же так падать духом? Отправят в лагеря, будете работать, будут зачеты, через три-четыре года освободитесь.



Вот такое «утешение» было «сочувственно» высказано представителем из Особого совещания.

Меня поместили в камеру, где были только осужденные.

Без какого-либо судебного разбирательства, правом и волей Особого совещания я был приговорен к десяти годам лишения свободы. Особое совещание не сочло нужным предоставить мне возможность присутствовать при рассмотрении моего дела. Моя судьба была решена заочно. Так мои вера и надежда, что "Советское правительство готово отнестись с пониманием к судьбе каждого соотечественника, кто не утратил чувства долга перед Родиной и правдиво расскажет о постигшем его несчастье", не оправдались.

Теперь, когда мне было объявлено решение Особого совещания, я понял, для чего меня «опускали» в камеру смертников и держали там несколько часов. Нужно было таким образом подготовить меня, то есть окончательно сломить, исключить во мне всякую надежду на жизнь и тем самым «облегчить» мне восприятие рока, чтобы я был рад, что жизнь мне сохранена.

Меня отвели в камеру для осужденных. С каким-то тревожным и тяжелым лязгом открылась дверь, и меня буквально втолкнули внутрь, где я увидел двоих сотоварищей по несчастью. Один стоял посреди камеры, как бы только что остановившись на полпути от стены до двери, услышав лязг запоров. На вид ему было лет пятьдесят, очень крупный и полный; он явно ждал моего "Здравствуйте!", и я это слово сказал. Он повторил это же слово, а потом, подумав, добавил: "В тюрьме люди должны тоже оставаться людьми".

Второй сидел на койке, не проявив к моему появлению ни малейшего внимания. Он был моложе первого, невзрачного вида. На какой-то момент я почувствовал себя почти удовлетворенным тем, что был возле таких же людей, что была возможность слышать их, обмолвиться словом. Я понимал, что на Лубянке уголовников не могло быть, и с осужденными по 58-й статье можно разговаривать как с нормальными людьми. Кстати, я только тогда, находясь в той камере, узнал, что десять лет — срок не самый большой, как до этого дня думал, что уже осуждали и на пятнадцать и на двадцать и даже на двадцать пять. О сроках лишения свободы, как правило, у таких заключенных секретов не было, об этом говорило и само знакомство: "Сколько получил?", "Где взяли?", "Каким судом?" и так далее. Мне же после почти полугода одиночки просто хотелось поделиться всем тем, что накопилось. И тут уже не было причин умалчивать о каких-либо подробностях, если они даже не украшали твою личность. Единственное, что меня останавливало, и затрудняло, — это назвать свою фамилию: имя поэта Твардовского было известно всякому после войны, и конечно же не хотелось давать повод суждениям о том, что вот как по-разному завершилась война для родных братьев. Но в дальнейшем и это перестало быть тайной. Я не скрывал, что являюсь родным братом поэта Твардовского — от правды никуда не деться.

Мой собеседник, прослушав мой рассказ, некоторое время, склонив голову, сидел молча. Было похоже, что он перебирал в памяти все то, что случилось и как случилось в его фронтовых действиях. Затем, глубоко вздохнув, начал примерно так:

— Это — что! Вас можно понять как одну из множества судеб. А мне вот и рассказать о себе стыдно. — Так и сказал: «Стыдно». — Я ведь из кадровых военных, — продолжил он. — Был командующим стрелковой дивизией. Моя фамилия Попов. Сразу скажу: Советская власть дала мне все, меня, рязанского пастуха, подняла до звания полковника. И вот — финал: осужден на двадцать пять лет. Как так могло случиться — да так, что не смог достойно советского офицера погибнуть за Родину на поле брани.

И вот что рассказал Попов далее. Где-то в Белоруссии, в начале Великой Отечественной, его дивизия не выдержала натиска немецких войск и была разгромлена. Сам полковник вместе со своим комиссаром (фамилию последнего я не помню) оказался под угрозой пленения. В

тот трагический момент они поклялись, что живыми врагу не сдадутся. Вскоре до полковника долетели слова комиссара: "Полковник, стреляйся!", тут же полковник был ранен и упал без сознания. Очнулся в немецком госпитале. Немцы вылечили. Был отправлен в лагерь для офицеров. Там он встречает знакомых по службе и узнает, что его комиссар тоже в плену, но не в силу ранения, а просто попал невредимым, но идет в плену как старший лейтенант.

— Это кольнуло меня в самое сердце, — говорил полковник Попов. — Я понял тогда, что стрелять в меня мог только сам комиссар. И закипел я злобой и местью на комиссара, мое отношение к нему не таил, а потому мои слова дошли до немецкого лагерного начальства, и комиссар был опознан. Я подтвердил: "Это он, комиссар из моей дивизии".

Все это по возвращении из плена полковник скрыл и благополучно проживал после войны в Москве. Но вопрос о гибели комиссара в плену продолжал интересовать контрразведку, и настал такой час, когда полковника Попова «попросили» для беседы. А потом его судил трибунал...

В ожидании этапирования в лагерь прошло не менее месяца. За это время раза три меня переводили из одной камеры в другую Лубянской тюрьмы. Один раз, дней десять, содержался в Лефортовской. Случилось быть недолгое время вместе с генералом Бессоновым. Имени-отчества своего он не называл, или же, может, я запомнил — не знаю. Хорошо помню (да такое и забыть нельзя), что каким-то поздним часом меня перевели в камеру, где было шесть коек, из них одна была свободной, я мог ее занять. Бодрствующим в тот час был только один человек, одетый в военную форму... английского солдата. Камера была довольно просторной, так что было место, чтобы прохаживаться, что и делал тот «солдат» в английской форме. Ему было лет пятьдесят, выглядел прямым, бодрым, не скупился на слова. Моего «здравствуйте» показалось «солдату» совершенно недостаточным, и он подал мне руку:

— Генерал-лейтенант Бессонов, бывший командующий Краснознаменной кавалерийской дивизией. Хочу знать, с кем имею честь встретиться.

Очень может быть, что назвавшему себя генералом мой внешний вид показался загадочным, возможно — редкостным среди заключенных: на мне еще была отличная одежда, обувь, и к тому же — возраст — только тридцать два года. Можно было на первый взгляд заподозрить, что я и вправду представляю некую личность.

— Бывший рядовой Красной Армии Иван Твардовский, — ответил я, и тут же, как бы не подумавши, позволил себе спросить: — Неужто вы самый настоящий генерал? Если это действительно так, то считаю, что мне повезло: я первый раз вижу перед собой генерала, хотя и при весьма печальных обстоятельствах.

Нет, генерал Бессонов не обиделся, держал себя великодушно, как я заметил, не только по отношению ко мне, но и ко всем прочим, кто был в камере. За те немногие дни моего общения с генералом, что могло произойти только именно в камере, где он был лишь в прошлом, то есть генералом в воспоминаниях, он успел порядочно рассказать о своей жизни. Был воспитанником Кремлевской кавалерийской школы. Попал туда по какой-то счастливой случайности: был до этого беспризорным, родителей своих не знал. На фронт ушел командующим кавалерийской дивизией. Дивизия была вынуждена спешиться, после чего он был пленен. Немцы вытащили его из траншеи.

Плохо или хорошо, но вот хочу привести один из эпизодов, рассказанных генералом, с почти стенографической точностью, как запечатлели слух и память.

— Наслушавшись и насмотревшись фильмов о светлой и зажиточной жизни колхозников, я и мой комиссар, находясь в прифронтовой обстановке, как-то решили поехать в ближайший белорусский колхоз и позволить себе пообедать, кроче, купить у колхозников курицу и там же

ее зажарить. Но колхоз, как на грех, оказался нищенским, и было понятно: живут они впроголодь. Отпала у нас охота затевать разговор о какой-то там курице. Посмотрев на их безотрадную жизнь, мы решили дать указание интендантской службе сварить на двух полевых кухнях хороший суп и угостить им колхозников от имени воинских властей. Как это будет воспринято, — продолжал генерал, — я пожелал видеть лично и поехал следом за кухнями с поварами. Дали знать жителям колхозного поселка о том, что все желающие могут отведать армейской пищи в свои посудины. Весть эта быстро, как по телеграфу, разнеслась по поселку. И, Боже мой, что я увидел: со всех сторон бежали старые и малые с горшками, чугунами, ведрами, кастрюлями. Тут же появился старик с клочковатой, цвета золы, бородой и подошел ко мне: "Спасибо тебе, добрый генерал, что понимаешь нашу жизнь, спасибо!" А мне было не по себе, что так тяжела была на самом деле хваленая колхозная жизнь, которую я видел в кино.

Генерал прервал свой рассказ, обещая продолжить его позже. И он это сделал:

— Через четыре дня четыре немецких автоматчика вели меня, советского генерала-лейтенанта, через поселок того колхоза, где по моему указанию наши повара кормили жителей супом. Люди узнавали меня, скорбно смотрели на мой позор. Я шел с опущенной головой... в фашистский плен. И вот тогда, где-то посреди поселка, я увидел старика, который так усердно благодарил меня за угощение армейским супом. Отделившись от группы стоявших женщин и детей, он быстро приблизился ко мне и сильно плюнул в мою сторону. Это был жестокий удар для меня. Я так и не разгадал такого поступка: то ли старик выражал этим свою ненависть ко мне, что вот, мол, генерал, а сдался живым в плен, то ли он таким поступком выразил солидарность с оккупантами.

С каким-то болезненным угрызением совести генерал вспоминал о дочери:

— Как она была счастлива, как она любила отца, называла себя генеральской дочкой. И вот такой печальный конец. Рано или поздно ей станет известно, что я был в плену; может быть, она так никогда и не увидит своего отца.

Вскоре меня увели из этой камеры, и больше мне не пришлось встречаться с Бессоновым. В дни моего знакомства с ним он был еще подследственным. Виновным он себя не признавал. Из плена его освободили англичане. Как генерала его пожелал видеть Черчилль, и якобы этот факт стал причиной серьезных к нему обвинений.

Как осужденный, я в любой час ожидал вызова для отправки этапом в лагерь. Среди заключенных было такое мнение, что осужденных долго не держат ни в Лубянской, ни в Лефортовской тюрьмах. И такой день настал. В первых числах июля 1947 года меня вызвали, в коридоре предложили получить вещи — чемодан, в котором были легкая одежда, белье, кое-что из мелких личных вещей. Мне сказали, что могу проверить, все ли вещи целы. Проверять я не стал, предвидя, что на этапе все это будет легкой добычей для воров и блатных, которые исповедуют кредо: "Ты умри сегодня, а я — завтра". И таскаться с чемоданом по этапам в отдаленные районы было равно добровольной услуге чертову батьке. Об этом я посмел сказать конвойным, но мой голос не был услышан, а команда: "С вещами следуйте к выходу!" обязала меня подчиниться, и я был посажен в «воронку». Следом за мной, по одному, приводили других. В салоне становилось все плотнее, уже и отодвинуться было некуда, но заключенные, казалось, были рады, что назначены на этап, и охотно мирились с теми неудобствами, а кто-то даже сказал: "Слава тебе, Господи, что услышал молитвы наши!" Тут же было уточнено, что благодаривший Бога имел двадцать пять лет сроку.

Посадка в вагончик-"столыпин" поезда "Москва — Иркутск" прошла тихо, как может быть только в Москве, где все зэки были из внутренних тюрем МГБ. В отсеках (купе) за сеткой из стальных прутьев было сравнительно свободно и спокойно в пути вплоть до Казани, где наш

вагонзак принял группу заключенных из казанской тюрьмы. И сразу стало ясно, что среди них были люди совсем из другого мира — слышались жаргоны, с конвоем они вступали в пререкания, вели себя нахально. Четверо из них попали в купе, где находился я со своим чемоданом. Появление казанских «аристов» было шумным, с напускной дерзостью. Они сразу же оценили опытным глазом, что в купе следуют политические, начали наводить «порядок». Самый юный из них, как бы оправдывая накопленный опыт воровских приемов в отношении к фраерам, зычно крикнул дружку в соседнем купе: "Васек! Здесь дела-а!" Тут же, забравшись на верхнюю полку, он приблизился ко мне и с искривленной физиономией, ощерясь, злобно прошипел мне в лицо: "А ну-ка ныряй!.. Вниз!" Мне было просто стыдно подчиниться требованию подонка. Я быстро приподнялся на локоть и преградил рукой его наседание. Тогда он пытался лизнуть мне по лицу обломком бритвенного лезвия и успел коснуться щеки, хотя мог бы зацепить и глаз. Я почувствовал — кольнуло, закричал: "Конвой! Конвой, сюда!" Подлец отстал, но полагать, что он оставит меня в покое, я не мог. Представить, что меня ожидало впереди, было невозможно. Мне было ясно, что наглое требование: "А ну-ка ныряй!.. Вниз!" юный воришка предъявлял по поручению других. Им нужно было узнать, какова будет реакция фраера. Поскольку я не подчинился молодому подонку, то был избран более либеральный метод — дипломатия вора. Этаким в рубахе навыпуск, в мягких сапогах в гармошку, с круглым лицом пермских славян, как я тогда понял — вор в законе, пожелал поговорить со мной. Он подсел рядом и вполголоса начал о том, что «пацан», дескать, поступил неправильно.

— Нужно понимать, чувствовать сорт людей, — были его неторопливые утверждения. — Я, знаете, — он объяснялся на «вы», — большой противник грубостей, потому что по нашему, вы понимаете, закону, так не положено. Но если честно сказать, извините меня, неприятности вас не минуют, пока вы будете следовать этапом. Вот, к примеру, этот приличный клифт на вас... Это же постоянно будет привлекать каждого суку, чтобы его снять с вас. Имейте это в виду — это будет точно так. Попадете на пересылку, например, в том же Иркутске, и с вас сдрючат все, и вы не посмеете пикнуть.

Доводы этого «честного» вора полностью подтвердились, и, забегая вперед, надо признаться, что в Иркутске, в пересыльной тюрьме, где мне пришлось быть несколько часов, блатные увели меня в какой-то закоулок, где мне было сказано: "Жить хочешь?" — «Хочу». — "Снимай клифт! И брюки в полоску — тоже!" И представь, читатель, я сделал это без раздумий и сожалений. Взамен дали обноски. Но это было, повторяю, в Иркутске. А разговор с «честным» вором еще где-то под Свердловском. Продолжим его.

— У вас, — говорил вор чуть не шепотом, — полагаю, есть вещички. Советую пустить их в обмен на что-то съестное, чем отдать ни за понюх табаку какому-то подлецу-суке. Как вы смотрите на мой совет?

Как ни странно, я был рад пойти на нечто такое, но совершенно не мог представить, кому можно предложить, находясь за решеткой вагонзак. Спросил об этом.

— Вы правы, сделать это очень непросто, но если доверите, я готов, помочь вам. Но мне нужно знать, то есть видеть самому, о чем может идти речь.

В том, что этот человек был из уголовников, у меня не было сомнений, хотя по речевым данным он больше походил на чиновного служащего, но я знал, что в жизни не редки случаи, когда уголовник легко и профессионально справляется с той ролью, которую он должен сыграть для достижения своей цели. Мне же в тот момент он был даже симпатичен, и я охотно принял его предложение. Я понимал, что самое лучшее по тюремным законам — это успеть добровольно и вовремя поделиться всем тем, чем располагаешь.

Был тогда июль 1947 года, сплошь и везде можно было видеть плохо одетых людей. Летнюю одежду не вдруг можно было купить. Поэтому, когда мой посредник увидел шелковые цветные мужские сорочки в шведской фабричной упаковке, он глубоко вздохнул и ахнул: "Вот это вещь! Ай-ай!"

Я не помню, но, кажется, он назвался Михаилом, и упоминание его имени просто необходимо в повествовании: как-то нескладно называть его «вор», — вор тоже имеет имя, и я не буду лишать его этого права. Михаил начал с того, что попросился в туалет, чтобы улучшить момент и объяснить с солдатом, что, мол, есть отличная вещь, которую он, Михаил, может предложить на съестное. Сделать это ему удалось — возвратился с надеждой. Через некоторое время подошел солдат, открыл дверку, сорочку попросил в руки, и Михаил отдал ее. Встал вопрос о цене. За кусок хлеба и даже за буханку отдать такую сорочку нельзя было, но и на истинную ее стоимость, находясь в вагонзаке, рассчитывать было тоже нельзя. Михаилом было сказано, что отдает за столько, сколько подскажет совесть солдата. Дверку солдат опять закрыл и ушел. Михаил надеялся, что солдат не посмеет обмануть. И солдат сделал, что было в его возможностях: дал кусок свиного сала и две буханки хлеба. Таким же образом за время следования до Иркутска было реализовано все, что имелось у меня, после чего я почувствовал себя освобожденным от забот и беспокойств и был просто удивлен, что так это произошло; чемодан теперь мне ни к чему, и я его оставил в вагоне.

Во дворе иркутской пересыльной тюрьмы я пробыл пять-шесть часов. Был вызван на этап в эшелоне, который отправлялся в тот же день дальше на восток. В основном такие эшелоны формировались здесь из обыкновенных, довоенного образца вагонов подъемностью шестнадцать с половиной тонн. Нет нужды описывать их внутреннее устройство — оно довольно известно, поскольку на положении заключенных в них побывали миллионы граждан бывшего СССР. К сожалению, очень многим из них не суждено было возвратиться из тех дальних мест — Колымы, Индигирки, Лены, Чукотки. Так же известно, что при попустительстве и даже при участии начальства ГУЛАГа чинились произволы уголовников (бытовиков) над политическими непосредственно в пути следования этапов. Цинично бахвалясь умением жить, блатные, не дрогнув, могли отнять даже этапную горбушку хлеба у слабого, тем более у не владеющего русским языком. За несколько дней были «раскулачены» четверо тувинцев, следовавших этапом в моем же вагоне. И люди молчали, не посмеив даже пристыдить уголовников, боясь расправы самым жестоким образом — избиением до полусмерти.

Надежда все такое пережить чуть теплилась, и я после долгих раздумий написал первое письмо жене после семи лет моей неизвестности и, сложив его треугольником и написав адрес, выбросил через угловой люк вагона. В этот момент эшелон шел через какую-то маленькую станцию в Читинской области. Ну ясно же, что расчет был на то, что кто-нибудь, может, увидит и поднимет, догадается опустить в почтовый ящик. Люди ведь знали, что такую эпистолу может подбросить только зэк из вагона. Она, Мария Васильевна, проживала в то время в Нижнем Тагиле, о чем я узнал еще в Лубянской тюрьме, знакомясь с документами следствия, среди которых был и протокол допроса жены в Нижнем Тагиле. Мое письмецо Мария Васильевна получила и примерно поняла, откуда оно пришло. Я понимал, что новость эта очень тяжела будет для нее. Но вот так получилось, что иначе не мог, написал. О том же, что решением Особого совещания меня приговорили к десяти годам лишения свободы, умолчал: не хватило духу, не надеялся, что выживу этот срок.

В двадцатых числах июля эшелон из полусотни вагонов с заключенными, общей численностью не менее двух с половиной тысяч, прибыл в Находку, где и был окончен наш путь по железной дороге. Многие из зэков знали, что здесь предстояло быть в пересыльном лагере, то есть ожидать отправки этапом в какой-то конечный ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь Севвостлага, может, в страну Колыму или даже на Чукотку. О Колыме многие были наслышаны. "Будь же проклята ты, Колыма!" — в местах заключения каждый слышал эту песню, сочиненную безвестным автором, и она отнюдь не настраивала на

оптимистический лад. На Колыму никому не хотелось попадать. А о Чукотке никто ничего не знал, но почему-то многие мечтали: "Вот на Чукотку бы попасть!" — с какой-то надеждой, что там наверняка хорошие условия и особое, полярное снабжение.

Высадка из вагонов началась сразу же по прибытии эшелона. Отодвигалась дверь вагона, офицер МГБ выкликал фамилии. Здесь же был конвой с собаками. Каждый зэк, услышав свою фамилию, должен был назвать имя-отчество, статью, срок, после чего стать в строй по четыре и смотреть, как пышет злобой адрессированная овчарка, не сводящая глаз с желанной жертвы. Как только заканчивалась высадка очередного вагона, группу уводили в зону пересыльного лагеря, где она становилась бригадой, назывался ее номер, назначался бригадир. С этого момента мы оказывались в зоне, где под открытым небом содержалось до двадцати тысяч заключенных. Ни о каких помещениях там не могло быть и речи — сидели, лежали и жили вповалку прямо на земле. И куда ни посмотри — бессчетная, постоянно гудящая однородная серая масса. Было просто боязно отлучиться от тех, с кем был в вагоне. Казалось, что можно затеряться и не найти того места, где ты обрел частицу площади. Потом, день за днем проводя в окружении тех, с кем вместе думаешь и делишься взглядами и предположениями, обнаруживаешь сходство понимания происходящего, и ты уже не терзаешься самоуничижениями за «ошибки», которые привели тебя к столь драматическому финалу, поскольку убеждаешься, что у многих, кто оказался рядом, волей обстоятельств личная судьба была еще более тяжелой, но все равно человек не лишал себя права надеяться, что может что-то измениться совсем неожиданно, что ничто не вечно, и в том числе, и в первую очередь не вечны несправедливость и жестокость. Примерно так же рассуждал и встретившийся мне болгарин. Ему было пятьдесят шесть лет, осужден по 58-й сроком на двадцать пять лет. Называл он себя верующим и считал, что это помогает ему в его тяжелой судьбе. "Я верю, что как только Сталин уйдет из жизни, — говорил он не очень остерегаясь, — то все изменится, и я надеюсь, что до такого времени я доживу и буду освобожден".

Лето 1947 года в Приморском крае было необычайно сухим и жарким. В полдневные часы под палящими лучами солнца было тяжело. К тому же вода была не всегда в достатке. Но каждый помнил и благодарил Бога, что было тепло и земля в течение дня хорошо прогревалась, и это было очень важно — спали ведь прямо на земле, в той самой одежде, что на себе, а уж о том, чтобы что-то подстелить и чем-то укрыться, никто и не помышлял. В общем, жили под открытым небом дни и месяцы. И что уж тут сказать, если содержались в загоне, как скот, гонимый на убой. Поэтому все ждали того дня, когда этапируют куда угодно, лишь бы в рабочую зону, чтобы иметь какое-то место для сна под крышей.

В Находке, в пересыльном лагере, я был более двух месяцев. В конце сентября спать на голой земле было уже невозможно. Не знаю, как я не свалился, не схватил пневмонию, но уже на подступе было отчаяние, и я вспоминал слова шведских евангелистов, которые провожали меня с молитвой к Всевышнему, чтобы дал мне сил и терпения вынести все, что судьба ни пошлет. Да, я был весь само терпение, и, может, это меня спасло.

На Чукотку отправляли этапом сравнительно небольшую партию заключенных — человек пятьсот или шестьсот. Слухи ходили, что отбирают только механизаторов. Я к такой категории не относился, в формуляре значился резчиком по дереву. И вдруг слышу, мою фамилию вызывают на этап. Поначалу подумал, что ослышался, но вызов повторился, сомнений не было, побежал к столу, где находились представители Чукотстроя. Спрашивают имя-отчество. "Иван Трифонович!" Слышу: "Какое совпадение! Поэт Твардовский ведь тоже "Трифонович"? — Посмотрели на меня: "Да, чего только не встречается на свете!" Продолжили: "Статья?" — "58 (б)" — «Срок» — "Десять лет". — "Проходи!"

Вот так я оказался в этапе на Чукотку.

Нас посадили в трюм «Миклухо-Маклая», где были двухэтажные нары. После того как

отчалили от пирса, было разрешено свободно подниматься на палубу, где для заключенных был туалет. Но поднимались на палубу не только и не столько "по нужде", как ради того, чтобы взглянуть окрест, когда «Миклухо-Маклай» оставлял берега Большой земли. Было ясно, что увозили нас надолго, что впереди полная неизвестность, и может быть, кому-то из нас уже никогда не возвратиться оттуда.

Охрана не препятствовала тому, что зэки непрерывно очередью поднимались на палубу. И это было понятно: кто же пожелает бросаться за борт в морскую пучину? Правда, оголодавшие зэки острым нюхом учуяли соленую горбушу в бочках на палубе и начали было таскать ее, но тут же убедились, что она так солоня, что без хлеба ее есть совершенно нельзя, и это занятие прекратилось и скандала не возникло.

Все больше отдаляясь в открытое море, стали ощущать морскую качку. На палубу налетали гребни волн, и в такие моменты было и страшно, и небезопасно находиться на ней. «Миклухо-Маклай» казался бессильным, покорным и ничтожно малым по сравнению с возникавшими морскими провалами и набегавшими невообразимой мощи валами, высотой в десятки раз превосходящими корпус корабля. И было трудно понять, движемся ли мы по курсу или находимся во власти стихии и несемся по воле ее Бог знает куда. Впервые я видел подобное, и охватывала какая-то жуть, хотелось забыться и ни о чем не думать.

Сколько дней мы были в пути — точно никто не мог сказать. В трюме не было ни дня, ни ночи — было просто какое-то бесконечное время пребывания под водой, в ожидании какого-то события или хотя бы какой-то перемены бытия. Но такие чувства, возможно, были свойственны только мне или тем немногим, кто оставался сам с собой и "листал обратный календарь", вдумываясь в свое прошлое. Большинство же обитателей трюма смотрели на все происходящее без особых раздумий и как могли «убивали» время, слушая лагерных мастеров импровизаций о легендарных личностях не без намека о том, что все — "из истории личной жизни" самого рассказчика. Кстати сказать, такие самодеятельные мастера рассказа не редкость в среде лагерников, тем более прошедших такую жизнь в течение многих лет. В общем, все это не ново — люди всегда и везде разные.

О том, что «Миклухо-Маклай» приближался к Чукотке, мы узнали дня за два до того, как увидели горы-сопки побережья залива Креста. Они были очень похожи на гигантские терриконы, и не хотелось верить, что созданы они самой природой, — их остроконечные макушки были словно насыпаны из небесного бункера. С подветренной стороны сопки были темно-серыми, но противоположная была припудрена снегом. Распадок же между сопки был покрыт белым снегом. Но тут наше свободное хождение на палубу было запрещено, и заключенные заговорили о том, как быть, если начнут высаживать, не считаясь, что почти все плохо, по-летнему, одеты, поскольку было ясно, что здесь, на Чукотке, уже зима.

Мы еще не знали, что уже год, как здесь, на берегу залива Креста, есть лагерь заключенных, что есть и поселок для вольнонаемных под названием Эгвекинот. Есть здесь и автобаза, и механические мастерские, и кузница на несколько горнов, и больница, и ряд других объектов, построенных в течение года силами заключенных. Словом, год тому назад, также глубокой осенью, сюда, на этот дикий, холодный каменный берег у подножия пирамидальных сопки, было высажено из трюмов «Миклухо-Маклая» тысяча двести заключенных. И было сказано: "Будете строить, не щадя живота!" Но об этом нам, вновь прибывшим, стало известно несколько позже.

Высадка узников из трюмов началась в присутствии начальника Чукотстроя полковника Ленкова. Здесь же был начальник Чукотлага майор Стеценко, оперативник, охрана войск МГБ. Заключенные просили о сочувствии: они в плохом летнем платье, а температура минус пятнадцать градусов по Цельсию. Просьба была принята к сведению в том смысле, что высаживали не всех сразу, а партиями по пятьдесят человек и под конвоем направляли в баню, где выдавали обмундирование. Это, конечно, было снисхождение. Но все равно стоять

на морозном ветру хотя бы двадцать минут, представьте, в одной рубашке — не приведи Бог даже видеть такое. Но требовалось не двадцать минут, чтобы прошли по одному пятьдесят человек, отвечая по всем пунктам: имя-отчество, год рождения, статья, срок, — требовалось не менее получаса. Первому-то как выдержать? За время, пока подготовят вторую партию, первая должна была дойти до бани (расстояние не менее километра), помыться, получить положенную зимнюю одежду и надеть ее на себя. Но надо упомянуть еще и о том, что когда нагой заключенный подходил в кладовке к столу, чтобы получить бушлат, шапку, стеганые брюки, валенки и все прочее, то кладовщик ударял его что есть силы каждой названной вещью:

— Получай, сука, раз! Два! Три!..

Вот так встречали всех вновь прибывших в Чукотлаг. В голову приходили строки из колымской песни: "Будь же проклята ты, Колыма!.. Откуда возврата уж нету". Да, впечатления были мрачными, и рассчитывать на то, что ты когда-нибудь, по окончании срока — "на поезде в мягком вагоне...", было нельзя.

После бани проходили формальную медицинскую комиссию в кабинете начальника санотдела лагерной больницы. Возглавлял комиссию, состоявшую из трех медиков, сам начальник санотдела. Он был весьма симпатичной, можно сказать — импозантной внешности, в возрасте лет пятидесяти. В кабинет заключенных вызывали по формулярам раздетыми донага по два-три человека. По лагерным метким образным суждениям, заключенные в большинстве своем были «тонки», «звонки» и «прозрачны», то есть доведенными до крайнего истощения. Надо признать, что начальник санотдела видел это и относился к нам сочувственно, но и только. Бегло осмотрев и пощупав каждого за ягодицу, он ронял слова, равнозначно душевной тревоге, делал какие-то пометки в учетных карточках. Хорошо помню момент, когда он, взглянув на мою карточку, а потом внимательно на меня, спросил: "Да? Резчик по дереву? Интересно! Как и что вы можете выполнять?" — "В основном я специализировался в ваянии миниатюрной скульптуры в дереве, выполняя художественно оформленные вещи с практическим назначением". — "Очень интересно! А инструменты? У вас же сейчас их нет?" — "Конечно, сейчас у меня их не может быть", — был мой ответ. — "Ладно! Посмотрим". — Обращаясь к члену комиссии, молодому врачу, он сказал: "Запишите: «Госпитализировать». — И, обращаясь ко мне: — Положим вас на койку, отдохнете, потом решим, как с вами быть".

Вот так началось мое пребывание в Чукотлаге. В зону, таким образом, я не попал, что понять можно было как счастье, ниспосланное Богом.

Подозреваю, что какую-то роль, возможно, в этом сыграла моя фамилия. Но это лишь предположительно. Главное все-таки в моей чукотской судьбе было то, что я обладал универсальным мастерством: столяр, резчик, модельщик, в известной степени ваятель, пусть самодельный. Это и оградило меня от общих работ.

Лагерная больница размещалась в большом бараке-землянке, как все другие жилые помещения для заключенных и для вольнонаемных. Лишь для начальства МГБ был возведен "голубой поселок" из брусовых домиков. Но как бы ни была примитивна эта лагерная больница с внешней стороны, внутри она поддерживалась в сравнительно чистом состоянии. Было в ней тепло, кормили больных заключенных вполне удовлетворительно. В ней было два отделения: хирургическое, где находились на излечении обмороженные, тяжело травмированные на работе и в лагерных ссорах и баталиях, больные флегмоной, и терапевтическое — там находились все те, кто не нуждался в хирургическом вмешательстве.

Оказавшись на больничной койке без каких-либо моих просьб, поскольку вся моя «болезнь» заключалась в неутоленности чувства голода, я был обеспокоен, пожалуй, только тем, что не знал, чем может закончиться проявленная ко мне милость. Очень сожалею, что не решился



тогда узнать фамилию начальника санотдела. Для меня он был не иначе как явлением, которое обязывало: ни Боже мой, не смей обращаться, но боготвори его душевно.

Рядом были люди, которые уже год прожили на Чукотке в лагере. В первые же дни я узнал от них, что из привезенных год тому назад тысячи двухсот заключенных осталось немногим более семисот; что на втором километре от поселка Эгвекинот их хоронят в загодя приготовленную траншею, вырытую бульдозером в каменисто-щебеночном грунте. По их рассказам, кроме строительства самого поселка, заключенных использовали на строительстве дороги к руднику Иультин, что в двухстах семидесяти километрах от Эгвекинота. Условия на этой стройке крайне тяжелые: холод и голод, люди замерзали, умирали от дистрофии и побоев.

— Эгвекинот — что! — рассказывал зэк Сахаров. — Это поселок, здесь рабочая зона в оцеплении, каждый знает свое место: механизаторы, металлисты, ремонтники как ни есть работают по специальности, большинство под крышей, в мастерских, в цехах, конвой в рабочую зону не заходит, свободное хождение, здесь же и вольнонаемные. А вот там какие муки терпят люди на трассе, где бригадир — царь и Бог, где чуть что — ломом по горбу схватишь, и жаловаться некому. Поживешь — увидишь.

Через три дня меня пригласили к начальнику санотдела. Посмотрел вроде бы приветливо, спросил, как я себя чувствую. Я ответил, что, мол, спасибо, здесь, дескать, хорошо.

— Вы откуда родом? — спросил. — Не может ли такое быть, что поэт Твардовский доводится вам родственником?

— Может! Так оно и есть! Я действительно довожусь ему родным братом, — был мой ответ.

Он помолчал, как бы подбирая слова, чтобы не показаться бестактным, заметил:

— Мне бросилось в глаза, что ваше отчество «Трифонович». Подумал, что если это просто совпадение, то уж очень необычное. Но это, простите, к слову — в жизни я слышал и видел многое, бывало всякое, поскольку я отношусь к поколению старой интеллигенции. Теперь о деле. Вы можете начертить, ну, в виде четких эскизов, те инструменты, которые нужны вам для резных работ? Здесь, в мастерских, есть очень искусный слесарь-инструментальщик, и, надеюсь, он охотно согласится изготовить вам по эскизам необходимый инструмент.

Я заверил, что смогу начертить даже в присутствии того слесаря и что это будет еще легче — можно будет подсказать, посоветоваться.

— Тогда собирайтесь. Мы пойдем в ЦАРМ {11}.

Просьбу главного медработника слесарь принял как подарок. В лагерях, как я понял несколько позже, заслужить внимание таких людей считалось важнейшей задачей заключенного: ведь только медицина могла прийти на помощь, оградить или даже защитить заключенного, если он оказывался в беде. И слесарь тот, надо думать, хорошо это понимал и помнил про запас. Инструменты он сделал и сам принес их в больницу.

Начальник санотдела пообещал поселить меня в комнату при больнице, где находилась обслуга из заключенных (санитары, фельдшера, зубной техник, электрик, завхоз). То, как много это значило, нет нужды объяснять: их не водили под конвоем, они не знали постоянных проверок и разводов, не голодали и не мерзли, не подвергались принуждениям и побоям, не находились под властью лагерных прислужников. Все такое рисовалось и мне, но я не знал еще, не мог предвидеть, что для моего рабочего места, где я должен буду заниматься резными работами (горько даже вспомнить), мой добрейший шеф определил подходящим

помещение морга. Может, к стыду моему, но честно признаюсь, что слово «морг» мне тогда просто не было знакомо, оно не произвело на меня того впечатления, которое я мог бы получить от слова «мертвецкая». Поэтому когда начальник санотдела предложил мне пойти вместе с ним посмотреть помещение и решить, где лучше устроить в нем что-либо вроде верстачка, то я, не задумываясь, последовал за ним. Само сооружение с расстояния смотрелось как заснеженный бугор с черневшим пятном входа, и можно было подумать, что это был не то погреб, не то склад-кладовая. Когда же мы подошли, то я увидел, что к двери нужно спуститься по ступенькам. Войдя в эту землянку, я все еще не мог понять ее назначение: само помещение было разгорожено надвое. В первой половине, влево от входа — продолговатый, грубой работы стол, и больше ничего. Во второй, меньшей, сидел человек у топившейся печи, что-то готовил себе на обед, но быстро встал и приветствовал вошедшего начальника. Без слов было ясно, что он заключенный и что здесь он на своем рабочем месте и здесь же живет, — был виден топчан, накрытый одеялом.

— Ну как здесь у тебя, Рузальтис, сейчас пореже привозят умерших? — спросил шеф.

— Да, сейчас стало меньше, но будет холоднее — опять больше будет, — ответил литовец Рузальтис. И я понял, что такое морг.

— Ну что, Иван Трифионович, скажете? По-моему, здесь тепло и вполне можно устроить верстачок, вот хоть к уголку, подвести свет. Правда, придется видеть не очень приятные картины. Положение, надо понять, пока изменить нельзя, не от нас, не от меня оно зависит.

На тот момент, действительно, ничего особо неприятного в землянке-морге не было. Литовец свое рабочее место содержал в чистоте, и поскольку никакого иного места шеф не мог предложить, я должен был согласиться на предложенный вариант и приступить к делу.

Начинать мне нужно было с того, чтобы устроить, пусть самый примитивный, верстак в виде, например, закрепленного к стене отрезка широкой доски. Возле верстака необходимо иметь какое-то сиденье (скамью, табурет, стул), сделать ящик для инструмента. Сразу же надо было где-то найти все то, чем это можно сделать, — топор, ножовку, рубанок. Поразмыслив о том, как быть и куда сунуться, я решил встретиться с завхозом больницы Борисенковым. Мельком я его видел, но и только. Как человека я его еще не знал, но — куда ни шло — подался к нему. Ко мне он отнесся с пониманием и был крайне удивлен и даже не удержался, чтобы не рассмеяться над тем, что "с любезностью и сочувствием" начальник санотдела уpek меня в морг.

— Нет, Иван Трифионович, — высказал свое мнение завхоз, — надо подумать и постараться избавиться от работы в этом помещении. Какое же может быть настроение, — продолжал он, — при работе в мертвецкой? Дышать трупным запахом, смотреть, как отогревают мороженных покойников, как этот литовец Рузальтис вскрывает им животы, нет-нет, это не каждый вынесет! Давай-ка мы пойдем к Парамонычу и послушаем, что он скажет.

Парамоныч — это заведующий аптекой. В заключении он был уже более десяти лет. На Чукотку попал с Колымы. В прошлом — полковник, член ВКБ(б), был осужден по 58-й статье, в лагерях каким-то образом освоил аптечное дело и вот заведует аптекой Чукотлага. Фамилию его мало кто знал, но «Парамоныча» знали все, и пользовался он всеобщим уважением, в том числе и со стороны вольнонаемных и сотрудников МГБ. Вот к нему мы и вошли — прямо в помещение аптеки, представляющее отдельный барак, разгороженный на несколько комнат: там и склад, и конторка бухгалтера-зэка Ивана Ивановича Олзоева, и отделение собственно аптечное, где Парамоныч готовил и отпускал лекарства, отсюда их получали медпункты закрытых зон и по рецептам — вольнонаемные граждане поселка Эгвекинот. Здесь же, в аптечном бараке, у Парамоныча была квартирка — спальня и кабинетик, так что в зону являться он не был обязан, как и главный хирург больницы Кондратий Калицкий, тоже отбывавший срок с 1937 года. Калицкий жил в отдельной

землянке, и к нему был прикреплен, как принято было называть, дневальный.

Вот так, можно сказать, по чистой случайности, я оказался на Чукотке в окружении заключенных, которые были на особом положении и не испытывали на себе и десятой доли участи тех, кто был на общих работах, на трассе, в штольне Иультинского рудника, в тракторной колонне, застигнутой многодневной чукотской пургой где-то в безлюдной тундре. Об этом я думал, когда был свидетелем беседы завхоза Борисенкова с Парамонычем. Бывший полковник, конечно, по-своему тоже был несчастен, как и всякий бывший, но в их беседе ни слова не было о том, что они голодают, что с каждым днем они слабеют физически, что им приходится мерзнуть и мокнуть и рабски исполнять команду: "А ну, вылетай без последнего!" Ничего такого для них не существовало, хотя они тоже были заключенными, на той же Чукотке, но им где-то повезло, они стали «придурками», как называют в лагере всех тех, кто по счастливым обстоятельствам оказался на «блатных» должностях. Нельзя сказать, что все они какие-то плохие люди, часто это связано с профессией, как, например, должность бухгалтера, врача, инженера, механика или мастера редкостной специальности — зубного техника, часовщика, хорошего портного.

Между тем завхоз выбрал момент и, обратив внимание собеседника в мою сторону, начал объяснять причину нашего визита.

— Вот какое дело, Илья Парамоныч! Этот молодой человек из нового этапа. Начальник санотдела оставил его при больнице как мастера на все руки. Он, знаете, и резчик по дереву, и столяр-мебельщик, и модельщик литейного производства.

Парамоныч внимательно и заинтересованно слушал, взвешивающе поглядывал на меня, вставлял свои короткие: "Да-да!" или "Вот что!", "Любопытно, да", "Понимаю".

— Как вас... имя-отчество? Давно осуждены?

На все его вопросы я отвечал не спеша, но интерес ко мне, казалось, все нарастал, и, таким образом, я вынужден был порядочно рассказать о себе, хотя особого желания у меня не было выкладывать все подробности. Все же я сказал, что в плен попал к финнам, что это было в самом начале войны, из плена бежал в нейтральную Швецию, и вот такой финал — нахожусь здесь как зэк.

— Илья Парамоныч! — вновь вклинивается завхоз, — Иван Трифонович находится сейчас в весьма незавидном положении — начальник санотдела ничего лучшего не сумел найти, где бы можно было устроить верстачок и начать работать, кроме как в морге. Но ведь это, знаете, никуда не годится. Ну, сегодня там свободно, а кто знает, что завтра же не привезут с трассы труп, будет там Рузальтис вскрывать. Трупный запах и вся эта неприятная картина, право же, никак не вяжется, чтобы там что-то еще серьезное мастерить. Вот я и подумал, что вы давно ищите хорошего столяра, который смог бы изготовить вашей конструкции аптечный стол или шкаф. Так, может, вы воспользуетесь случаем и попытаетесь договориться с начальником санотдела, чтобы этот мастер занялся вашей работой. И взяли бы его из морга к себе. Вот и было бы хорошо и вам, и мастеру.

— Хорошо, спасибо! Я, между прочим, уже подумал об этом, но надо же еще узнать, пожелает ли и, скажем так, сможет ли молодой человек взяться за такую работу. Место для работы я здесь найду, хотя, может, и не очень просторное, но думаю, позволит. Есть у меня и столярный инструмент, и, кажется, все необходимое из материалов. Надеюсь, что санотдел не будет чинить препятствий и согласие будет получено. Ваше слово, Иван Трифонович!

Меня не пугала никакая сложность, и я постарался заверить Илью Парамоныча, что буду рад выполнить любую работу по дереву. В ответ на это мне было обещано, что вопрос будет решен скоро, может, сегодня же.

Самое главное для меня было — не попасть в зону. Эти первые дни я чувствовал себя, как никуда не примкнувший, никому неизвестный и всего остерегающийся; даже войти в комнату, где находилась больничная обслуга и где мне было позволено иметь место на верхних нарах, я входил как-то несмело, опасаясь недружелюбных взглядов и вопросов. Такие чувства меня всегда преследовали, видимо, на почве того, что в памяти сохранялись слышанные где-то прежде слова: "Не страшна тюрьма — страшны люди в тюрьме". Это почти точно так: в тюрьме, на этапе, в лагерях можно услышать: "Ты умри сегодня, а я — завтра", — могут нагло обидеть.

Слава Богу, на Чукотке мне не пришлось такое испытать. Зэки из больничной обслуги были на редкость воспитанные, хорошие люди. Помню зубного техника из Литвы Гольдштейна, студента-медика болгарина Гаврилова, санитаров из русских студентов, фельдшеров, завхоза — все запомнились уважительными людьми. И пусть такие свидетельства не покажутся странными, что я смею так думать и говорить: "Здесь было мало виноватых, здесь больше было — без вины" (А. Жигулин. "Воспоминание").

Была глубокая снежная осень, светало лишь часам к десяти, а часов в восемь хоть глаз коли — ничего не видно, когда завхоз Борисенков сказал, что Парамоныч ждет меня. И я пошел в аптеку с надеждой, что вопрос утрясен и я буду работать под крышей у полковника Парамоныча.

Вход в аптечный барак был еще заперт изнутри, и я немного был озадачен: постучать или нет? Но подумал, что открытым вход, когда еще темно, вряд ли мог Парамоныч оставить, — постучал. Ждать не пришлось, дверь тут же открыл сам хозяин заведения.

— Простите, Илья Парамоныч, — начал было я, но он, подняв руки, поспешил сказать:

— Нет, нет! Понимаю, подумали, что я... Нет, я давно на ногах, да. А дверь... она должна быть закрытой.

В тот момент я подумал, как это он не боится один ночевать в аптеке. Спрашивать об этом я не стал, но мысль такую имел, что для известной категории зэков аптека своими «каликами-моргаликами» объект заманчивой.

— Вот что я могу сразу же сказать вам, Иван Трифонович, пока мы здесь без свидетелей. Начальник санотдела согласен, чтобы вы работали у меня. Но вы должны иметь в виду, что числитесь в больнице как пациент-хроник, на излечении, а не потому, что вас держат как специалиста. В аптеку приходят разные люди. По возможности воздерживайтесь от контактов. Он же просил, чтобы вы, не торопясь, но и не откладывая на «потом», что-нибудь изготовили для него на память. Вы догадываетесь, почему это ему дорого?

— Возможно потому, что на Чукотке живут временно, хотят иметь сувенир, изготовленный в этих местах.

— Да, правильно.

Я хорошо понимал, что под крышей аптеки нахожусь по милости начальника санотдела, что положение мое здесь зависимо и шатко, о чем не должен забывать. И конечно, я должен благодарить того, кто берет меня под свое покровительство. Для зэка даже один день облегченного существования — милость Божья, он рад и доволен. Так что просьбу, которую передал мне Парамоныч: не торопясь что-нибудь изготовить для начальника на память, я готов был выполнить самым лучшим образом.

Рабочее место с расчетом, чтобы можно было выполнять и столярные работы (имелось в виду изготовление аптечного стола длиной в три метра), организовали в комнате, которая служила складом аптечных товаров. В ней пришлось освободить половину площади, где

прямо на полу находились разные ящики, бутылки, картонные коробки. Кое-что уплотнили, кое-что перенесли в коридор, а что и подняли на полки. Одним словом, по нужде мириться можно было, чтобы один человек работал у верстака. И насчет столярного инструмента большой проблемы не оказалось: Илья Парамоныч в свое время предусмотрительно приобрел на Колыме набор американского инструмента и не забыл погрузить его, когда дислоцировалось на Чукотку его аптечное хозяйство.

Пока меня еще никто не торопил и не подгонял, и самому вроде бы ясно, совсем некуда было спешить. Отбывание срока только начиналось. Что там впереди могло меня ожидать, что предстояло испытать? — об этом было страшно подумать. Но нельзя было предаваться унынию, тем более что я еще находился по лагерному почти в санаторных условиях. Такое положение надо было по возможности удерживать, не терять. Я начал изготавливать ту самую "вещицу на память" моему благожелателю, начальнику санотдела.

С тех пор, как я оставил работу в Швеции в резной мастерской Свенсона, прошел ровно год. Только сказать, где она, эта Скандинавия и где залив Креста на Чукотке! Через весь Евро-Азиатский материк проволочки меня под конвоем. Тут не хитро, кажется, растерять и профессиональной настрой, и фантазию. Да нет, нельзя мне было позволить этого: в профессии — мое спасение. А страх такой уже был: "Вдруг что-то не пойдет, как тогда быть?" Душевное потрясение и совсем другие условия жизни действительно могут повлиять отрицательно, хотя я старался не верить в это.

В течение многих лет, сначала любительски, а затем и профессионально, для работ по ваянию скульптурных миниатюр и скульптурной резьбы (барельеф на плоскости) я использовал только дерево, как правило, твердых пород, преимущественно березу. Но вот с чем я столкнулся на Чукотке: подходящего для моей работы сухого куска березы (капа, корня, отрезка доски, бруса) найти не смогли, хотя занимался этим вопросом сам Илья Парамоныч, авторитет и положение которого имели и вес, и влияние. Казалось, больше надеяться было не на что. Кроме березовых тонких дощечек от мыльных ящиков, пока ничего лучшего достать не удалось. Для меня такой финал поисков был сущим огорчением — намерения мои не могли быть выполнены.

Когда я уже приступил к изготовлению аптечного стола по эскизу Ильи Парамоныча, пришел в аптеку завхоз больницы Борисенков. По его манере обращения, а еще явственней — голосу я сразу уловил, что это был он, но зайти туда, к Парамонычу, я не счел удобным, надеялся, что Борисенков не может не заглянуть, поинтересоваться, как я здесь устроился. И я не ошибся.

— Ну вот, совсем по-человечески! — и, подав руку, еще посмотрел туда-сюда, присел на ящик, помолчал. — Иван Трифонович! Скажи мне: слышал ли, что Чукотка богата мамонтовой костью? И что здесь славятся резьбой по кости чукотские умельцы? Не рискнешь ли ты перейти на этот редчайший материал, который попадает по трассе целыми бивнями? Метра по два длиной и по толщине — во! — показал, сводя кисти рук с просветом чуть ли не с бревно.

Не помню, пытался ли я оправдать мою приверженность к дереву, но было досадно, что самостоятельно к этой мысли не пришел. "Черт возьми!" — промелькнуло в голове. — Не однажды читал о холмогорских косторезах, что-то было известно и о чукотских (поселок Уэлен), но вот воспринималось это как нечто для тебя недоступное. Теперь же, когда мне подсказали, что я сразу же подумал, что никакой особой сложности работа с таким исходным материалом, как кость мамонта, для меня представлять не может. Ну сколько-то потверже, потребуется подобрать соответствующий режущий инструмент, и только.

С того самого дня, как я услышал от завхоза о мамонтовой кости, я загорелся желанием иметь ее, взять в руки и попробовать резцом, отдать всю свою увлеченность этому интересному делу, этому диковинному материалу. И в тот момент я забывал о том, что

нахожусь в заключении, что имею десять лет срока. Я не мог не просить завхоза, который, кстати, имел вольное хождение в данном поселке Иультин, чтобы он, опираясь на старого зэка-аптекаря, занялся изыском мамонтовой кости. Он заверил, что большой трудности это не составит, так как сам видел, что его слесаря использовали эту кость как дерево: кто на ручки для напильников, кто на трубки, мундштуки и на прочие пустяки. Перед самым уходом завхоз вдруг спросил:

— Слушай, Трифоныч! Это правда, что ты брат поэта Александра Твардовского?

— Откуда ты это взял, кто тебе сказал?

— Он! — и качнул головой в сторону Парамоныча.

— Во-первых, он у меня не спрашивал, а во-вторых, я ему о себе, кажется, ничего на этот счет не говорил.

— Но фамилия-то у тебя — Твардовский?

— Ну и что? Мало ли на свете однофамильцев.

— Тогда — извини. Будь здоров!

Этот эпизод, равный одной минуте, затронул притихшую мою боль — сознание сути моей трагедии. Не скажешь; что "жизнь меня не обделила, своим добром не обошла", потому что "не обошла тридцатым годом. И сорок первым. И иным"...

Я старался не признаваться, что являюсь братом Александра Твардовского, чтобы не давать повода кому бы то ни было подумать, что я на этой почве ищу к себе внимания или сочувствия. Я должен был сам «заработать» внимание и достойное обо мне мнение. И это, кажется, мне удалось в полной мере. Скрывать ото всех, что я действительно сын Трифона Гордеевича Твардовского, было невозможно — записано в деле, а стало быть, и в формуляре, но чтобы кому-то без особой причины самому о себе рассказывать — считал непозволительным.

Под крышей аптеки, возле авторитетного на Чукотке тех дней зэка Ильи Парамоныча, мне пришлось побыть месяца три-четыре. Месяца полтора возился с тем аптечным столом с множеством дверок, ящиков и полок; изготовил шкаф для платья по просьбе начальника санотдела, в который вложил все свое умение и изобретательность, делал кое-что из мелочи — шкатулки, портсигары, курительные трубки и всякую прочую чепуху из дерева. И еще, что было для меня особо важным, я хорошо изучил материал как таковой — мамонтовую кость и выполнил просьбу начальника санотдела — сделал из этой кости вещицу на память. Она представляла собой небольшую шкатулочку со съемной плоской крышкой, на которой была закреплена изваянная оленья упряжка. Это была моя первая работа из кости. Впоследствии, за четыре года и семь месяцев пребывания на Чукотке, мной было изготовлено разных изделий из мамонтовой и моржовой кости не менее сотни. Но это было, как я сказал, уже не под крышей аптеки.

Напомню, что аптека, как и лагерная больница, находилась хотя и не в зоне самого отдельного лагерного пункта (ОЛП), в поселке Эгвекинот, но совсем рядом, в каких-нибудь ста метрах от зоны. Значит, рано или поздно лагерное начальство узнает, что в аптеке содержится под видом больного искусный мастер-зэк, который выполняет разные вещицы по заданию начальника санотдела. Короче, меня находят и забирают в зону. Я попадаю в бригаду разнорабочих-строителей и два дня ношу носилки. Положение круто изменилось: в бараке-землянке из двух секций более ста заключенных, наполовину из уголовников. Разводы, проверки по принципу "Вылетай без последнего!" Последний непременно получит от помощника бригадира «шутильником» по горбу, так что последним быть очень невыгодно.

На разводе бригады подходят строем по четыре к вахте. Нарядчик считает: раз, два, три... При этом непременно крайнего из каждой четверки ударяет по спине — кого слегка, а кого со злостью, и "от души". Я для нарядчика новый, иду в шестой шеренге крайним слева. Решаюсь дать сдачи, быстро освобождаю правую руку (был кусок хлеба). И вот — получаю по хребту и... нарядчик тут же «схватывает» мою плюху "на память". Происходит замешательство, меня выдергивают, заводят на вахту, дают под ребра и отправляют в карцер, который на лагерном жаргоне называется "перд...ник". В той неотопливаемой будке я пробыл часа полтора. Приводят в кабинет начальника ОЛП Гутенко. Я вижу его впервые: лет тридцати, в форме старшины МГБ, блондин. Спокойно и незлобно смотрит на меня, сидя за столом. Уточняет: "Заключенный Твардовский?" — "Так точно, гражданин начальник!" — "Имя-отчество?" Называю. "Расскажите, за что посажены в карцер?" Передаю подробно, как было. "Да-а, я не оправдываю нарядчика, его поведение недостойно и заслуживает порицания. Но о его грубости вам следовало заявить письменно на мое имя, а не устраивать..." Он не договорил, снял трубку телефона: — Бригадир хозбригады ко мне! — Немного помолчав, спросил: — Чем вы занимались в аптеке? — "Конечно, не приготовлением лекарств, работал за верстаком, поскольку кое-что умею делать". Входит бригадир хозбригады: "По вашему приказанию..."

— У тебя, Тимошенко, сколько сейчас в бригаде?

— Четыре человека, гражданин начальник!

— Вот мастера посылаю тебе. Пусть работает у верстака. Понял? Все!

— Ясно, гражданин начальник!

Я не думал, что бригадир Тимошенко было все ясно, но мне было понятно, что начальник ОЛП отыскал меня с прицелом и что у него определенно есть дело для меня. Об этом я мог судить по обстановке самого кабинета: простенький стол, нет письменного прибора, шинель висела на гвозде, стулья самые простые, жесткие. И обошелся он со мной без раздражений.

И вот я в столярке. Но Боже мой, что же это за мастерская! Назвать то убогое помещение мастерской никак нельзя. Да и верстака там не было. Были две доски на козлах. Кто-то, может, что-нибудь строил на них, но это же только смех и грех, а не столярка. Да и инструмента там не было ровным счетом никакого. Но подумал: мне ли печалиться? Если начальник ОЛП человек серьезный, то он поймет и все можно будет сделать как подобает. Помещение, правда, очень лагерное, то есть не построено, а устроено в углу, продуваемого всеми ветрами сарая, впритык к угловым стенкам. Имелось окно, и это было хорошо. Так день прошел как бы не без пользы — я мог бы рассказать и объяснить начальнику ОЛП обо всем, чего пока не было на предложенном мне месте. Бригадир сказал, чтобы он доложил начальнику о моих впечатлениях, чтобы тот вызвал меня для беседы.

Начальник ОЛП встретил меня как старого знакомого.

— Ну что там, Твардовский, напугало тебя? — начал он после моего приветствия. — Чем я могу помочь, чтобы ты смастерил кое-что хорошее?

— Простите, но я, во-первых, еще не знаю, что конкретно может интересовать гражданина начальника.

— Мг... Ну, хорошо! Ты ведь, думаю, сам можешь догадаться. Ну вот смотри, что у меня в кабинете есть такое, что ты посчитал бы нужным заменить, дополнить?

— Это я могу назвать не задумываясь, — ответил я.

— Ну, пожалуйста!

— Нужно заменить стол, за которым вы сидите — это раз. На столе должен быть приличный письменный прибор — это два. Для одежды нужно иметь оригинальную вешалку — это три. Хорошие полки для книг, журналов, несколько добротных стульев, еще кое-какие мелочи — скульптурные миниатюры. Это, в общем, большая работа. Вы согласны с моим мнением?

— Конечно, очень согласен! — Он про себя, было видно, удивился и обронил: — Ну и Твардовский...

Я сказал ему, что из ничего ничего сделать нельзя, даже будучи мастером на все руки, что нужен материал и инструмент. Но пока нет ни того, ни другого.

— А что вам нужно? — Он спросил уже на "вы".

Я перечислил: сухой пиломатериал, столярная плита или добротная многослойная березовая фанера, столярный клей, шлифовальная шкурка разных номеров, лак целлюлозный, политура шеллачная, эбонит (пластик), кость мамонтовая, отапливаемое рабочее место.

На наших складах, в Чукотстрое, все это должно быть, и я надеюсь, что оно у нас будет. Я лично займусь этим вопросом.

Поступить как-то иначе, например, постесняться сказать начальнику о том, что мне надо для работы, означало бы оказаться в глупом положении, взвалить на себя несвойственную задачу. Случаи такие мне были известны, когда начальство знать ничего не желает, а подчиненный якобы обязан "проявить смекалку", изыскать, выйти из положения. На такое я не собирался идти. Помимо всего я должен был дать понять, что цену себе знаю.

Мой психологический расчет оправдывался: заинтриговать начальника мне удалось, и можно было догадаться, что ему снился воображаемый кабинет, где сидел он за полированным двухтумбовым письменным столом, на котором был уникальный письменный прибор. Его охватило нетерпеливое желание иметь такое в действительности.

Примерно так я мог подумать, когда услышал от бригадира, что двух его рабочих увезли грузить пиломатериал и что отправил их сам начальник. А это значит, есть надежда, что дела мои не ухудшатся. Поднималось настроение, я размышлял так: если мои расчеты на выживаемость опираются только на свой личный труд и умение и ни на что другое, — упрекнуть меня никто не вправе. Мне не было легко в столь примитивных условиях, с довольно тощим желудком, и не считаясь со временем выжимать из себя все силы, доказывать, что горшки обжигают не боги, а мастера. Это решило мою судьбу — я выдержал чукотские лагеря. Мое пристрастие к утонченному мастерству натолкнуло меня на мысль изготовить из мамонтовой кости ажурный браслет для наручных часов. Браслет состоял из десятка отдельных шарнирно соединенных звеньев. В каждом звене четко просматривалось изображение фигурок из северной фауны (белый медведь, песец, снежный баран, олень, морж и так далее). Изготовлен он был урывками между основной работой, для обмена на съестное. Так, без преднамеренной саморекламы слухи о моих необычных изделиях и моем мастерстве расходились сами собой, а просьб и предложений ко мне становилось все больше. Ведь рядом, а порой совместно или под началом вольнонаемных, заключенные работали на строительстве, в автобазе, в механических мастерских, других производственных объектах.

В 1948 году в поселке Эгвекинот, у залива Креста, в расположении автохозяйства был построен небольшой литейный цех цветного и чугунного фасонного литья. Теперь образовался блок горячих цехов, в который вошли кузнечный, термический, сварочный и собственно литейный. Начальником этого блока был прибывший из Магадана Юровский Леонид Борисович. Именно он занимался подготовкой к пуску литейного цеха. Потребовались рабочие литейного производства: вагранщики, формовщики, стерженщики, модельщик. Найти такие профессии нужно было конечно же среди заключенных. И такие люди нашлись, за



исключением модельщика. Дело в том, что модельщик, являясь высококвалифицированным столяром, должен еще владеть и токарным делом, отлично знать формовку, предвидеть и решить, как правильно заформовать ту или иную модель, чтобы в отливке получилась нужная деталь, а не копия модели по ее внешней форме. Деталь ведь очень часто должна иметь внутреннюю полость, которой у модели нет. В этом и сложность: нужно знать, как получить ее в отливке. Значит, нужно модельщику помимо модели знать, как изготовить стержневой ящик (так называется деревянная форма для изготовления вкладышей, тоже из формовочного состава, но особо обогащенного). И много других вопросов в литейном производстве, которые модельщику нужно знать. В общем, кажется, ясно, что модельщик — профессия серьезная.

Ко мне в лагерную мастерскую заявился сам Юровский. Я увидел его впервые. Вошел он быстро и смело, в приподнятом настроении, этакий круглый, кряжистый, свежий и ухоженный человек средних лет восточного облика, в кожаном пальто и начищенных до глянца сапогах. Он разительно выделялся среди заключенных, согбленных и замордованных рабским трудом и недоеданием. К таким, как Юровский, вольготно устроившимся в качестве ведущих и направляющих движение к светлому будущему, заключенные относились с затаенной желчной ненавистью просто за их принадлежность к элитарной челяди. Припоминаю, что по отношению к Юровскому во мне такому чувству места не нашлось. Улыбаясь, он подал мне руку, говоря, что сомнений у него нет, что видит Твардовского, что наслышан предостаточно, и тут же, поглядывая на законченные мною работы, заметил:

— Да-а! Слухи не напрасны. Вы, Иван Трифонович, действительно человек дела! Кроме как «отлично», ничего не скажу. — Он коснулся рукой зеркальной поверхности письменного стола, повторил: — Да-а! И — это? И — это? — Обращая внимание на другие изделия, он выражал похвалу и восхищение. — Ну вот какое дело, Иван Трифонович, извините, не буду любопытствовать о том, что не относится к делу. Я — начальник блока горячих цехов Чукотстроя.

Сейчас я озабочен тем, что для литейного цеха, который скоро должен быть пущен в производство, нет модельщика. Мне сказали, что вы знакомы с этим делом. Это так, Иван Трифонович?

Я ответил, что это действительно так, что приходилось работать по этой части.

— Что я могу слышать на мое предложение быть модельщиком во вновь открываемом литейном цехе? Конечно, — добавил он, — в отдельном помещении, где никто вам не будет мешать и где вы будете иметь самое доброе от меня внимание.

Конечно, я был заинтересован иметь постоянное место работы и тем самым избавиться от возможных угроз оказаться на общих работах, от чего в лагере никто не застрахован. Я дал согласие.

Юровский повел меня в блок горячих цехов. Вошли в комнату рядом с формовочным плацем. Это была совершенно пустая комната примерно в двадцать квадратных метров с безобразно выложенными стенами из дикого камня — неоштукатуренные, серые, с потеками и наплывами из цементного раствора. В окнах были железные решетки; был пол, слава Богу, дощатый.

— Вот, Иван Трифонович, здесь и будет ваше рабочее место, — сказал Леонид Борисович, кряхтя и покашливая. — Начинайте обзаводиться всем тем, что нужно. Учитесь нечему, чем могу — помогу, а вообще — соображайте сами, — закончил он и с тем оставил меня.

Пришлось начинать и соображать. Слышать мне уже случалось, что в лагерях не принято спрашивать: "А где мне взять металл, инструмент?" Если назвался мастером — соображай

сам, а иначе ты вообще никакой не мастер.

Такое начало не было для меня чем-то новым и непредвиденным. Я хорошо понимал, что организовать и наладить рабочее место модельщика я должен сам, ни на кого не надеясь, и это для меня было приятной и кое в чем обнадеживающей задачей. Во-первых, по счастливой случайности на Чукотке, где многие не выдержали и одного года и гибли от холода, голода и жестокого обращения, мне предоставили работу в помещении и по специальности, где я мог чувствовать себя вне опасности, потому что претендентов на эту работу в Чукотлаге не оказалось. Во-вторых, исключалась зависимость от всякого рода повелителей. Здесь никто не мог подгонять, требовать, судить о затрате труда. И в-третьих, я мог рассчитывать, что смогу заниматься кое-чем для души, точнее, по призванию, и, может, кое-что зарабатывать. Все такое я предвидел и верил, что так оно и будет. И вот, воодушевленный мечтою, я приступил к делу, к оснащению рабочего места. У меня появился верстак. Потом занялся устройством, на котором можно было при помощи передачи от ножной педали и кривошипа вытачивать некоторые мелкие детали. Конечно, это не то, что требовалось, но для начала и это был выход из положения. Несколько позже я подружился с ээками Машаровым и Бондаревским, и с их помощью соорудил добротный токарный станок по дереву, с электромотором, со шпинделем на шариковых подшипниках и планшайбой для крепления заготовок. В общем, дело у меня пошло, и таких случаев, когда я не сумел бы изготовить требующуюся модель, не было. Чтобы представить о том, какой сложности приходилось изготавливать модели, для сведущих читателей назову, например, модель головки блока двигателя автомобиля, кожух маховика трактора С-80, коробку скоростей, коллектор автомашины, различные шестерни, матрицы. Одной из самых сложных моих работ по изготовлению моделей для литья была модель головки блока американского двигателя системы «Болиндер». Ее пришлось выполнять по образцу, для чего потребовалось разрезать образец на строгальном станке «Шепинг», чтобы можно было видеть внутреннюю полость (водяную рубашку) и толщину тела самой отливки. Да, работу эту я выполнил, но все же сомневался, что выполнена она идеально: доступ для обзора внутренней полости был ограничен, но, на мое счастье, отлитая деталь после механической доработки оказалась вполне удачной. Наряд на эту работу нормировал сам главный инженер ЦАРМ Швырков и оценил ее в пятьсот рублей. Меня поздравляли как сотворившего чудо.

Да, как бы кто ни думал, читая эти невыдуманные строки, но мне остается напомнить, что сравнительно с общим положением заключенных, оказавшихся на Чукотке, мне многое не пришлось испытать. Я не хитрил, никого не просил и не искал легких и удобных мест, не учинил чего-либо бесчестного по отношению к кому бы то ни было. Мне, видимо, просто повезло. Я этим дорожил. И если это было, как говорят, везение, то оно не происходило без причин: я любил труд и многое умел мастерски делать.

Итак, судьба была милостивой ко мне: заканчивался год моего пребывания в Чукотлаге, но мне не пришлось за это время испытать тяжесть "черных камней". Я взял эти слова в кавычки лишь в связи с тем, что так названа книга Анатолия Жигулина о колымских лагерях, где ему довелось в качестве "врага народа" работать на рудниках. Но на Чукотке тоже были черные камни (без кавычек). Ради их добычи и был создан в 1946 году Чукотлаг на берегу залива Креста. Само месторождение тяжелого черного минерала было за Полярным кругом, в двухстах восьмидесяти километрах к северо-западу от залива. Поэтому от лагеря и от поселка Эгвекинот было начато строительство автотрассы в глубь материка, к месторождению под названием «Иультин». Как жили, как начинали строить первое жилье — палатки, землянки, домики для начальства — в условиях наступившей чукотской зимы, — можно только содрогаться от представлений, которые складывались из рассказов тех, кто остался в живых. Многие нашли вечный покой на взгорке второго километра. Это не было кладбищем в обычном понятии — могилы, надгробия. Умерших заключенных сваливали в загодя вырытую бульдозером траншею, как павших животных. Сколько их было, погибших от нечеловеческих условий жизни, никто точно сказать не мог. Но называли, что за первый год

пребывания на Чукотке от тысячи двухсот зэков осталось немногим более семисот. Вот так это было, было.

Многое мне стало более понятным о Чукотстрое и Чукотлаге с того момента, как я был переведен в бригаду специалистов, где бригадиром был зэк — инженер-конструктор Ханжиев. Это означало, что я должен был стать модельщиком. Я оказался в единственном числе по этой специальности, и оформил этот перевод Юровский. Все складывалось в выгодном для меня свете. Я сдержал слово, данное начальнику ОЛП: в его кабинете стояли моей работы письменный стол, книжные полки, вешалка, стулья и уникальный письменный прибор (тогда еще не было шариковых ручек — писали чернилами ручкой с пером), чему он, начальник, был, конечно, рад и отпустил меня с Богом, что было немаловажно на всякий случай.

Бригада Ханжиева — это всех профилей металлисты, а также механики, сменные мастера, электрики, вулканизаторы, ремонтники, техники, а теперь еще и все те, кто переведен для работы в литейном цеху, — формовщики, вагранщик, стерженщик и я — модельщик. Здесь была совсем иная атмосфера во взаимоотношениях заключенных, поскольку каждый знал свое место, старался вести себя достойно, показать себя не случайным в бригаде специалистов. Нам же, вновь вошедшим в эту бригаду литейщикам, предстояло запускать и осваивать литейный цех, то есть начинать с нуля и показать, что каждый из нас собой представляет и чего стоит. Одно дело прийти на готовое, где порой не каждый даже знает, как оно было организовано и налажено, и совсем другое, когда ты все должен начать сам.

Здание литейного цеха было построено, но цех не был подготовлен к тому, чтобы производить литье. Это было сложенное из местного камня-известняка типовое здание по проекту на одну вагранку объемом 0,6 метра по внутреннему диаметру. Металлический корпус вагранки стоял без футеровки. Нужно было завозить огнеупорный кирпич, глину, кокс, формовочный песок, шихту (чугунный лом), пиломатериал для изготовления опок и моделей, всякие необходимые мелочи для приготовления формовочных смесей (декстрин, растительное масло и так далее). Но тут же, при встрече с Юровским и его заместителем из зэков инженером-металлургом Невядомским, выяснилось, что о многом необходимом для литейного цеха эти руководители имели весьма отдаленное представление и уповали на то, что им подскажут подчиненные, в данном случае зэки рабочих профессий. И, пожалуй, вряд ли можно удивляться, что инженер-металлург, до ареста руководивший крупным металлургическим заводом, не знал, как готовится формовочная смесь, какие связующие нужно добавить к песку и каким должен быть песок для этих целей. Настоящему формовщику все это до тонкости известно, и он даже был рад случаю оказать помощь в подборе этих материалов, что и сделал формовщик Зенец Макар Анисимович, заключенный из сибирского города Рубцовска.

Вагранщик Алексей Алисов (а среди зэков — Леха) уточнил, что для футеровки печи нужен шамотный кирпич, сырая шамотная глина «белюга» и порошок из обожженной шамотной глины. Ну, само собой, я так же мог подсказать, что нужно из пиломатериалов.

Прежде чем была произведена первая плавка, которую очень ждали руководители Чукотстроя полковник Ленков и другие, прошло не менее месяца. Нужно было произвести футеровку, изыскать пригодный для формовки песок, завезти пиломатериал для изготовления деревянных опок и моделей, обустроить модельное отделение (верстак, стеллажи), смонтировать вентилятор подачи воздуха в фурмы вагранки. Работ набиралось, не говоря уж о том, что приготовление формовочной массы и сама формовка, а также изготовление моделей само собой не могло появиться, все это нужно было сделать нашими руками, без какой-либо технической помощи со стороны руководства. Но мы, зэки, были довольны, что возле нас нет конвоя и что готовим себе рабочие места, как люди, знающие дело, как на производстве, где будем плавить металл, отливать нужные детали. Так и шло время: утром нас приводили в производственную зону, потом уводили на обед в лагерь, снова — на производство и вечером — на отдых, опять в лагерь. К чему только не привыкает

человек!

Бывали случаи, что, услышав мою фамилию, какой-нибудь зэк постарается встать в шеренгу рядом, чтобы выяснить: "Не довожусь ли?" или: "Ух! Фамилия-то какая! С Теркиным, небось, встречался?" Нет, особой беды в этом я не видел. Почему не пошутить, не посмеяться людям в неволе? А однажды, тоже на такой «прогулке» — шли на работу, — как-то не получилось отмолчаться или уклониться от вопроса: "Правда ли?.." Я с досадой ответил вопросом: "У тебя только один вопрос или будут еще?" — "Только... да, один!" — "Правда!" Мне претило вступать в контакт с людьми, которые начинали с вопроса: "Правда ли, что я брат известного поэта?" Я считал, что у таких людей ничего нет, кроме желания удовлетворить свое любопытство — лично узнать от первоисточника. Если им удастся получить ответ на первый вопрос, то последует второй, потом — третий. И если не оборвать, то цепочка вопросов будет тянуться все дальше. И я не раз вспоминал аптекаря Илью Парамоныча, который так и не спросил прямо — посчитал бестактным, а лишь стороной, напомнил вопросом: "Как вы думаете, почему начальник санотдела так хотел иметь сувенир вашей работы?" Я тогда понял, к чему был такой вопрос, но предпочел не коснуться имени брата — уклонился, как бы не разгадав замысел.

Моей первой работой в качестве модельщика было изготовление модели кокиля для отливки тракторных катков, по которым движется тракторная гусеничная цепь (гусеница). Кокиль — толстостенная чугунная форма для отливки чистых, точных, не требующих механической обработки деталей. Модель была выполнена мной по чертежу и принята с оценкой «хорошо». Мне пожал руку инженер-конструктор, и этого было достаточно, чтобы оправдать звание модельщика. И хотя я не сомневался в своих силах, но все же мне, заключенному, было по душе признание де-факто. В эти дни, когда было уже закончено футерование вагранки и вагранщик Алисов держал ее на прогреве, когда периодически включался вентилятор подачи воздуха в фурмы, цех наполнялся производственным гулом и особым, слегка курным запахом. Алисов предстал возле плавильной печи в позе умудренного опытом доктора, вслушивающегося в звуки невидимого процесса горения. Ничего наигранного в этом не было: он был здесь главным литейщиком, был озабочен, может, полностью забывая, что вечером поведут его под конвоем в зону лагеря. Но то — вечером. А днем... на таком серьезном деле — он не заключенный, с ним беседует сам Швырков — главный инженер всего производственного участка, который обычно уничижительно недоступен, высокомерно горд. Внешне он выделяюще щеголеват — опрятен, строен, даже красив и по-мужски наряден. И надо понять душу замордованного, выветренного жгучими ветрами зэка, как много значило для него беглое «великодушие» — минутное внимание столь приметного чина, если даже начальник блока горячих цехов Леонид Борисович Юровский из кожи лез и усердно, с рвением старался показать все, что было подготовлено к пуску литейного цеха.

— Так можно, Леонид Борисович, рассчитывать, что завтра испытаем вагранку? Формы будут готовы, чтобы, в случае чего, не выливать металл на песок?

— Думаю, что можно, товарищ главный инженер, — отвечал Юровский.

— Гм... Думать не надо! Надо знать! Алисова сюда! Торопливо подходит вагранщик Алисов:

— Я слушаю вас, гражданин главный инженер!

— Ну-ка, скажи, Алисов, будем завтра плавить металл?

— Я готов, гражданин главный инженер! Металл могу завтра дать в четыре часа!

— Вот это мне ясно! Молодец! Если все будет, как сказал, получишь денежную премию.

Подходит к формовщику Макару Зенцу, который тоже, с учетом обстановки, стоя на коленках и будучи полностью поглощенным работой, набивает опоку формовочной смесью.

— Как тебя, имя, отчество? — спрашивает формовщика. Тот быстро вскакивает:

— Макар Анисимович Зенец!

— Макар, это что же? Макар попал туда, куда телят не гонял? — смеется и посматривает на присутствующих, которые рады случаю — тоже прыскают от смеха. — Завтра, Макар, будет металл, формы будут?

— Формы, гражданин начальник, уже есть! Вот: раз! два! Вот, сейчас будет третья готова. Завтра еще подготовлю! За формами дело не станет.

Главный инженер Швырков уходит, пожелав добра до завтра.

Швырков был из тех колымских руководителей, которые хорошо знали, на каком языке разговаривать с тем или иным заключенным. Высшего технического образования он не имел, а потому вынужден был подходить к специалисту-заключенному с осторожностью. Если замечал, что можно какой-то вопрос решить за счет поручения его заключенному, то делал это с оговоркой, что, мол, доверяет и надеется на успех. В таких случаях он мог показать известную долю великодушия, если это могло пойти в его пользу. Возле себя он всегда держал таких заключенных, как инженера-эзка Ханжиева, бригадира специалистов, через которого и узнавал, кто чего стоит. И так было всегда.

Поселок Эгвекино в те годы был главной ремонтной базой всех видов транспортных средств и строительной техники. Здесь были Центральные авторемонтные мастерские (ЦАРМ), автобаза, склады всевозможных материалов. И здесь же, на месте, находились высококвалифицированные специалисты — рядом был ОЛП № 1. Заключенные понимали, что работать в мастерских по специальности — шанс выжить, чего не было на общих работах, где-нибудь на трассе, под открытым небом, и в дождь, и в метель. И каждому эзку было понятно, что на общих — власть тех, у кого кредо: "Ты умри сегодня, а я — завтра". Отсюда и вывод: если удалось попасть на работу по специальности, в мастерскую, в цех, то держаться за такое место нужно обеими руками и вкладывать все свои силы и умение, потому как иных средств, чтобы выжить у тебя нет. Это и есть доказательство того, что и раба можно заставить работать на пределе его возможностей.

Литейный цех на Чукотке был крайне необходим прежде всего потому, что этот участок отдален от центра на тысячи и тысячи километров, а климатические условия ставили особые препятствия и задачи. Случалось: пурга, снежная стихия, автотранспорт парализован, снабжение отдаленных стройучастков прекратилось, где-то ждут продовольствия, но доставить его нет возможностей. Единственное, что в таких случаях может помочь разрешить вопрос, — это пробивать снежные завалы тракторами и бульдозерами. Но эти машины, как назло, из-за поломки каких-то несложных деталей (а запасных не оказалось на складах) стоят недвижимыми. И чего бы проще — отлить эти детали на месте, в собственном литейном цехе. Да нет, цеха такого не было. Поэтому пуск литейного цеха был первоочередной задачей. Этого дня ждали, надеялись на эзков. "Они все могут..."

Леха Алисов, вагранщик, помнил и беспокоился, что слово он дал самому главному инженеру Швыркову. И день этот наступил, и слово свое Алисов, конечно же, хотел сдержать: "К шестнадцати ноль-ноль должен дать плавку". Между тем по производственным участкам уже разошлась весть о том, что вагранка задута и металл будет дан к шестнадцати ноль-ноль. А в пятнадцать из ЦАРМа пришли Ханжиев, сменный мастер Александр Андреевич Машаров, кто-то третий из слесарей. Это, конечно, эзки, но из тех, кто на особом положении — ответственные за ремонты. Поинтересовались о формах: "Что заформовано?" Зенец, формовщик, ответил, что — кокиль, в котором будут отливаться тракторные катки. Сменный мастер Машаров отозвался одобрительно. Он в курсе того, что кокильное литье обеспечивает самоцементацию рабочей поверхности, что очень важно для тракторного катка.

Он же заинтересовался моделью предстоящей отливки, что, как я понял, было предложением познакомиться с модельщиком. Вместе с ним мы вышли в модельное отделение, которое на тот момент выглядело еще очень непривлекательно, примитивно и бедно. Это я понимал и сам, но моя работа только начиналась, и мне еще некогда было толком обосноваться. Начало для знакомства с Машаровым, однако, было положено. Александр Андреевич пообещал помочь мне оборудовать мастерскую. Мой примитивный токарный станок с передачей от ножной педали он тут же посоветовал заменить:

— Я набросаю эскизы тех элементов — узловых частей, которые нужно будет получить в литье: тумбу прежде всего, где будет электромотор и передняя бабка...

Он не договорил. Мы услышали голос Швыркова: "Начальство прибыло". Поспешили посмотреть, что происходит в цехе, на плацу, у вагранки.

Момент как раз был самый интересный: ковш грели под форсункой, в цехе было человек до тридцати, желавших понаблюдать, как будет получен жидкий металл. Из начальства были Швырков, Графов — главный механик Чукотстроя. Люди тихо обменивались суждениями, особо не приближаясь к вагранке. И только Швырков подошел было к ней. Но когда Алисов крикнул: "Макар! Ковш под желоб!" и жестом дал понять Швыркову, что так близко стоять нельзя, Швырков попятился, а тем временем Макар Зенец со своим напарником Володей Степко поднесли на рогаче ковш под желоб. Алисов начал открывать острым ломиком лётку. Все притихли. И вот мелькнула окутанная светящимся газом струйка металла и тут же весомой звучащей лентой пробежала прямо в желоб. Тишина огласилась вскриками: "Есть, есть металл! Ура! Свой, чукотский!" Захлопали в ладоши.

Металла в вагранке было больше, чем можно было принять в ковш для разливки вручную при помощи рогача, — только килограммов восемьдесят — девяносто, не более. Пришлось перекрывать струю, что Алисов и сделал специальным инструментом, на конец которого насаживается глиняная пробка. Макар с Володей, взявшись за рукоятки рогача, осторожно приподняли ковш и медленно понесли к формам. Нет, это тоже очень непростое дело — держать на руках такой груз; ковш с жидким металлом надо уметь наклонить над литником, чтобы струя точно попала в отверстие формы, не прервалась, не захлестнулась. Для этой работы тоже нужен опыт, практика, чтобы жидкий металл стал отлитой деталью. Но Макар, как казалось, затаив само дыхание, удерживал ровную струю, пока заполнялась форма и металл показался в выпоре {12}. Только после этого он вздохнул, затем перешел к следующей форме.

Произошло это, назову так — событие, в октябре 1948 года.

Почему я так подробно пишу об этом «событии»? Видимо, только потому, что считал счастьем, что оказался нужным как модельщик, что не был одинок — имел хороших друзей. После отбытия срока на Чукотке я и по сей день сохранил с некоторыми из них самые добрые, дружеские отношения. Хочу сказать еще несколько слов об этих людях.

Александр Андреевич Машаров. Родился в 1925 году. Инженер-конструктор. Ныне живет и здравствует в Мариуполе. Родом из Абакана. Был осужден по статье 58

10 в 1942 году, 22 апреля, когда учился на первом курсе Абаканского пединститута.

Иван Сидорович Бондаревский. По возрасту — мой сверстник, 1914 года рождения. Украинец, родом из селения Дергачи, что в пригороде Харькова. Был осужден, как и Машаров, по статье 58

10 к семи годам. Участник Великой Отечественной, награжден несколькими орденами и медалями. Реабилитирован в 1956 году.

Этих двух зэков судьба свела на Чукотке. Здесь они стали неразлучными друзьями. Машаров, прежде чем оказаться на этой холодной земле, уже около пяти лет был в заключении и прошел несколько тюрем и лагерей: в Абакане, Минусинске, Красноярске и еще в каких-то других местах, следуя все дальше на восток. За это время он порядком освоил лагерную стихию. Машаров имел пристрастное отношение к металлообработке, в заключении был и сварщиком, и токарем, и фрезеровщиком, хорошо изучил металлообрабатывающие станки. Его как специалиста этапировали на Чукотку осенью 1946 года. Как рассказывал сам Машаров, ему удалось попасть на глаза представителю Чукотстроя Степану Ивановичу Графову, который подбирал нужных ему специалистов из заключенных пересыльного лагеря в Находке. Задавались профессиональные вопросы, и Машаров показал себя компетентным — ответил, как говорят, технически грамотно. Этому нельзя не верить, так как действительно Машаров, несмотря на всякого рода трудности, не расставался с мечтой стать настоящим инженером-конструктором и доказал это делом после освобождения: стал лауреатом Государственной премии, работая на Мариупольском металлургическом заводе.

Но вернемся к дням моего пребывания в Чукотлаге.

После той моей первой встречи и беглого знакомства с Машаровым, в день пуска литейного цеха, он стал бывать у меня в мастерской каждый Божий день, а иногда и два раза на день. Но как-то так получалось, что его посещения не только не были неприятными, но совсем наоборот — они приносили как бы просветленность настроения, помогали обрести веру в будущее, в то, что могут еще быть и радость, и место в свободном обществе.

Здесь же я должен пояснить, что так вот, находясь на работе, свободно и ни у кого не спрашиваясь, пойти куда-то в другой цех, как мог это делать Машаров, позволительно было немногим, но все же в производственных мастерских заключенные находились без охраны, и все свободно ходили по территории. В общем же это каких-нибудь пять процентов от общего числа заключенных, да и не все же специалисты были удостоены внимания — кого-то администрация совсем не замечала, к кому-то благоволила.

С Иваном Сидоровичем Бондаревским, другом Машарова, я познакомился несколько позже, но он еще больше, чем Машаров, стал близок для меня, когда я услышал подробности о чрезвычайно тяжких днях его жизни. Его обвинили и осудили по сфабрикованным компрометациям. Попал он в жесточайшие условия и был доведен до крайней степени дистрофии — жизнь была на самой грани, когда уже не оставалось надежды. Но случилось так, что, кроме него, никто не знал и не умел отрегулировать какие-то пришедшие на Чукотку весы. Вот тогда-то и нашли его, единственного, кто знал, как решить этот вопрос — смонтировать и отрегулировать. Но он был так слаб, что вынуждены были призвать врачей, чтобы любыми средствами поставить его на ноги. Далось это не сразу, да и перестарались — организм не принимал пищу, больной терял сознание, дышал на инъекциях; но в конечном итоге все же поправился. Вот тогда и началась погода ясная для Ивана Сидоровича. Весы собраны, отрегулированы и испытаны. Его работе, "хоть — не хочь", была дана самая высокая оценка.

— Ну, хорошо, — сказали в управлении, — а кроме весов что может делать Бондаревский? Может, его направить к Графову в ЦАРМ?

— Могу выполнять любые слесарные работы, — ответил Иван Сидорович.

Вот так он и оказался в ЦАРМе — в Центральных авторемонтных мастерских, где мастером смены был зэк Машаров.

И, кстати, несколько слов о начальнике ЦАРМа, Степане Ивановиче Графове. По огромной Колыме он прошел в должности начальника механических мастерских, которые были во многих колымских лагерях, конечно, как член коммунистической партии. Это был человек

очень маленького роста, шустрый и остроумный, часто на «подогреве», свыкшийся с лагерной системой, где всегда имелся выбор нужных ему работников. Жестоким его никак нельзя было назвать, хороших специалистов он уважал и гордым не был. Ну, пожалуй, к этому нечего и добавить.

Так вот этот Графов обратился к зэку Бондаревскому:

— А коническую шестерню (по-рабочему — хвостовик) возьмешься изготовить вручную?

— Нет, не возьмусь, — ответил Бондаревский.

— Не сможешь? — посмеялся Графов.

— Не хочу переходить дорогу другим, которые могут взяться за эту работу. А вот если таких не найдется — дело другое.

Нужда в этих деталях была острой. Из-за них стояли автомашины. И что-то было объявлено наподобие конкурса: "Не окажется ли среди заключенных такой слесарь, который смог бы изготовить коническую шестерню?"

Такой человек нашелся — бригадир плотницкой бригады Писарев Яков Григорьевич из Новокузнецка. Этого человека я хорошо знал. Он действительно исполнил эту работу, но затратил сорок два часа, то есть почти пять рабочих дней (рабочий день зэка был девять часов).

Бондаревский знал об этом и предложил изготавливать конические шестерни на фрезерном станке с затратой времени не сорок два, а только два часа. Это явилось неслыханным новшеством, что принесло ему абсолютное признание и уважение. Он стал на Чукотке своего рода знаменитым человеком. В дальнейшем он показал себя и гравировщиком, и мастером кисти, и даже музыкантом — играл на трубе.

Тут, как бы к слову, я затронул те далекие истории о конической шестерне. Но дело даже не в этом, а в том, что администрацию Чукотстроя мало заботили всякого рода технические вопросы, так как среди зэков было немало любых мастеров, и можно было просто поручить что-либо заключенным, и все будет сделано наилучшим образом.

Начальник блока горячих цехов Юровский все это хорошо понимал: похаживал, посматривал, посиживал в конторке, старался не мешать рабочим, не совать нос туда, где не был компетентен, относился к зэкам очень мягко и добропорядочно. Был у него и помощник. О нем я уже упоминал — Невядомский, по его словам, осужденный за работу во время оккупации не то в Запорожье, не то в Днепропетровске: по принуждению немцев восстанавливал какой-то завод в качестве инженера-металлурга. За это и был осужден по статье 58

1а на десять лет. Здесь, в маленьком литейном цехе, он не находил удовлетворения, искал новое дело и был переведен на строительство горнообогатительной фабрики, хотел заслужить работой правительственную награду, но, кажется, это осталось лишь мечтой.

В конце 1948 года для многих заключенных пришла очень приятная весть: сверху было дано указание о введении зачетов за рабочие дни. Так, при выполнении дневной нормы выработки до ста пятидесяти одного процента засчитывалось два или даже три дня, в зависимости от условий и вредности работы. Сюда относились шоферы, бульдозеристы, трактористы, кузнецы и ряд других профессий. Литейщики и модельщики тоже проходили по категории "1 день за 3 дня". В общем, радость была велика. Только подумать! Дана возможность отбыть десять лет за три-четыре года! Люди ликовали, обнимались, дух возродился, жизнь как бы озарилась. Радовался и я. И тут-то уже не удержался — отправил письмо жене в Нижний



Тагил, своей великомученице Марии Васильевне. Из следственных материалов я знал, что она все еще жила одна с больным нашим первенцем Валерой.

В это же время, на исходе 1948 года, помимо введения зачетов в лагерных зонах были открыты ларьки, где заключенный мог купить сахар, хлеб, махорку и кое-что другое. Заключенные стали кое-что зарабатывать и получать на руки, были учреждены лицевые счета, на которые зачислялась часть заработка заключенного для дня освобождения. В общем, это было нечто новое в оплате труда эков. Если на таком счету эка накапливалась известная сумма, то он мог снять с нее некую часть по разрешению начальства.

Был такой случай. Ко мне в мастерскую пришел интеллигентный человек из управления Чукотстроя. Он назвал меня не по имени, а просто молодым человеком. Но мне было полных тридцать пять, и я ему об этом сказал.

— Простите, пожалуйста, я знаю, вы — Твардовский. Но я не хотел называть по фамилии, а выглядите вы именно молодым человеком, — попытался он объяснить.

— Кто вы и что вас привело ко мне? — спросил я.

— Я — экономист. Моя фамилия Ширман. У меня к вам просьба.

Он сказал, что хотел бы иметь сувенир моей работы для дамы-именинницы. И чтобы, если это возможно, вещь была из мамонтовой кости. Согласен уплатить, сколько я назову. Главное, чтобы успеть к торжественному дню. И я согласился выполнить его просьбу. Таким образом я прирабатывал. Начальнику производства это было известно, он не запрещал. К назначенному дню я изготовил асимметричной формы пудреницу с фигуркой северного оленя. Мой заказчик пришел точно в назначенный час. Я предупредил, что, если вещь не понравится, в обиде не буду и оставлю ее у себя. Заказчик осмотрел пудреницу и воскликнул:

— Я восхищен! Великолепно! Примите мою признательность.

О том, какие цены я назначал моим заказчикам за выполненные работы, я не скажу, это не суть важно. Главное было в том, что я всегда успевал изготавливать модели, из-за меня формовка и литье не задерживались, нормы выработки, само собой, выполнялись не менее ста пятидесяти одного процента, то есть один день засчитывался за три дня.

О моих как бы не совсем законных работах по частным просьбам и заказам я упомянул с долей смущения, вроде опасаясь суждений читателя, что, мол, "хапуга и в заключении нашел источник дохода". Ну что ж? Каждый волен думать по-своему, не буду доказывать, что это не так. Как бы кому ни казалось, но за работу не грешно получить и оплату. Тем более если она мастерски исполнена заключенным. К тому же резьба по кости не каждому с руки.

Слухи ширились, и я не успевал выполнять просьбы на изготовление сувениров. Я делал из мамонтовой кости и бивней моржа браслеты для наручных часов, различные статуэтки с резным изображением северных сюжетов, скульптурную резьбу на моржовых бивнях, ажурные кольца, пудреницы и миниатюрные шкатулки, медальоны и брелоки, футляры прорезные для наручных часов, стетоскопы и трубки курительные, пуговицы для женских пальто, пряжки к поясным ремням, ручки для письма, чернильные приборы, шпильки для волос и так далее. Все это делалось, повторяю, в свободное от основной работы время с разрешения Юровского, который делал даже заявки и на выходные, чтобы я мог выйти из зоны. Не платили мне за работу только большие начальники (начальник автобазы Тетерюк, начальник райотдела МГВ Корсаков, начальник Чукотлага майор Стеценко, главный инженер Швырков). Непосредственный мой начальник Юровский, в отличие от других, бесплатно мой сувенир не принял, хотя я был намерен не брать с него ни копейки, но он на это не пошел.

Первое письмо от жены я получил осенью 1948 года. Она сообщала, что наша дочурка Тамара умерла в 1943 году в возрасте двух лет. В детских яслях была помещена в изолятор по подозрению на инфекцию. В неотопляемом изоляторе переохладилась, началась пневмония, и это привело ребенка к гибели. О сыне Валерии (в 1948 году ему было девять лет) писала, что хотя он и ходит в школу, но продолжает оставаться больным и надежды на выздоровление нет — водянка мозга неизлечима. Мое письмо, сложенное треугольником и на ходу поезда с зэками выброшенное на какой-то станции в Читинской области в 1947 году, она получила, поняла, что я осужден. Но как бы ни было ей тяжело, писала, что все равно благодарит Бога, что я еще живой. Выражала готовность ждать сколько бы ни было долго. В этом же письме сообщала о встрече с Александром Трифоновичем во время его пребывания в 1948 году в Нижнем Тагиле (кажется, в августе). До этого она с ним не встречалась, но поскольку ему было известно еще до войны, что в Нижнем Тагиле жил и работал брат Иван с женой, а также она обращалась к нему с просьбой во время войны и он откликнулся, то Мария Васильевна решила встретиться с ним. Нашла она его в гостинице "Северный Урал". Он имел с ней краткую беседу, но именно в том духе, чтобы только не выглядеть полным невежей. Живого интереса к встрече не выразил, о брате Иване — уклончиво. Сказал, что "давно с братьями не живу, Ивана мало знаю..." и так далее. Встреча произошла в коридоре гостиницы, в номер не пригласил. И было ясно, что хотел поскорее откланяться. Об этом и вспоминать тяжело. Александр Трифонович в те годы еще не видел и не осознавал суть сталинской диктатуры. Имя Сталина для него было священным, и это он подтвердил в 1949 году "Словом советских писателей", в котором он был соавтором, посвященном вождю в день его 70-летия. Это «Слово» Александр читал в присутствии Сталина на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР 21 декабря 1949 года.

Жена писала мне часто, иногда даже не дожидаясь моего ответа, всегда нежно и сострадательно, не пытаясь обязать меня ответить; за что, на сколько лет, полагая, что мне трудно будет что-либо скрывать, недоговаривать, а может, этим она давала понять, что будет ждать сколько угодно. И дождалась. К моему великому огорчению, сын Валера меня не дождался, умер в 1951 году. Вот такая судьба моя.

Тепло, по-братски, писал мне на Чукотку брат Константин. После восьми лет полной неизвестности о моей судьбе Мария Васильевна сообщила ему мой адрес, и я получил от него письмо. Были в том письме такие строки:

"Мне все, Ваня, понятно, кроме срока. Прошу поверить, что я никогда не посмею упрекнуть тебя. Войну я прошел полностью до самого Берлина. Был тяжело ранен, на излечении находился больше года в городе Камень-на-Оби. Имею награды: «Славу» и три общих медали..." Дальше сообщал, что имеет сыночка-Василечка, "хотя и не своего, но нашей породы". Жил Константин тогда, в конце сороковых, на Кубани, в станице Прочноокопской, а в пятидесятом переехал на родину, в Смоленскую область. Там он стал коммунистом, и свое обещание "никогда не посмею упрекнуть" запомнил и... упрекнул. Вот так оно, в нашей жизни...

Время не стояло. Дни, месяцы, годы проходили порой быстро — увлекался работой. В конце 1949 освободился один из моих близких друзей Саша Машаров. Уехать не мог: навигация закончилась. Пришлось Саше зимовать в том же поселке Эгвекино. Оформился по вольному найму на ту же должность — сменным мастером в механический цех. Как и прежде, он продолжал бывать у меня в модельной, засиживался вечерами, с грустью вспоминал об отце, который тоже тянул срок где-то в Соликамском районе. Одно-единственное письмо отца он получил за эти годы. Раза два показывал то письмо мне, и я на всю жизнь запомнил слова: "Дорогой сын! — писал Машаров-отец. — Волей случая я получил твое письмо. Горька наша судьба: вряд ли доведется нам увидеться. Ждет меня маленький дом и большой покой..."

Через сорок лет бывший зэк Саша Машаров приехал ко мне на Смоленщину, на мою малую родину, чтобы присутствовать на юбилейных торжествах, посвященных 80-летию Александра

Трифоновича Твардовского, посмотреть воссозданный отчий хутор Загорье — мемориальный музей. Он приехал из Мариуполя на собственном «Москвиче» 16 июня 1990 года. Теперь он реабилитирован. Дал почитать свои воспоминания, пока неопубликованные. Вот что я посмел выписать о его отце: "А отец, хоть из рязанских лапотников, а умудрился закончить Томский университет. Перед арестом в 1941 году он преподавал физику и математику в Абаканском пединституте. Его посадили уже второй раз. Первый раз, когда началась охота на наших родных ведьм. Жгли книги в библиотеках Минусинска. Книги горят плохо. Я тайком, по ночам, натаскал домой сочинения Джека Лондона, Э. Сетона-Томпсона и много других. Когда же донесли на отца и был обыск, то нашли какого-то неведомого в то время кулацкого «перерожденца» Чаянова. И было это перед убийством Кирова, вот отца и замели".

В июле 1950 года мы провожали на свободу двадцатисемилетнего, полного надежд и желаний получить образование Сашу Машарова. Как, собственно, провожали? Следили глазами, как отходил с ним пароход от пирса порта Эгвекино и отдалялся к горизонту неведомых прибрежных очертаний. Потом ждали обещанных писем, и они пришли из Минусинска. Писал Саша о том, что с великим трудом нашел работу, где не придирались к документам. Письменная связь с ним удерживалась года полтора-два. Потом он принял решение во что бы то ни стало получить высшее техническое образование — уехал в Москву и смог поступить на заочное отделение металлургического факультета. И тут я его потерял на сорок лет. Теперь, когда он снова связался со мной, свое молчание объяснял тем, что вынужден был молчать о Чукотке, оберегал жену и детей от всех возможных осложнений, того требовала брежневская система. Доля правды в этом, конечно, есть...

С Иваном Бондаревским я расстался летом 1951 года. Освободился он, кажется, в феврале, но выехать, естественно, в это время не мог. Ждал первого парохода, работал на прежнем месте по вольному найму, успел порядочно заработать и благополучно выехал в июле к своей семье на Харьковщину. Этот человек по сей день переписывается со мной, два раза встречались. Он остался по-настоящему честным, человеком долга и товарищеской памяти.

Относительно спокойная жизнь в Чукотлаге была нарушена жестокими баталиями между заключенными в декабре 1951 года. Началось с того, что прибыл этап, в основном состоявший из уголовников. Они, называвшие себя "ворами в законе", вступили в яростную перебранку с теми своими «единоверцами», которые пробыли на Чукотке уже не один год. Карантинная зона, куда поместили вновь прибывших, находилась не где-то на отшибе, а здесь же, впритык к старой, отделена была лишь проволочным ограждением. По-доброму сторонам можно было пожать друг другу руки. Но такого не произошло. Возникла неопишуемая вражда, сопровождавшаяся грозными обвинениями со стороны вновь прибывших в адрес лагерных старожилов. Речь, конечно, шла о тех, кто, захватив сферу влияния в лагере, нарушил обет неписаных воровских законов, встал на путь услужения поработителям, и так далее и так далее. Измышления были столь угрожающими, что слышать их было жутко.

Это была своего рода настоящая подготовка к беспощадной войне на полное изничтожение противника и захват позиций жизненных интересов. Претендующие на исполнение расправы поочередно вскакивали на какой-то ларь, оставшийся от строителей, и с возвышения истошно изливали свою ненависть и злобу к противнику:

— Я тебя, сука, тварь, позорник, гумозник, — орал в экстазе «правдоискатель», — заставлю ползать и плакать, молиться и каяться! Буду резать твою паскудную шкуру лентами! Буду медленно, не торопясь, снимать с тебя полосы и развешивать вот на эту проволоку! Чтобы ты, прощаясь с жизнью, успел увидеть сам, что я буду творить из твоего подлючьего тела.

Такие угрозы направлялись к конкретным именам, назывались клички, приводились доказательства вины, место прошлых деяний с указанием каких-то дат, и создавалось впечатление такое, что названные могли уповать только на защиту со стороны начальства.

Но это не было чем-то важным для начальства: "Да режьтесь вы все до одного, и туда вам дорога!" — так можно было представить, что по этому поводу будет думать начальство.

Эти сцены угроз продолжались до конца карантина. Затем новые бригады вышли на строительные объекты — возводились из дикого камня автогаражи: профилактики, среднего ремонта, осмотра и так далее — три корпуса и котельная. Этим строителей не так просто было заставить работать. Их представители сразу же стали проникать и в механический цех, и в литейный, и в кузницу: им были нужны наждаки, где можно было бы выточить ножи и пики. И это им удавалось — их боялись. В отдельных случаях применялись принуждения: подходили к кузнецу и предлагали отковать нож. В литейном цехе запросто вытачивали на наждаке кинжалы. Бывали и у меня в модельной. Честно говоря, они наводили ужас и на начальство.

Чем все это закончилось? Было совершено несколько убийств. В секцию бригады Ханжиева, в которой жил и я, часов в одиннадцать вечера, когда все уже улеглись спать, но свет, как всегда, на ночь одной лампочкой оставался включенным, вбежал уголовник с ножом в руке и громко приказал: "Всем укрыться одеялами с головой! А кто чувствует себя виновным, тому укрываться не надо". Все покорно подчинились этому требованию, но было страшно. Потом было сказано: "Пойдем!" Кого увел с собой этот преступник, никто не видел. Все лежали на своих местах недвижимо, без слов. В соседней секции той ночью задушили уведенного мокрыми скрученными полотенцами, сшитыми в одно. Узнали об этом утром. Преступников было четыре или пять, но на вахту с повинной явился только один, да и то неизвестно, добровольно он это сделал или был послан под угрозой. Потом был убит бригадир Гришин. На него напали ночью, на спящего, разрубили топором голову. Потом еще и еще убивали на производстве. Затем после обеденного перерыва блатные, под угрозой расправы, не позволили бригадам выйти из зоны на работу. Об этом было доложено начальнику Чукотлага майору Стеценко: ОЛП № 1 саботирует выход на работу. Блатные ставили условия: освободить из барака усиленного режима (БУРа) их лидеров, посаженных за совершенные преступления.

На место прибыл Стеценко. Он потребовал немедленно выйти на работу, но в ответ услышал непристойную ругань и грязные выкрики. Обстановка накалялась стремительно: несколько сот голосов гудели и требовали освободить наказанных. Снова и снова майор требовал подчиниться, выполнять его приказ, но его не слушали. Здесь же стояла охрана с автоматами, и майор дал приказ: "Огонь по врагам народа!" И автоматы застрочили по сгрудившейся толпе заключенных. Было убито девяносто три человека. Много было раненых. Это событие само по себе было неслыханное, ужасное, потрясшее всех жителей поселка Эгвекино. Ведь огонь был открыт по людской массе, которая находилась за проволокой, и потому уже расстрел нельзя было оправдать. Приказ майора Стеценко о расстреле без суда и следствия ничем не отличался от немецко-фашистских расстрелов пленных. Тем более что люди согнаны были в толпу насильственно, под угрозой расправы уголовников. Погибли многие ни в чем не виновные.

Лично мне волей судьбы не пришлось быть в толпе попавших под расстрел. В тот день я не пошел на обед в зону, хотя обычно всегда ходил, но вот такой мой рок — сердце предвещало беду.

Трупы были перенесены в барачное здание старой больницы, где лежали до марта 1952 года захороненными. Были комиссии, были разбирательства, но об этом нигде ничего не было рассказано. Хоронили убитых в марте. В ящики из горбылей заключенные клали по четыре трупа и волокли их на второй километр, где была заблаговременно вырыта траншея. В нее и опускали погибших.

Участвовал в захоронении и я. Лагерное начальство было заменено, в том числе и майор был куда-то переведен в другое место.

В апреле 1952 года я первый раз посмел зайти в УРЧ (учетно-распределительную часть) Чукотлага, чтобы узнать, как идет сокращение моего срока согласно зачетам рабочих дней. Это учреждение находилось в зоне ОЛП № 1, тоже в барачном здании, в нем было до удивления уютно и чисто. За столом сидела очень милой внешности молодая женщина в форме МГБ, которую я никогда ранее не видел. Обошлась она со мной внимательно и добродушно, что казалось чем-то необычным. Ведь в лагере заключенный просто не встречает подобного. Он привык к словам "Ты — зэк", что почти равно — "Ты — никто". А тут я услышал:

— Назовите, пожалуйста, свою фамилию. Я назвал с добавлением имени и отчества.

— Ой! Я рада вас видеть, Иван Трифионович! Я так много слышала о вас как об удивительном мастере. Рада сообщить, что вы очень скоро освобождаетесь.

Она нашла мой формуляр и сказала:

— Ну вот, ваш срок окончится двадцать седьмого мая — чуть больше месяца осталось.

Я поблагодарил ее за внимание и хотел уже уйти, но она, смущаясь, добавила:

— Извините меня, Иван Трифионович! Мне очень неудобно, не осудите меня, но я хочу просить вас... Будьте так добры, сделайте мне браслет для наручных часов. И, пожалуйста, дайте слово, что зайдете к нам в день вашего отъезда. Вы будете нашим гостем, мой муж будет очень рад вас видеть.

Да, дорогой читатель, не усомнитесь, я пишу истинную правду. Понимаю, что так бывает очень-очень редко, но так было.

Очень сожалею, что не могу назвать многие имена тех, с кем случалось встречаться, иметь откровенные беседы, слышать слова признательности.

Накануне дня освобождения в мастерскую ко мне пришел новый начальник Чукотлага Григорьев, кажется, майор. Он сердечно поздравил меня с освобождением. Я его видел впервые, но вот назвал он меня по имени-отчеству.

Днем моего освобождения из Чукотлага было действительно 27 мая 1952 года. В лагере я пробыл пять лет четыре месяца двадцать дней.

Прежде чем выйти за ворота, нужно было одеться в гражданское платье. Где его взять? Слыхал, что в магазинах поселка ничего подходящего нет, да и не хотелось появляться на людях в лагерной шкуре. Подсказал какой-то «шестерка», что все можно найти у "дяди Саши". Я спросил: "Не обманет?" — "Что ты! Разве позволит вор в законе обмануть? Идем!" Вот ведь как было. Четыре года провел на Чукотке, но никаких «дядей» не знал, мне они были совсем неведомы. Я согласился пойти.

В глубине барака, в углу, была отгорожена одеялами на проволоке кабинка. «Шестерка» боязливо спросил: "Можно, дядя Саша, по делу?" Послышался голос: "Кто?" — "Это я, дядя Саша, Морж!"

Через минуту мне было позволено выбрать то, что меня могло устроить. Надетые на плечики, висели над второй заправленной койкой десятка полтора костюмов и пиджаков. Я, конечно, понимал, что все это было когда-то с кого-то снято так же, как сняли с меня в Иркутской пересылке в 1947 году; может, и выиграно. Но для меня в тот момент это роли не играло. Я подобрал по себе хорошо выглаженные темные брюки и светлый цветной пиджак, спросил о цене. "Шестьсот рэ", — был ответ. Я отсчитал деньги, подал и сказал: "Проверьте, пожалуйста!" В тот момент «шестерка» толкнул меня рукой и шикнул: "Ты что! Вор никогда не"

проверяет". «Дядя» небрежно, без слов, сунул в нагрудный карман деньги и тут же принял на второй взъерошенной койке горизонтальное положение.

Не буду описывать, как искал сорочки, туфли, кепку. Все это я нашел, хотя и не без хлопот. Пришел час, и я навсегда покидал «исправительное» заведение. Сразу же — на почту, послал телеграмму жене.

Но моя великая радость сменилась непредвиденной печалью: при получении справки об освобождении из заключения мне было объявлено, что есть указание, что освобождающиеся по зачетам обязаны половину сокращенного срока отработать в Дальстрое по вольному найму. "Боже мой! Что за напасть?! — гудело в моем перенапряженном сознании. — За что же? Почему об этом не было сказано сразу, при объявлении постановления о применении зачетов?" Было свехдосадно. Только послал телеграмму жене, и вот ее теперь надо терзать добавкой ожидания. Нет, не описать мне той горечи, с которой я должен был оформляться в отделе кадров в ту же мастерскую, которую успел только что сдать своему ученику. И никаким образом ничего нельзя было изменить.

Пришлось смириться. Договорился с молодой четой, приехавшей из Нижнего Новгорода, чтобы занять в их квартире угол. Пообещал платить тысячу рублей в месяц, чтобы и столоваться вместе с ними. Согласились. Спасибо им из моего сегодня! Хорошие были люди Витенька и Наденька Овчинниковы.

Кажется, 20 ноября встретился мне начальник отдела кадров управления Чукотстроя Михайленко. Я его узнал с того дня, как он объявлял мне строгий выговор за «грубость» при оформлении меня на работу по вольному найму. Был такой случай. Михайленко остановил меня:

— Твардовский! Слушай, пожалуйста. Есть возможность уехать тебе, но пойми, нужно срочно отгравировать рельефом так, как это ты делаешь, один моржовый клык. Только и всего. Пароход уходит 24–25 ноября, ждет ледокола. Делай хоть ночью, хоть днем и тащи эту вещь ко мне на квартиру.

Ну что тут мне было отвечать? Конечно, я бросил все и вся, схватил у него свежий клык, как назло редчайшей длины, и помчался к себе в мастерскую. Ночь напролет работал без устали, и все так хорошо получалось, что даже сам был доволен, что бывало далеко не всегда. Через день, в полдень, — к Михайленко — знал, что он будет дома. С собой еще прихватил то, что берег для жены. Показал. Гляжу, какая реакция. Он:

— Вещь стоящая. Признаюсь. Но слушай, платить могу тебе только тем, что устрою выезд. Не будь мелочным! — Да Боже мой, сохрани и помилуй, т-т-товарищ Михайленко!

О какой еще оплате смею думать?!

— Приходи в три часа в управление и точка! Поедешь, как член ЦК в каюте старшего помощника капитана. Ясно?

— Ясно, товарищ Михайленко.

В тот же день я узнал, что еду не только я, а еще человек триста. Встретил врача Маркова, давно знал его по рассказам аптекаря Парамоныча. Решили навестить старика. Нашли его в бывшей землянке хирурга Калицкого. Да, сдал Илья Парамоныч. Но узнал. Обрадовался. Поздравил меня и Маркова с освобождением, с отъездом. Но только подумать: когда я делал у него аптечный стол, он уже тогда был в заключении более десяти лет. И тогда он говорил:

— Моя жена иногда упрекала меня за то, что в нашей жизни для меня было самым главным — партия. На втором месте — служба. На третьем — семья. А жена говорила, что были бы

мы счастливы, если бы было все наоборот: семья, служба, партия.

Значит, моя последняя встреча с Ильей Паромоным была, когда он провожал шестнадцатый год в заключении. Один глаз у него был с большим отеком, и я спросил, с чем это связано. Он ответил:

— Авитаминоз, цинга.

Простились. Было видно, что удержал он слезу только волей — военный он был.

Из порта Эгвекинот вышли 24 ноября 1952 года. Место в каюте мне было действительно предоставлено старпомом Чуйко. Капитан тогда был в отпуске, а поэтому он был главным человеком на судне. На память ему я изготовил там же, на судне, пряжку для ремня. Ничего лучшего не мог: с собой у меня не было инструмента — оставил ученику.

До Петропавловска-Камчатского шли девять суток. Здесь по какой-то причине стояли столько же на рейде. Во Владивосток пришли числа 20 декабря. Потом поезд, пересадка на станции Угольная, потом суток шесть ехали до Новосибирска. Снова пересадка. Ждали три дня. В Свердловске побывал в ЦУМе. Товаров было много, и я купил платье жене. И вот еду пригородным в Нижний Тагил. Телеграмму давал из Новосибирска, надеялся, что Маша встретит. Смотрел, искал. Нет, не встретила... Прошел по перрону туда-сюда, попался на глаза ларек: вина, всякая всячина из продуктов. Удивился обилию. И никакой очереди. Купил две бутылки шампанского, вышел на привокзальную площадь. Адрес я знал, но все изменилось за двенадцать с половиной лет, и уже не знал, "где эта улица, где этот дом". Взял такси.

— Карла Маркса, девяносто пять, — говорю таксисту. А он:

— Смеетесь? Это же вот, рядом!

— Нет, добрый ты человек, послужи, подвези к подъезду, какая тебе разница? Я же за все плачу!

Правда, минуты две ехали. Но у меня же были и вещи, так что такси было к делу.

О том уж не знаю, как и писать, когда поднимался на третий этаж и остановился у двери квартиры номер двадцать два. Я услышал, как жильцы квартиры вели разговор:

— Телеграмма послана из Новосибирска, а на каком поезде он приедет в Нижний Тагил, угадать трудно. Боюсь, что не встречу, потому и не иду к поезду.

По голосу я узнал, что это говорила жена. Я постучал и услышал:

— Да-да! Пожалуйста!

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Вместе с женой я ехал в Смоленск проведать своих. В Москве пытался связаться с Александром Трифоновичем, но это мне не удалось.

Вот что он писал мне:

Москва, 4.02.53

Дорогой брат Иван!

Поздравляю тебя с возвращением домой.

Очень жаль, что ты, будучи проездом в Москве, не смог связаться со мной. Но это одно дело, другое — странно, что ты не нашел нужным написать мне о своей судьбе, о своем возвращении. Ведь я просто-напросто не знаю, а только догадываюсь, где ты был. В таких делах отмалчиваться не годится, если ты хочешь поддерживать со мной связь.

Напиши подробно и правдиво обо всем, начиная с того момента, как мы, твои близкие, были уведолены о твоей гибели. Я должен знать все относительно своих братьев. Не торопись, спокойно сделай это.

Как ты устроился, где работаешь? Привет твоей жене.

А.Твардовский

Получив это письмо, я, конечно, не мог не написать брату о своей судьбе. Я сделал это, как он и советовал, — не спеша, правдиво и по возможности подробно. Однако переписка между нами не установилась.

Примерно через год, когда я вновь приезжал в Смоленск, на обратном пути к себе на Урал я дал Александру Трифоновичу телеграмму. Я не очень был уверен, что он встретит меня, но в момент остановки поезда на Белорусском вокзале я посмотрел из окна вагона. Брат был точно возле указанного в телеграмме вагона. Эта встреча была первой после пятнадцати лет разлуки.

Со мной была жена Мария Васильевна, с которой он однажды встречался в Нижнем Тагиле во время поездки по Уралу в 1948 году. Но, правда, уже забыл ее имя, осведомился: — Простите, я не помню, как вас звать.

Вокзальная встреча не совсем удобна для свободной беседы, нужно было где-то пристроиться, присесть. Я догадывался, что пригласить к себе он не попытается, да вполне возможно, что и времени нет, а нам так или иначе надо к поезду с Казанского вокзала, и я предложил переехать туда. Александр Трифонович согласился, и я взял такси. Мы быстро оформили билеты, время еще было, и нам ничего не оставалось, как посидеть в ресторане.

Мы сидели за столом, и я видел и чувствовал его сосредоточенный на мне взгляд — сосредоточенный с тем именно вниманием, когда хотят понять внутренний мир близкого человека, с которым много лет не виделись. Я знал, что он человек выпивающий, не удивился, что он наотрез отказался от спиртного, объяснив, что предстоит быть на каком-то приеме: нельзя. Я не мог что-либо заподозрить в этом: каких только встреч не могло быть у него. Меня же он угощал чем-то высокоградусным, отказываться я не имел причин: приема мне не предстояло. К тому же мне казалось, что брат хотел слышать более откровенный мой рассказ.

Судя по вопросам, которые он вставлял по ходу беседы, я понимал, что его интересовало мое настроение, мой взгляд на оставшуюся часть жизни, то есть сохранилась ли во мне надежда на человеческую радость, не озлобился ли я, не ушел ли в себя, не чувствую ли неудовлетворенность обстановкой на работе и еще, и еще в этом роде. Что тут мог я ответить? Конечно, я понимал, что утрата невосполнима, — мне было уже сорок. Да и не только же возраст сидел во мне тяжким грузом, была и другая сторона осложнений,



социальная, например. Как бы хорошо я ни работал, все равно я чувствовал, что отношение ко мне более чем прохладное, осторожное, что хвалить меня стараются как можно тише.

Однако я не был исключением. Людей схожей судьбы я встречал немало, и это как-то уменьшало горечь. И надо признать, что подавляющее большинство этих людей находили в себе волю и способность становиться редкостными мастерами тех или иных полезных и нужных дел, а стало быть, им была доступна и радость успеха. Я рассказал брату, что годы лишений и ограниченных возможностей не смогли парализовать природные данные и силу воли. Я овладел мастерством модельного дела, резьбы по дереву и кости, валяния настольных миниатюр, успел стать краснодеревщиком, изучить два иностранных языка.

Допускаю, что Александр Трифонович и усомнился кое в чем из моих слов, потому что продолжал смотреть изучающим взглядом, промолчал, не удивился. На этом наша встреча и закончилась. Он извинился, сказал, что, к сожалению, не может продолжить беседу, что, дескать, очень много дел. Упомянул, между прочим, о каких-то неприятностях в его редакторских делах (видимо, речь шла о статье Померанцева "Об искренности советского писателя", опубликованной "Новым миром"). Переписка наша опять прервалась на целый год, и, пожалуй, только потому, что я не хотел назойливо напоминать о себе, считаясь с тем, что мои письма не могут представлять большого интереса, а все же отнимут у брата, может, очень дорогой час времени.

Июнь 1955-го. Я знал, что кое-какие из моих работ Александру Трифоновичу случилось видеть у нашей мамы и у сестры Марии. Приближался день его сорокапятилетия, и я подумал, что хорошо бы изготовить ему какой-нибудь подарок. Но вот что бы такое могло быть уместным, я долго не мог решить. А время шло, и, кажется, оставалось всего дней десять-двенадцать, раздумывать было некогда, и я принялся за письменный прибор из дерева в комбинации: "интарсия-миниатюра из фауны Урала". Работу я выполнил довольно скоро, но все же для пересылки почтой времени оставалось крайне мало, посылка не успевала ко дню его рождения. Отправил с долей досады, что не рассчитал. Прошел месяц, а затем и полтора — не было ни ответа, ни привета. Наконец я получил его благодарственное письмо из Карачарова, текст которого мной приведен выше.

На очереди в моих записках 1956 год. Так получилось, дорогой читатель, что я не справился с хронологическим описанием событий, не упомянул о некоторых существенных деталях в жизни моей семьи. Как уже было сказано, наши дети Валерий и Тамара умерли. В 1956 году мы с женой обратились в исполком райсовета по месту жительства с ходатайством о разрешении удочерить ребенка из числа находящихся на государственном попечении. В феврале 1956 года просьба была удовлетворена — у нас появилась дочурка Ольга 1954 года рождения. В связи с этим по совету гороно в 1956 году мы выехали из Нижнего Тагила в Смоленск. Объясняется это просто: чтобы никто не знал, что наша дочь приемная, а в Смоленск — поближе к родственникам. В то время там жил брат Павел, в собственном домишке, наша мать с дочерьми на Запольном переулке, а в семидесяти километрах от Смоленска, в совхозе «Лонница», работал и жил брат Константин. В общем, на первое время нам было у кого остановиться. Но все это бралось в расчет лишь как крайность — пока подыщем по своим деньгам собственный угол. 17 марта мы погрузили свои вещички в контейнер, а числа двадцатого сами были уже в Смоленске. Встретили нас хорошо, остановились у матери. Но каким бы сердечным ни было гостеприимство, оно не освобождает от забот по приобретению своего угла, и я с Марией Васильевной искал подходящую хибару. Но в послевоенном Смоленске нуждающихся в жилплощади было несчетно: ютились по нескольку семей в комнате. При поступлении на работу тоже нельзя было мечтать об одновременном получении жилплощади. Объявления о продаже частных домиков отпугивали ценами: наших денег не хватало и на половину. На время перебрались к Павлу в тот самый домик "из мыльных ящиков". Но надежды не теряем, поиски продолжаем, настроение сохраняем жизнеспособное. Наконец удача: на отдаленной окраине города покупаем половину старой довоенной хаты за девять тысяч рублей. Но въехать в нее нельзя:

нужен ремонт. А он, как известно, требует денежных и физических затрат. Но тут уж спешили сделать хотя бы самое необходимое: подправить прохудившийся пол, заменить выпавшие кирпичи плиты, содрать засиженные клопами и мухами стародавние газетные обои, обварить, промыть, протереть, оклеить, кое-что покрасить-побелить. Надо отдать должное братьям Павлу и Константину — помогли, чем могли. Приходила наша тогда уже совсем слабая мать и тоже, сколь могла, скоблила, протирала, да еще и приговаривала: "А знаешь, квартирка неплохая получается".

К маю въехали мы в свой угол. На душе отлегло, да ненадолго: мой заработок в Смоленске был заметно ниже уральского. Жена теперь работать не могла: у нас была маленькая дочка, да и специальность коксохимика в Смоленске не имела спроса. Так что добровольно мы оказались в несравненно худших условиях.

Смоленская весна все же как-то окрылила нас: всеми силами мы занялись работой на четырех сотках огорода, который перешел в наше пользование от прежнего владельца, чтобы иметь подспорье к скромному бюджету. Но чтобы получить это подспорье, нужно уметь и знать, как это делается, чем достигается. Мы же в этом деле были новички, так как от деревни были оторваны в том возрасте, когда по-настоящему мало что знали, а затем уже полных двадцать пять лет вовсе не сталкивались с работами на приусадебном участке. Однако наш упорный труд и подсказки старшего брата дали удовлетворительный результат, и к осени мы могли и гостя принять, и стол накрыть по-людски, что как раз и случилось. Но об этом чуточку позже. А сейчас — по порядку.

18 сентября 1956 года, совсем уже к вечеру, к нашей хижине подкатила «Победа», и мы увидели маму. "Что-то случилось", — спеша к ней навстречу, подумал я. Уж очень это было неожиданно.

— Ну, Ваня, Маша, собирайтесь, поедemте со мной, ко мне! Сейчас же. Шура приехал! Одевайтесь и едем. Это же вот и машина его.

Эти слова были сказаны в таком необычайном, радостном возбуждении, что у нее даже дыхание перехватывало.

— Ой, мама! Так это же очень, очень... Спасибо тебе!

— Так это ж он сам и попросил: "Поезжай-ка, мама, за Иваном и его семьей". С ним еще и писатель какой-то.

Радость моя была так велика, что сравнить ее мог бы только с большой наградой. Кто-нибудь, читая эти строки, может скептически улыбнуться: "Надо же, куда хватил!" Пусть случится и такое, но мне нет ни нужды, ни выгоды лгать, так было. Александр был для нас велик и значителен, близок и труднодоступен. Мы даже обижались порой, неся в душе навязчиво-затаенное чувство неразделенной нашей к нему любви.

Когда мы подъезжали к дому номер четыре на Запольном, я увидел Александра, прогуливающегося со своим товарищем. Они шли тихим шагом. Оба были одеты в легкие пальто. Справа был брат. Наклонясь в сторону собеседника и держа открытой ладонь правой руки на уровне своего лица, он покачивал ею в такт неторопливого шага. Мама посоветовала подойти к ним и тем самым дать знать, что мы приехали. Правда, во мне метнулась какая-то искорка неудобства: я должен был нарушить их уединенность, но пошел наперерез их движению. Брат заметил меня, когда я был буквально в двух-трех метрах, еще более замедлил шаги. Глядя на меня, сказал, обращая внимание своего товарища: "Вот он, наш Иван!" Мы крепко пожали друг другу руку, и он тут же представил: "Александр Григорьевич Дементьев!" Когда же я от души стиснул руку Александра Григорьевича, то услышал знакомый нижегородский говорок:

— Отменно! — сказал он. — Пониже, Саша, тебя, посуше, но богатырь!

— Ха-ха-ха! — отрывисто хохотнул брат. — А я что тебе говорил?

На этот раз Александр чувствовал себя на редкость свободно. Журнала в тот момент он не редактировал, приехал проведать родных, никаких официальных встреч не имел в виду, был весел, добр, любопытен, добродушно-шутлив. Я знал, конечно, что выпить он мог, как говорится, "с охоты — не с горя", но в тот вечер — только лишь "для ради встречи".

— Ну, друзья, давайте примем серьезный вид! — сказал Александр. Брат Павел усмехнулся. — Да, да! — и посмотрел с загадкой на Павла. — Я хочу сделать... простите — одарить брата Ивана.

Не заметил, откуда у него в руках появились золотые наручные часы «Москва» в фабричном футлярчике, и он вручает этот дорогой подарок мне:

— Прими, Ваня, что сумел придумать для тебя. Знаю, что часы у тебя есть, но ведь и у меня тоже не могло не быть письменного прибора. Так ведь? И понимаю — твой подарок дороже.

Я очень был тронут вниманием брата, чувством его долга, а может, сочувствием к моей тяжелой судьбе. Когда я посмотрел на подарок и, не обнаружив на нем дарственной гравировки, сказал, что было бы еще дороже, если бы было выгравировано: "Брату...", он посмотрел на меня с прищуром и произнес безапелляционно: "Зачем, Ваня, эта вывеска?" Тогда я этого не понял и оставил вопрос открытым. Для себя. Пусть найдет ответ читатель самостоятельно.

— А вот и тебе, Павлуша! — брату Павлу он подарил карманные часы из класса обычных, недорогих, тут же подчеркнул:

— Кажется, молоком заведешь? Так вот, по строгой технологии положено разводить молоко спиртом только по часам. И чтобы, знаешь, все в меру, и не раньше и не позже, иначе нейтрализующее свойство молока не возымеет должного действия.

Павел всегда был осторожен в выражениях своих чувств и за подарок благодарил, как принято было прежде, сдержанно.

В тот памятный вечер Александр Григорьевич Дементьев чувствовал себя среди нас как дома. Правда, Александр Трифонович за столом успел уже сделать довольно-таки витиеватое дополнение к тому, что им было сказано при первом представлении Александра Григорьевича:

— Человек, на совести которого есть «ушедшие»... из литературы: «режет», понимаете, "не пуцает" в литературу "одаренных"...

А потом Александр Трифонович говорил о том, что он уже «дед» (сорок шесть), что к этому возрасту, якобы, из ста родившихся в живых остается только четыре, что у него есть внук, который порядком напоминает о себе и что он, Александр Трифонович, предлагает своим: "Давайте я его высеку!", что хлопот с этим внуком много, что из-за развешенных пеленок не всегда можно добраться до кухни, и что он, дед, очень боялся, справится ли дочь с обязанностями матери, но... "Понимаете, умеет. Все, как и должно... — И потом он еще раз сказал: — Я — дед!"

В прихожей динькнул звонок, и мать ушла открывать. Возвратись, сказала, что пришел Ефрем Михайлович Марьенков, что он убедительно просит Александра Трифоновича принять его, что есть какие-то неотложные дела.

— Какие могут быть дела, если я приехал к маме, к братьям и сестрам?! Я же не на службе! Я

никому не сообщал, что буду в Смоленске. Скажи ему, мама, что я не могу принять.

Я видел и чувствовал, как это непонятно было для матери, как она про себя переживала, что должна пойти и передать Ефрему Михайловичу отказ в его просьбе. И сложность тут была в том, что этот старый смоленский писатель изредка приходил к нашей матери, сердечно с ней беседовал, она всегда была рада послушать его, и... приходится вот сказать теперь ему... Пожав своими исхудавшими, старческими плечами, она ушла...

Александр Трифонович был уже немного захмелевшим и с некоторым возмущением начал говорить:

— Не считаются ни с чем, встречаются где-нибудь на улице и хоть ты лопни: "просьба земляка", видите ли, — а того, что мои земляки — весь советский народ, не хотят и знать. Да для меня Иркутск так же дорог и близок, как и Смоленск, как любой другой город, если речь идет о человеке.

Мать возвращается и теперь уже говорит от себя:

— Шура! Надо уважить Ефрема Михайловича: пусть он побудет с нами.

— Ну раз уж так, мама, — зови!

До этого случая я никогда не встречался с Марьенковым, но слышал о нем, еще будучи учеником Ляховской школы, кое-что было известно и из более поздних рассказов. Например, я знал, что, уехав из отчего дома, загорьевский юноша Саша Твардовский первую ночь в Смоленске провел как раз у тогда еще молодого Ефрема Марьенкова, в какой-то крохотной проходной комнатке, где не было ни мебели, ни даже кровати...

Вошел Ефрем Михайлович. Раскланялся, попросил извинить его.

— Ну проходи, проходи, Ефрем! Садись вот, говори, что у тебя там случилось?

— Саша! Да я, понимаешь, не поверил, прости меня, что ты не можешь или не хочешь меня принять, короче, встретиться со мной, если ты здесь, в нашем родном городе.

— Вот ты какой странный, Ефрем. Да пойми же, что я приехал к маме, хочу побыть хоть день-два с родными, которых годами приходится ради дел оставлять на «потом», но мне хочется видеть их.

Ефрем Михайлович был огорчен. Довод Александра Трифоновича, видимо, казался ему справедливым, но в душе у него, надо полагать, сохранялись еще и другие чувства, которые позволяли надеяться, что Александр Трифонович найдет и для него некую долю дружеского внимания. Он был сколько-то минут в раздумье: напомнить или нет о тех далеких днях, когда прикрывались старой шубой, лежа на полу, с приспущенными брюками, чтобы не коченели ноги, но первое, то есть «напомнить», взяло верх.

— Саша! Так неужто ты забыл, что спали мы с тобой под одной поношенной одежкой?

— Ладно, Ефрем. Начнем с другого. Как дела? Чем дышишь?

— Пишу свою маленькую правду.

— Ты что говоришь? — Александр Трифонович сделал столь удивленный вид, что, казалось, он сомневается, не ослышался ли. — "Маленькая правда" — неправда! — продолжил он. — Правда не должна быть, не может быть «маленькой». Она, Правда, — всегда Правда. Всякие там «правдочки», «правдулечки», «правдишечки» ничего общего не могут иметь с настоящей священной Правдой "на всех языках и наречиях". Правда — вечна!

Александр Трифонович как-то вдруг мгновенно присмирел, ушел в свое сокровенное или, может, сожалеюще обдумывал только что резко сказано — трудно гадать. Этот момент был мною замечен, и я помню, что Ефрем Михайлович, видя во мне немолодого человека и зацепив меня взглядом, тихо, но торопливо выложил свои мысли:

— Иван Трифонович, дорогой! Поймите, поверьте, что я гляжу на Александра Трифоновича трепетно, с мучительным сознанием своей заурядности, посредственности, потому что хорошо помню "начало всех начал" в его судьбе. Нам, литераторам Смоленщины, всем без исключения, было дано больше, чем ему. Всех трудней была его дорога. Мы обязаны это признать. Но всех больше и лучше сделал он, Саша Твардовский.

Александр Трифонович снова оживился и шутливым тоном начал разговор с Ефремом Михайловичем о его семейном положении:

— Слушай, Ефрем, оказывается, у тебя сейчас молодая жена. Это так?

— Да, дорогой мой Саша.

Надо заметить, что Ефрему Михайловичу было уже около шести десятков. Чувствовал он себя смущенно и очень неохотно отвечал на вопросы Александра Трифоновича, которые, на мой взгляд, были не только грубоватыми, но отчасти обидными, воспринимались Ефремом Михайловичем с болью.

Ефрем Михайлович выглядел удрученным и усталым. Впечатление такое складывалось, видимо, еще и потому, что одет он был крайне буднично, все на нем было какое-то заношенное, несвежее, неглаженное. Был он озабочен, просил Александра Трифоновича прочесть какую-то его повесть.

— Так я же читал и указание на необходимость дополнительно поработать над ней я делал. Но теперь читать мне очень не хочется. — Таков был ответ. — Если ты уже поработал, если — честное слово, так и быть — напишу, но, Ефрем, не подводи меня.

— Саша, дорогой мой, честное слово, все сделал.

— Ну, Ефрем, теперь скажи мне, — Александр Трифонович сбавил голос и тихо спросил: — Жена молодая, значит, и детишки могут появиться?

— Саша! Что же я могу тебе сказать? — тоже тихо. — Были попытки, но... стоит ли об этом?

Александр Трифонович засмеялся и тут же:

— Прости, Ефрем!

— Саша! Ей-Богу, не знаю, с чего начать. Дело вот какое. Мир, как говорят, слухом полон. В Починке узнали, что ты в Смоленске. Имею поручение просить тебя побывать у земляков. Очень они просят тебя заглянуть к ним. Что ты можешь сказать по этому поводу?

— Нет, нет! Не поеду. Не хочу фотографироваться. Если поехать, то это непременно будет. Нет, нет, нет!

Ефрем Михайлович попытался доказать, что просьбу земляков как-то надо уважить, сделать возможное, не обидеть. Но Александр Трифонович был непреклонен: "Нет, фотографироваться не хочу!"

Ефрем Михайлович снова:

— Люди-земляки чтут, любят, помнят, хотят видеть тебя, Саша, но я, ей же Богу, не понимаю,

что тебя так отталкивает. Ну, допустим, что сфотографируют, так неужели это плохо?

— Не люблю помпезность, искусственность, ничего искреннего там обычно не бывает. Нет, даже не делай усилий... не делай. Это не нужно!

Ушел Ефрем Михайлович Марьенков. Честно говоря, мне показалось, что Александр Трифонович не совсем был прав. Но кто же посмел бы его нравоучить, поправлять? Нужно сказать, что он действительно почему-то постоянно избегал, не соглашался фотографироваться. Никто из нас, его родных братьев, не удосужился такого «подарка» с ним вместе сфотографироваться. Вроде бы он бывал и родственен, и нежен, но чтоб как-то по-простецки предстать перед объективом с братьями — нет, такого не случилось.

Мы договорились поехать утром следующего дня (19 сентября) в Лонницу к Константину Трифоновичу. Он работал в то время совхозным кузнецом: "Железки гну!" — как он сам об этом говорил, и отмечал между тем, что мастерство прежних лет утрачено, что теперь есть и сварка, и фабричный топор, и готовый заводской болт, что кузнецу приходится лишь кое-что по мелочам делать методом дедов. С огорчением он говорил, что кузнец для сельского жителя перестал быть значительным мастером. "Железки гну!" В этих словах слышалась горечь утраты.

От станции Красное мы должны были идти километра полтора параллельно железной дороге, вспять, к усадьбе совхоза «Лонница». Александр Трифонович сказал, что в русском произношении должно быть Лённица, а не Лонница, что это не иначе как от слова «лён», но это так, как бы между прочим. Он с живым интересом обращал внимание на пасущиеся стада черно-пегих крупных коров, отмечая их упитанность и даже какие-то признаки молочности: "Шеи у животных резко утонченные: молочная порода".

"Победа" с женщинами пришла на место значительно раньше, чем пришел поезд, которым мы, мужчины, ехали, — женщины давно нас ожидали. Но Константина дома не было: косил сено в тех местах, где скошенную траву нужно выносить из воды или же ждать морозов и затем косить по льду. Он не знал, что к нему пожалует столько гостей, и задержался на своем запоздалом покосе. Нам пришлось долго ждать его. Наконец, совсем уж под вечер, Константин появился с повозкой сена. Он спешно сбросил сено, погнал лошадь на совхозную конюшню и через полчаса был среди нас за столом. Переодетый и освежившийся, он, как бы извиняясь, рассказывал о своих хлопотах и затруднениях, избежать которых не удавалось.

— Ах, как нескладно получилось, — говорил он, — невольно заставил вас, дорогие гости, так долго ждать.

— А в чем же дело, Костя, что косишь ты в сентябре? — спрашивал Александр Трифонович.

— Порядки таковы. Не разрешают косить для личного скота, пока совхоз ведет заготовку для общественного стада. Вот и ждем сентября да октября.

Застольная беседа, однако, приобрела самый благодушный характер, все были веселы, довольны и рады. Ни о чем особо серьезном не судили, разговоры возникали в связи с тем или другим случайным словом или примером. Было ясно, что встретились братья и сестры с мамой, которая без памяти рада была видеть своих детей за одним столом, так вот дружественно беседующих, видеть их взрослыми, с их очень разными судьбами. Грустно, конечно, при мысли, что не сидели за семейным столом наш отец Трифон Гордеевич и младший брат Василий: их уже не было на этом свете...

Было уже темно, когда послышался стук в дверь, и мы увидели вошедшего незнакомого человека. Это был совхозный механик, которому взбрело в голову взглянуть на гостей Константина Трифоновича. Ничуть не стесняясь, прямо от дверей он громко сказал:

— Ах вы, кудесники! Позвольте же мне познакомиться с Александром Трифоновичем!

Никто не принял всерьез того, что он назвал всех кудесниками, и само появление этого человека не вызвало особого удивления. Александр Трифонович внимательно смотрел на него и даже подал ему руку и предложил сесть за стол.

— Видите ли, Александр Трифонович, — начал этот человек, приложив руку к груди, я тоже, понимаете, тоже пишу... стихи, и потому видеть вас было всегда моей мечтой.

— Интересно, очень интересно. Может быть, вы что-нибудь прочтете? — сказал Александр Трифонович.

— Нет. Прочесть я не могу, а лучше позвольте мне спеть.

— Ну, пожалуйста, давайте спойте.

И он затянул диковатым голосом: "Нас побить, побить хотели, нас побить пытались". И поначалу Александр Трифонович подтянул ему, но тут же обнаружилось, что «поэт» явно нетрезв, что петь он совершенно не может и делать ему среди нас нечего. Пришлось Константину Трифоновичу упрашивать его, чтобы шел отдыхать к себе домой. Но не тут-то было — с таким предложением он не хотел соглашаться и сказал:

— Эх, Александр Трифонович, было же вами сказано: "С кем я не был, с кем я не пил в первый раз, в последний раз". А со мной? А?! — И продолжил: — "С кем я только не был дружен... Сколько душам был я нужен..."

Эти строки всем нам, конечно, были известны, но в этот момент мы услышали их из уст того самого «вероятного» читателя, которого автор предвидел и чьим мнением дорожил: "Ни на чью иную славу не сменю того вовек". И все мы смотрели на Александра Трифоновича и гадали, что он скажет. Ждать долго не пришлось. Облокотившись на стол и несколько подавшись вперед, он сделал чуть заметный кивок, и, глядя на этого человека, негромко сказал:

— Спасибо, спасибо. Но почему запомнились именно эти строки?

— Нет, Александр Трифонович, не только эти запомнились. Многое запомнилось: "И годами с грустью нежной — меж иных любых тревог — угол отчий, мир мой прежний я в душе моей берег".

Услышав это четверостишие, мы подумали, что с нами не какой-то пьяница, а человек с развитым чувством прекрасного, который стихи любит и читает их вдохновенно.

Время было уже позднее, нужно было подумать, как организовать постель для пятерых мужчин. Женщин было шесть, и все имевшиеся места были отданы им. Мужчинам же предстояло спать прямо на полу. И — ничего. Притащили сена, разровняли, прикрыли простынями и так вот, без особых удобств, но и без заметной печали — уснули. Трудно спал Александр Трифонович: лежал на спине, дыхание было натужным, нездоровым, прерывистым. Мать очень была обеспокоена и наутро говорила ему об этом, просила побережиться, не пить, не переутомляться. На это он ответил:

— Нет, нет, мама, я последнее время, если и случается, то так, дня три... проходит. Купаюсь, придерживаюсь режима.

Утром 19 сентября, часов в семь, все мы были на ногах. Выпив по стакану чая, Александр Трифонович и Александр Григорьевич Дементьев пожелали прогуляться. Отправился с ними и я. Пошли по направлению к автострате Москва — Минск, которая совсем рядом, всего метров пятьсот-шестьсот от усадьбы. Вступив на асфальт, Александр Трифонович

предложил пробежать трусцой. Но и трусца для столь грузных, отяжелевших людей, какими были тогда Александр Трифонович и Александр Григорьевич, — нагрузка серьезная, и пробежать они смогли метров двести и уже запыхались, перешли на шаг. Шли минут двадцать. С правой стороны автострады, по ходу на запад, — братские могилы павших в Великой Отечественной войне. Здесь Александр Трифонович остановился:

— Давайте зайдем, почтим память погибших за родину.

Сняв головные уборы, мы подошли к тропинке между белых рядов из надгробных плит и, тихо продвигаясь, читали начертанные имена. Александр Трифонович не пропустил ни единой надписи и произносил имена шепотом, а когда уходили, — прочел четыре зарифмованные строки, не мог их запомнить, но что-то все же удержалось:

по смыслу стихи были очень похожи на концовку "Жестокой памяти":

И памятью той, вероятно,

Душа моя будет больна,

Покамест бедой невозвратной

Не станет для мира война.

Завтракали часов в десять. Затем сразу же, не помню, по чьему предложению, на «Победе» поехали в бывшее имение Мухиных, где, по словам Константина Трифоновича, родилась и росла известный скульптор В. И. Мухина. Это имение в пяти-шести километрах от станции Красное. Конечно, «Победа» не могла увезти всех, поехали человек шесть, хотя и это превышало норму, но расчет был на то, что нас никто не остановит на проселочной дороге.

Никаких строений там мы не нашли, но в старом и очень запущенном, заросшем диким подлеском парке еще можно было заметить остатки аллей, линии бывших дорожек. Сохранились там и дубы из посадок прошлых столетий. Под их кронами виднелись кусты калины, заросли черемухи, прочего древесного самосева. Александр Трифонович срезал ветку калины с гроздью красных ягод, вертел ее в руках, то отодвигая от себя на вытянутую руку, то приближая и рассматривая ее с разных сторон. А мне в ту минуту вспомнились слова из некрасовского стихотворения «Саша»: "Там из-за старой нахмуренной ели красные гроздьи калины глядели". Заброшенность и запущенность парка навевала грусть, и было неясно: виной ли этому прошедшая война или это была обычная бесхозяйственность тех, кто ведал и как-то распоряжался парковой территорией. Однако не было причин сожалеть, что мы побывали в бывшем, а точнее — на месте бывшего имения Мухиных, проветрились, коснулись остатков "старины глубокой", отдохнули на воздухе. Сентябрь уже по-особому окрасил природу: многие лиственные деревья контрастно выделялись ранней желтизной, и Константин Трифонович пробовал остановить на этом наше внимание: "Посмотрите, как красива умирающая природа!" Он же напомнил, что нас ждут дома, пора ехать обедать.

Когда мы возвратились в Лонницу, то как-то произвольно я обратил внимание на шофера, который бессловесно и старательно исполнял указания своего шефа, то есть Александра Трифоновича, часами и днями неотлучно оставаясь возле «Победы», принадлежавшей брату, в постоянном ожидании. Я не заметил, чтобы ему предложили пообедать, ну хотя бы посидеть в комнате. И я подумал, что, пожалуй, надо об этом сказать Александру Трифоновичу. Улучив удобный момент, когда никто не мог слышать нас, я возьми и скажи:

— Слушай, Саша! Почему же ты относишься к своему шоферу так, что и не вспоминаешь о нем? Может, можно пригласить его к обеду? Ведь скучно же ему в одиночестве.

— А ты, знаешь, не очень печалься о нем. Он получает побольше твоего. Так что не замрет:



человек не забудет сам себя накормить. Да я его ничем и не ограничиваю: пусть скажет, если ему нужно отлучиться для личных нужд. Нет, не переживай за моего шофера. Он на работе, и ему за все оплачено.

На этом и прервался наш разговор. Но я подумал: "Вот оно! Слава не всем под силу. Где же забота о ближнем, если границу рублем прочерчивают: "он получает побольше твоего"? Можно, значит, человека даже не замечать, если есть уверенность, что вознаграждение за услуги вручено?"

Произошло это, когда надо было выждать какое-то время, пока приготовят стол. Мы ходили вокруг дома Константина. Сад состоял еще из маленьких деревьев, которые Константин осматривал часто, и это приносило ему радость. Мы прошли к реке Ольшанке, и тут я посмел спросить Александра Трифоновича о том, что давно меня мучило:

— Саша, скажи мне правду: как могло случиться, что ты писал хвалебные стихотворения о Сталине, пока он был живой. Как могло случиться, что ты так резко начал совсем по-другому о нем же, о Сталине?

Для Александра Трифоновича этот вопрос был неожиданным-негаданным. Он не сразу ответил. Прошло несколько минут, мы шагали молча. Потом он ответил: "Я так чувствовал. Я подчинялся моим чувствам". Наш разговор на эту тему прервался: позвали к столу. Обед у старшего брата в его хате, им же построенной (правда, уже тогда старались обыкновенную хату называть домом), был обильным. Было на столе и соленое, и копченое, и птица запеченная с ароматным гарниром, и жареные грибы, и пироги, и пельмени, так что можно было только удивляться разнообразию угощений в семье кузнеца. А вот спиртного было только по чарочке, для мужчин. И дело не в скупости хозяев, а лишь в том, что Константин опасался, как бы не повредить Александру Трифоновичу, — предстоял отъезд вечером того же дня.

В общем, что ж? Пересказывать подробности того, как веселились, шутили и смеялись, нет необходимости. Все мы были довольны тем, что встретились, что родственность выжила, пройдя жестокие испытания. Вот только рано ушли от нас отец и младший брат Василий...

"Победа" должна была сделать два хода в Смоленск. Первым рейсом отправили женщин — их было пять, а вторым — уехали мы, мужчины.

Меня и Марию Васильевну с нашей маленькой Олей довели до нашей хижинки на 4-й Северной улице. Александр Трифонович и Александр Григорьевич Дементьев даже на минуточку забежали посмотреть, как мы устроились, как живем, но тут же уехали к нашей маме. Через день, 21 сентября, мы снова встретились у мамы. Александра Григорьевича уже не было: уехал к себе, в Москву, поездом. Эта встреча была особенно интересной: Александр Трифонович, как никогда прежде, интересовался нашим мнением о его произведениях. Спросил сестру Марию, что ей больше всего нравится из его сочинений.

— Очень трудно сказать, — отвечала она. — Больше всего, может, нравится и не самое лучшее. Потому, знаешь, Саша, только не смейся, пожалуйста, скажу: больше всего мне нравится восемнадцатая книга из "Страны Муравии" — и тут же продекламировала: — "Стоят столы кленовые, хозяйка, нагружай!.." Смущенно заулыбалась и даже закрыла лицо ладонями.

— Ну что ж ты так сомневалась? Очень похоже, что так оно и есть, — сделал он заключение и посмотрел на мать.

— А мне, Шура, так нравится твой «Ивушка», что не могу тебе и передать: "Ивушка-печник... умер Ивушка..." Она хотела тоже сказать так, как в самом стихотворении, но не получилось, захохотала, махнула рукой: дескать, ладно, посмейтесь...

— А что скажет Иван? — обратился он свой взгляд на меня. Я давно был готов ответить на подобный вопрос:

— Самым лучшим из всех твоих стихотворений считаю "Я убит подо Ржевом". Тронут им до глубины. А из поэм считаю лучшей "За далью — даль", хотя, конечно, говорю пока об опубликованной ее части.

Я тогда ни от кого не слышал и ничего не читал об этих произведениях и, естественно, говорил так, как думал.

Александр Трифонович поглядел на меня каким-то горячим, светящимся добротой взглядом и тут же привстал, пожал мне руку:

— Спасибо, Ваня! Я очень рад, рад, что так думает мой брат, еще спасибо тебе! Ты правильно понял это стихотворение, оно мне очень дорого.

Вскоре я стал собираться к себе, но мы еще не прощались, и я пригласил Александра Трифоновича побывать у меня еще раз.

— Спасибо, Ваня! Пожалуй, я заеду. Вот надо маме помочь насчет дровишек.

На кухне все еще сохранялась русская печь, сложенная покойным нашим отцом в первый же год после изгнания немцев из Смоленска; газа еще не было. Когда я вышел в прихожую, то неожиданно для себя увидел старуху. Это была теща Александра Трифоновича Ирина Евдокимовна Горелова. Я не был знаком с ней ни прежде, ни позже. Лет десять она с внуком жила в этой же квартире, в отдельной средней комнатке. Как, по какой причине она была поселена Александром Трифоновичем в эту квартиру, я не знаю и, наверное, никто не знает. Но для меня было загадкой уже одно то, что Александр Трифонович ни одним словом тогда о ней не вспомнил и она не была приглашена к нашему столу. Она не выходила из комнаты и не подавала никаких признаков, что она здесь есть.

Можно бы о ней и не упоминать в этих записках, но поскольку из довоенных писем ко мне и дневниковых записей Александра Трифоновича можно понять, что он относился к ней уважительно. А вот сейчас он как бы не хотел и знать, что она есть на свете. Она умерла, кажется, в 1960 году. Так что в одной квартире с нашей матерью она прожила лет пятнадцать. Как наша мать, так и Ирина Евдокимовна были на полном обеспечении Александра Трифоновича. Ежемесячно первого числа почта вручала переводы: матери — 150 рублей, теще — 100 рублей. Что же еще желать? Но если коснуться более сокровенной стороны жизни двух этих женщин, то, как говорится, "ни в сказке сказать, ни пером описать", — насколько их жизнь была мучительной для обеих. Они ненавидели друг друга. У одной была умная дочь, у другой — талантливый сын. Казалось, есть основание радоваться сватьям: их дети нашли друг в друге верных спутников жизни, смогли построить семейное счастье. Однако такого не случилось, и они постоянно враждовали. Как мне известно, наша мать скрывала от сына истинные взаимоотношения со сватьей, не жаловалась и не просила, чтобы он подумал об отдельной квартире для своей тещи. Но то ли он догадывался, то ли каким-то образом до него доходили слухи, он стал холоден к Ирине Евдокимовне и никогда о ней не спрашивал.

Как-то в начале семидесятых годов я гостил в Смоленске. Вместе с сестрами и братом Павлом мне пришлось быть у сестры нашей матери Елены Митрофановны. У ней было большое горе: только что похоронила мужа. Все мы хорошо знали Ивана Филипповича и были тронуты рассказом о его кончине. Выйдя на пенсию, он заскучал, стал томиться каким-то странным чувством и в конце концов наложил на себя руки. В общем, было очень тяжело слышать о том, как он накануне побывал у племянника в радиомастерской, взял отрезок кабеля и просил помочь Елене Митрофановне «закопать» его...

В тот же день мы ходили на кладбище. Душевной потребностью было почтить дорогих и кровно близких людей, поклониться их праху.

Благодаря Елене Митрофановне мы скоро нашли могилу отца. Здесь же похоронена и наша мама. На средства Александра Трифоновича над их прахом установлен гранитный памятник, на полированной части которого выбита надпись: имена родителей, даты рождения и кончины.

До чего же неузнаваемо стало само кладбище! Значительная часть его уже стерта с лица земли надвинувшимися массивами жилых многоэтажек. И, видимо, процесс этот будет продолжаться до полного уничтожения этого места — места вечного покоя наших предков.

Когда мы проходили тропкой между могил, Елена Митрофановна приостановила нас возле одной оградки. Она была сварена из ребристого арматурного металла, очень проржавела и покосилась. Прямоугольник оградки изнутри зарос сорной травой, а в центральной части был виден глубокий провал осевшей от времени земли.

— Это могила тещи Александра Трифоновича, — сказала Елена Митрофановна. — Здесь никто никогда не бывал с того дня, как ее внук поставил эту оградку...

Вернемся к тем дням 1956 года, которые Александр Трифонович провел в Смоленске. 23 сентября во второй половине дня к моей хате на 4-й Северной подкатили две «Победы» одновременно. В одной из них приехал Александр Трифонович, сестра Анна и мама. Во второй — корреспондент газеты «Правда» по Смоленской области. Имени его не помню, и, наверное, это не столь уж важно (дату я хорошо помню, кому будет нужно узнать, не составит большого труда). В нашей единственной комнате было прибрано и даже уютно, но не было в ней стола. Собственно, стол вот-вот должен был появиться, как раз я занимался им в пристройке, оставалось только отделать столешницу. Пришлось внести его, как говорится, белым, неотделанным. Получилось с какой-то стороны даже занятно. Александр Трифонович и корреспондент помогли мне затащить стол в комнату, приладить недостающие сиденья, положив на табуретки отрезок доски, участливо и по-простецки посоветовали хозяйке "не проявлять особого усердия и забот насчет угощений — хорош хрен да луковица", а все прочее они предусмотрительно прихватили с собой. Пока Мария Васильевна с мамой и сестрой собирали на стол, Александр Трифонович затеял разговор о мастерах и мастерстве. Началом послужила деревянная кровать моей работы, которая привлекла его внимание рисунком инкрустации. Он касался рукой полированной плоскости спинки, удивлялся тщательности соединений и врезок и никак не соглашался с моим объяснением, что все это не так сложно, как может показаться неискушенному человеку.

— Не боги горшки обжигают, это да, но, знаешь, обжигают их мастера! — сказал под конец.

В то время у меня имелось мало изделий, которые я мог бы охотно показать. Много по нужде было распродано, но все же кое-что нашлось. Я показал статуэтки, вырезанные из дерева, ажурные браслеты из кости, резные шкатулки и еще какие-то мелочи. Они произвели на Александра Трифоновича довольно приятное впечатление, и он с сожалением отметил, что я в свое время не получил должного образования.

— Да, Иван, в тебе — природный художник. И очень жаль, что сам ты долго об этом просто не знал. А впрочем, знаешь, все равно хорошо, ты — мастер. Порой мне самому так хотелось бы быть мастером какого-нибудь дела, например, быть хорошим печником.

Мы уселись за стол, но Александр Трифонович все продолжал начатый разговор. Он рассказал, что ему доводилось видеть у художников-скульпторов удивительные вещи:

— Как мне было ново и непонятно, когда показывали уродливые пни и разные коряги, на мой взгляд, пригодные только топить печь в каком-нибудь подовине, а мне говорили: "Вот,

пожалуйста, почти скульптурный портрет Гоголя; а вот это — Антон Павлович, а тут — Достоевский". Я прямо-таки поражался их смелости, можно сказать — не верил. Оказалось — правда, художник может видеть или чувствовать в исходном материале, что тот таит в себе, что обещает.

Но вот на столе парит свежая отварная картошка, яичница во всю сковороду, солёности на деревенский манер и «ниоткуда» — бутылка водки. И тут Александр Трифонович оставляет «схоластику» и, приняв позу какого-то далекого предка, запевает песенку о метелках: "Метелки вязали, в Москву отправляли. В Москве продавали — обратно езжали".

— Ну хорошо, дорогие мои! — громко и в то же время нежно и ласково начал Александр Трифонович. — До обидного мало, редко мы встречаемся, бываем вместе. Мама! Знаешь, я часто вспоминаю нашего Трифона Гордеевича. И недавно заметил, что многое во мне от него. Больше всего меня трогает его способность, его дар, если угодно, понимать и любить песню, а значит, и поэзию. Только подумать: в деревенской глуши, никогда ни с кем не встречался из просвещённых людей, не имел никакого контакта с ними, от которых, собственно, уходит в народ поэтическая мысль, а знал массу песен именно такого начала. Вот ведь что удивительно! Сколько я слышал в его исполнении песен, когда сам ещё не знал, кому она принадлежит. И "За рекой, под горой, хуторочек стоит", "По небу полуночи ангел летел", и "Что ты жадно глядишь на дорогу", и "Сижу за решеткой в темнице сырой", и даже "О, не буди меня, дыхание весны". Нет, право же, удивительный был человек!

На несколько минут Александр Трифонович приумолк и думал о чём-то своём. Как раз в этот момент корреспондент «Правды» начал говорить:

— Знаете, что такое талант Александра Трифоновича? Это — редчайшее явление, это — гордость советской литературы! Он — вели...

Александр Трифонович как бы сбросил с себя отвлечённость и, сделав злую гримасу, резко оборвал:

— Ах, как это мне не нравится, как это нехорошо! Зачем же так непорядочно поступать?!

— Александр Трифонович! Простите, пожалуйста! Я понял, что допустил ошибку. Да не то сказал, но я понял...

Александр Трифонович не дал ему договорить и обратился к сестре Анне:

— Нюра, давай споем песенку о перевозчике. Я помню, у тебя очень хорошо получалось.

Анна из всех нас, пожалуй, самая несчастная: семейная жизнь у нее не сложилась. Образования — никакого. Всю свою трудовую жизнь прошла санитаркой. Выше не поднялась. У нее росла дочка Надя. Ей и посвятила Анна всю свою жизнь, без остатка. Надя оказалась способной, получила (при помощи Александра Трифоновича) образование: окончила Московский государственный библиотечный институт, а затем защитила диссертацию кандидата педагогических наук. Вот это и была награда для нашей сестры за все, что она вынесла. От рождения и до конца дней своих она не разлучалась с нашей матерью. Бессловесно, безропотно несла Анна свой тяжкий крест, идя всегда рядом с тем человеком, который дал ей жизнь. Все претерпев, она жила каждый день тем, что вечером будет встреча с мамой, ей она что-то расскажет, в ответ что-то услышит. И главная отрада у нее была дочка Надя, Наденька, Надюша

Анна запела:

Перевозчик-водогребщик,

Парень молодой.

Перевези меня на ту сторону,

Сторону — домой.

Мама слушала и, безголосо шевеля губами и покачивая головой, как бы шла следом песни, про себя совершая тот далекий путь, листая календарь обратно. И не выдержала — прослезилась, когда Александр Трифонович в самом конце песни добавил от себя:

Дальней молодости слезы

Не до тех девичьих слез.

Как иные перевозки

В жизни видеть привелось.

Александр Трифонович достал сигареты и, оглянувшись вокруг, встал, кивком сделал знак, чтобы выйти покурить. В маленькой прихожей (она же и сенцы, и мастерская) он обратил внимание на мой рабочий стол, остановился:

— Твоя "студия"?

— Да уж как назовешь... Занимаюсь вот... по возможности.

Я показал ему «стяжку» интарсии, скрепленную гуммибумагой заготовку для портрета "Василий Теркин" по рисунку О. Верейского. В ней еще трудно было что-либо понять ему: вся лицевая сторона была закрыта полосками клеящей бумаги, другая же, нелицевая, представляла собой топорщившиеся шероховатые кусочки разноцветной древесины. Но когда я пояснил ему, как все это будет выглядеть в конечном итоге, он удивился:

— Ты, Иван, неузнаваем! Пусть не все тебе удастся из задуманного, но я вижу в тебе интеллигентного человека, живущего с интересом к делу. И это — главное в жизни.

(Кстати упомяну, что тот портрет Василия Теркина находится в музее Смоленского педагогического института, в экспозиции, посвященной жизни и творчеству Александра Трифоновича.)

Мы вышли на улицу и увидели медленно идущего старого человека с палкой. Александр Трифонович так внимательно посмотрел на его согбенную фигуру, что я невольно насторожился и ждал, что он скажет.

— Ты видишь, что человек не переставляет свою палку, а подтаскивает ее? — спросил Александр Трифонович. — Это — старость. Когда я вижу таких людей, куда-то одиноко идущих, мне становится грустно: что-то он еще не доделал, что-то его еще к чему-то обязывает, но смотрит он уже только — Александр Трифонович ткнул скрюченной рукой к ногам — туда!.. И заметь, — он тронул меня рукой, — они об этом не думают и не замечают этого — живут! Живут, как судьба позволит: "Родятся в радости и умирают в радости", как сказал о простых людях Лев Николаевич Толстой. Это очень хорошо сказано и, смею думать, не без основания.

Мы слышим надтреснутый, застоявшийся голос сестры Анны:

— Шура, Иван! Где вы? Что у вас там? Мама беспокоится. Идите в комнату!

— Мама! Мы сейчас видели человека, и мне показалось, что это? ...Нет, не сейчас, а

однажды, когда я буду старей-старей, немощный и с палочкой буду где-то ковылять, ничего не видя, кроме своих поочередно шаркающих ног. Вот мы и задержались...

— Что это, Шура, у тебя такие мысли? Ты говоришь мне, своей матери, о том, что тебя совсем не касается. Ты подумал о том, что мне не может это нравиться? Не лезь вперед батьки...

— Вот это, мама, очень правильно, что ты вовремя одернула «супостата», так сказать, по-матерински. А теперь... теперь, хоть и прискорбно, но... памяти безвременно ушедших позволим по семь граммов, "по чарочке, по нашей, фронтовой..."

Может, эта «фронтовая» сыграла известную роль или просто потому, что с кровными родными Александр Трифонович считал возможным и нужным вести себя как-то иначе, чем с кем бы то ни было, затрудняюсь сказать, но он спросил у меня вот о чем:

— Скажи, Иван, как бы ты поступил, если бы однажды, при каких-то обстоятельствах, увидел старого опустившегося человека, который тащился бы с котомкой в рваной, истлевшей одежде, и вдруг узнал бы в нем меня, твоего брата?

— Ну, дорогой мой брат, — ответил я, — да я был бы рад, что встретил тебя живым, был бы рад тебе помочь — сделал бы все от меня зависящее, чтобы избавить тебя от несчастья!

— Верю, Иван. Знаю, что не оставил бы меня в беде. — Он положил мне на плечо руку и умиленно посмотрел мне в лицо.

Мы сидели рядом и говорили, и совсем как-то забыли, что нас слушают. Александр Трифонович продолжал:

— Ты рад, что у тебя есть такой брат? Ну, то есть, что я — твой брат?

Этот вопрос был для меня так неожидан, что я растерялся и не знал, что ответить. Во-первых, я боялся, как бы не обидеть брата той правдой, которая действительно имела место, а во-вторых, не хотел отделаться выдумкой, не хотел и не мог лгать в угоду уверенности брата, что мы, его братья и сестры, просто счастливы, что он есть на свете. На самом деле все было несколько иначе. Жизнь свидетельствовала: мы (братья и сестры) никогда не были вхожи к брату как к брату. Для нас он был "за кордоном". И не это, допустим, главное, пусть оно и так, хотя — как же так? По какой-то нужде Константин хотел видеть Александра Трифоновича. Поехал в Москву, через посторонних людей раздобыл адрес, добрался до той сказочной Пахры. У бетонного гаража-ограды была овчарка: ходу нет. Постоял, подумал: "Как тут быть?" Но живые там были, вышла сама Мария Илларионовна.

— Что вы хотите? — спросила она, не открывая калитки. — Несколько секунд я молча смотрел на нее, она — на меня, — рассказывал мне Константин, — затем сказал только одно слово: "Ни-че-во!", повернулся и ушел.

Она "не узнала" Константина Трифоновича, хотя общеизвестно, что он и Александр схожи, как близнецы. Это — страшно.

Но это еще ничего не говорит о самом Александре Трифоновиче, скажет или подумает читатель. Возможно, но все же, все же...

Итак, мне нужно было ответить на вопрос: рад ли я, что у меня есть такой знаменитый брат?

— Да, я всегда радовался твоим успехам, — сказал я, — гордился, что ты наш, ты — брат. Я носил твое имя возле сердца, радуясь каждому твоему слову, встреченному мною за тысячи верст от тебя. Но для большинства людей, с которыми приходилось и приходится встречаться, я — лишь однофамилец твой. Как только назову себя, тут же мне сообщат:

"Писатель есть Твардовский, «Теркина» написал. Знаете?" — "Да, — говорю, — знаю, он мой брат". — "Ну-ну! Брат...", посмотрит так одним глазом, почешет затылок да и прыснет со смеху: "Куда хватил!"

Александр Трифонович слушал меня не без улыбки, хотя, видимо, соглашался, что такое может быть.

— Так что, — продолжал я, — радость моя нередко омрачалась, но что поделаешь... Тебе же говорили земляки: "Высоко, земляк, пролез", вот ты и должен понять меня. Что ж можно добавить? Многое зависит от наших отношений, а они зависят от тебя. Чем ближе ты будешь к нам, к своим братьям, тем больше мы будем рады. Ты не обиделся?

— Может быть... — сказал он, вздохнув, грустно посмотрел на меня, затем взял бутылку и налил себе и мне водки. Он упустил из виду, что рядом сидит его товарищ, корреспондент, и я напомнил брату об этом.

— Простите, пожалуйста, я задумался и... бывает. — Он налил и товарищу. — Продолжим! — сказал и, морщась, выпил. Закусил очень слабо и, глядя на меня, начал разговор совсем о другом.

— А не согласишься ли ты поработать у меня? Мне нужно надстроить книжные шкафы. Я привык к ним, и мне не хочется их заменять, но надо их как-то нарастить, что ли, или сделать в том же стиле надставки. Как ты думаешь, это можно сделать? Ты хорошо зарабатываешь у меня. Это без шуток!

— Я был бы счастлив, если ты смог бы обеспечить нужным материалом и, конечно, условиями, чтобы я никому не мешал и чтобы мне также...

Он не дал мне договорить, заверил, что все это можно уладить.

Я подумал (правда, с долей сомнения): а почему бы и не поработать, почему бы не показать брату, что и как я могу. Мое положение было весьма незавидное в смысле финансов, я даже обрадовался, что есть случай заработать, и мы как бы договорились, что он даст мне знать, когда можно будет к нему приехать с инструментом. Но вот он уже уезжал, и я, выйдя проводить, забеспокоился, что он не записал мой адрес, напомнил ему. Он, сидя в машине, взглянул на номер дома, что-то прошептал раза два, кивая головой, но так и не записал. И мне показалось, что дело не сбудется.

Месяца два-три я ждал письма с приглашением, строил всякие догадки, но так ничего и не дождался. Рассказал Константину, что так-то и так, имел разговор — жду.

— Не жди! — сказал Константин. — Пустое! — махнул рукой: дескать, разговор после рюмки...

В Смоленске моя семья не прижилась. Ровно через полгода, в конце марта 1957 года, мы спешно продали свое жилье и уехали обратно в Нижний Тагил. Перед отходом поезда я послал телеграмму Александру Трифоновичу, просил его встретить. Не смею упрекнуть его по этому поводу — не было случая, чтобы по телеграмме он не вышел к поезду. И на этот раз Александр Трифонович стоял как раз в том месте, где должен быть наш вагон.

— Что же такое случилось, куда вы отправились? — был его вопрос.

Я рассказал все, как оно и было, — не можем прожить на мой заработок, перспектива не сулит лучшего и поэтому решили возвратиться на Урал. Да, покривился Александр Трифонович, не понравилось ему наше решение.

— Ну хорошо, — сказал он. — А «рука» там есть, чтобы иметь место, квартиру? Ведь всякий переезд — не шутейное дело.

Я сказал, что в месте нет сомнений: знают меня, возьмут с радостью, но квартира, жилье — дело проблематичное, нужно будет покупать хату.

— Так. Почти ясно. Но сейчас куда вы намерены?

— Да куда же? На Казанский вокзал.

— Тогда пойдем к остановке такси.

Машин было много, но Александр Трифонович сразу же спросил громко и холодно: "Кто на очереди?" Таксисты наперебой предлагали свои услуги, но он снова повторил: "Кто на очереди?" Такой нашелся, и мы поехали. После оформления билетов нам предстояло ожидать поезда часа три. Имея в виду, что по приезде в Нижний Тагил мне нужно будет приобретать собственную жилплощадь — покупать хату или, как принято говорить, дом, я объяснился с братом насчет возможного займа у него.

— Как много тебе нужно? — спросил он.

Прикинув, я сказал, что нужно тысяч десять.

— Что могу тебе сказать? Сумма меня не пугает. Ты можешь рассчитывать на пятнадцать. Но дело, понимаешь, в том, что сегодня у меня нет даже на чекушку. Нужно будет тебе сделать так: приедешь в Тагил, сразу же заведи сберегательную книжку, положи хоть рублей пять и вышли мне номер счета. Это нужно для того, чтобы не платить за перевод, — стоит дорого, а перевод на счет — законное право; оно, кажется, ничего не стоит.

— Так, может, пойдем посидим в ресторане? — предложил я.

— Не откажусь, — встречаемся редко.

Часы ожидания мы провели в ресторане. Александр Трифонович проводил нас к поезду, и мы расстались. Через двое суток были в Нижнем Тагиле, остановились у сестры жены.

Дней через пять нашли и сторговали домик. В задаток отдали почти все имевшиеся у нас деньги в расчете, что не сегодня-завтра получим обещанное братом. В сберкассе справлялись ежедневно, но перевод на сберкнижку не поступал. Срок по договору неумолимо приближался, и мы были на грани утраты права на внесенный задаток. Заказали переговоры по телефону. Связь с Москвой только в ночные часы. Переговоры не состоялись: квартира брата вызова не приняла. Послали телеграмму — ответа не получили. Что делать? Решаю ехать в Москву поездом. Но это только сказать "решаю ехать", а в душе горю жгучим стыдом, как только подумаю, куда и зачем еду. Да и денег же кое-как наскребли только на билет.

В Москву приехал 30 марта часов в девять вечера. На новой квартире у брата никогда не бывал, где та Первобородинская, не имею понятия, пришлось брать такси. Оказалось, не очень далеко, доехали скоро. Но как я чувствовал себя, не могу передать: все во мне взвинчено до предела, и я только и думал: с чего начать, как сказать, как себя держать? Несколько минут постоял у подъезда, вроде немного успокоился. Поднимаюсь по лестнице как можно медленнее, чтобы не запыхаться. Кажется, на шестом этаже нахожу семьдесят второй номер. Стою. Отдыхаю, собираюсь с мыслями. Шапку снял, причесался. Перед глазами кнопка звонка, и наконец я нажимаю ее. Из глубины квартиры слышатся приближающиеся шаги, щелкнул замок, и дверь открылась: Мария Илларионовна смотрит на меня.

— Здравствуйте, Мария Илларионовна! — Она молчит. — Вы меня не узнаете?



— Да, не узнаю, — отвечает.

— Я брат вашего мужа, Иван.

Она повернулась и ушла в глубь квартиры. Мне слышно, как она сказала: "Иди, брат моего мужа приехал!" Я продолжаю стоять у дверей, не смея переступить порог. В домашнем, в каком-то махровом костюме, медленно и болезненно подходит Александр Трифонович.

— Ты, Ваня? Ну проходи же! Что это стоишь в дверях? Что-нибудь случилось? Рассказывай скорей! Что ты приехал?

Из его слов я мог понять, что ни мое письмо, ни телеграмма до него не дошли.

— Александр, дорогой мой! Ты же почему-то не ответил ни на письмо, ни на телеграмму. От телефонного разговора квартира отказалась. Тебе ясно теперь?

— Какое письмо? Какая телеграмма? Я ничего не знаю. — Он глядел на Марию Илларионовну и ждал ответа.

— Ты две недели не смотрел почту!

Александр не стал продолжать, для меня все было ясно. Он увел меня в свой рабочий кабинет, усадил на тахту, придвинул кресло поближе ко мне, сел, начал тихо:

— Ты видишь, в каком я состоянии? Мне очень трудно сейчас о чем-либо говорить, в такие дни я никого не принимаю.

Да, таким еще никогда я не видел брата: лицо отекшее, глаза воспаленные, дыхание хрипящее и прерывистое, но мысль его была совершенно логичной и ясной. Он закашлялся и ушел. Мне было слышно, как мучительно он кашлял, будто в нем все выворачивалось изнутри с каким-то затыжным иканием. Примерно через полчаса он возвратился, снова сел в кресло, опять стал расспрашивать, как я доехал, как устроился и опять: "Что случилось, зачем приехал?" Я снова рассказывал ему, что согласно нашей договоренности сделал все: письмо отправил, номер счета — тоже. Ждал ответа, но ни на письмо, ни на телеграмму — ни звука, а от телефонного разговора даже отказались.

— Ладно! Ты здесь, на тахте, давай ложись спать, — сказал он. — Утром поговорим.

Но какой мне там сон! Я проклинал все на свете. Часа в четыре ночи он опять пришел в кабинет:

— Ты не спишь? И я, понимаешь, не могу уснуть. — Помолчал. — Денег у меня, Иван, нет. Попробую поговорить с Марией Илларионовной. Может, что-нибудь получится. Но это — утром. Спи!

Кое-как дождался утра. Многое мне казалось странным и непонятным. "Попробую поговорить с Марией Илларионовной" — слова знаменитого брата! Какая жуткая зависимость! Как это не вяжется с его громкой славой. И мне уже не хочется ничего, никакой помощи, если она так дорого стоит брату.

Александр Трифонович входит и говорит:

— С добрым утром! Иди, Иван, хоть чашку чая выпей. — Тут же сообщает, что она дает десять тысяч. — Только, пожалуйста, подойди к ней и поблагодари. Да, да. Сделай это, дорогой Иван.

Почему-то мне было очень трудно выполнить эту просьбу. Я чувствовал себя каким-то

грабителем и лишь волей больших усилий подошел к ней, сказал:

— Я обязан благодарить вас, уважаемая Мария Илларионовна! Примите, пожалуйста, мое сердечное вам спасибо. — Получилось неискренно, но что-то еще прибавить просто не мог.

— Денег я вам не дам. Пошлю их вашей жене, — окатила она меня.

Нет, я не упал, но дар речи утратил. Еле отошел...

Александр Трифонович все это видел и слышал, что-то хотел сказать, но, кроме какого-то "Ну-у за...", так ничего и не сказал.

На большом продолговатом столе одиноко стояла чашка остывшего чая и рядом с ней, на блюде, — ломтики хлеба. Это было поставлено для меня.

Я стал собираться в дорогу, на вокзал, хотя не знал, в какое время отходит нужный мне поезд. Меня не задерживали. Александр Трифонович заметил, что на мне шапка, снял ее и одел свою темно-синюю кепку: "Жарко тебе", — сказал он. Я откланялся и ушел.

Когда я спустился по лестнице на один марш, то услышал:

— Ванюша! Подожди! — Я обернулся. — Слушай, Ваня, возьми-ка хоть вот эту бумажку. Мало ли что в дороге... — Протянул мне сотенную.

Часов двадцать мне пришлось ждать нужного поезда — с утра до поздней ночи. Все я передумал, и очень обидно было так мучительно болтаться на вокзале в городе, где живет родной брат. Разве нельзя ему было позвонить, справиться о поезде; наконец, предложить поесть? Мелочи? Нет! Не мелочи это.

Деньги Мария Илларионовна прислала, как и сказала, моей жене Марии Васильевне. Но поскольку не мне, то я считал, что и не должен я ее благодарить. Два года не писал и брату. Но время приглушает чувство обиды. И однажды, в марте 1959 года, я написал-таки Александру Трифоновичу. Я уже забыл, о чем писал, но, видимо, это было душевное письмо. Вот что он писал мне в ответ:

М. 22.04.59

Здравствуй, дорогой Иван!

Очень рад, что ты наконец подал весть о себе, а то мне уж казалось бог знает что. Ведь ты не счел нужным по возвращении в Тагил написать два слова: "Получил, спасибо". Это элементарная вежливость. Для меня, конечно, это не имело значения, но перед женой, у которой я выпросил деньги для тебя, мне было потом неудобно: или человек обиделся, или он настолько темный, что не понимает неприличия своего молчания.

Но это, конечно, пустяки, только на будущее в отношениях с людьми учти это.

Очень рад, что у тебя все наладилось на новом месте, особенно хорошо, что ты сам доволен.

Ты вспомнил в письме о каких-то моих словах, неприятных тебе, но, боже мой, ты же видел, что я был просто невменяем. В такие периоды я никого не принимал, мне было очень тяжело. Но и это все пустяки, было и прошло, вспоминать не нужно.

Если ты еще испытываешь трудности, в смысле долгов и т. п., просто черкни, — вышлю, сколько нужно, без всякого напряжения.

Вырезка из газеты тоже порадовала меня, хорошо, когда работа оценивается по достоинству, но не придавай большого значения этой репортерской заметке, будь выше этого.

Будт здоров. Привет мой жене и дочке.

Твой А.Твардовский

Наша переписка с Александром Трифоновичем, однако, была очень нерегулярна. Объясняется это, пожалуй, тем, что не позволял себе лишний раз отвлекать его своими письмами от основного дела.

Барвиха, 23.08.61

Дорогой Иван!

Письмо твое, отправленное на мой старый адрес, добралось до меня только третьего дня: на городской квартире никого не было, мы с М. И. здесь отдыхаем с первых чисел августа. Если ты и был в Москве, как полагаю, возле 10–12.08, ты найти меня там не мог

Я очень рад, что жизнь твоя складывается, по-видимому, вполне удовлетворительно и что ты доволен ею, — это самое главное. Очень хорошо, что ты пристрастился к чтению и собиранию книг. Книга, как говорится, друг, который никогда тебе не изменит, не подведет. Отсюда, конечно, не следует того, что не нужно друзей живых.

Получил ли ты, кстати, мой четырехтомник, который я, помнится, послал тебе? Получаешь ли ты ж-л "Новый мир", редактируемый мною? Могу тебе его выписать.

По возвращении из санатория сразу поеду в Смоленск, т. к. давно собираюсь и все были разные помехи. Если ты успел побывать в Смоленске, напиши, какие у тебя там были впечатления о нашей родне — они мне пишут редко и очень скупо. М б., я не знаю чего-нибудь, в чем нужна моя помощь.

Желаю тебе всяческого благополучия. Привет мой твоей жене и дочери. Будь здоров и счастлив.

Твой брат А.Твардовский

Случаи, когда мои письма по какой-то причине не доходили до Александра Трифоновича или же в суматохе дел он забывал об их получении, бывали. О том, что получил от него четырехтомник, я сразу же благодарно ему ответил.

М. 25.12.62

Дорогой Ваня!

Получил твое хорошее письмо, рад, что у тебя все благополучно и что живешь ты интересами, так сказать, расширенными, много читаешь. Это очень хорошо и, кстати сказать, заметно отражается на том, что называют культурой письменной речи. Так что ты напрасно говоришь что затрудняешься мне писать, опасаясь будто бы каких-то погрешностей, — все у тебя вполне грамотно и ловко.

Благодарю тебя за приглашение побывать в Н. Тагиле, — конечно, буду рад заглянуть, когда соберусь снова в большую дорогу. Но сейчас занят до крайности, в частности, сижу над новой

вещью, от которой, к сожалению, меня то и дело отрывают обстоятельства.

Если ты не подписался на "Н. м." на 1963 г., то сообщи — устрою.

Желаю тебе и Марии Васильевне всего самого доброго.

Будь здоров, обнимаю тебя.

Твой А. Т.

М. 15.01.64

Дорогой брат Иван!

Спасибо за письмецо, за память, — не балуешь, надо сказать, вестями о себе. Так, например, я из газетной заметки узнал, что где-то там ты выступал на вечере, посвященном моим писаниям, а от тебя самого — ни гу-гу. Поэтому не взыщи, что и я тебе отвечаю не вдруг, может быть, просто потому, что адреса ни в письме, ни на конверте не было указано, значит, нужно искать, отложить письмо, тем более что почта у меня огромная, никогда не бывает так, чтобы всем было отвечено.

Но это — к слову. Спасибо за приглашение побывать на Урале в день твоего, как говорили в старину, тезкоименитства. Насчет приезда именно к такому дню, скажу прямо, гадательно, но все же прошу, по крайней мере, сообщить мне этот день (дату твоего рождения). А там видно будет. Предстоит мне год за годом откладывавшаяся поездка в США, много чего предстоит и в этом году, как прежде. Во всяком случае — буду рад поздравить тебя, хотя, по правде, радости-то особой нет: вот уж и тебе 50! Такое наше дело стариковское.

Желаю тебе наперед в добром здравии встретить и проводить этот день. Привет всем твоим.

Обнимаю!

А. Т.

Небольшое разъяснение к приведенному выше письму 25 октября 1963 года в Нижнем Тагиле в помещении книжного магазина № 2, на Уралвагонзаводе проходила читательская конференция, посвященная творчеству Александра Трифоновича. По просьбе участников этой конференции мне пришлось выступить и рассказать о детстве и юности брата, об этом писала газета "Тагильский рабочий" Кто-то переслал газету Александру Трифоновичу. Вот так он и узнал о моем выступлении. Сам же я сообщить ему об этом почему-то постеснялся.

Художественная первомайская открытка.

Дорогой брат Иван!

С праздником тебя и твое семейство, доброго тебе здоровья и настроения, обнимаю тебя.

Твой А. Т. 28.04.64. М.

М. 29.10.64

Дорогой брат Иван!

Ты напоминаешь мне о своем 50-летию, о желании видеть меня в этот день в своем доме так,

как будто это всецело зависит от моего желания или нежелания. Но это, к сожалению, не так. Вот уже кончается месяц моего отпуска, а я никуда не уехал, ни за что серьезное не принимался, бываю в редакции, как обычно, читаю рукописи и т. п. Даже в См-ск не собрался, хотя твое письмо, то, что ты сообщаешь о здоровье мамы, понуждало меня поехать туда. Все время у меня что-то не кончается, а что-то начинается. Да и настроение для поездки — не последнее дело. А оно обусловлено состоянием дел в журнале, требующих моего присутствия, всякими натяжениями и осложнениями.

Так что не сетуй, не обещаю, как ни соблазнительно твое заверение относительно того, что ты не дашь мне ни рюмки водки, ни кружки пива. (Это у тебя очень смешно получилось: как будто я не еду из опасения напиться у тебя!)

Но ты, пожалуйста, напомни мне дату твоего юбилея, чтобы я мог соответствующим образом приветствовать тебя.

Желаю тебе и твоей семье всего самого доброго. Будь здоров и, по возможности, счастлив.

Твой А. Т.

В августе 1964 года я собрался поехать в Смоленск и письмом сообщил об этом Александру Трифоновичу. Вскоре получил телеграмму: "Телеграфъ адрес редакции день приезда номер поезда — Александр".

На Курском вокзале он встретил меня. Вместе с ним был Игорь Александрович Сац, которого я уже знал по предыдущим встречам. На машине брата мы поехали на Смоленскую площадь в гастроном, где Александр Трифонович довольно быстро «организовал» пакет для мамы и сестер, который я должен увезти в Смоленск.

На Белорусском вокзале зашли в ресторан. Мест свободных почти не было, но мы увидели стол с табличкой: "Не обслуживается". Александр Трифонович посмотрел туда-сюда и сказал: "Садитесь за этот — обслужат". Тут подошел официант: "Стол не обслуживается". Тогда брат попросил: "Нужно, товарищ, обслужить. И чем скорее, тем... будет дороже". Возражений не последовало.

Прощаясь у вагона, Александр Трифонович предложил мне записать адрес и номер телефона Саца:

— Это тебе может пригодиться, на всякий случай. Запиши! Игорь Александрович всегда сможет чем-то помочь тебе, если меня не окажется у себя. Ну, будь здоров и приветствуй родных от меня!

Поезд тронулся.

М. 16.11.64

Дорогой Иван!

Спасибо за твое доброе и подробное письмо, хотя оно явилось в результате моего шуточного упрека тебе в молчании.

Прости, но не могу сейчас написать тебе более обстоятельно, — после пленума такой завал почты дома и в редакции, что, как обычно, друзья и родные откладываются на "потом".

Чем черт не шутит — вдруг да и приеду к тебе в Нижний Тагил по теплым дням, только об этом никому ни слова.

Будь здоров, привет мой М. В. Обнимаю тебя.

А. Т.

Нет, не приехал он в Нижний Тагил. Не смог я уговорить его. Конечно, обидно, что жизни не хватало ему, — все на «потом», все было недосуг. И нет у меня ни единой его фотографии. Очень жаль...

В феврале 1965 года я серьезно заболел. Участковый врач, не задумываясь, определил: "Грипп. Никуда не ходить, лежать". По истечении недели меня госпитализировали в тяжелом состоянии: пневмония правого легкого. Дней через двадцать наступило облегчение, но рентгеноскопия дала повод к подозрению о новообразовании, — попадаю на консультацию к онкологу. Просветили, осмотрели: "Продлить противовоспалительное лечение". Затем еще раз, и еще, и еще: "Продлить..." В итоге мне предложили лечь в онкологический диспансер. Но я уже успел так насмотреться на несчастных людей, в том числе и на тех, которым вскрывали грудную клетку, после чего они чувствовали себя обреченными, что впечатление сложилось самое мрачное. Согласиться с тем, что скоро будет тебе "ломать ребра", я не хотел и от лечения в местной онкологии отказался.

— Что вы хотите предпринять? — спросила консультирующий меня онколог.

— Поеду в Москву.

— Простите за откровенность, на вашем месте я приняла бы такое решение на месяц раньше. Но вы понимаете ли, что мы не можем дать вам направления?

— Понимаю. Историю болезни можете дать?

— Да, это мы можем.

В тот же день, 27 апреля 1965 года, я, быстро собравшись, доехал на такси до свердловского аэродрома «Кольцово», купил билет на самолет, — повезло. До вылета оставалось всего минут двадцать, и в три часа был уже в Домодедове.

Я спешил к брату. Меня гнало страшное слово «рак». Я верил, что брат не оставит меня в беде. Адрес редакции "Нового мира" я знал, но бывать там не приходилось. В четыре часа я был у подъезда. Не без волнения поднимаюсь по лестнице необычного, без поворота марша прямо на второй этаж; прохожу тесным коридорчиком и попадаю к секретарю. Справа от меня дверь с табличкой: "Главный редактор Александр Трифонович Твардовский".

— Софья Ханановна? Здравствуйте! Я — Иван Трифонович.

— Здравствуйте, Иван Трифонович! Рада видеть вас. Присядьте, пожалуйста.

С сочувствием и огорчением она сообщает, что Александра Трифоновича нет.

— Где же он? Можно ли его видеть?

С предупредительной осторожностью она говорит, что, наверно, он на летней квартире, но... беспокоить его нельзя. Он в таком состоянии...

Я рассказал ей кое-что о своем несчастье, но тут же и пожалел. Надо, думаю, ехать к Игорю Александровичу Сацу.

Встретил он меня тепло и приветливо:

Раздевайся, отдыхай, рассказывай! — были его первые слова. Когда же узнал о причине

моего приезда — предложил спуститься с шестого этажа на первый:

— У нас там, на первом, хо-ро-ший... гастроном! — хихикнул и добавил: — Вот что я тебе скажу, Иван Трифонович, никакого вреда твоим дыхательным не будет, если мы разопьем с тобой бутылочку. А там подумаем. Александра Трифоновича беспокоить не будем, не надо.

Спать он меня уложил на диване в своем кабинете, а сам продолжал работать над какой-то рукописью. Утром Игорь Александрович куда-то отлучился и в девять часов подогнал машину, на которой и отправил меня в сопровождении некоего Эдуарда Ивановича — сотрудника "Нового мира", в торокальное отделение НИИ клинической и экспериментальной хирургии, которым тогда заведовал Б. В. Петровский.

В первый же день профессор Перельман произвел рентгеноскопию, на основании которой подозрения в заболевании раком не подтвердились. И все же оставили меня для всестороннего обследования.

Конечно, я был очень обеспокоен тем, что мне не случилось видеть самого Александра Трифоновича и все произошло в его отсутствие, хотя он, как я уже отмечал, лично рекомендовал мне в случае нужды и отсутствия его самого обращаться к Игорю Александровичу.

И надо же так случиться, что в тот день Александр Трифонович был дома, на своей городской квартире, и все стало ему известно: что приехал я, что нахожусь в клинике. Надо думать, что не весьма было приятно ему слышать, что поспешили обойтись без него.

На второй день ко мне приехал Эдуард Иванович, которого послал Александр Трифонович с запиской:

"Дорогой Иван!

Посылаю, что нашлось под рукой из просимого. (Хотя я ничего не просил, но мне передали бритву, пасту, тапочки. — И. Т.) Звони Софье Ханановне — в чем нуждаешься и какая может быть помощь с моей стороны (тел. К.4-57-01).

Надеюсь, что излишние твои опасения рассеются. Сообщай (хоть письменно), что говорят врачи. Мой домашний — Б7-42-00, подойдет Оля. Я завтра также буду дома от 1 ч. дня.

Твой А. Т. 29.04.65

В записке я не заметил какого-либо недовольства брата. Все мне показалось нормальным и здоровым. Я подумал, что Игорь Александрович рассказал ему все как было. Я без всяких сомнений подошел к автомату и набрал номер.

— Ты, Иван? — услышал я голос брата. — Ты как же так посмел, не поставив меня в известность... — Такого жару мне поддал, что я не знал, куда деваться. Но он недоговорил, в трубке что-то треснуло и оборвалось.

Весь остаток дня, вплоть до позднего вечера, я очень плохо себя чувствовал. "Да что же с ним случилось? Ведь записка была датирована тем же днем. Такие перемены!" — искал я и не мог доискаться истинной причины «завихрения». Вечером входит в палату лечащий врач Григорьева и говорит, что только что разговаривала с Александром Трифоновичем. Он просил передать, что завтра придет ко мне.

Часов в двенадцать следующего дня кто-то из больных, видимо, поджидавший свидания и потому обращавший внимание на проходную, вдруг говорит: "Твой идет! Точно — он,

Твардовский!" Я несколько был удивлен, но когда взглянул — правда: в тесном, не по его фигуре халате он шел к подъезду с пакетиком.

Войдя в палату, сказал: "Старость — не радость. Поднялся на четвертый этаж, и дух вон". Прошел к столу, положил пакет и ко мне: "Ну, здравствуй, Ваня!" В его голосе я почувствовал, как мне показалось нотку раскаяния. Он обнял меня, затем спросил, где можно сесть и покурить. Мы вышли в холл, где разрешалось курить, сели в свободные кресла, и тут же обнаружилось, что у него нет сигарет. Там были люди, которые это заметили и начали его угощать, но он не хотел брать первые попавшиеся, сказал, что хорошо бы те, "с пошловатым названием «Ароматные». И я видел, как несколько человек засуетились, и по коридору пошло гулять слово «пошловатые». Дождаться он не стал, закурил первые предложенные, но через несколько минут были найдены и "Ароматные".

Поговорить спокойно нам так и не дали. Любопытствующие, пытавшиеся хоть взглянуть на автора «Теркина», стеной напирали. И поэтому Александр Трифонович долго не задержался. Между тем он спросил: "Нет ли здесь пива?" Пива, конечно, не было. Потом, немного спустя, сказал:

— Знаешь, там, на проходной, «черкесы» дерутся из-за халатов — не хватает приехавшим на свидание, а я пообещал, что скоро возвращусь. Пойдем с тобой потихоньку и поговорим... Ты понимаешь, я вчера обидел тебя. Не сердись. Трубку-то у меня отняла Мария Илларионовна...

На лестничной площадке остановились. Он рассказал, что ездил в марте в Смоленск с Марией Илларионовной:

— Маму захватил еще живой. Какие муки она переносила! Была еще в сознании и понимала, что мы приехали ее хоронить. Ах, как это страшно! И на самом исходе сказала: "Не-си-те меня в ро-ов". И еще вот что: Мария Илларионовна провожала ее с глубокой скорбью.

Мы сошли вниз, остановились, и он сказал:

— Ванечка! — Никогда прежде он так не называл меня. — Оставим все между нами.

Пожали друг другу руки, и он ушел. Ушел от меня навсегда. Живого его мне больше видеть не пришлось.

Шестнадцать дней я пролежал в той клинике и все ждал, что вот он позвонит, вот придет, вот пришлет записку, но нет, не дождался.

Подозреваемой болезни у меня не обнаружили, и я был выписан 14 мая. На душе, однако, было нехорошо — от брата не было ни привета, ни ответа. На вокзал меня провожал Эдуард Иванович. Мария Илларионовна передала с ним сто рублей, но я отказался их принять. Мне денег не нужно было, я просил Эдуарда Ивановича отдать их обратно. Вот так, с чувством, прямо надо сказать, обиды на брата я уехал к себе в Нижний Тагил.

По семейным обстоятельствам в декабре 1968 года мы переехали на жительство в Сибирь, в Красноярский край. В 1970 году брат Константин сообщил, что Александр тяжело болен, но узнал об этом не от самого Александра, а "из третьих рук". Я ответил ему, чтобы он поехал проведать больного брата, и он это сделал, хотя это было очень непросто Александр находился в Кунцевской больнице, и предстояло много хлопот, чтобы попасть в нее. Все же ему удалось навестить больного, но Александр был уже в таком состоянии, что не владел речью.

После моей последней встречи с братом Александром в 1965 году, во время моего пребывания в московской больнице, переписки между нами не было. Какое-то время я



ожидал и надеялся, что он поймет, почему я молчу, и первым напишет мне, но этого не случилось. А 19 декабря 1971 года я услышал по радио о кончине брата Александра. Прилететь на похороны мне удалось лишь к моменту, когда на Новодевичьем у гроба брата совершалась прощальная церемония. Я с великим трудом смог приблизиться к гробу: прощались с покойником тысячи его друзей и почитателей.

## ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

В статье "О родине большой и малой" (1958 г.) Александр Твардовский писал, что "...чувство родины в обширном смысле — родной страны, отчизны — дополняется еще чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краев, района, города или деревушки. Эта малая родина, со своим особым обликом, со своей — пусть самой скромной и непритязательной — красой предстает человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой родине, что обнимает все малые и — в великом целом своем — для всех одна".

Малая родина, как названы поэтом родные места, "...для всякого художника, в особенности художника слова, писателя..., имеет огромное значение".

Это о малой родине вообще. А вот строки Александра Твардовского из очерка "На родных пепелищах" (1943 г.) о своей личной малой родине, зауженной до родного хутора Загорье, уничтоженного злыми силами в первые годы коллективизации: "Не нашел вообще ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза, могу представить себе весь до пятнышка и с которым связано все лучшее, что есть во мне. Более того — это сам я как личность. Эта связь всегда была дорога для меня и даже томительна".

Эти слова мне бесконечно дороги и милы, поскольку я так же чувствую и так же, закрыв глаза, всегда мог представить "все до пятнышка", что нас окружало в детстве. И я рад, что брат не забыл об этом сказать в своем творчестве.

Наш родной загорьевский хутор перестал существовать в 1931 году, когда мне было шестнадцать. Семья была вывезена на гиблое спецпоселение в Зауралье, на таежную реку Лялю. Возврата в родные места так и не произошло. Сложные обстоятельства тех лет разбросали всю семью кого куда. Но в душах своих, не преувеличивая, могу сказать, все мы бережно хранили память о своей малой родине. И где бы ни случилось нам жить и работать, мы с трепетом вслушивались и вчитывались в каждую новую строфу Александра Трифоновича, где упоминались родные места, смаковали и заучивали наизусть стихи "На хуторе Загорье", "Поездка в Загорье", "За тысячу верст", «Братья», — словом, каждую строку с эпизодами из пастушеской поры нашего детства, что волновало и нежно трогало наши чувства.

Проходили годы и десятилетия, но все не было случая ступить ногой на отчую землю, "...где таинству речи родимой на собственный лад приобщен". Удерживала все та же причина: раз уж почти вся жизнь прошла под знаком "социальной неполноценности", то и заявляться туда было не с руки.

Но вот весной 1977 года я получил письмо от старшего научного сотрудника Смоленского

областного музея-заповедника Раисы Моисеевны Минкиной. Она обращалась ко мне с просьбой подумать и попытаться изготовить что-либо для экспозиции, посвященной А. Т. Твардовскому, поскольку было ей известно, что по профессии я резчик по дереву и знаю работу по интарсии. К тому времени одна из моих поделок находилась в музее Смоленского пединститута. "А не предложить ли макет нашей бывшей загорьевской усадьбы?" — задумался я. И снова вспомнились строчки Александра Трифоновича о родных местах: "И с годами с грустью нежной Меж иных любых тревог Угол отчий, мир мой прежний Я в душе моей берег". И еще: "И шумы лесные, и говоры птичьи, И бедной природы простое обличье Я в памяти все берегу, не теряя За тысячу верст от родимого края".

Все продумав и взвесив, я отправил в Смоленский музей письмо, предлагая для экспозиции А. Т. Твардовского макет загорьевской усадьбы в масштабе один к пятидесяти. Ответ из Смоленска пришел незамедлительно: "Предложение принимаем, желаем успеха".

С июня до половины октября возился я с этой работой. Макет изготовил, упаковал и отправил багажом пассажирской скоростью из Абакана. Все это происходило в Ермаковском районе Красноярского края, где я проживал в поселке Танзыбей. До ближайшей железнодорожной станции Абакан, где можно было сдать мою посылку багажом, 150 километров. Как туда добраться с такой ношей? Но в знак памяти об Александре Трифоновиче — авторе "Василия Теркина" — помогли мне воины местной части, расквартированной в те годы на окраине Танзыбея. К сожалению, не могу уже назвать имени того политрука, который так понимающе отнесся к моей просьбе. В общем, посылка была отправлена, и, к моему удивлению, без оплаты: в адрес государственных организаций отправления багажом производились бесплатно. А в последних числах октября я вылетел из Абакана в Москву, оттуда поездом добрался до Смоленска и сразу же узнал, что посылка уже в багажном отделении. Это было как раз по моему расчету: я бросился в эту дорогу, чтобы самолично присутствовать при вскрытии упаковки и узнать, каким будет первое впечатление о моей работе у сотрудников музея. Слава Богу, все обошлось хорошо: посылка дошла без повреждений, в музее встретили меня тепло. Я был очень рад, что экспонат всем понравился и было определено место для его экспозиции.

Мог ли я предвидеть тогда, что макет станет основой для восстановления нашего хутора Загорье? Такой возможности не исключал. "Угол отчий, мир мой прежний Я в душе моей берег" — строки из «Теркина» (глава "О себе"). Эти слова поэта не могли не вызывать желание каждого, кому дорого имя Александра Трифоновича, чтобы как-то представить, а еще лучше наглядно обозреть, каким же был этот столь дорогой сердцу поэта мир всех его начал. Это вот и было тем чувством, которое заставило меня взяться за макет усадьбы.

Макет стал чуть ли не событием для смолян, и его не обошла молчанием пресса. Областная газета "Рабочий путь" 1 ноября 1977 года поместила информацию под заголовком "Дар музею", где были такие слова: "Макет хутора Загорье — родины выдающегося советского поэта Александра Трифоновича Твардовского — выполнил его родной брат Иван Трифонович и передал в дар Смоленскому областному музею". Эта же газета 22 декабря 1977 года опубликовала очерк Н. Полякова "Рукой настоящего мастера". В нем рассказано обо всем том, что побудило брата поэта взяться за эту работу, какими средствами и с какой тщательностью была она выполнена.

Перед возвращением в Сибирь я пригласил фотокорреспондента из "Рабочего пути" сфотографировать макет, уже выставленный в экспозиции. Снимки получил, находясь уже в Танзыбее. Отличные снимки. Я послал их А. И. Кондратовичу, Ю. Г. Буртину, В. В. Дементьеву, П. С. Выходцеву и некоторым другим исследователям творчества брата, полагая, что для них это будет любопытно. Я не ошибся — все они ответили сердечными письмами, одобряли мою работу, благодарили. Может быть, тогда и пронзила сердце боль: ведь ничего этого нет. На месте хутора — поле. И оказывается, это чувство испытал не только я. Вскоре фото появилось в печати. И на страницах "Литературной России" 31 марта

1978 года был напечатан очерк В. В. Дементьева "Поездка в Загорье". В нем я прочитал: "Великое дело сделал Иван Трифионович, но думается мне, что, пока есть время, пока не заросло волчьим мелколесьем широкое русское поле, пока живы еще родные и близкие поэта, мы обязаны, мы должны, мы призваны восстановить хутор Загорье и для себя, и для будущих поколений, которые проторят сюда незарастающие тропы".

Должен добавить, что В. В. Дементьев, получив от меня фотографию макета, оставил все свои дела в Москве и отправился на Смоленщину, чтобы еще и еще коснуться душой к "Полю поэта", как назвал он одну из глав своей книги о российской поэзии "Исповедь земли". Вместе со смоленским поэтом Юрием Пашковым они добрались до загорьевских полей, повстречались тогда с живыми современниками Александра Трифионовича на его малой родине.

Очерк В. В. Дементьева "Поездка в Загорье" стал отправной точкой в вопросе о воссоздании хутора Загорье, как мемориала А. Т. Твардовского. В течение целого десятилетия этот вопрос в той или иной форме вновь и вновь всплывал на страницах центральных и периферийных газет, альманахов и журналов. Призыв Дементьева поддержали и "Красная звезда" публикациями В. Лукашевича, и "Сельская жизнь" очерками В. Смирнова, и «Известия» очерками Альберта Плутника "По старой смоленской дороге".

1 сентября 1986 года Смоленский облисполком наконец принял решение "О возрождении усадьбы Твардовских на хуторе Загорье".

Директор Смоленского областного музея Александр Павлович Якушев писал мне:

"Дорогой Иван Трифионович! Дирекция Смоленского областного музея-заповедника приглашает Вас приехать в город Смоленск для проведения работы по изготовлению обстановки, бывшей в доме Трифона Гордеевича Твардовского. Мы готовы оформить Вас на одну из штатных должностей музейного работника, предоставить Вам место для работы и соответствующие материалы. Прошу с получением этого письма ответить нам, сообщив о согласии и времени приезда".

Я сразу же ответил, что готов приехать и изготовить все, что было из обстановки в нашем доме, когда наш брат Александр выбыл из Загорья.

И вновь письмо от А. П. Якушева от 30 мая 1986 года:

"Дорогой Иван Трифионович! Ваше письмо от 25.05.86 получили — огромное спасибо за согласие приехать в Смоленск во 2-й половине июля. Трудности мне понятны, как и то, что агитировать за создание музея, посвященного А. Т. Твардовскому на родине, по идее, никого не надо, т. е. он давно должен был бы работать".

И далее:

"Просил бы Вас прикинуть, что мы должны подготовить к приезду из инструмента (Все с собой Вам не привезти), какой конкретно материал и т. д. вплоть до мелочей. Не будет ли затруднений с жильем в Смоленске?"

Я прибыл в Смоленск из Танзыбея в воскресенье, ночевал у сестры в Запольном. Встреча с Якушевым состоялась 20 июля, и впечатление от этой встречи было хорошим.

— Вроде бы во всех инстанциях и согласны, и готовы помочь в организации музея, — информировал меня Александр Павлович, — а решение так и остается повисшим в воздухе. Будто кто-то чего-то опасается: "Как бы чего не вышло!"

Александр Павлович на свой риск и страх решил взяться за подготовку музея, изготовить все

то, что должно представлять интерьер в избе, как это было при юном Александре Трифоновиче.

— Вот я и пригласил вас, Иван Трифонович, — продолжал Александр Павлович, — помня ваше мнение по этому поводу, что отыскать где-то в точности соответствующие аналоги обстановки нам, согласен, не удастся: здесь была война, были немцы... Да и что оно такое «аналоги»? Это ведь далеко не всегда по-настоящему соответствует в точности. Так что, судя по изготовленному вами макету усадьбы, я убежден, что вы сможете выполнить эту задачу лучшим образом.

В переписке с сотрудниками Смоленского музея я тоже не поддержал предложения разыскивать в селах Смоленщины предметы мебели, аналогичные тем, что были в семье отца в конце двадцатых годов. Я совершенно был убежден, что самым лучшим решением будет, если позволят мне самому изготовить мебель, основываясь на том, что хорошо помню, какой она была. К тому же такая задача мне по плечу в силу самой моей профессии. И ведь никто же другой не сможет этого сделать прежде всего потому, что не знает, какой она была. Я был рад, что дирекция музея обратилась с таким предложением ко мне, и прибыл в Смоленск с собственным инструментом.

Не простым вопросом было подыскать наиболее подходящее место для работы. Ютиться в тесноте какого-либо подвального городского помещения я не согласился, а иного предложить мне не могли. Выяснилось и то, что не было еще и нужного материала: приступить к работе не представлялось возможным. Выходом из этого положения, на мой взгляд, могло быть то, чтобы, не теряя времени, поехать в совхоз «Починковский», то есть непосредственно на родину Александра Трифоновича, где, кстати, горячо чтут память своего земляка-поэта и ежегодно торжественно отмечают день его рождения, и там решать вставшие вопросы: место работы, жилье.

Я прибыл в Починок. Неузнаваемым, незнакомым оказался для меня родной город. В последний раз я был в этом ближайшем от Загорья торговом местечке с нашим отцом Трифоном Гордеевичем более полувека назад. Каждое воскресенье съезжалось тогда в Починок многочисленное крестьянство на своих подводах на базар, чтобы что-то продать или купить, но, пожалуй, больше продать. Боже мой, сколько же, бывало, собиралось здесь тех простых крестьянских повозок, сколько всего было в продаже, чего тут только не было! Всякой, всякой живности: коров, поросят, телят, птицы, самых разных продуктов натурального крестьянского производства — масло, самое разное мясо, мед, яблоки, яйца. Сколько бывало разных кустарных изделий: бочонки, разные ушаты, шайки, корыта, прялки, гончарные изделия, решета, маслобойки, — ну, словом, всякого добра: "Покупай — не хочу!". Пахло тут и дегтем, и медом, лошадьми и навозом, да пряником — тоже. И можно было увидеть и услышать, как проходили купли-продажи с громкими обмениями мнениями торгующихся. Например, возле какой-то живности каждая из сторон убеждает, чуть ли не крестясь и клянясь именем Господа, что говорит только истину, когда другая все еще остается в сомнениях. Наступает такой миг, когда стороны делают жест, так называемый "по рукам" — сделка совершилась, и чувства умиротворенно переходят в состояние доброжелательности друг к другу.

Картина давних ребяческих впечатлений промелькнула как бы сама по себе, когда я, по существу, впервые увидел Починок этих дней, так сказать — обновленный, очень изменившийся во всех отношениях, облагороженный асфальтом, с многоэтажными домами, со снующими по улицам автомобилями и с полным отсутствием крестьянских повозок, прежних базаров и тех немудреных торговых лавок частников, которые были здесь на каждом шагу. Вроде бы и хорошо, и красиво. Только, если честно, то не хотелось видеть холодную каменную пустоту теперешних магазинов, вставших взамен обилия крестьянских базаров. Но это уже из иных понятий и суждений о нашем сегодня.

Как-то сама собой возникла мысль побывать в райкоме партии, прежде чем продолжить путь до совхоза «Починковский». Тут мы так рассудили с Александром Павловичем: рассказать первому секретарю обо всем, что предстоит начинать, в чем есть затруднения. Появилась надежда, что он может без труда позвонить директору совхоза, и его слово сыграет больше, чем наша просьба от имени директора областного музея. Оно так и получилось — нам повезло. Первый был у себя и принял нас очень приветливо. Представился: — Николай Васильевич. Когда же узнал, что я приехал из Сибири и что моя задача изготовить все, что было из предметов в семье отца поэта Александра Твардовского на тот период, когда он уехал из семьи отца навсегда, секретарь встал из-за стола, крепко пожал мою руку:

— Так это же подарок нам всем, кто может представить всю важность дела, над которым мы здесь думаем. Спасибо вам, Иван Трифионович, что вы приехали, что еще в силах сделать главное, что дорого и мило. Это же, подумать только, — родной брат приехал на свою родину, чтобы увековечить память нашего выдающегося земляка Александра Трифионовича!

Он тут же связался по телефону с директором совхоза «Починковский» Петром Владимировичем Шатыркиным, и можно было без труда понять, что и на другом конце провода выражают признательность и готовы сделать все, чтобы работы можно было начать, не откладывая.

Из Починка наш путь лежал в Сельцо — усадьбу совхоза, от которой всего в семистах метрах находится то место, где была усадьба отца, которую отняли у нас в 1931 году.

На прощание Николай Васильевич вручил мне портрет Александра Трифионовича на дереве и сувенирные полотенца из смоленского льна производства Смоленского льнокомбината с уникальными тиснениями.

От Починка до Сельца восемнадцать километров. Первая моя поездка туда осуществилась в 1980 году к 70-летию Александра Трифионовича. На эти торжества я был любезно приглашен из Сибири в Москву, оттуда, уже в составе группы московских литераторов, прибыл в Смоленск вечером 19 июня.

20 июня были приняты первым секретарем Смоленского обкома партии, затем присутствовали на торжественном собрании смоленской общественности, посетили исторический музей, где была развернута экспозиция, посвященная Александру Твардовскому, побывали в Смоленском пединституте и ознакомились с экспозицией, посвященной студенческим годам поэта.

21 июня нас увезли из Смоленска непосредственно на родину поэта, где уже собралось много смолян и гостей, непреходяще чтущих память об Александре Трифионовиче. В тот день мне не удалось ни уединиться, ни осмотреться, ни вырваться из объятий торжественно-возбужденных земляков. Был глубоко тронут их сердечностью и вниманием. Я встречался с теми, с кем ходил в школу в Ляхово. Теперь они увидели убежденного старика-пенсионера, и тут никуда не деться — земляки не удержали слезу, и было мне, не знаю уж как и сказать, пожалуй, щемяще до слез.

Попытался узнать то место, где был наш дом, но даже с помощью земляков трудно было представить, что мне показывали именно то место. Я, признаюсь, был немало огорчен. По чьей-то безучастной воле и равнодушию дорогу из Починка в совхоз «Починковский» проложили точно по месту бывшей нашей усадьбы — никакой приметы от всего, что было. И ведь, право же, странно: есть фотография 1943 года, на которой запечатлено пребывание Александра Трифионовича с нашим отцом на месте бывшей усадьбы, где Трифон Гордеевич, опустившись на колени, вглядывается в родную землю рядом с нашим озерцом. Тут же в раздумье стоит Александр Трифионович. Значит, в 1943 году был еще знак, след жизни в Загорье. Потом бульдозером все это похоронено под полотном автодороги. Отсыпку

производили путем сдвигания грунта со сторон, и от бывшего пригорка, где была усадьба, не осталось и следа.

Как рассказывала мне сверстница Александра Трифоновича по Ляховской школе Акулина Ивановна Богомазова, в те годы, когда строилась дорога к совхозу «Починковский», бывал здесь и сам поэт, передал часть денег от Государственной премии за поэму "За далью — даль" на строительство Дома культуры в Сельце. Он, конечно, не мог не заметить, что само место загорьевской усадьбы уже было погребено под дорогой. Видимо, из скромности не счел тактичным сказать что-либо против, промолчал — дело было уже сделано и, похоже, посчитал недостойным выражать неудовольствие случившимся — махнул рукой. Но совхозу старался хоть чем-либо оказать земляческую помощь. За его личный счет было сооружено копаное озеро с островком, что связано с памятью детских лет: на усадьбе в Загорье озерцо было тоже с островком, как хотелось нашему отцу. Кроме того, брат подарил совхозной библиотеке несколько сот томов книг. К сожалению, от них мало что сохранилось до наших дней — имела место полная безответственность, и книги были разворованы. Да, можно об этом сожалеть, но нельзя обвинять всех подряд — в обществе всегда есть некое количество людей, для которых нет ничего святого.

Очень бережно хранится память об Александре Трифоновиче в Сельцовской восьмилетней школе. Директором в ней много лет работал Сергей Степанович Селифонов, уроженец здешних мест. По окончании пединститута осел здесь, в родных местах. Еще в середине шестидесятых годов он организовал школьный музей по творчеству Александра Твардовского. Сейчас накоплен большой документальный материал в виде писем поэта в оригиналах, множества журнальных и газетных статей о нем, книг с автографами и дарственными надписями авторов, исследующих творчество поэта: А. В. Македонова, А. И. Кондратовича, П. С. Выходцева, В. Я. Лакшина и многих других. Много воспоминаний современников об Александре Трифоновиче, есть и редчайшие снимки его встреч с земляками, а также работы известного фотокорреспондента военного времени Василия Ивановича Аркашева. Все это не может не вызывать глубочайшего уважения к С. С. Селифонову

И пусть простит читатель меня, старика, что рассказ мой получается несколько сумбурным. Вернемся же к моменту моего приезда в Сельцо вместе с директором областного музея. Директор совхоза П. В. Шатыркин проявил к нам безупречную внимательность.

— Для организации мастерской, — сказал он, — в Ваше распоряжение передаю квартиру в двухэтажном доме, разрешаю по Вашему усмотрению подбирать любой из имеющегося материал, в помощь прикрепляю к Вам человека, который поможет что где искать, как получить, подвезти и так далее.

"Вот это да!" — пронеслось в моих мыслях. Чего же еще желать. Оставалось только узнать: есть ли какое-либо общежитие, где мог бы я получить место для ночлега, но директор уже и здесь опередил меня, заявив:

— О жилье не беспокойтесь, моя квартира позволяет устроить Вас на должном уровне, будьте спокойны.

Конечно же я понимал, что благожелательность не из ничего: здесь, на родине поэта, витает его дух, живет признательность и любовь к нему.

Александр Павлович Якушев, сопровождавший меня в этот день от Смоленска до совхоза, был свидетелем моей встречи с людьми на родной земле. Его радовало то, что здесь давно делают все, что в силах, чтобы возродить хутор, где родился и провел детские и юношеские годы знаменитый их земляк, что есть в этом как бы сама историческая гордость земли смоленской, воспетой с чувством сыновнего долга Александром Твардовским.

Я покинул дом когда-то,  
Позвала дорога вдаль.  
Не мала была утрата,  
Но светла была печаль.  
И годами с грустью нежной —  
Меж иных любых тревог —  
Угол отчий, мир мой прежний  
Я в душе моей берег.

В этих строках ясно узнается, что "...чувство родины в обширном смысле родной страны, отчизны дополняется еще чувством родины малой..." Вот это и обязывало воссоздать хутор Загорье. И я не знаю другого человека на Смоленщине, который вложил бы так много сил и стараний, как бывший директор Смоленского областного музея Якушев, ходатайствуя перед областным начальством и добиваясь решения вопроса о возрождении родного хутора поэта.

Не дождавшись официального разрешения Смоленского облисполкома, под личную ответственность директора областного музея мне предстояло возрождать хутор Загорье конкретным делом — изготовить предметы давнего быта в семье отца. В тот день, 20 июля 1986 года, я и остался в совхозе «Починковский», поселившись в квартире директора, где к моим услугам было предоставлено все на уровне гостиничных условий.

К работе я приступил буквально на следующий день. И сразу возникли проблемы. Не так просто начинать что-то делать по столярной части там, где нет ни верстака, ни нужных материалов. В этом животноводческом хозяйстве никаких чисто столярных работ не производилось, поэтому не было и столярной мастерской. Работала только пилорама, и был там единственный, доведенный до полного разлада строгальный станок. Не было и сушилки, а сухого, пригодного для изготовления мебели материала в хозяйстве не нашлось. Из только что сошедшей с пилорамы доски никакой мастер ничего сделать не может, а ждать, пока эта доска высохнет под навесом или на солнце, как мне подсказывали, смешно было слышать.

Мне нужно было какой-то выход искать и, конечно, поговорить с директором совхоза, может, он свяжется с соседними хозяйствами и возьмет займы или как-то иначе пару кубометров сухого материала. В этом направлении были предприняты необходимые старания, но все впустую.

И тогда я поехал в Смоленск, чтобы вместе с директором музея побывать на мебельных предприятиях, где непременно должен быть запас сухого пиломатериала. И не может не случиться, что мы не встретим там понимания — была надежда, что в просьбе нам не откажут.

А. П. Якушев набрал номер телефона какого-то предприятия. Назвав по отчеству, как можно было понять, знакомого ему человека, он поведал ему о наших затруднениях.

— Значит, сегодня же можно и получить? — спрашивал Александр Павлович. — Ну вот и прекрасно! Спасибо!

Получить материал в тот же день нам все же не удалось: он находился еще в сушильной камере, и нужно было подождать еще два дня.

Никогда не забуду виноватое лицо директора совхоза:

— Ну, спасибо, Иван Трифионович, что нашел выход. Переживал я в себе, что не удалось на месте решить всего, что было моей обязанностью, да вот... — винился он, — не осуди...

Нет, Петр Владимирович помогал, чем мог. Ну, во-первых, сразу же прикрепил ко мне самого опытного своего работника Павла Филипповича Романова, который и по столярной части натерен, и к труду привычный, да к тому же еще и почитатель творчества Александра Трифионовича. Все это очень дорого было для меня. И пошла у нас с ним работа слаженно, как нельзя лучше.

На первое время директор местной школы Сергей Степанович разрешил воспользоваться верстаками из школьной мастерской, председатель сельсовета Александр Харитонович, который был хорошо знаком Александру Трифионовичу как поэт-сатирик, поспособствовал заготовить древесину ольхи для некоторых специальных работ. Рабочий Павел Филиппович согласился привезти свой собственный циркулярно-пильный и строгальный станок, на котором можно заготовить мерный нужного сечения материал. Совхозные электрики подключили нашу технику к электросети. И организовалась в свободной совхозной квартире мастерская, позволившая выполнить все предстоящие работы.

Я должен был изготовить, казалось бы, простые столярные изделия, которые явились бы копией тех, что были в семье нашей в конце двадцатых годов. Предназначались эти изделия для будущего мемориального музея "Хутор Загорье". Было ли это для меня сложным в исполнении? Да, это было далеко не простой задачей, хотя я и являюсь мебельщиком по профессии.

Конечно, я хорошо помню все до черточки, до мельчайших конструктивных примет обстановку дома: столы, платяной шкаф, жесткий диван, комод, стулья, вешалки, полки. Ясно, что мебель в нашем доме была не с фабричного потока по ГОСТу, а изготовлена невесть когда по заказу руками сельских кустарей, и потому она была в своем роде уникальной. И, прежде чем приступить к изготовлению, я готовил по памяти рисунки, рассчитывал размеры элементов каждого изделия. Фабричных материалов, таких как фанера, плита, пластик, в те годы не применяли — все выполнялось из массива, то есть из естественного чистого дерева, обработанного преимущественно ручным столярным методом: распилено, прострогано, выклеено, отделано. Но ведь я и сам из тех мест и лет, и из той же семьи, и потому был убежден, что с задачей справлюсь. Помимо всего, что были мой долг и моя обязанность перед памятью брата: если не я, то кто же может это сделать?

Мы с Павлом Филипповичем еще ничего не успели сделать, а районная газета "Сельская новь" уже дала информацию о возрождении хутора Загорье с моим участием, стали появляться в одиночку и группами земляки, чтобы воочию убедиться, что это действительно так, что я есть в Сельце. Такие визиты носили исключительно приветственный характер: люди желали познакомиться со мной, поздравить с приездом, пожелать успехов в работе, высказать одобрение по поводу самого начала. Приезжали фотокорреспонденты, что иногда очень меня смущало, старому человеку было ни к чему подставлять себя под объектив — "старость — не есть радость". К тому же это отрывало от дела, создавало помехи. Слухи же продолжали расширяться, и вскоре появились заметки, а потом и очерки о начавшемся возрождении хутора Загорье не только в областной газете "Рабочий путь", но и в центральных газетах: «Труде», "Сельской жизни", "Красной звезде", "Известиях".

Задолго до моего приезда в родные места на Смоленщину ко мне в Красноярский край (кажется, в 1982 или 1983 году) пришло письмо от инженера Смоленской научно-производственной реставрационной мастерской. В нем сообщалось, что названная мастерская готовит техническую документацию по восстановлению усадьбы в Загорье, в связи с чем просит ответить на ряд вопросов. По возможности я ответил на все те вопросы, которые выходили за рамки данных, показанных мной на макете усадьбы, который уже находился в Смоленском музее, порекомендовал взять макет за основу. В конечном итоге



мастерская так и поступила. Я упоминаю об этом письме лишь в связи с тем, чтобы показать, что общественность годами вынашивала мечту о возрождении Загорья, как могла продвигала этот вопрос, веря, что исполком облсовета примет положительное решение и Загорье возродится. Для этого и готовилась заблаговременно техническая документация.

К концу августа 1986 года в мастерской уже стояли шкаф, диван, столы. Правда, они были еще в белом виде, еще не подвергшиеся имитации и покрытию, но уже было на что посмотреть. Именно в те дни и заявился к нам спецкор «Известий» Альберт Плутник. Смотрел с удивлением на то, что сделано и что еще в заготовках, горячо жал нам руки. Наконец-то в Сельцо пришло долгожданное «добро» исполкома облсовета от 1 сентября 1986 года. Тут уж мы по-настоящему воспряли духом.

В очерке "Так это было на земле" ("Известия", 26 октября 1986 г.) Альберт Плутник рассказал о своем посещении той временной мастерской, где изготовлялась мебель для музея в Загорье:

"Смоленская дорога выводит нас к маленькому населенному пункту, который, словно боясь преувеличения, сам постыдился назвать себя селом, назвал Сельцом, к домику, где два пожилых человека в неспешных разговорах изготавливают музейные редкости. Плоды их труда тут же, в комнатенке, заваленной опилками и стружками: обычные простенькие столы, шкаф, диван, стулья. Но какая же это редкость, если — обычные? Таких нигде не купишь, сделаны "по заказу" — для одной избы, в точном соответствии с ее размерами, количеством едоков и так далее. Между прочим, мебель не оригинал. Чудом — по памяти — удалось восстановить копию. В этом, собственно, а также в предназначении обстановки, и состоит уникальность работы, которой заняты совхозный плотник Павел Филиппович Романов и столяр-краснодеревщик Иван Трифионович Твардовский. Он постарше, ему за семьдесят. Это он, Иван Твардовский, вспомнил мебель отцовского дома, стоявшего на хуторе Загорье, что был рядом с Сельцом, где рос сам, где росли сестры и братья, в том числе брат Александр, покинувший его в юности... Дело идет быстро, хотя никто не торопит мастеров, разве что годы. Уже виден и конец работе, и все сильнее волнение: не скитаться же мебели по чужим углам. А своего — нет. Нет хутора, нет дома — не восстановлен, хотя прошло пятнадцать лет, как умер поэт".

После поездки в Сельцо А. Плутник имел встречу с заместителем председателя Смоленского облисполкома А. И. Макаренковым, после чего в очерке появились такие строки: "Сегодня уже можно сказать: Загорье возродится. Исполком Смоленского областного Совета народных депутатов 1 сентября принял на этот счет специальное решение".

В Сельце эта новость была встречена восторженно всеми. В ближайшее время ожидался приезд областного начальства, предвиделось проведение совещания, на котором будут обсуждены конкретные задачи о включении подрядных организаций по производству строительных работ на загорьевской земле.

Планировалось за десять месяцев завершить все строительные работы по воссозданию хутора, но это оказалось нереальным. Многие работы не были учтены в самом проекте. Так, прежде чем заложить фундаменты, нужно было воссоздать прежний рельеф места усадьбы. Рельеф, как я сказал уже, был сильно нарушен во время строительства автодороги к совхозу. До наступления холодов реставрационная контора едва успела сделать разбивку под фундаменты. Блоки, правда, были завезены, но уложить их и выровнять не успели — доделывать можно лишь весной, по теплым дням, уже в 1987 году.

Приехал я на малую родину с мыслью, что задержусь здесь на короткое время, может, месяца на два или немного больше — изготавливаю мебель для музея, на том и точка — возвращаюсь в Сибирь, где семья и свой дом. Еще нельзя было сказать, доведется ли дожить до того дня, когда будет начато воссоздание родных пенатов. Но судьба

распорядилась круто. Еще не успел покончить с мебелью, как вот тебе: не только решение принято, но и сроки открытия музея назначены. Возвращение в Сибирь откладывалось. А тут и такая мысль появилась — не переселиться ли на свою родину?

Стало ясно, что мое присутствие здесь необходимо, так как восстановить нарушенный рельеф, не зная, каким он был прежде, — нельзя, и я должен был взять на себя ответственность за выполнение этой работы и неотлучно следить за строительной площадкой. Да иначе и нельзя, если мы хотим воссоздать хутор таким, каким он был при жизни юного поэта. Значит: от начала до конца мне должно было здесь быть, поскольку все начиналось с момента передачи мной макета Смоленскому музею, на основании которого была подготовлена техническая документация. Но макет дает только внешнее представление о хуторе. Внутреннее же устройство любого строения на макете не показано, значит, присутствие человека, который должен знать все до мелких деталей, обязательно. Это касается и избы, и скотного двора, и бани, и кузницы. Интерьер их нужно показать в натуре.

И обстоятельства, и обострившееся чувство к родным местам побудили меня объяснить перед администрацией о том, что созрела мысль о переселении в Сельцо. Доводы мои были с вниманием приняты и поддержаны. Совхоз предоставил мне квартиру, а дирекция областного музея выдала командировочное удостоверение в Сибирь.

Не прошло и суток, как я был в Абакане, поджидал на автовокзале автобус, который отправится знакомым маршрутом по Тувинской трассе до поселка Танзыбей, где прожито двадцать лет, много затрачено труда. И какое-то щемящее чувство бередило душу: предстояло проститься с этим местом, которое тоже по-своему стало уже близким, с любовью обжитым, а стало быть, все предстоящее, ради чего мной совершалась эта поездка, не могло не вызвать грустных раздумий.

Я сомневался, поддержит ли жена Мария Васильевна мое решение переселиться на Смоленщину, поскольку она коренная сибирячка. Но она была готова ехать со мной, как всегда, "хоть на край света".

Наши сборы и хлопоты по продаже дома, заказу контейнеров для отправки имущества, погрузке такового, приобретению билетов на самолет и все прочее, связанное с переселением (снятие с прописки, перевод пенсионных документов, сберегательных вкладов, подписных изданий), были завершены за десять дней.

22 октября 1986 года нас встречали родственники в Смоленске. На следующий день мы добрались до Сельца.

Срубы для всех загорьевских построек изготовил Велижский леспромхоз Смоленской области на своем производственном дворе с расчетом, чтобы весной перевезти их в разобранном виде в Загорье и собрать силами самого леспромхоза на месте с постановкой оконных и дверных блоков, устройством стропил, обрешеткой и навеской на петли дверей и ворот. Все эти работы были выполнены к 20 мая 1987 года.

Следом за плотниками реставраторы поспешили временно покрыть крыши всех строений рубероидом по дощатому настилу, чтобы, не опасаясь возможных дождей, вести внутренние работы — настилу полов, вгонку в матрицы потолочин, устройство перегородок, полатей, кладку русской печи. Кузницу покрыли, как было согласовано, галтелью — простроганным тесом в два слоя. Они же, реставраторы, подшивали карнизы, оформляли проемы окон и дверей наличниками, привинчивали ручки, шпингалеты, задвижки, а также выполняли кладку печи в бане и ее обустройство. В их же подряд входило возвести околичные изгороди и перегородки на скотном дворе.

Что же представляет собой наш хутор? Он стоит на пригорке у самой дороги. Обычный хутор, то есть обособленный участок земли, приобретенный отцом в девяностых годах прошлого

века с выплатой в рассрочку на пятьдесят лет. Десять с небольшим десятин. На усадьбе всего-то и было: хата девять на девять аршин с примкнувшим к ней скотным двором, сенной сарай, баня, кузница.

Работа по возрождению этой усадьбы будто бы продвигалась успешно, но были и задержки — то одного, то другого недостает: печную вьюшку или банный котел ни купить, ни достать, время уходит на поиски. То остановка из-за соломы для крыши — рожь на совхозных полях еще не созрела, а когда пришло время жать, то не вдруг найдешь жниц на селе. То не оказалось поблизости и кровельщиков, которые могут, как было принято раньше, крыть соломой "под гребенку". Вот дело и затягивалось. Нет, не получилось так скоро, как было задумано. Да, честно говоря, я и не был сторонником спешного воссоздания. Спешно, непременно в срок — это значит не совсем хорошо, и такое ни к чему. И все же к осени 1987 года усадьба в основном была возрождена. Более ста березок было посажено еще весной, и все они прижились, имели хороший прирост. За кузницей, к западу, зеленел на прежнем месте небольшой кусок ельника из шестидесяти пяти елочек двухметровой высоты. Были посажены восемь широколистных лип; на прежнем месте растет и дуб, и древовидная лесная рябина, а к югу, за сараем, восстановлен плодовый садик из девяти теперь уже плодоносящих яблонь. К сожалению, не удалось найти прежние сорта: коробовку, сахарный аркад, грушовку московскую. Есть на усадьбе и колодец, и водоем в виде озерца с островком в центре. Площадь мемориального участка 2,6 гектара. По периметру, как живое ограждение, посадили две тысячи елочек строго по линии в три ряда — все прижились.

Сделано все это, конечно, с помощью общественности района. Много внимания уделил первый секретарь райкома партии Николай Васильевич Жвац. Помогали и воинские подразделения, и энтузиасты-одиночки из других областей. Житель Подольска Виктор Васильевич Ширяев четырежды приезжал, чтобы принять участие в восстановлении мемориала. С этой же целью наведывался из Ленинграда наш земляк и мой школьный друг Михаил Мефодьевич Карпов — участвовал в посадке деревьев, Иван Сидорович Бондаревский из города Красный Луч, Петр Трофимович Солнышкин из Скопина Рязанской области, Николай Федорович Дьяков из Москвы, Тарас Иванович Кононенко из Липецка. Да всех не перечислишь, не упомнишь.

Открытие музея было приурочено семидесятивосьмилетию Александра Трифоновича. Торжественно, празднично, многолюдно было в те июньские дни 1988 года на усадьбе возрожденного хутора. Сотни автомашин, тысячи празднично одетых гостей заполнили и усадьбу Загорье и поселок Сельцо. Митинг открыл первый секретарь Смоленского обкома КПСС Анатолий Александрович Власенко. Затем выступил наш почетный гость из Москвы литератор Валерий Васильевич Дементьев. Им было поручено разрезать ленту перед входом в мемориал Александра Твардовского.

В березовой роще возле Дома культуры Сельца был дан большой концерт самодеятельных коллективов, литераторов и артистов Смоленска. Это празднество передавалось по телевидению и радио.

С тех пор минуло много уже лет. В Загорье побывали тысячи посетителей: экскурсии, делегации, коллективы предприятий и учебных заведений, индивидуальные посетители из разных уголков страны. Тропа в Загорье, к отчому месту народного поэта, не зарастет никогда.

## САМОБИТНОСТЬ ЩЕДРОГО ТАЛАНТА

Прочитаны последние страницы взволнованной мемуарной прозы книги воспоминаний Ивана Трифоновича Твардовского — произведения большой правды и человеческого мужества. Автор продолжает свою жизненную одиссею; он умен и мудр, по-прежнему негибает и тверд духом. Его живое слово — надежный гарант того, что он превосходно владеет пером. О нем можно говорить, как о сформировавшемся писателе — со своей определенной темой, своеобразным психологическим складом, языком и стилем. Его документальное повествование открывает новые горизонты в нашей отечественной мемуаристике, развивает свои оригинальные сюжеты, поражающие воображение прежде всего огромным фактическим материалом, достоверностью, правдивостью, точностью и живостью повествования.

Первая часть повествования воссоздает ту психологическую атмосферу, в которой рос и формировался великий русский поэт XX века А. Т. Твардовский. Немаловажна здесь роль семьи, не похожей на другие крестьянские семьи той поры — со своим особым укладом, повышенным интересом к литературе, особенно поэзии, а главное — своей чрезмерной заинтересованностью к первым поэтическим опытам юного стихотворца. Особо отмечена роль родителей поэта, Трифона Гордеевича и Марии Митрофановны, которые зажгли в душе ребенка лампаду вдохновенного художественного слова. Вторая часть значительно расширяет круг авторского повествования, раздвигает географические границы событий. Ее панорама — не хутор Загорье и даже не Смоленщина, а Россия, русский Север. Семья Твардовских оказалась втянутой в водоворот больших социальных потрясений, трагических бурь, пронесшихся по стране. Именно по этой причине события в повести отодвинулись от родного края, от "малой родины". На страницах книги она предстает как милое, доброе детское воспоминание с его радужными эпизодами. В отличие от первой части в ней меньше участвует А. Т. Твардовский как творческая личность, что вполне обосновано и оправдано, поскольку он оказался вне сферы личных наблюдений рассказчика; о его жизни и творческих успехах он теперь узнает уже из сопутствующих источников, как говорится, из вторых рук.

Далее документальная повесть вообще выводит читателя за пределы Отчизны. Речь идет о вынужденном паломничестве и мытарствах русского человека, оказавшегося вдалеке от родины — сначала в Финляндии на положении военнопленного, а затем как беглеца в нейтральной Швеции, где он пробыл до конца войны. Но война закончилась — ностальгия по родине, далекой и милой, гнала его домой, мучительно больно становилось жить на чужбине, несмотря на полную материальную обеспеченность. Поверив по простоте души зову правителей своей страны, он после долгих хлопот добивается возвращения на родину. Но как оказалось, за свою доверчивость ему пришлось заплатить огромной ценой — многими годами лишения свободы, ГУЛАГом и сибирской ссылкой. Но и это испытание выдержал русский человек — не сломился, не ожесточился, не растерял своей природной доброты.

Замысел последних частей документальной повести вынашивался долгие годы, рождался, по признанию автора, в больших муках, поскольку книга была задумана до того, как вышли в журнале «Юность» "Страницы пережитого". В связи с этим вспоминается юбилейная конференция в Институте русской литературы Академии наук СССР в 1985 году. Вечер после одного из заседаний в бывшей квартире какого-то академика, приспособленной под гостиницу для особо почетных приезжих гостей. Там проживал Иван Трифонович. Небольшое застолье, узкий круг литературоведов из разных городов — Твери, Пензы, Тамбова, Ленинграда, Смоленска. Типичная в таких случаях атмосфера: споры о путях развития современной литературы, о вышедших книгах. И под этот аккомпанемент горький рассказ Ивана Трифоновича о его скитальчествах, о возвращении на родину, о недоверии, жестокости и вероломстве. Потрясенный этой исповедью, я попросил рассказчика написать обо всем этом подробно в будущей книге. Тогда он ничего определенного не пообещал, сказал, что продолжает работать над воспоминаниями периода коллективизации, раскулачивания и ссылки. Но, как видно, потрясения военных лет ни на минуту не давали ему покоя, "ни отдыха, ни срока", как выражался в таких случаях его брат-поэт. И он вынужден был приступить к литературному осмыслению и этого сюжета.

Теперь, когда собраны и объединены все три части воспоминаний И. Т. Твардовского, открывается путь для их аналитического осмысления. Если кратко, в пределах нашего очерка, охарактеризовать главные, типологические принципы его мемуарной прозы, то прежде всего надлежит отметить ее строгую документальность, достоверность как в общем плане, так и во всех деталях. Привлекаемые мемуаристом факты всегда можно подтвердить архивными и другими материалами. В этом смысле автор их строго принципиален. Можно сослаться на многие примеры, подтверждающие наш вывод. Укажем на эпизод встречи Александра Трифоновича Твардовского с отцом, Трифоном Гордеевичем, в Смоленске. Она произошла рано утром в Доме Советов, где размещалась редакция журнала "Западная область". Там поэт работал ответственным секретарем. Сбежавший из зоны, Трифон Гордеевич пытался объяснить сыну, что семья не может больше там оставаться, неминуемо погибнет, как гибнут другие семьи «спецпереселенцев». Выслушав сбивчивый рассказ отца, Александр посоветовал ему немедленно возвращаться на место ссылки с покаянием, сын даже пригрозил, что вызовет милиционера, если он отвергнет его совет.

Конечно, в этом случае автор создал ситуацию огромной психологической насыщенности, такие мгновения в жизни человека ярко высвечивают все его существо как личности, так как ставят на грань выбора. В этом своеобразном «поединке» поражение потерпел, безусловно, сын, а не отец.

Почти все, кто читал эту повесть в рукописи, особенно Г. Н. Троепольский, автор многих остросюжетных произведений, отмеченный А. Т. Твардовским «ново-мировец», настойчиво отговаривал мемуариста не включать данный эпизод в общий план повествования, поскольку он бросает тень на прославленного поэта. Но Иван Трифонович не согласился с его доводами: по его справедливому замечанию, если из песни выкинуть слово, то нарушится вся песня. И он оставил этот эпизод.

В воспоминаниях есть немало и других страниц такой же остроты и психологической напряженности. В первой части — это сцена прощания поэта с семьей при поспешном отъезде в Смоленск.

"Ранним морозным утром, пишет автор, в январе или начале февраля 1928 года, Александр покидал Загорье... Сам момент сборов, сохранившийся в памяти, промелькнул мгновенно. Собрать, собственно, и нечего было. "Одежи, что на коже, и харчей, что в животе" — так гласила пословица, которую довелось слышать от отца. Точно так и Александр не был обременен укладкой про запас нужных и ненужных вещей..

— Ну, вот и все! — сказал он и обнял мать. Склонив голову к ее плечу, как бы замер, но тут же несколько отпрянул и молча оставил свой взгляд на ее лице. Затем, судорожно качнув головой, целовал мать в щеки. Потом обнимал нас, каждого где кого застал, говоря одно: "Ну, Ваня!", "Ну, Павлуша!", "Ну!"... "Ну!"...

Заключительным было его прощание с отцом, который все это время неподвижно сидел у стола. Александр подошел к нему и говорил что-то так тихо, что нельзя было понять, что именно. Он видел, что отец чувствует себя нехорошо, и, поборов в себе сковавшую его гордость, подал отцу руку, и отец даже встал, что-то хотел сказать, чего-то ждал, но... их руки вдруг разомкнулись... Слов не получилось".

Мы воспроизвели эту небольшую сцену потому, что в ней сконцентрированы характерные особенности литературного стиля И. Т. Твардовского: и достоверность описания, вплоть до указания года, месяца, числа, времени суток, и точность в воспроизведении деталей, включая и наиболее важные, предваряющие события, и второстепенные, обнажающие их глубинную основу. Отметим и драматизм происходящего, умело подмеченный и художественно воспроизведенный автором в момент прощания Александра с отцом, когда почти соединившиеся для прощального пожатия руки разъединились и повисли в воздухе, как

плети... Следует отметить и мастерски использованную прямую речь, и внутренний монолог, и проскользнувшую как бы между прочим редчайшую поговорку, и, наконец, глубокий психологизм, — что в своей общей совокупности максимально обеспечило художественное мастерство рассказчика-мемуариста.

Эти качества художественной прозы И. Т. Твардовского в отдельных местах повествования еще более усиливаются: драматизм и психологизм подчас достигают в них вершин классической русской мемуаристики. Такой представляется сцена встречи Александра Трифоновича с матерью в Русском Туреке Кировского края, волнующая до слез. Она передается автором со слов матери, Марии Митрофановны: "Батяка в кузнице был с Павлом, рядом, вот-вот должны были подойти обедать, и, знаешь, такая грусть напала на меня, что отвести ее можно было только слезой. Слеза, может, человеку и дана природой, чтобы заглушить горе. И только бы сказать: "Где ж ты задержался «перевозчик» ты мой?", — а в дверь: тук-тук-тук! И не знаю, сказала "Да!" или нет, обернулась — входит... Шура. "Боже мой!" вырвалось, думала: привиделось мне, а он, мой родной, бойко так — ко мне, освободил руки — чемодан был — и: "Мама! Родная! Нашел же я тебя!" — Обнимает, целует и опять: "Мама, милая, здравствуй".

И в этой сцене автор сумел развернуть перед читателем сложную, предельно насыщенную психологически гамму разных чувств и оттенков, переживаний, промелькнувших одновременно и у матери, так жаждавшей встречи с сыном, и у Александра в предчувствии встречи с нею. Не случайно главный редактор журнала «Юность», Андрей Дементьев, прочитав в рукописи в то время лишь часть мемуаров, распорядился снять подготовленные для очередного номера материалы и поставить вместо них воспоминания И. Т. Твардовского, открывавшие по сути новую страницу в нашей мемуарной литературе, ибо только после их опубликования в периодической печати стали появляться аналогичные сюжеты о Соловках и ссыльных крестьянах.

Таков литературный портрет И. Т. Твардовского. Однако он не только изумительный рассказчик-импровизатор, мемуарист, владеющий секретами своего искусства, но и талантливый оратор и интереснейший собеседник.

Стояли погожие майские дни 1985 года. Город на Неве принимал писателей и ученых из других городов и стран по случаю 75-летия со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского. Большой конференц-зал Института русской литературы с утра был переполнен. Время приближалось к полудню, когда на его главную трибуну поднялся быстрой походкой человек немного выше среднего роста, с белой, "как утренний снег", головой, с негустой серебристой бородкой, подтянутый и благообразный. Зал насторожился. Стоявшие у окон и стен люди притихли; видимо, его-то они и ждали с нескрываемым беспокойством. Перед ними на трибуне стоял Иван Трифонович Твардовский, прилетевший из далекого Танзыбея Ермаковского района Красноярского края на торжества по случаю юбилея своего старшего брата. Остро всматриваясь в притихший зал, он спросил, чтобы, видимо, продлить установившуюся тишину и завоевать полное доверие слушателей: "Всем ли слышно?" — и добавил: "А то пуня большая — можно ничего не услышать".

И действительно, некоторые из участников конференции, сидевшие подле меня, недоуменно переспрашивали, что он сказал. Неясным для них, оказалось, было слово «пуня» — наше смоленское слово. Мне мысленно представился большой сарай, из которого крестьяне зимой берут корм для скота. Услышав это слово с трибуны конференц-зала, я, глядя на оратора, воспроизвел по памяти стихи о Василии Теркине:

И, усевшись под сосной,

Кашу ест, сутулясь,

"Свой?" — бойцы между собой,—

"Свой!" — переглянулись.

Стоявший на трибуне человек тоже воспринимался как «свой», потому что в его речи проскользнуло народное смоленское словечко, установившее сразу внутренние связи между нами, подчеркнувшее, что оба мы "оттуда люди — от земли".

"Из воспоминаний об А. Т. Твардовском" — так обозначена была в программе научной конференции тема выступления Ивана Трифоновича. Более двух часов горячо и увлеченно он рассказывал не столько о брате и его поэтическом творчестве — людям, сидящим в конференц-зале Пушкинского Дома, были, конечно, известны его воспоминания, вышедшие в 1983 году в московском издательстве «Современник», — сколько о большой трагедии, постигшей семью ранней весной 1931 года. Тогда судьба помиловала только Александра и то потому, что он жил отдельно от семьи, в Смоленске. Что касается остальных, то все они, от мала до велика, испили до дна горькую круговую чашу большой национальной беды. Всем гуртом их вывезли из Загорья в Ельню, а оттуда в непригодных товарных вагонах отправили по этапу на север страны, "где, — по словам поэта, — ни села вблизи, не то что города", и где в поистине жутких условиях они должны были "на севере, тайгой запертом", бороться за свое выживание. Именно об этом с беспощадной и страшной правдивостью говорил известным ученым страны живой участник событий. И зал института Академии наук слушал, затаив дыхание, бывшего «спецпереселенца», как именовали в то время наши отечественные гауляйтеры русских людей, оказавшихся по чьей-то злой воле вне закона и потерявших все свое имущество и состояние — положение, живность крестьянского двора и обжитые места — свою милую "малую родину".

Яркое выступление Ивана Трифоновича Твардовского было полным откровением для всех сидящих в зале: никто никогда не говорил и не писал так о трагической участи подлинных тружеников русской земли, фактических кормильцев страны, оказавшихся в положении "классовых врагов". И в перерыве и после перерыва на обед участники конференции обсуждали выступление брата поэта, правдивое слово, "со слезами смешанное" бывшего «спецпереселенца», потрясшее сердца и души ученых людей.

Мне посчастливилось слушать и другие выступления И. Т. Твардовского — перед студентами Смоленского педагогического института, на координационных совещаниях по изучению творчества А. Т. Твардовского, М. В. Исаковского и Н. И. Рыленкова в школе и вузе, при открытии музея на хуторе Загорье, во время загорьевских праздников культуры и искусства, в "голубом зале" областной библиотеки, в новом актовом зале исторического музея — и всегда они вызвали у меня, как, надеюсь, и у других слушателей сильные ответные чувства, заставляли думать, переживать, волноваться. Так воздействовать на умы и сердца людей мог человек, несущий в своих устах только чистое живое русское слово, говорящий честно, без всякой рисовки и лукавства.

Да, следует признать, что даром доброго, волнующего слова И. Т. Твардовский владеет превосходно. Все, что он говорит, живо отзывается в сердцах его слушателей и собеседников и приводит их "во умиление и сокрушение сердечное". Таков он и при проведении экскурсий у себя, на хуторе Загорье, куда ежегодно сотни паломников, почитателей таланта великого поэта, приезжают и приходят, чтобы как-то прикоснуться к истокам его творчества или просто подышать загорьевским воздухом, пропитанным запахом яблок и ржи. Таков он и в интимных личных беседах. И в том, что хутор-усадыба Загорье живет своей полнокровной жизнью, огромная заслуга его гостеприимного хозяина и хранителя: из далекой Сибири, по первому зову он прибыл, чтобы восстанавливать родное отчее гнездо. Основные экспонаты музея-усадыбы созданы его «золотыми» руками. И когда слушаешь его выступления или беседуешь с ним, всегда возникает дума-мысль — насколько же талантлив и душевно щедр этот простой русский человек "от земли".

Когда недавно, в связи с юбилеем А. Т. Твардовского, мы снова оказались вместе, я спросил: "Как живете, Иван Трифонович?" — "Ничего, живем, — ответил он, — наших с женой, Марией Васильевной, пенсий вполне хватает на хлеб и молоко, а остальное с огорода берем". Сказал как бы между прочим. А ведь его огород славится во всей округе: уже в июне у него на столе красные помидоры каких-то невиданных и неслыханных сортов, так что и в огородном деле он большой специалист. Он и плотник, и огородник, и врачеватель людских душ, и столяр — всюду проявляются его недюжинный талант, сноровка и трудолюбие, присущие русскому человеку, который все умеет делать сам — хорошо и добротнo. И пишет и говорит он увлеченно и увлекательно.

В. В. ИЛЫН, доктор филологических наук

## Комментарии

1

По свидетельству автора стихотворения, между деревней Ковалево и Загорьем находилась одинокая могила некоего Шупеня. (Ред.).

2

Акриды — род саранчи, употребляемой в пищу в Аравии. "Питаться диким медом и акридами" — значит голодать, скудно питаться. (Ред.).

3

Садка — изменение формы, растяжение металла под действием удара

4

Статью С. А. Фиксина "Первая даль поэта" можно прочесть в сборнике "Воспоминания об А. Твардовском". М., "Советский писатель", 1978 г.

5



Он! Этот человек!

6

Пожалуйста

7

Пожалуйста! У нас можно курить Говорите ли по-фински?

8

Одну минутку.

9

Всего вам доброго, ребята!

10

Да-да! Я понимаю. Это психическая депрессия.

11

ЦАРМ — Центральные авторемонтные мастерские.

12

Выпор — второе отверстие в форме для выхода газов и свидетельства, что форма заполнена металлом.